

# НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

# THE NEW REVIEW

## Новый Журнал

---

*Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942*  
*С 1946 по 1959 редактор М. Карпович*  
*С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев*  
*С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль*  
*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)*  
*Г. Андреев, Л. Ржевский*  
*1976 – 1981 редактор Роман Гуль*  
*1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),*  
*Е. Магеровский*  
*1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),*  
*Ю. Кашкарров, Е. Магеровский*  
*1986 – 1990 Редакционная коллегия*  
*1990 – 1994 редактор Юрий Кашкарров*  
*1994 – 2005 редактор Вадим Крейд*

Восемьдесят третий год издания

**Главный редактор – Марина Адамович**

*Редакционная коллегия:*

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс,  
Александра Смит

*Ответственный секретарь – Наталья Бернадская*

*Редакция:* Владимир Гандельсман, Наталия Гастева, Рашель Миневиц

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; S.Kishkovskaya, P.Khlebnikov; G.Mesniaeff;  
A.Neratoff; N.Sluchevsky, P.Tcherepnine; V.Torchilin, L.Vulfina,  
Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 318, март 2025

© 2025 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly  
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.  
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.  
POSTMASTER: send address changes to The New Review, 1216 Broadway,  
2nd floor, New York, N.Y. 10001

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Андрей Иванов</i> – Время песочных часов. Повесть .....	5
<i>Александр Кабанов</i> – Чудесным образом. Стихи .....	66
<i>Лена Берсон</i> – Скатертью полет. Стихи .....	72
<i>Валерий Скобло</i> – Стихи .....	77
<i>Наталья Явчуновская</i> – Перелет Чкалова через Альпы. Повесть ....	81
<i>Инна Кулишова</i> – Стихи .....	154
<i>Михаил Дынкин</i> – Стихи .....	159
<i>Игорь Метельский</i> – Дым над рекой. Стихи .....	163
<i>Владимир Батшеев</i> – Белым по черному. Роман .....	167
<i>Вячеслав Попов</i> – Слова себя читают сами. Стихи .....	226
<i>Илья Франк</i> – Стихи .....	230
<i>Александр Мельник</i> – Маяк. Стихи .....	234
<i>Дмитрий Гаранин</i> – Песнь старости. Стихи .....	240
<i>Лев Лосев</i> – Понять Гандлевского. Эссе .....	243
<i>Сергей Гандлевский</i> – Стихи .....	246

## ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Алексис Левитин</i> – Притяжение противоположностей. Воспоминания о В.С. Яновском и У. Х. Одене .....	250
<i>Василий Яновский</i> – Уистен Хью Оден. Эссе .....	253
<i>Уистен Хью Оден</i> – Стихи ( <i>Пер. – Владимир Гандельсман</i> ) .....	288

## КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

<i>Лариса Вульфина</i> – Художник Федор Рожанковский (1891–1970) ...	294
<i>Норман Перейра</i> – Либеральное наследие Михаила Карповича. Выступление на научной конференции .....	316

## КНИГА И СУДЬБА

<i>Людмила Оболенская-Флам</i> – Вики – русская княгиня во Французском Сопротивлении .....	321
---	-----

## ЭССЕ. ОЧЕРКИ. ИНТЕРВЬЮ

<i>Т. Вольтская, С. Сергеев</i> – Мы все пишем коллективную «Гернику». Интервью .....	337
--	-----

## БИБЛИОГРАФИЯ

### **Книжная полка Юлии Баландиной**

- Михаил Эпштейн.* Память тела: Рассказы о любви;  
*Владимир Гржонко.* Дом. Повесть;  
*Александр Стесин.* Рассеяние. Роман ..... 354

### **Надежда Ажгихина – Нина Хрущева.** Никита Хрущев.

- Вождь вне системы ..... 375  
*Ася Аксенова – Александр Мельник.* Время летучих мышей.  
Книга стихотворений ..... 380

### Уважаемые читатели!

Вы можете приобрести отдельные архивные номера журнала, начиная с 1953 года. Цена экземпляров определяется годом выпуска. Все подробности вы можете узнать в редакции НЖ, написав нам:

[newreview@msn.com](mailto:newreview@msn.com)  
[newreviewinc@gmail.com](mailto:newreviewinc@gmail.com)

# ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Андрей Иванов

## Время песочных часов

J'aurais probablement voulu vivre  
à l'époque des sabliers ou des clepsydras.

*Henri Calet, «Les grandes largeurs»\**

Возможно, я бы предпочел жить  
во времена песочных часов или клепсидры.

*Анри Кале, «Великие широты»*

### 1

Мне прислали письмо – об этом мне сообщил Петя, замкнутый мальчик, вундеркинд в гетрах. В свои тринадцать лет он выглядит на десять, ему нравится приглаживать волосы, что делает его похожим на деловитого муравья (про себя я зову его мажордомом). К тринадцати годам он насобирал массу привычек и ритуалов, которые болезненно соблюдает. Не ребенок, а маленький фараон! Жрец! Крейсер и тысяча матросов! У него аллергия, поэтому он питается по строго продуманному списку и никогда не берет со стола сам. Носит всегда одну и ту же одежду: твидовая безрукавка с медными пуговицами, в одном кармане смартфон, в другом – блокнот; белая рубашка, черная бабочка, брюки со стрелочками на ремне. Напряженный взгляд, колочий и быстрый. Собранный хмурый образ. В доме каждый день музыка: скрипка, прогулка, валторна, после обеда – пианино... а потом тишина! Тишина – это математика. И так до самой ночи, жизнь по расписанию, которое придумал себе мальчик, – ни минуты простоя, всегда занят. Когда он живет, я не знаю. Ни разу не видел, чтобы он играл в какую-нибудь детскую игру, гулял или сидел без дела, задумавшись...

Он постучал в мою дверь, я делал на полу упражнение для поясницы (меня опять скрутило), с трудом поднялся, застегнул рубашку.

– Вам письмо, – мрачно сказал он, не здороваясь, и хотел тут же уйти – к своим делам, полагаю.

– Письмо? – нарочно сказал я, чтобы его задержать, мне нравится испытывать нетерпение этого маленького живого механизма. К тому же, письмо – что-то новенькое, я здесь еще не получал писем. – Ну и где оно?..

---

\* Анри Кале (1904–1956), французский писатель, журналист, путешественник, гуманист, либертарий.

Он показал пальцем вниз и начал спускаться...

Я живу в чердачной комнате. Жак сказал, что это лучшее место в доме: «В этой комнате останавливаются исключительно настоящие писатели...»

Жак – прозвище хозяина виллы, альтер эго, магический плащ; Евгений Петрович Блазин – по паспорту.

Он прав, меня не беспокоят. Никто, кроме мальчика, не поднимается, но присылают в мессенджер сообщения – *спускайся, мы тебя ждем, knock-knock*. Страшней всего было солнечное око, от него некуда было спрятаться, и я попросил занавеску, мне принесли тряпицу – то ли скатерть, то ли простынка, я завесил ею окно, но солнце сильнее, победить его сложно, комната наливается жизнерадостным светом, стены и мебель обрастают паучьими арабесками, которые шевелятся, сдвигаются, трепещут и становятся отчетливой, чем глубже дышит солнце.

Если бы мальчишка пользовался мессенджером, он бы прислал мне сообщение.

– Я думал, ты принес его.

Мальчик дернул плечом и ничего не сказал. Может быть, я придумал это движение. Может, он всего лишь втянул голову, поежился? Нет, мне показалось, что это была реакция на мои слова. Вот уже три дня никого в этом доме, кроме отца мальчика, который чинит машину в гараже, и самого мальчика, который ничем не лучше машины. Кроме шуршащих в оранжерее растений и настойчивого любопытного солнца, проникающего в каждую комнату, даже этот коридор прощит зоркими нитями.

Дабы разговорить его, спрашиваю:

– Как там Жак?

– Евгений Петрович?

– Да. Звонил?

Жак всё бросил и укатил с театром на гастроли в Германию; он жутко нервничал, его даже трясло – после смерти жены он моментально состарился, запустил себя, к тому же карантин на нем здорово сказался, он стал уязвимым, дерганым и взрывным. Не желая терпеть его выходки, постояльцы пансионата разъехались. Дом пустовал (эгоистично: меня это устраивало).

– Нет.

– А мама? – (Прелестная мамаша злобного мальчугана уехала с *гением*.)

– Да. Всё хорошо.

– Ну и отлично.

Спустились на *rez de chaussée*. Бесшумно Петя вышел на террасу и растворился в солнце.

– Я видел кошку, – послышался его голос. – Проверю, может, она еще там...

Яркая дверь оранжереи открылась, брызнули зайчики, я зажмурился. Ну слава богу, хотя бы кошка его интересует. Петя ушел. Где там письмо? Вот оно.

Обыкновенный конвертик. Внутри открытка, стилизованная под старинную фотографию: «Привет из Флоренции! Я уверена, что тебе понравится. Я почему-то подумала, что это твой Джойс влезает в свою башню. А потом прочитала...»

На этом послание обрывалось. Это была Симона, польская переводчица с итальянского и французского. Мы с ней познакомились здесь, у Жака; позавчера – или три дня тому (за временем тут не уследишь) – она уехала в Тоскану к писателю, которого сейчас все лихорадочно переводят. Симона возмущалась из-за того, что он не отвечал на электронные письма, а потом попросил приехать. Не хотела ехать (кокетничала). Он выбил денег на поездку и великодушно предложил жить в своем доме – аж две комнаты пообещал ей! Она спросила уютно и долго гладила красивую кофточку. Как легко вас купить, Симона!..

Судя по описанию мелким шрифтом, фотографию сделал один из братьев Алинари приблизительно в 1900 году: худошавый человек (вид со спины) неопределенного возраста взбирается по узкой и довольно крутой лесенке, вьющейся вокруг толстой колонны башни Палаццо Веккьо. *Я почему-то подумала, что это твой Джойс...*

Наверное, это мелочь, ерунда, но мне кажется, что это важно, – именно это: *твой Джойс*. Сразу понятно, что она обо мне думает. Что *они* обо мне думают. Сразу ясно, кто я такой. В какого фрика я превратился. Болезненным усилием (до судороги) накручиваю в себе эту пружину. И других подле меня заставляю вращаться. Годами. Десятками лет – теньканье, как в шкатулке.

О, я вижу эту шкатулку!

(Я поднялся к себе, бросил открытку на стол, сам растянулся на кушетке и лежу с закрытыми глазами.)

Тринь-тинь-тинь нарастает, спиралька кружится, вьется – и замерзает, покрываются инеем колесики...

Никакая это не шкатулка, а обыкновенная деревянная коробка, швы – трещины – проёмы. На крышке что-то написано... напрягаем внутреннее зрение... уродливые буквы: *objet petit A*.

Да, я так и думал! Продолжаем усердствовать и натягивать на физиономии кожу. Напрягаемся и смотрим вдаль, напуская на себя умный вид. Чтобы куколочки вращались, вращались, так им, так, задайка им жару, еще оборот!

Мы сошлись с Симоной только потому, что я стал избегать австрийскую поэтессу, которую я прозвал Мадам Телепат. Встречаемся за завтраком, она меня читает: «Вижу, у вас дурное настроение. Плохо спали?»; возвращаемся с репетиции (ставят спектакль по роману Жака «Тримальхион»): «Вижу, вам не понравилось... Что

поделать, у него всё вот так». После ужина сидим на террасе за бутылкой вина, ей непременно надо поговорить о политике: провоцирует – молчу.

Наконец-то все разъехались. Симона прислала открытку, но через неделю она меня забудет, всплывет пару раз в Фейсбуке, поставит like – и пропадет, ее унесут волны мишуры, и слава Богу!

Тринь тинь-тинь  
Тинь-тинь тринь

Они вращаются, отражаясь в крохотном зеркальце моего убогого, на коробочку похожего сознания. Шлют idiotские открытки, будто состязаясь со мной в глупости. Пишут стихи. И пусть пишут! Я буду писать свои. Издеваясь над собой и другими. Искривляя представления о себе и действительности. *Твой Джойс.*

Хотя откуда нам знать, что следует считать *важным!* Что я о себе знаю? Человек себе врет. Я – человек. Ergo. Готов умышленно исказить правду, чтобы оправдать свою логику. И далее (по памяти): оглянитесь кругом! Кровь рекою льется, как шампанское. Вот вам наш хваленый двадцать первый век! В котором... Тут каждый выберет своего «Бокля». Говорить о нашей цивилизации смысла нет. Варвар торжествует, – это всё, что ты, читатель, должен о нас знать. Светает здесь рано, но долго нет солнца, за окном стоит синь, густеет серость. От озера тянется белесая дымка, тонкая, как фата. Вдруг в одно мгновение дымка рвется – солнечные лезвия сразу повсюду, и нет от лучей спасения. Заворачиваюсь в плед, прячусь. Лучше бы написала: *почему-то подумала о тебе...*

Дом стоит на холме, обнесенный, как оградой, редким сухоньким леском, сквозь который с французской стороны подглядывает озеро. Дом Евгения Петровича недалеко от границы, минут двадцать пешком, озеро лежит в низине, до него долго спускаться с холма, но когда смотришь на него сквозь деревья, то кажется, будто вода совсем рядом; и даже если не смотришь, а шагаешь по музейной тропинке вдоль леса, забыв об озере, его проблески не оставляют тебя, в ветреную погоду и того хуже: ты ложишься спать и в темноте слышишь волны – как бывает, когда весь день был на море.

Солнце изливает тоску и тревогу. Свет вливается сквозь большие окна; лучи скользят по оранжевым стеклам; нащупав скол битого витража, луч рассеивается, осыпает теплицу дисперсией. Постояльцы виллы часто говорят, что им снятся дурные сны; им кажется, будто за ними что-то наблюдает.

Жак родился и вырос в Риге, учился в Питере – *но север вреден для меня.* Он проживал в разных городах, ни в один не вращая. В

некоторые города он влился (его слово), проживая как бы на разных витках спирали – так, по его словам, в Риге ему удалось прожить несколько разных жизней: одна ползла, словно он долго взбирался в гору, другая была пунктирная, она состояла из толчков – безуспешных попыток понять отца и брата; и третья жизнь – быстрая, насыщенная, музыкальная – мелькала, как съемка из машины в фильме «Менильмонтан».

Солнечный человек, седой, немного бородатый. Еще до смерти жены я обнаруживал в нем какую-то ранимость; потому, видимо, что человек он хрупкий и свою хрупкость сознающий, не всем и не сразу открывается. У него что-то со здоровьем. Скорей всего, мнительность. Ипохондрик, конечно. Всегда пытается пить меньше, курить меньше, есть меньше... Такое планомерное урезание себя: занимать меньше места в пространстве. Меньше бывать на людях. Сказать как можно меньше. А лучше держать язык на замке, в наше-то время. Три бокала красного – вечером, в оранжерее, при свете свечей. Бриз, шуршание листьев... Может быть, воображает себя маститым писателем старой школы. Нет, скорей всего, нет – я чувствую, когда человек повернут ко мне своей искусственной стороной. Да, он довольно сделанный – все эти костюмы, бабочки, платки... Допускаю, что гардероб был продуман и собран Сильвией, его покойной женой. («Кем бы я был, если бы не она?..») Но это не раздражает, а скорее умиляет. Он подустал и не боится показаться нелепым. Плохо бредется. Неловок.

«Совсем недавно было и того хуже...» (Это шепчет его невестка – мы в оранжерее, я стою на стремянке, меняю треснувшее стекло, накладываю замазку.) «Он совсем не ел... После смерти Сильвии он был *никакой*. Не говорил, не ел, ни на что не реагировал... Сейчас уже получше стал...»

*Получше...* Чихвостил Уильяма Кентриджа и в хвост и в гриву! Мы ходили смотреть его инсталляцию «Слаще играйте танец», которой отдали большущий зал в центральном музее и на каждом столбе рекламировали. Я был поражен: из экрана в экран сажей вымазанные силуэты переходят, влача на себе клетки, памятники и флаги, дрыгающих конечностями скелетов и выступающих политиков, силуэты сеют листовки, жнут смерть, пьют черное молоко и тянут капельницы, а за ними браво шагает оркестр. И всё это шестистое на восьми огромных экранах! Я не мог оторваться. Он меня рассолкал и повел пить кофе, по пути разгорячился: *Ну и где тут Целан?..* – Целана ему, видите ли, не хватило.

Дурная походка, ковыляет (наверное, подагра). Назвать человеком аккуратным его никак нельзя. Говорит отрывисто, иногда не проговаривая слова до конца. Ничего не изучает, просто копается в случайно подвернувшихся документах, читает много и беспорядочно. У него нет идолов, нет икон и полки, похожей на Олимп, тоже нет. В его блокнотах нет редких слов – он не за словами и выражениями охотится,

выписывает кусками, много просто странных кусочков; вот он забыл листок на полу, я его поднял и к себе утащил, вертел, пытаясь понять, к чему это? Но вскоре понял, что это записка к работе над романом «Госпожа Безобразова» (См. записку № 1)

### Записка № 1.

1. – *сторона первая*: ...Пьер, Пьеро, Перроке, Ке-ке... шкафы, узкая настенная витрина с полочками, витрина вертикальная с подсветкой (светодиодные светильники, 75 Вт), стекло толщиной 8 мм, полки (регулируемые по высоте) прозрачные толщиной 8 мм, дверцы распашные (без замка). Витрина с колпаком: тумба (500x300 мм), колпак (закаленный триплекс, 8-9 мм), выдвигающая панель, макет дома, карта парковых дорожек (1899 г.). Каталог: мумия кошки, копье с оперением, клык. «Головин и Герцен называют себя головою и сердцем России! Эти два мерзавца начали издавать в Нице журнал. В введении № 1-го они выражаются так: ‘Голова и сердце России Головин и Герцен, избегая преследований их правительства, прибыли в Ницу’. Было ли бы что на свете глупее России, если бы у нея была голова Головина, и было ли бы что на свете подлее России, если бы у нея было сердце Герцена?» Из дневника Л. В. Дубельта. 25 октября 1851 г.

Париж, потолки в комнатах высокие, книжные шкафы под самый потолок, в коридорах – сводчатые, много комнат: электричество не во всех комнатах. 1895 год. Попугай летает, от взмахов крыльев слетает пыль со шкафов, комя пыли, нити, облака серой пыли. За ним бегают горничная, машет платком, чихает, попугай от нее вылетает в открытое окно. Облетев дом, он залетел в другое окно – соседи его вернули Мсье Ле Серфу... Так он познакомился с Мсье NN, который посещал знаменитых ученых и писателей, увлекался спиритизмом, он-то и рассказал Мсье Ле Серфу о русской спиритке Мадам де Безобразов.

2. – *на другой стороне*: бабка: Анна Фёдоровна Орлова (Ярославова – при рождении: её мать была на то время женой полк. Ярославова). Высочайшим указом Екатерины II от 27.4.1796 ей, вместе с остальными внебрачными детьми графа Федора Орлова, разрешено принять его фамилию без графского титула. Умерла при родах. К. Я. Булгаков: «Граф Алексей Орлов возвратился из Вены не на радость. В день его приезда умерла сестра его, что была за Безобразовым, час после родов. Куча остается детей и муж в отчаянии». (Похоронена в Александро-Невской Лавре! А ведь я бывал. Эх, знал бы прикуп!.. Теперь не съездить.)

Зарисовок не встречается. В книгах нет вложенных травинок и открыток. Я люблю использовать в качестве закладок билеты, он их выбрасывает: *мусор бессмысленного прошлого*. В его музее марки и монеты из чужой коллекции, своих у него нет, поэтому я не знаю, как

он ориентируется в лабиринте своей жизни. Я считаю, что человек должен изучать лабиринт своей жизни; даже если он изучает чью-то жизнь, какого-нибудь художника, писателя, он должен через него, как сквозь цветное стеклышко, всматриваться в свою собственную судьбу, и начинать не с даты рождения, а с даты смерти: гораздо важней, по-моему, когда человек нырнул в небытие, нежели когда он родился. Кто-то может возразить: дескать, что мне, живому, толку от даты чужой смерти? – А вы всмотритесь в законченную жизнь другого человека, представьте, что завтра умрете и сопоставьте узоры! Так, например, я с запозданием осознал, что моя мать родилась в один день с Габриэль Витткоп, – 27 мая; правда, с разницей в тридцать лет, и всё же мне это многое объяснило – и ножи, и цепь под диваном, и многое другое; мама тоже стремилась уйти из жизни самостоятельно, но я, как порядочный идиот, совестливый кретин, помешал ей, конечно, продлив ее агонию на целых десять месяцев, а если бы не помешал, она бы сделала мне к дню рождения хорошенький подарочек. Мама часто себя называла «тигром, рожденным днем».

Кабинет Евгения Петровича под моим чердаком: скрип половиц, вздохи... Его динамика настраивает меня на путешествие: лежу, слушаю его шаги и почему-то чувствую себя, как в поезде. Кашлянул – и мне невольно хочется прочистить горло. Пошел запах сигаретного дыма – я тоже потянулся к трубке. Закурил, пошел дальше, отверг предложение пустой и удивительно белой скамейки: нет, похожу, пока ноги носят. Да потому что я в парке! Сажу на следующей, записываю:

Дом тоже изменился. С тех пор как въехал с семьей его сын, в доме ремонт не прекращается и, думаю, никогда не прекратится, потому что сын его – человек хлопотливый – без усталости стучит и сверлит, и швейцарский дом на глазах становится русским: везде помарки, недоделки, штрихи самостоятельного копания, и, сдвигая кран в сторону красной отметки, руки ловят холодную воду, к чему привыкнуть невозможно, а указать на это неловко. Удивительно, что сам Евгений Петрович ни разу словом не обмолвился. Видимо, ему нет дела до таких пустяков.

Война не собирается заканчиваться, переходит из одной фуги в другую, будто затягивая петли. В новостях одно и то же – *возбудили уголовное дело, осудили, приговорили, скончался, убит...* Это наш русский нарратив. Как не взвыть! Русская граница гадает на кофейной гуще, как по Булгакову, даже неловко за них... сорятся, лаются, лопаются от важности... что-то делят, подсчитывают километры и лайки... Куда бы ни поехал русский человек, всюду ему тесно... А не думал он, что другим рядом с ним тоже тесно?! Как писать на родном языке, если он становится всё больше и больше чужим! Он был для меня яйцом с толстой скорлупой. Вылезти из него, родиться в чужую шкуру... Нет, поздно перерождаться. Нет смысла прятаться: достанут и сожрут, как устрицу, опишут послевкусие.

*Обещай, что будешь жить! Живи за меня тоже... За меня...*

Я думал, мы будем долго жить вместе...

Doing the garden, digging the weeds...

Я здесь стал другим человеком – я стал Жаком. Я осторожно себя сочинял. Позволяя надо мной трудиться другим, слетались они, будто пчелы, осматривали меня, что-то советовали их взгляды, что-то высматривали внимательные глаза, и как-то настраивались мои струны, голос становился созвучным их голосам, движения делались плавными; цвет, свет, движение воздуха – я стал воспринимать иначе... и во всем стал другим. Приноровился. А началось с шутки и, пожалуй, с неприязни к собственному имени. Птичка пропела: Frère Jacques, Frère Jacques. Жак – простак, курит табак. Где Жак? Ушел в кабак. Посмеялись, так и пошло... Жак носит морской бушлат с большими блестящими пуговицами и смешную кепи с помпоном, люди веселятся. Здесь легко принимают шутовство, это своего рода ступенька к мудрости. Жак посещает барахолку и фермерский рынок, собрал небольшой музейчик, обстругал и отполировал ящики, покрыл лаком, вставил несвежие стекла, внутри каждого ящика какой-нибудь экспонат: письма Мсье Ле Серфа, старинные открытки, фотокарточки: триплан Безобразова (1914 г.), три российские императорские марки, две большие монеты с профилем Николая Второго; патрон и пистолет М1911, приведенный в негодность в полицейском участке, рукоять пистолета залита плексигласовым стеклом, под которым фотокарточка киноактрисы в купальном костюме; на стенах висят рапиры, картины местного художника, карта Маньчжурии (середина 19 века), португез, планшет, ремень и многое другое. Так я оборудовал гостиную, таков Жак. Сам себе удивляюсь.

Жак любит старые фильмы. Слушает старую музыку. Сильвия нашла переводчицу, его роман ей понравился, перевела и с тех пор переводит только Жака. Часто бывает у них в гостях, дома у них ей тоже нравится. «Им удалось остановить время», – шепчет она и смотрит на меня большими глазами. Несмотря на то, что *Сильвия покинула нас*, переводчица по-прежнему говорит о Жаке и Сильвии во множественном числе и только в настоящем. В начале века у них старинные проигрыватели и видеомагнитофон, от которого они не торопятся избавляться. Они путешествуют, приобретают видеокассеты и пластинки. Сильвия знакомится с режиссером, дарит ему книгу Жака, приглашает его в дом, они пьют коньяк и смотрят старые киноленты, снятые отцом Сильвии. Вскоре в местном театре с успехом проходит первая постановка по его роману.

\* \* \*

Но я буду говорить о его последнем романе. Тримальхион (мелкий конторский служащий) пробуждается на неизвестном острове, отрезанном от остального мира непрекращающимися тайфунами и

прочими чрезвычайными погодными условиями. Всё это, однако, нимало не беспокоит жителей острова – им не нужен остальной мир, они поглощены своей жизнью, непохожей на современную жизнь ни одного другого государства в мире, будь то западное или восточное, атлантическое или тихоокеанское. Островитяне заняты соблюдением сложных и весьма уникальных ритуалов, описанию которых автор уделяет очень много страниц (по-моему, это самый сложный роман Евгения Петровича). Повествование стилизовано под древних летописцев и хроникеров, свободно сменяющих друг друга. Так как я не отличу Манефона от Малалалы, тонкости этой игры от меня ускользают (*См. записку № 2*).

Записка № 2:

Я выразил свои опасения, ЕП сказал, что его это не беспокоит, он не собирается его издавать на рус. «Какая разница теперь-то? – сказал он. – Стараниями Пу нас всех отправят в утиль, всех до одного. И нашу классику. И современников. Наши русские рыла будут вызывать у всех отторжение. Так нагадить! Так нагадить всему миру! Ничего другого мы не заслуживаем. Всех к чертовой бабушке! За исключением пьес Чехова. Их по привычке будут ставить, я уверен. Вот был гений!» И добавил негромко: «Если кто-то выживет вообще».

Тримальхион легко входит в новую роль. Вкушая абсолютную власть, забывает свое прежнее серое существование, с удовольствием становится тем, кого в нем хотят видеть его министры. У него много забот – многих надо казнить, много восстаний подавить, бунтовщиков поймать и судить. Казнь – одно из главных массовых развлечений жителей острова, поэтому Тримальхион, которому намекают, что его предшественник не был достаточно изобретательным в этой области и сам оказался на плахе, не ленится, напрягает воображение, входит во вкус и проявляет себя новатором. Автор дает скупой перечень нововведенных казней, каждой сопутствует короткое техническое описание (в скобках инструментарий); однако, столь скупой поданный список зверств всё же устрашает, так и хочется воскликнуть: какими злодеями должны быть эти островитяне! Роман короткий, около двухсот страниц, состоит из двух неравных частей. Первую мы пересказали; вторая часть – что-то около тридцати страниц – посвящена преследованию Энколпия, ничем не выдающегося и со всех сторон законопослушного гражданина острова. Кто такой Энколпий и почему его преследует Тримальхион, автор не поясняет. Я предполагаю, что Энколпий чем-то напоминал Тримальхиону его самого в прошлой жизни: он тоже был невзрачным, тихим, законопослушным. Сделав Энколпия мишенью своей мании, Тримальхион тратит на его преследование огромное количество служащих, все его мысли заня-

ты им, он опрометчиво забывает о взыскательном народе, ждущем новых публичных истязаний. Развязка внезапна: разъяренные массы штурмуют замок, царя убивают. Тримальхион пробуждается в прежней жизни и возобновляет свое посредственное существование.

Последняя часть мне чем-то отдаленно напомнила «Приглашение на казнь». Евгений Петрович признался, что его вдохновляли Набоков и Кальдерон. Я не удержался от ненужного замечания, что «Приглашение на казнь» вырастает из 12-й главы «Улисса». Евгений Петрович удивился (он не читал Джойса вообще – признался легко, несколько не стесняясь); он полагал, что Набоков почерпнул историю с казнью из «Тайн эшафота». Я, в свою очередь, признался, что никогда не слышал об этом рассказе и авторе (*См. записку № 3*).

### Записка № 3:

1. «Тайны эшафота», рассказ Огюста де Вилье де Лиль-Адана. «*Mon heure est-elle fixée?*» – спрашивает приговоренный. Знаменитый хирург расписывает устройство гильотины во всех подробностях, расхваливает ее, как рекламный агент, торгующий гильотинами, и предлагает смертнику поучаствовать в эксперименте (и послужить медицине): чтобы установить, работает ли мозг после отсечения головы, сохраняет ли умирающий свою волю, он просит приговоренного подать ему сигнал (подмигнуть одним глазом) уже после того, как стальной нож отрежет ему голову. Казнили почему-то ночью; волосы от предсмертного пострига не поседели (*phénomène des cheveux blanchissant à vue d'œil sous les ciseaux*), от водки приговоренный отказался; в большом саду собралось много зрителей, некоторые пили шампанское на крышах трактиров; в ночном небе там и тут метались ласточки; в момент перед самым отсечением возникла безмолвная театральная пауза, и вдруг кто-то наступил на сучок, и послышался издевательский смех.

2. К 12-й гл. «Улисса», прежде озагл. «Циклопы»: я имел в виду вымышленное письмо старого обидчика Джойса («*The English Players Incident*»), британского посла в Швейцарии, сэра Горация Рамбольда, которого Джойс выставляет изощренным затейником, упражняющимся в искусстве повешения и организации сопутствующих казни торжеств, – в баре Кирнена письмо Рамбольда зачитывает Джо Хайнс.

Режиссер доволен: эпохальная работа, монументальный труд! С актером, который неизменно играет главного героя (всегда на двадцать лет моложе самого автора, каким он себя и видит изнутри: энергичным, подвижным, готовым вгрызаться в роман), Жак регулярно встречается. На площадке возле Утинога пруда стоит кофейный аппарат и две скамейки. Жак берет капучино. Актер – эспрессо. Садимся, пьем кофе, курим, беседуем. Утки крикают, камыш шуршит.

Не знаю, кому из нас это нужно – ему или мне? Ни ему, ни мне. Не знаю, к чему эти встречи, но мы их разыгрываем, это наш маленький ритуал. Жак любит ритуалы. Он из них сшит. Знаю ли я себя? Вряд ли. Если б встретил в образе прохожего, не узнал бы и прошел мимо. Актер как будто понимает, с прищуром курит и присматривается, кивает. Пятая постановка – он должен всё знать и понимать, но он всматривается в Евгения Петровича так, словно впервые его встретил, впервые вникает, впервые пропитывается его словами, взглядами, движениями. Люди меняются с годами... Подлинная жизнь – ее необходимо уловить в этом изменении, сама текучесть проявляется в переходе от твоей привычки к чему-то новому, что станет новой рутинной. А в это время мимо несут реквизит и декорации: проехал с урчанием автофургон, скрипнули ворота, звякнула цепь... Не замечать этого нельзя. Несется молодежь на электросамокатах: посторонись! А в моей комнате – влажный шепот листвы, запекшийся ликер на рюмке... Пыль вчерашней жизни, война не отпускает, тени густеют, давят... Актер слушает, его лицо мрачнеет, под глазами появляются тени, его суставы теряют гибкость. Стряхнув с брюк песчинки, встает и уходит, неся на спине крапчатую листовенную тень, вот и нет его. И словно голый, без стены, без перегородки, Жак не спит, ворочается, прислушивается: шепот, и фигура во мраке растет... Он включает настольную лампу, сам себя бранит, закуривает сигарету, крошит гашиш: покурю и усну... Птица от его возни за окном просыпается, чирикает. Жак негромко включает пластинку. Сумерничает... Утром он себя плохо чувствует; от бессонницы какой-то расхристанный, и чувство, будто одной стены нет, так и не отпускает. Впрочем, я всегда был немного разболтанным, а теперь и говорить нечего: ржавые болты да гайки, клапан ослаб, сосуд помутнел, змеевик засорился. Жак ходит по одним и тем же улочкам: это был ее город, она здесь родилась, я вижу ее призрак – и в стеклах кафе, и в креслах театра, не раз я замечал ее силуэт в трамвае. Она была и будет феей этого города; она здесь родилась, в семь лет ее увезли, они много переезжали... «Мама с папой ссорились. Мама брала меня и везла куда-нибудь. Она сама не знала, куда мы ехали! Иногда мы не уезжали... а оставались в каком-нибудь отеле, или в загородном домике у маминой знакомой. Мы ехали с ней на трамвае, мама была в отчаянии, она всё время смотрела в сторону от меня, задыхаясь от слез и возмущения. Вокзал был ближе и ближе... Я не хотела никуда ехать, папа был ласков со мной, но вокзал приближался, и я понимала, что сейчас мы сядем и поедем. И ничего не говорила, молча ехала, как кукла в ее руках, в ее власти. Я привыкала жить в других городах, меняла личности», – так она говорила: меняя стиль жизни, меняешь и личность. Менял ли я личности, когда переезжал? Переезжал часто, ни под кого не гнул, под города я не подстраивался – я всегда знал, что город меня захочет очаровать, а люди – в чем-нибудь убедить, в их уникальности, непо-

вторимости, в их превосходстве... хотя на самом деле они всюду одни и те же – люди... Упрямый, гордый – мать меня ругала, сердилась, польских кровей; отец – по отцу – русский, по матери – латыши: особый курляндский акцент; за всю жизнь не прочитал ни одной книги; соленья, маринованные грибочки, бесконечное советское застолье. Пошлый, поверхностный человек, но – умел склонить на свою сторону, разжалобить и заставить себя полюбить. Ленивый, сонливый, медленный, но – получил медаль «За Трудовое Отличие» (из чистого серебра, – серп и молот, а также надпись, покрыты были темно-красной эмалью, «ТРУД В СССР – ДЕЛО ЧЕСТИ» – на обратной стороне). Он чистил ее перед праздниками, чтобы блестела, надевал на лацкан с левой стороны, громко сообщая, почему именно с левой стороны надо носить «трудовые награды». Пиджак он носил дешевый, но из хорошего крепкого материала, разве что цвет был у него светло-коричневый, отталкивающий. Шляпа у него была редкая, импортная, кто-то ему в подарок привез, ни у кого такой не было, все это подмечали. Шляпа, пиджак и прочая одежда отца висели в немецком шкафу, который он приобрел с рук и называл *трофейным*. Отец шляпу берег и носил редко, на демонстрацию в ней ходил обязательно. Демонстрация для него быстро заканчивалась: в ближайшем парке на скамейке, – про него говорили, что он даже выпить как следует ленился, быстро засыпал. Он никогда не наказывал меня, даже не сердился, не кричал, но был доподлинным начальником. Есть три вида тиранов: Ноздревы, Собакевичи и Порфирии Петровичи. С первыми двумя всё просто, они очевидны, неприятны, но не опасны (если уметь подстроиться), а вот Порфирий Петрович – случай непростой, он добрым прикидывается, может казаться интересным (предложит в шахматы сыграть, что-нибудь процитирует), потому опасен. Он не станет ругать твою прическу или ссориться с тобой из-за одежды, он на разговор выведет, подыграет, уступит фигуру, заманит ферзя, обезглавит красиво, и ты сам сдашься. Кто сказал, что Порфирий Петрович – положительный персонаж? Мерзавец он, настоящий мерзавец! Я тогда начал писать и пробежки делать. Заметил, что полнею. Много ходил пешком, делал зарядку в парке, плавал в бассейне, отказывался от сладкого и вина, никакого пива. Очень обрадовался, заметив, что это работает! Кто-то мне даже позавидовал: ты можешь, а я никогда не смогу... Кто ж это был? Черт с ним! Я всё про него понял (что он – мой Порфирий Петрович), когда вернулся в Ригу и зажил с ними. Ох и потрепали они мне нервышки своими порядками, чистоплюи! Я спасался от них бегом... Бежишь, а сам думаешь, – проспекты в Риге длинные, бывает, такое надумаешь... или пишешь в уме, не замечаешь усталости; мимо машины, а тебе хоть бы что! Тогда же и стиль впервые осознанно менять в себе начал – тщательно до болезненности! Подбирал одежду, выработывал походку. Что-нибудь хотелось сделать с брюками или рубашками –

чтобы не выглядели так, как у других, чтобы были только моими, и чтоб всем это бросалось в глаза: вот идет оригинал! Ловил свои отражения, присматривался как держусь: прямо или сутулюсь? Как сложить руки? Закинуть ногу на ногу или нет? В какое кафе пойти, а в какое не пойти – только из вычурности. А стрижка! Обошел дюжину салонов, выбрал молоденькую парикмахершу – у нее журналы были иностранные. Просторно, светло и как-то строго. Я не спорил с ними – ни с братом, ни с отцом. Я знал, что уеду, поэтому ни с кем не сходил-ся, ни во что не вливался, никому ничего не обещал, не доказывал, спорить ненавижу.

Где-то далеко взвизгнул трамвай – я сразу представил, как он накренился и застонал, а потом блеснула звонкая молния отчаянной стали, и в воздухе всё стихло. Я стою на подоконнике моего окна (у нас были высокие потолки, толстые стены и вместительные подоконники, на которых стояло много цветов и всякая скапливалась всячина), смотрю вниз с четвертого этажа: машины, люди, парк – и бескрайнее небо над парком. Небо, в которое стремятся черепичные крыши, шпили, флюгеры, трубы, антенны. Мелькая за деревьями, несется трамвай, он едет по широкой и долгой улице Умерших – *Miera iela*, но сейчас он сблизится с нашей короткой прохладной улочкой, немного накренился и взвизгнет, это произойдет возле волшебного домика с часами, что стоит на углу нашего дома и главной улицы (так мы называли улицу Миера: «трамвайная улица», «парковая», «улица мертвых»), но в раннем детстве она мне запомнилась как «главная»), маленький сказочный домик – это старинная заколоченная аптека с большой вывеской «реставрация» (я еще не умею читать, за меня читает брат, и мы долго называли этот домик «реставрацией»); мы ходим к нему смотреть время, мне – четыре, ему – одиннадцать, мы смотрим на старинные круглые часы, произносим время вслух: мой брат – торжественно, будто что-то объявляя, а я без всякого понимания. Идем в парк. Но сначала пропускаем трамвай. Вот он – подъезжает, притормаживает. Забыть его невозможно. Кажется, я вижу самих пассажиров, могу вспомнить и каждого водителя! Я смотрю с подоконника, прижимаясь к стеклу. Мимо волшебного домика трамвай идет значительно медленней, его серая крыша местами посыпана каштановыми и кленовыми листьями, будто украсили к празднику.

Хлопотливые бабушкины руки хватают меня – и вот я лечу, я в воздухе! Бабушка ставит меня на пол, кряхтит и грозит желтым морщинистым пальцем, я вижу ее бледным туманом затянутые глаза.

На подоконник забираться не разрешалось; но снизу смотреть в окно было скучно – едва ли видны были верхушки старых каштанов, птицы, облака и редкий самолет перечеркнет белой ниточкой небо... Бабушке шел восьмой десяток, она частенько заговаривалась, рассказывая сказку, перескакивала на события своей жизни, перепутав прошлое и настоящее (совсем как я в эти дни), она выскальзывала в свою

Ригу, довоенную и веселую, в годы молодости и счастья, и тогда она говорила, какой же была она счастливой, как была хороша Рига, как было хорошо... спохватившись, плела абракадабру, смешивая воззвания со стихами Маяковского, быстро утомлялась, напор ее ослабевал, она отсаживалась от меня, садилась в свое скрипучее кресло, устраивалась и, всё еще тяжело вздыхая и молитвенно восхваляя Ленина, закатывала глаза, впадая в дрему...

Как только она засыпала, я устремлял мой взгляд в окно, на подоконнике в массивном горшке росло колючее алоэ.

Окна нашей квартиры выходили на обе стороны – на переулочек и во двор, где стояла водокачка, летом приезжали машины, большую желтую цистерну наполняли водой, толстая белая струя хлестала так, что страшно было смотреть.

Брат носил черный галстук, часто ходил нараспашку. Когда он снимал рубашку, под ней были мускулы, которыми он любовался перед зеркалом в большом платяном шкафу. С собой он всегда водил двух товарищей – толстого коротышку и неуклюжего дылду. Первый много говорил, спешил и неясно проговаривал слова, как маленький, но все его считали очень умным и вслух называли *ученым*. Второй говорил мало, невнятно и шмыгал носом, его считали большим, он носил здоровенные ботинки для взрослых. Они запирались и играли в машинки. У брата была железная дорога, городок с жителями, башня с часами и магазин. Мне разрешалось играть в магазин, потому что это была игра для девочек, все прочие игрушки я трогать не имел права. Я знал, что брат скоро повзрослеет и дорога достанется мне. Но брат подарил ее младшему брату дылды, я поиграл в нее всего раз, и то не знаю, можно ли сказать, что я играл? Новый владелец дороги придумал свои правила, не разрешал мне трогать паровоз, пассажирские вагоны, шлагбаум и город, он дал мне два старых вагончика с углем и обломок путей, я тихонько возил уголь и смотрел, как он играет.

Мы жили в незначительном переулочке, в ряду больших и маленьких красиво расписанных сильно сплюснутых домов, на которых снисходительно лежала тень большого нового здания; в нем шла новая жизнь, строгая и значительная, его двери часто открывались и грохали, окна включались и выключались, я видел людей, они стояли перед чертежными досками (которые я называл «чертильными»), сидели за столами, говорили по телефону, спорили, пили чай или кофе, глядя на доску и чертежи, расстеленные на столах; они стояли и разводили руками, кто-то хватал свою голову и держал ее так, будто боялся, что она укатится. Пospорив, они расходились, свет гас. Помню большой макет, вокруг которого было много хождений и споров. Макет долго собирали, обступив, рассматривали, приезжали люди в строгих пиджаках и, тоже обхватив свои лица, что-то важно говорили. А однажды приехали и всех поздравили, все обнимались,

целовались, пили из бокалов вино. Постичь, чем там занимались, я был не в состоянии. Только первый этаж этого огромного здания мне был понятен – кафе с нарисованным на витрине рогаляком и чашкой, швейная мастерская с бесполоыми манекенами без рук, ног и головы; и фотографическое ателье (вход с торца) – в него мы заходили, мне там нравилось, но всякий раз длилось недолго. Новое здание: холодные, мраморные стены, массивное крыльцо в семь ступеней – оно было каким-то безжизненным! Наш дом обладал личностью, его фасад выделялся потертой охряной шкурой с большим пегим пятном с прожелтью и разводами, формой напоминавшим тигра (наверно, я один этого тигра видел). Отчетливо помню дату, стоявшую внутри фронтона: «1913». Три подъезда – словно три лица. Пилястры по обе стороны каждой двери, но каждая дверь была со своей ручкой. Крайний подъезд был немного грустный или хмурый, наш подъезд слегка легкомысленный, а средний важно ухмылялся, портик у него был выдающийся – чуть больше, чем портики других подъездов, он напоминал вздернутую губу, а правая пилястра слегка обтрепалась, – так получалась ухмылка. И этой ухмылке соответствовал своей надменностью старший мальчик, проживавший в этом среднем подъезде. Высокий и неразговорчивый, ходил он с задранной носом и как-то смотрел странно, почти не поднимая век. Во двор он являлся, неся под мышкой настоящий футбольный мяч, на ногах носил гетры, у него была красивая спортивная обувь, иногда выходил в майке с номером «четыре» и в синих трусах с полоской. Играл он исключительно один – жонглировал, записывая на стене камнем свои результаты. Я над ним тихонько посмеивался, потому что он выглядел как-то глупо, движения у него были порывистые, зажатые, он ходил дятлом и стучал, стучал, иногда бил коленкой, иногда мяч отлетал в сторону, тогда он судорожно подключал другую ногу, при этом он закусывал губу и растопыривал некрасиво пальцы, то выпуская веер, то поджимая их. Однажды я от нечего делать считал: он долго стучал, как заводной, зашло за сто пятьдесят, после чего я сбился и потом, когда он ушел, из любопытства посмотрел результат на стене: триста семьдесят восемь! Больше я за ним не следил и не подходил к стене, слышал, как он стучит и шаркает, видел, что появлялись новые записи на стене, но не интересовался. Как-то футбольная команда нашей школы выбилась в какой-то финал – не то районный, не то в финал за кубок города – и нас повели на настоящий стадион смотреть матч, и я увидел моего соседа, он играл против нас, о чем я сразу сообщил мальчишкам нашего класса, не без гордости и легкого испуга за наших. Ерунда, сказали мне, жонглирование ничего общего с настоящей игрой не имеет – мы выиграем! Но мы проиграли. Мой сосед забил первый гол. Это был красивый неожиданный мяч издали. Он играл в обороне, первое время я думал, что он совершенно ничего не делает, я следил за тем, как он ходит, горделиво задрал нос, и даже стал

про себя над ним посмеиваться, но вдруг мяч откатился к нему, и он, подправив его, неожиданно пробил! Сильно вертясь, мяч полетел по кошмарной дуге, – казалось, что он летел мимо, наверное, наш вратарь тоже так подумал, потому что не сдвинулся с места, он всего-то следил за его полетом. Мяч облетел вратаря, клюнул и спокойно ввинтился в дальний угол ворот. Все игроки команды соперника поздравляли моего соседа, и я испытал внезапный укол зависти и гордости за него, очень смешанное чувство поднялось откуда-то из глубины, я как будто знал и понимал его, мне даже захотелось ему что-нибудь крикнуть, чтобы он заметил меня. Наши мальчишки загудели разочарованно, но тут же приободрились и сказали, что это была случайность, мяч ударился о кочку, он летел мимо, и продолжали невопад кричать «шайбу! шайбу!», «судью на мыло!» и тому подобное. Никто из нас футбол не смотрел и не понимал правил, но мы в этом друг другу не признавались. Вслед за первым голом наша команда пропустила еще пять или шесть, все перестали следить за игрой, я смотрел на девочек из другой школы, они были счастливые и веселые, и они мне казались намного интересней наших.

Когда я ложился спать, я смотрел в окно, в слабом свете фонарей плыли облака, гремели колеса, будто переваливаясь (недалеко от нас был железнодорожный мост, поезда по нему ходили медленно), и мне в полудреме виделось, будто дом наш пришел в движение, шагает, переступая через небольшие домики, заборы, трамваи, вставшие на ночь в депо, идет к реке, чтобы взять лодку и пустить ее по воде...

В парке было много интересного: на тропинках играли дети, и они казались совсем не такими замарашками и злыми, как те, что были у нас во дворе; катались на велосипеде, журчал фонтан, на дне блестели монетки... одна, две, три... *А там, смотри, какое созвездие!*.. Однажды мы видели, как снимали кино, собралось много народу, просили не беспокоить, ходила озабоченная женщина в больших очках и, взмахивая листками бумаги, просила собравшихся смотреть молча, вздыхала и тянула себя за шарф. На ней был необычный плащ, который мне показался мужским, я почему-то предположил, что она военная, брат надо мной посмеялся и сказал, что она режиссер.

Парочка шла, он – в бежевом пальто и шляпе (чем-то схожий с Аленом Делоном), она – распущенные волосы, платье и платок на плечах, платье сиреневого цвета (хотя какая разница, в те дни у нас был черно-белый телевизор). Оператор и громоздкая кинокамера помещались на передвижной подставке с широкими колесами (для картинга, сказал брат со знанием дела), колеса немного спустили и хлюпали; оператор сидел на маленьком потертом стульчике, ножки которого были находчиво прикручены к подставке проволокой и темно-синей изолентой; коричневые брюки оператора были коротковаты, на поясице пузырьком торчала желтая рубашка. Растрепанная женщина с тяжелыми кругами под глазами нервничала, отгоняла

собаку. Перед каждым дублем зачем-то щелкали дощечкой с номером и кричали: «Мотор!» Парочка шла по аллее, подставку с оператором катили за ними. Оператор шурился, горбился, его рот приоткрывался. Повторили несколько раз. Люди, изображавшие случайных прохожих, непринужденно шли мимо, но не уходили, оставались, а потом, когда делали новый дубль, они возвращались на свое прежнее место и по команде снова шли. Потом всё повторилось в обратном направлении.

Я до сих пор не знаю, что это был за фильм, а посмотрел я много – и всякий раз, когда на экране появлялась парковая аллея, мне казалось: вот сейчас я наконец-то узнаю...

Шел семидесятый год, наверное. Чтобы запомнить дату, представлял ее написанной на двадцатикопеечной монете. Листья падали, перечеркивая аллею. Летели, заштриховывая парк. Падали на шляпу киноактеру, который неохотно стягивал плащ, чтобы вернуть костюмеру, курил сигарету, переобувался. Листья падали на тележку оператора, небольшой автобус с задернутыми окнами. Листья летели над фонтанчиком, завивались в воде, падали на крышу трамвая и сказочный домик с табличкой «реконструкция», они падали на случайных прохожих и скамейки. На одной из скамеек в эфирных клубах сигаретного дыма сидит человек, у него стеклянный бездонный взгляд, какой бывает у голодающего. Этот человек – я. Шум в голове и ветер в карманах. Легкомысленный и больной. Смятый горем прохожий. Сажу в парке, сигарета погасла. Льдины воспоминаний ломаются, уплывают. На музейной тропинке солнечный луч включает лужи.

## 3

Он слушает Стравинского, Шопена, Гласса, Ватадзуми Досо Роси. Иногда включает оперу. Его выбор меня полностью удовлетворяет. Я даже слышу, как он читает вслух; сказать, что именно он читает, я не могу, но знаю, что много лет Жак перечитывает Мандельштама. Иногда мне кажется, что я начинаю понимать: то, что я сейчас говорю, говорю не я, а вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы. Одни на монетах изображают льва, другие – голову. Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки с одинаковой почестью лежат в земле; век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы. *Время срезает меня, как монету. И мне уж не хватает меня самого...*

На его столе я видел томик Шестова и подумал: это его гений. Спросил, он пожал плечами:

– Это так, случайно, я и не читаю его почти. Я помню, как меня поразил Бердяев. Открыл книгу – и меня шарахнуло, как молнией. Мы с ним очень похожи, я читал и себя в нем видел, мне даже страшно сделалось: как же так может быть! И я тоже – судорожный, вспльчивый и противоречивый. И перестал его читать, не стал увлекаться, –

меня всегда пугают авторы, в орбиту которых попадая, меня несет, и я словно теряю себя, растворяюсь в другом. Мне это не нравится.

(Но я не очень поверил.)

Перед отбытием на фестиваль они прогоняли «Г-жу Безобразову» два раза, я оба раза ходил, спектакль поставили около пяти лет назад, роман был написан и того раньше, так что мне повезло, я видел спектакль и читал роман: его напечатали в переводе на немецкий; так как по-немецки я не читаю, Евгений Петрович великодушно дал мне рукопись. Я поинтересовался, почему он не издал его в оригинале, и тогда впервые услышал, что он ни разу никому ничего не предлагал и не показывал, никогда не вступал в контакт ни с одним русским издателем и не отправлял свои рассказы в русские журналы:

– Духу не хватило, наверное...

Жак-скелет, семь бед в обед. Жак с сигаретой. Жак с газетой. Жак – мудака. Засунул в жопу кулак. Жак. Жак. Жак!

Frère Jacques, Frère Jacques  
Dormez-vous? Dormez-vous?  
Ppilleccopichiu!..  
Ppilleccopichiu!.. pichiu... piu... piu!..

*Обещай, что будешь жить! Живи за меня тоже...*

Портреты и фотографии. Pierre-Gaëtan Leymarie: photographies spectrales; фотографии Бюге; портрет Ольги Безобразовой (Mme Olga de Bézobrazow). Первая парижская фотография с попугаем сделана в 1892 году: Франсуа Ле Серф, крепкий и жизнерадостный, на нем костюме путешественника, пенсне, старомодные английские гетры, в его руке журнал *La Revue*, в ногах саквояж; всем видом он дает понять, что готов отправиться в путь, даже кресло, в котором он сидит как на иголках, выставлено вперед, оставив за его спиной большой стол, заваленный бумагами; из-за плеча путешественника, выпуская свой длинный хохолок, выглядывает любопытный попугай, его клюв приоткрыт. «Обычный белый филиппинский *Sacatua*, меньше пятнадцати дюймов, но больше десяти, хохолок белый, клюв серый, оперение с желтоватым отливом, не больше двадцати лет, судя по кольцам вокруг глаз, они довольно светлые. Шельмец требовал за него невесту какие деньги, но как только я отвернулся, он срезал сумму втрое. Я согласился. Торговец остался доволен, потому что считал, что всё равно обманул меня. Брисбен, 15 ноября 1886, предгрозовая духота, около ста градусов по Фаренгейту». (Ф. Ле Серф, «Кожаная тетрадь: 1886–1887») Он провел в пути восемь лет, по возвращении многое во Франции было для него в новинку.

В Австралию Ле Серф прибыл в декабре 1885 года на корабле «Доранда». Подробный список вещей – карандашом – стерся настоль-

ко, что разобрать можно только «ружье», «компас», «сапоги»; отдельно (чернилами) список вещей, выданных Парижским географическим обществом: маркшейдерские инструменты, нивелир, шестидюймовый секстант, гироскоп Фуко, гидрометр Боме, термометр, aneroidный барометр. По пути на борту вспыхнула холера: первым заболел молодой иммигрант, прислуживающий пожилому инвалиду, у которого была диарея, старик поправился, молодой человек умер; по прибытии в Таунсвилл еще трое заболели, встали на карантин, один умер, его похоронили на Магнитном острове и отправились дальше. Умерло одиннадцать человек, похоронили в море. В Брисбене корабль поставили на карантин, всех пассажиров и команду отправили на остров Пил, где в отдаленном юго-восточном углу острова была большая постройка, позволившая разместиться офицерам, доктору и женщинам – в том числе и женщинам с детьми так называемого третьего класса – их отделили от мужей, всех остальных мужчин и команду разместили в палатках под открытым небом, где оставался и мсье Ле Серф, так как он купил билет из Лондона в Брисбен средней стоимости (£38), у него была своя каюта, но не лучшего качества. Он был единственный француз на борту, его знания английского оставляли желать лучшего, однако после этого путешествия он уже сносно писал по-английски. Жители палаточного городка развлекали себя песнями, рассказами и театральными самодеятельными постановками, ничуть не грустя; всего шесть человек умерло на карантине. В лагере мсье Ле Серф сошелся с британским ученым W., совершил с ним поездку на Соломоновы острова. На этом «Кожаная тетрадь за 1885 год» заканчивается. Соломоновым островам, по всей видимости, была посвящена отдельная тетрадка, но ее мы не нашли. Где-то между карантинном и экспедицией с мистером W. мсье Ле Серф прочитал сообщение о докладе в Парижском географическом обществе Виконта де Бретта о его путешествии в южную область Гран-Чако. Видимо, Ле Серф был так восхищен, что даже сохранил журнальную или газетную вырезку (источник неизвестен), вот она:

*С 16 в. ведутся поиски пути, который соединил бы восточные склоны Анд с реками Парагвай и Парана. 43 экспедиции, следуя курсу рек Пилькомайо и Винчина-Бермехо, потерпели поражение, ничего не найдя. Тракт, который в течение трех столетий так отчаянно искали три страны – Аргентина, Парагвай и Боливия; тракт, который мог бы соединить и эти три государства и способствовать их торговле, – до сих пор не найден. Отважный молодой путешественник, снаряженный собственным рвением, отважным сердцем и щедростью Парижского географического общества, Виконт де Бретт, молодой офицер и поэт, отправился в свою исследовательскую экспедицию всего лишь с двумя индейцами племени ченупи, нашел две реки и большое соленое озеро, изучая берег которого, он покрыл расстояние в*

*113 миль. И если бы не лихорадка, он не прервал бы своего исследования. Но, к великому сожалению, молодой исследователь вынужден был вернуться в Корриентес, покрыв в общей сложности расстояние в 436 неисследованных дотоле миль. Земли, им найденные, совершенно плоские, на них растут мимозы и пальмы, повсюду распахнулись прерии, местами лежат болота, население тех земель представлено индейцами племен ченупи, мокови, велело и матакос – все они пребывают в состоянии первозданного дикарства.*

Мсье Ле Серф ловит «монархов» на Сандвичевых островах. Многие бабочки рассыпались; сохранившиеся, пойманные гораздо позднее, поблекли, а их подробное описание прочитать невозможно – бумага пожелтела, чернила выцвели. Сохранились куколки, похожие на орехи или, скорее, желуди, совсем не соответствуют описанию мсье Ле Серфа. Запись частично восстановлена:

*красивые, яркие, блестящие, изумрудные  
темная кайма  
золотистые крапинки  
ясно вычерченные и прозрачные  
(в состоянии куколки – от 14 до 20 д.)*

Мсье Ле Серф возвращается в Брисбен, оттуда – в Париж. На второй фотографии (без попугая) мсье Ле Серф задумчиво смотрит из окна своего кабинета (Пасси, улица Бетховена).

Отец Франсуа привез семью из Нормандии, он рисовал, играл на музыкальных инструментах, но ни к чему таланта, кажется, не имел; он приехал в Париж к своему отцу, с которым был не в ладах. Дед Франсуа был морским торговцем, – возможно, осваивал колонии, – купил дом на rue de La Montagne (с 1864 года улица Бетховена), открыл свои магазины. Отец работал продавцом у него и слушался сурового деда. Тот успевал всё – и даже занимался с Франсуа по вечерам, что было необычно: маленький Франсуа до самого вечера был предоставлен самому себе, носился по улицам, играл с друзьями в лесу (правда, на одной страничке мелькает какая-то толстушка, которая за ним все-таки приглядывала), а вечером приходил дед (вечер в ту пору начинался гораздо раньше: до шести, а то и в четыре часа дня), они обедали вместе, и дед садился с ним читать книжки. Франсуа легко выучился чтению, сложению, играл на концертине и хорошо рисовал, большего дед от него не требовал. Во время Парижской Коммуны всей семьей они бежали в Швейцарию, воспоминания о которой всегда согревали молодого Франсуа (отчего он и переехал туда незадолго до «веселой войны» в 1939 году). Война, которую теперь принято называть Франко-прусской, обрушилась на Ле Серфов, когда малышу Франсуа было всего ничего, двенадцать

лет. Дед умер перед самой войной, отец ушел воевать и погиб. Среди вещей Франсуа Ле Серфа мы нашли копию фрагмента знаменитой картины Альфонса де Нёвиля «Последние патроны»: окно комнаты и стрелок (всё остальное юный Франсуа не потрудился перерисовать, возможно, что в этом стрелке он видел своего отца) – собственно, последний выстрел; тридцать сантиметров на сорок пять, хорошо сохранилась. Видно, что была ему дорога. Отнесли на обрамление и повесили в нашем маленьком музее рядом с другими работами: африканские ландшафты, бедуин, австралийский абориген, корабли, пейзажи с Соломоновых и Сандвичевых островов.

Пожилой Мсье Ле Серф, всё в том же кресле, в своем кабинете, но с книгой под рукой, выглядит устало («1921 год – год ужасных потерь!»).

Вернувшись из Британии, он знакомится с русской спириткой, графиней Безобразовой, и задерживается в Париже, отказывается от задуманных экспедиций, совершает короткие путешествия. Он влюблен, пишет стихи и много рисует; через год ухаживаний он к ней сватается, получает отказ и заверения в вечной преданной дружбе (как известно, до кончины г-жа Безобразова ходила в девицах). Он горевал и путешествовал, принимал участие в спиритических сеансах и других магических практиках, иногда вместе с попугаем (о чем свидетельствуют записи месье Ле Серфа).

Графиня Анастасия Ивановна Ностиц, вдова генерал-адъютанта, выдавая дочь за Безобразова, обещала дать в приданое 250 душ в Екатеринославской губернии. После свадьбы Безобразов просил об исполнении этого обещания, но графиня объявила, что даст рядную, ежели Безобразов внесет ей 13 тысяч рублей серебром. Безобразов имел неосторожность на это согласиться и выдал ей деньги. Получив сию сумму, графиня Ностиц отказала Безобразову в выдаче данной, а когда он просил возратить ему по крайней мере его 13 тысяч рублей серебром и при том объявил, что отказывается от приданого, то она и в этом ему отказала.

Актеры кружатся, исчезают. Во время длинного перерыва, когда рабочие сцены занимались ее преображением (решалось много технических вопросов), мы вдвоем курили на скамеечке во дворе, он с волнением спросил:

– Ну как вам?

Я сказал, что мне нравится, кое-где замечаю перестановку, повествование на сцене обрастает документальными наростами.

– Да, да, это всё их интерпретация. – И серьезно добавил, что не верит в документальное письмо, не принимает рассуждений о стиле вообще. – Всё это литературоведческая болтовня. Глупости, которые к делу не имеют ни малейшего отношения. Есть только письмо, – сказал он спокойно и категорично. Он смотрел на колодец. Во дворе находился старинный колодец, запечатанный, я его сначала принял за

фонтан – театр возник в старинном здании, в котором когда-то была военная часть или военное училище (человек я рассеянный, потому очень многое упускаю или путаю). Он смотрел в сторону колодца, курил и чеканно говорил: – Не бывает документального или художественного романа. Всё это чепуха. Нет биографии, автобиографии или псевдоавтобиографии. Фантастика, детектив, l'autofiction. Ничего этого нет. Есть только одно письмо. Я говорю о серьезных авторах, конечно. Я не говорю о всяких штукарях, циркачах, которые зарабатывают на хлеб, кормят семью и занимаются прочими делами. Они потешают публику. Ну и пусть потешают. К настоящему письму они отношения не имеют. С формальной точки зрения, многие пишут очень даже недурную прозу. Они думают, что сочиняют рассказы, повести, пишут эссе... некоторые даже неплохо обращаются со словом, виртуозно, можно сказать, но... к сожалению, это не письмо, а видимость. Они просто не достигают того накала, в котором живет настоящий автор. Есть планеты с гравитационным полем, а есть такие, у которых оно ничего не значит: фук, и всё. Вот как Меркурий, например. Гравитационное поле слабое, и атмосферы своей нет. Чтобы писать, нужна гравитация, сильное магнитное поле, своя насыщенная атмосфера, потому что должна быть сложная внутренняя жизнь. А если в тебя приходят и уходят – люди, книги, картины, фильмы; многое тебя волнует, восхищает, трогает, но и столь же быстро выветривается, заменяясь какими-то другими впечатлениями, – какое при таких условиях может возникнуть письмо? Поэтому ихковка на день-два. Серьезный автор пишет одно произведение. Таково его тяготение, время у настоящего автора идет не так, как у других людей. Со дня, как только письмо включилось, он пишет свое единственное произведение. Письмо идет, и он должен записывать. С годами оно меняется. Оно может обмельть и высохнуть. Может перестать быть письмом. Человек исчерпался, конец.

– Некоторые пишут записки, воспоминания...

– Да нет никаких записок и воспоминаний. Как вы не понимаете! Нет ни романов, ни повестушек, ни рассказов. Это всё... – он пробежал пальцами по воздуху, будто перед ним стоял клавишник. – Нет формы. Есть только письмо. Либо оно есть, либо его нет. Когда письмо идет, я бы даже всё сказанное автором относил к письму.

– А как определять?..

– Не надо ничего определять, всё и так ясно.

#### 4

Вторая часть – самая напряженная, в ней много танцев и сценической механики, всё больше актеров одновременно разыгрывают свои диалоги в разных частях сцены, перебивая друг друга; темп заметно возрастает; местами хаос и какофония.

Жак волновался. А режиссер-то как волновался! Молодой, лет

сорок пять, худой и пластичный. Но тут он стал дерганым и угловатым. Главный герой (автор в молодости: похож по фотографиям) в первой части двигается, как марионетка, ему прикрепили к конечностям нити, которые тянулись высоко под потолок театра, они путались. (В книге этого, естественно нет; в конце второй части эти нити рвутся, и герой освобождается от пут – семья, государство, ученичество и т.д.) Нити работали плохо, они здорово мешали актеру, он в них путался. Кто-то, кто находился за сценой и управлял ими, очевидно, не понимал, когда следовало их натягивать, чтобы сдерживать героя, а когда ослабить, чтобы дать ему свободы. Всё это имело огромное значение! Режиссер стучал тетрадкой себя по лбу и бранился, вскакивал, бушевал, всё останавливал, взлетал на сцену и, глядя в потолок, орал что-то – думаю, ругательства, оскорбления, потому что Евгений Петрович, прикрыв ладонью рот, трясся от беззвучного смеха. Режиссер, белый от волнения, возвращался на свое место, весь в красных пятнах, глаза стеклянные, как у кокаиниста.

Ольга Михайловна Безобразова родилась на набережной Фонтанки в доме № 24 и прожила в нем до шестнадцати лет. После смерти отца дом выкупил Лев (Людвиг) Федорович Яффа и начал его перестраивать, в дом вселились жильцы, о нем продолжали говорить – «в Доме Безобразовых», «у Безобразовых»... тогда как он давно не принадлежал им! Теперь в нем жил знаменитый поэт Полонский, он устраивал поэтические вечера; в доме открылась картинная галерея, выставляли картины Матейко; дом жил своей жизнью. Ольгу это и удивляло, и раздражало, она не пыталась разобраться в своих чувствах, но однажды проговорила: *дом сошел с ума* (говорит она своему другу), *дом сбежал и живет, как какой-то господин Голядкин!* В первых числах марта 1880 года «господин Голядкин» в очередной раз напомнил о себе, он устроил настоящий скандал: в трех залах дома № 24 на Фонтанке выставлены сто двадцать три картины Верещагина! Об этом говорили все и писали во всех газетах! Больше всего восхищались или возмущались серией балканских батальных работ, написанных якобы на поле боя, и о картине *Si jeune et déjà décoré* тоже говорили с едва сдерживаемым возмущением, – ее-то и отправилась смотреть Ольга, ужасы войны ее не привлекали. Однако автор утверждает, что картины Ольгу интересовали в последнюю очередь – она отправилась смотреть дом.

(Ей двадцать четыре, она уже подумывает уехать в Париж навсегда.) Темным холодным вечером в сопровождении молодого человека (для нас он останется всего лишь NN) она отправляется на громкую Туркестанскую выставку. После болезни Ольга чувствует себя слегка не на своих ногах, из Жерновки выехали в старом дормезе, в котором сильно трясло, в пути она продрогла и уже было начала говорить, что стоит повернуть обратно, но молодой человек уговорил ее пройти это испытание до конца. В романе поход Ольги на выставку, пожалуй,

один из самых ярких моментов ее жизни, сродни прозрению: родной дом окончательно утрачен.

На Сергиевской было много экипажей, все катились в одном направлении. Еще не подъехав к дому, она увидела огромную очередь пришедших на выставку, она протянулась аж до Цепного моста! У бокового проезда, где сворачивали во двор, NN выскочил из кареты и проник в дом с черного хода. Ольга ждала, глядя на забитые окна, недоумевая: зачем их заколотили? Какой вдруг жуткий и совершенно чужой облик!

В глубине сцены включается экран. Троицкий собор, Пантелеимоновская церковь, литографии мостов, набережная Фонтанки, дом № 24, с острого угла – так, чтоб показать на втулку похожий, очень кукольный эркер, словно созданный для маленькой феи. Экипажи, кареты, брички. Мы видим даму с накинутым на голову капюшоном. Перед ней открываются большие входные двери – мраморная широкая лестница вьется вверх. Приподняв тяжелые платья, дама поднимается. Ряженный дворецкий, в парике и сюртуке, отворяет двойные высокие двери, инкрустированные позолотой. Бросается в глаза барочная узорчатость, золоченый погонаж, – дом на Фонтанке перестраивали многократно, поэтому достоверность этих деталей сомнительна. Вместе с Ольгой мы входим в зал.

Тем мартовским холодным вечером в залах было душно. Стены были обиты темной драпировкой цвета «бордо». Позолоченные картины блестели от электрического света, который провел в дом новый хозяин. Наверняка среди посетителей были и такие, кто верил, будто электрический свет вреден для глаз, и всё же они пришли посмотреть выставку. Той картины – с юным офицером, увешанным наградами – не было, ее увезли (шепотом: в цензурный комитет на экспертизу). У балканских полотен, отразивших ужасы под Плевной, толпились и толкались, шептались и вздыхали, некоторые даже крестились. Ольга смотрела этюды, но не видела их: дом утерян, она думала только об этом, – дом утерян навсегда. «Папа умер при свечах», – единственная реплика, которую она произносит в этой сцене (зрителю, я думаю, она не совсем понятна). В комнатах не только новая драпировка, но и новая мебель; возврата не будет никогда, всё кончено, можно только двигаться дальше, а дальше – пишет она: *бедность и неудобное соседство с нездоровыми и нездоровыми людьми.*

На экране появляются работы Верещагина, на сцену выходит пожилой актер, в тяжелом пальто и меховой шапке, седые усы, как у моржа, растрепанная борода, косматые брови, тяжелый взгляд (по мне, так он больше похож на Толстого): «Я хотел показать нашему обществу картины неподдельной войны. Нельзя, глядя на сражение в бинокль, издали, изобразить настоящую войну. Нужно самому ее прочувствовать, нужно участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, холод, раны... Не бояться жертвовать своей кровью!»

Ольга уезжает в Париж (град-убежище для всех «новых женщин»). Она уехала по разным причинам. Во-первых, невозможно видеть русскую жизнь. Во-вторых, ее дядя, отставной поручик Григорий Безобразов, человек беспутный, пьяница и дебошир, в 1878 г. (Ольге чуть за двадцать) попал в прескверную историю, которая прославила их фамилию на весь мир (не меньше). Его соблазнила приезжая жена харьковского аптекаря, разыграла любовь до гроба, а потом подбила убить мужа, чтобы овладеть его наследством и всем имуществом (аптекарь Ковальчуков был состоятельным). Отставной поручик Безобразов был в долгах, мечтал бежать в Америку. Недолго думая, убил аптекаря, за что получил одиннадцать лет каторги, а его любовница выпуталась, получила желаемое наследство и заодно полную независимость – и от мужа-мучителя, и от дурака Гришки Безобразова. Сменила фамилию, став княгиней Шаховской, – о деле много писали. Федор Михайлович – зоркий писатель! Его призрак возникает тенью за ширмой из папиросной бумаги. Появляется во плоти – горбатый, бородатый, круглолобый, лупой вооруженный, он крадется по сцене, заглядывает в углы, под столы и кровати, отовсюду выживая какую-нибудь дрянь, игрушку, подвязку, туфлю, дохлую мышь, собирает найденное в мешок и, как домовитый гном, уходит. В-третьих, сестра была не в себе. Да и старшие братья шалили: Владимир кутил, Александр отирался на Божедомке.

Александра сыграл блестящий французский актер, который пятнадцать лет назад подростком переехал из Лиона и поселился неподалеку. Он играл с восьми лет, и ни о чем другом не мечтал. Совпадение было на руку театру, потому что молодой человек сразу, буквально на следующий день после переезда, явился в театр (где его ждали) и принял участие в репетиции спектакля Demian в билингвальном театре Betwixt, и он знал свою роль. Эта легенда стала его репутацией. Он похож на Пруста, играет в готической группе на гитаре, занимается костюмами и декорациями, пишет тексты на английском языке, выпускает сборники поэзии на французском. Он одержим порядком и строгостью формы, болезненно переносит неудачи, щепетилен, придирчив к людям безответственным, поэтому живет один. По ночам ходит в бассейн, занимается йогой, у него что-то со спиной, что повлияло на его походку, – он двигается осторожно, будто слепой, изображающий зрячего. Говорят, что он не гуляет по солнцу, я его видел с зонтом в погожий день. Он довольно знаменит, снимается в сериалах. В последнем интервью пожаловался, что из-за его особенного внешнего вида ему часто предлагают играть меланхоликов, наркоманов, психов, раковых больных и ВИЧ-инфицированных. Мечтает сыграть Шерлока Холмса, Дориана Грея, графа Дракулу. Он идеально вошел в образ Александра Безобразова – безответственный, невоздержанный, вздорный и при этом жутко неуверенный в себе тип.

Сначала он предстает мечтателем, поэтом; затем ходит пошаты-

ваясь, глупо хихикает, подле него вьются дамы в шляпках с перьями. В беседке Безобразовской усадьбы (Жерновка) он высокопарно мечтает прославить отечество. Усадьбой в те годы владел Николай Александрович Безобразов, дядя Александра, писатель, статский советник, камергер, человек реакционных взглядов, он всячески поддерживал помещиков и ругал Крестьянскую реформу, много писал об этом (по версии Евгения Петровича, отмена крепостного права свела Николая Безобразова в могилу: освистан и осмеян). Николай Александрович следил за порядком в имении и за моралью в семье. Вся семья побаивалась Николая Александровича. И он недолюбливал племянника, считал его недалеким и вертлявым, но эти патриотические речи всячески поощрял, а однажды, сидя с ним в беседке, поделился своими соображениями по поводу плачевного состояния, в которое ввергнута страна, – и будет проваливаться дальше, как он считал, в бездну крошечного мрака! а могла бы расширяться и укрепляться... Тут-то он и заговорил о Дальнем Востоке.

В 1858 и 1860 гг. России по Айгунскому и Пекинскому договорам отошли Приамурье и Приморье, – Николай Александрович считал, что это хорошо; он говорил, что это крупная дипломатическая удача, на чем, как он считал, останавливаться ни в коем случае нельзя, нужно расширять территорию, сказал он и намекнул, как это можно было бы сделать. И вскорости умер. После смерти дяди (1863 г.), Александр обосновывается в Жерновке и много занимается, тщательно наряжаясь перед зеркалом, чуть ли ни каждый предмет изучает в новом костюме, нанимает учителей, с каждым из них ссорится и впредь занимается самостоятельно, отказавшись от большинства наук, посчитав их бессмысленными для поставленных целей. Завалив себя книгами, он посвящает себя географии, праву и военному искусству, которое часто заменяет чтением романов. В кабинете дяди появляется целый замок из книг, с башенками и воротами, отдельными строениями и крепостными стенами, поверх стен Александр набрасывает простыню, вползает в замок и просит его не тревожить, внутри этого замка из книг он отдается чтению, быстро засыпая. Однажды он уронит свечу и стены замка вспыхнут. Пострадают ценные книги, дорогой шкаф с письменным столом, ковры и прочая мебель.

Занятия отнимают у Александра много сил, и учеба плавно переходит в легкое мечтание о Дальнем Востоке, рассматривание картинок с горами, путниками, тиграми и лесными массивами. Вслед за этим начинается новый период, новая страсть – изобретательство. Он подбирает на улице пьяницу, который поражает его своими баснями; Александр привозит его к себе и отдает ему часть прачечной под мастерскую, тот оправдывает его надежды – пьяница изготавливает всё, что ни вообразит Александр, за любой каприз, за любую глупость он берется и без страха мастерит. Так возникают разрушительные

детища Александра Безобразова: самодвижущиеся мины, изуродовавшие полянки и газоны, своротившие добрую половину яблоневого сада и беседку, в которой Александр беседовал с дядей; нештучный ущерб соседям наносят орлы и стерхи, переносившие взрывчатку; и прочие эксперименты, которыми занимается Александр со своим чудачком, ввергают в ужас домочадцев и соседей.

Ольге – двадцать, она страдает, видя, как имение приходит в упадок, огромное хозяйство распадается, вокруг одни беспорядки и разврат, брат самодурствует, отец слишком слаб и очень занят переустройством дома на Фонтанке. Здание усадьбы, построенное в классицистическом стиле итальянским архитектором Джакомо Гваренги, за два года военными опытами и пьянками Александра приведено в ужасное состояние (два пожара, один взрыв), на срочное восстановление усадьбы потребовалось свыше ста тысяч рублей. Александр брал огромные ссуды на имя жены, о чем она не имела ни малейшего представления (страдала душевным расстройством и проживала в Женеве как в изгнании).

Оставшись без средств, Александр вынужден избавиться от Жерновки и кое-какой другой собственности, после чего он с позором бежит в Москву, забывается в садах театра «Эрмитаж», знакомится с дамами, очаровывается знаменитостями, погруженный в поэтическую задумчивость, он бродит по холмам, сидит на скамьях у воды, созерцая поросшие мхом и крапивой руины средневекового замка, в окнах которого ему грезятся герои рыцарских романов. Как Александр попадает в свиту Михаила Лентовского, автор нам не рассказывает, он бросает нас в историю с поездкой в Париж, откуда по требованию скандального антрепренера Александр везет бедных худосочных балерин. Затем он втирается в друзья к графу Воронцову-Дашкову, становится членом тайного общества «Священная дружина». Тронув душу графа рассказом о своем дяде, переходит к своему сокровенному желанию: послужить на благо отечества, расширить территорию России... и далее добавляет, что неумоимо следит за тем, что происходит на Дальнем Востоке – и вот недавно совершенно случайно я прочитал, что выставлена на продажу лесная промышленная концессия некоего Бриннера на реке Ялу. Почему бы не приобрести? Да, соглашается граф. Почему бы не поговорить об этом с Государем, говорит Безобразов. Так и родилась (по мнению автора) та самая историческая «Записка, поданная Государю Императору через графа Воронцова-Дашкова, и на которую впоследствии последовало высочайшее соизволение на покупку Лесной концессии купца Бриннера как средства для начала насаждения в Корее несомненных русских интересов» (Записка датирована 26 февраля 1896 г.).

Свое первое путешествие в Париж Ольга Михайловна совершает в 1878 году – на первую Международную выставку, однако главное и сильнейшее впечатление на нее произведет Международный кон-

гресс по правам женщин, где она слушает Эмили Вентури, Элизабет Кэйди и других, знакомится с Мари Можере и Олимпией Одуар (с которой впоследствии – в 1898 году – совершит путешествие в Икарию: фантастическая вставная новелла, состоящая из бесед с умершей на тот момент Олимпией; Ольга и Олимпия путешествуют по острову, погруженному в мрак, над островом собрались облака вулканического пепла, пепел постепенно опадает, убивая жителей; Олимпия и Ольга, которым пепел почему-то не наносит вреда, беседуют с выходящими из мрака нимфами и слушают пение трех граций). Она участвует на Парижских конгрессах по правам женщин в 1892-м и 1896 году – последний конгресс окажется по силе понастоящему вулканическим, он даст мощный выброс, после которого возникнет сразу три печатных феминистских органа. Мари Можере основывает свою организацию *Le Féminisme crétien* и выпускает одноименный журнал. Ольга критически относится к идеологии Мари Можере. В том же году выходит ее *La Revue des Femmes Russes*. Годом позже Маргарет Дюран запускает свою газету (для женщин) *La Fronde*.

В *La Revue* Ольга Михайловна объявляет о новой религии и новом философском направлении – спиритуалистическом феминизме («учение свободных сердец, преображающих религиозный дух на принципах научного прогресса»), публикует свои стихи, эссе и чуть позже роман *La femme nouvelle*. Ее главная цель – изменить мир (воплощение божественных законов, преодоление разобщенности, всеобщая благодать).

Она и не догадывалась, что ее брат в те же дни занимался тем же самым: стремился по-своему и как можно скорей изменить мир.

В российских правительственных верхах шепчутся о так называемой «Безобразовской клике». Александр тянет из императора деньги, его концессия проглатывает миллион за миллионом. Ольга Михайловна читает фельетон о том, как ее брат – статс-секретарь Безобразов – и генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, состязаясь друг с другом, спешат на экстренных поездах, на жалея угля, дабы предстать перед императором – каждый из них первым желал сделать свой доклад и опорочить доклад другого. Российское правительство в начале XX века ощутило, что находится в картонном домике. На сцене в третьем действии соорудили простое здание из больших листов, раскрашенных под карты; все министры и правительственные тузы на спине носят специальные листы-карты, которые составляют часть здания, когда они не произносят реплики, а стоят спиной на своем месте. Вот появляется персонаж в мундире с орденами, пышными усами, на его спине яркая крупная карта, это граф Фредерикс, он ссорится с царем из-за Безобразова, умоляет не принимать его, а потом отстегивает свой ремень и бросает карту, уходит. Переодетые лесорубами русские солдаты валят лес на реке Ялу, про-

кладывают трассу и занимаются строительством школ для развития русской культуры на Дальнем Востоке.

«Безобразовская клика» втянет Россию в войну с Японией, – предупреждает граф Витте. Кто бы его слушал! Уходит. Карта за картой бегут (а кто изгнан) из карточного домика влиятельные фигуры – красивые дамы, уважаемые старцы, на их места влезают какие-то серые, на крыс похожие персонажи – девятки, восьмерки, всякая шушера и шваль. И началось! Домик затрещал, послышались тревожные скрипки, что-то ухнуло, зазвенел Стравинский! Накренился домик в одну сторону, устоял. Что-то грохнуло. На экране появляются картины Репина: «Бой на реке Ялу» и «17 октября 1905 года». Стравинский заметил, взвился поземкой. Вжих, вжих! Дом перекошило. Выстрел – молния: волна восстаний! Пошла смута, завертелась нелегкая, зазвенели нагайки, затрещали выстрелы. Скрипочки пилят, кони ржут, домик рушится потихоньку. Александр Безобразов отстранен (без судебного расследования). Младший брат Владимир отправляется усмирять восстания. К 18 февраля 1906 г. в Эстляндской губернии при сопротивлении с оружием в руках убиты 50 человек, расстреляны – 68, в Лифляндской губернии убиты при сопротивлении с оружием в руках 14 человек, при попытке побега – 1, расстреляны – 120, на о. Эзель расстреляны 2 человека. В Южном отряде убиты при попытке побега 2 человека, расстреляны – 39, в Курляндской губернии убиты при сопротивлении с оружием в руках 36 чел., при попытке побега – 37, расстреляны – 64, в отряде подполковника Принца убиты при сопротивлении с оружием в руках 5 человек, в отряде генерал-майора Безобразова расстреляны 63 чел. Всего убиты при сопротивлении с оружием в руках 105 человек, при попытке к побегу – 40, расстреляны – 356, всего погиб 501 человек. С февраля 1906 г. деятельность отрядов постепенно теряет военный и приобретает карательный характер. Войска производят аресты, организуют суды, налагают штрафы – за порчу телефонных линий, за невыдачу убийц, совершивших преступления в данной местности, и т. п., по приказу командования солдаты сжигают усадьбы тех, кто укрывал убийц и грабителей (хотя вина многих не была установлена). Всего в 1905–1907 годах в Прибалтике убитыми насчитывается 625 врагов Государства Российского. И всё это не затихало, ходило ходуном, мелькало, топало, кружилось. Апофеоз деталей и бессвязность артерий – под свистопляску Стравинского на сцене паркового театра у Боденского озера.

Спектакль обрывается внезапно, как и книга, – чем она особенно и понравилась мне: автор ничего не объясняет. Жак не хочет быть предсказуемым, петляет своими тропками, ни на кого не оглядываясь. Не рассказывает, что стало с его героями – Александром, Ольгой, Франсуа Ле Серфом. Они продолжают свой жизненный путь, а мировая история, клубясь и вертясь, как безумная собака, кусающая свой хвост, беснуется под взвизгивания скрипок. Всё отчетливее слышны

пилы, всё громче стучат топоры. Откуда-то рвется лай, бежит стук колес, торопится щелканье пишущих машинок. На несколько секунд врывается свиридовская сюита и тут же тонет в шуме. Дальше – какофония, овации; актеры, режиссер, автор кланяются. Занавес.

Они вернулись с фестиваля довольные.

– Всё прошло отлично, – сказал Жак. – Не спрашивайте подробностей. Напортачили – и с костюмами, и с конструкцией... Но сама пьеса, игра – блеск! Огонь! Ах! Я плакал... Я просто плакал...

Он как будто помолодел. Мы выпили, он разговорился.

– Когда ехали туда, я так разнервничался, мне даже стало дурно в автобусе. Мы ехали вместе с актерами, а их – двадцать три человека. И вдруг в один момент я потерял чувство реальности. Все эти люди стали для меня теми, кого они играют. То бишь моими персонажами! А я посреди них в автобусе моего романа. И мы едем. Неизвестно куда. Всё спуталось в голове. Жуткое состояние. Я закрыл глаза, вцепился в кресло, так и ехал.

Я наполняю бокалы, он набивает трубку.

– Веселенькие времена! Кого ни встретишь, все – война, кризис, караул! А один сегодня глаза на меня выкатил да как рывкнет: black out! Я говорю: что? Он: black out! – Жак усмехается. Я тоже улыбаюсь, подношу ему бокал. – Благодарю. Чокнемся? – Мы чокаемся, пьем, он продолжает: – Да ну и что! Подумаешь, black out! Неужели денек-другой без электричества не проживем? О, что вы такое говорите!.. Обиделся...

Пьем.

– А я ему говорю: а Мариуполь? Вся Украина – каждый день: блэк аут!.. Меня немного с резьбы срывает в последнее время. Нет, у меня там нет никого, вообще – никого, ни одного знакомого. Хотя постоите... А, нет, они уехали давно уже. Я понимаю, что почему-то здесь всё это переживаю немного не так, как остальные... Ну, что мне до этой войны? Я свои взносы регулярно делаю, разумеется, мне средства позволяют, можно и успокоиться, но я не могу! Не могу! Я переживаю. И вот опять зачем-то высказался... Говорю и слышу – в голосе моем упрек... А за что? Кто он такой, чтобы я его упрекал? И кто я? – Евгений Петрович усмехается. – Я же сам русский. Это он меня может упрекнуть. Мол, где ты был все эти годы? Куда смотрел? Хоть я никогда и не был гражданином России, но – чисто теоретически – мог бы он меня упрекнуть? Мог. Но не стал. Ага! А вот я зачем-то... Да... Не надо было... Я уже так пару раз срывался, и на одном выступлении, правда, в зуме, я тоже зачем-то с рельсов сошел, и меня понесло немного... Конфликты... Многие отскакивают... Жили тут и журналист, и прозаик из Белоруссии... Эссеист, актриса одинокая... Все отступили. У меня теперь новый карантин: русский карантин! Ха-ха-ха!

Скоро тридцать лет, как он живет в этом городе, в этом доме, это

больше не Евгений Петрович, он – Жак, европеец, ничего русского в нем не осталось, кроме томика Шестова на столе и каких-то старых прибауток. В спокойном состоянии, когда он тихо сидит и тянет вино, язык его заплетается, и тогда замечаешь легкий акцент, особенный, такого я никогда не слышал.

## 5

Анри Кале родился из ошпаренного насмерть трехлетнего мальчика. Раймонд Теодор Бартельмесс, исправный бухгалтер французской компании L'Électro-Câble, прочитал об этой ужасной смерти в старой газете *Le Matin* (в новостной рубрике «Три строчки», которую вел прославленный Феликс Фенеон): *Un enfant de 3 ans, Henri Calet, est tombé dans un bassin d'eau bouillante, et n'a pas survécu à ses brûlures\**.

Можно предположить, что какое-то время существовало два человека: один – Бартельмесс – под личиной добросовестного офисного работника вынашивал ошпаренного мальчика, Анри Кале, который в другом разрезе реальности преображался в дерзкого мужчину, знавшего поименно всех проституток в Булонском лесу, всех лучших скакунов парижского ипподрома и злачные места, где можно было купить дешевый кокаин. Первый – вел бухгалтерский учет и за это получал поощрительные грамоты; второй – писал в стол роман и был известен только нищим и проходимцам. Отравленный литературными замыслами и кокаином, искусанный клопами дешевых комнатушек, Анри Кале в облике добропорядочного гражданина шел в контору. Он прodelывал это с таким совершенством, что никто из сослуживцев не догадывался, какая страшная в этом аккуратном сотруднике происходит метаморфоза: в нем созревало преступное существо. Надо заметить, что самостоятельным такое созревание не бывает: поэт, сколько бы ни притворялся заурядным гражданином, как-нибудь да выдаст себя, его камуфляж может показаться безупречным до ослепительности, и это тоже вызовет подозрения, ибо всё предвидеть нельзя, перебои мысли удерживать под контролем очень трудно, это отнимает много сил и требует жесткой дисциплины. Вообразите скачки, проигрыши, выигрыши, кокаин, общение с проститутками, долги, кокаин, скачки – и противопоставьте этому стерильное конторское служение цифрам. Даже самые недалекие, самые непроницательные мещане начнут подозревать тебя, если ты при них вдруг поддашься наплыву вдохновения, замрешь посреди общей сутолоки, складывая в уме слова. Как бы старательно поэт ни скрывался, обыватели, не находя объяснения своей озлобленности, изливают на него свою спесь, тем самым подталкивая к жертвенной скале, с которой поэту суждено броситься; и полетит он птицей или камнем вниз, зависит от него одного.

---

\* Трехлетний мальчик, Анри Кале, упал в чан кипящей воды и умер от ожогов. (фр.)

23 августа 1930 года Раймонд Теодор открыл сейф и увидел, что в нем лежит огромная сумма денег – что-то около 250 тыс. франков, как утверждала потерпевшая сторона (похититель деньги не считал). Он мешкал меньше минуты. Легко прорвав пленку, пересек символическую черту. Забрал деньги и отправился в путешествие. По пути в Уругвай на корабле состоялась его трансформация. В фальшивый паспорт оставалось вписать имя. Он решил дать погибшему мальчику вторую жизнь.

\* \* \*

Ты узнаешь себя в другом  
двойник в черном зеркале  
две головы, одна судьба  
позвонки созвездия  
прядка погасшей свечи

\* \* \*

Отец – пьяница, анархист, туняец, дезертир, актер (лучшая роль сыграна в пьесе «Афродита»: голую Афродиту на сцену выносили два мавра – одним из них был отец Анри). Мать мыла посуду в ресторане, шила перчатки, протирала столики, драила полы, собирала окурки и потрошила их по вечерам. Бедность сковывающая, вгоняющая в отупение. Кто-то писал, что внешне Анри Кале походил на человека, какие обычно на улицах Парижа стреляют сигареты или мелочь, такой у него был заискивающе-скорбный взгляд... взгляд обреченного. Не знаю, на фотографиях я вижу в нем поэта, задумчивого и грустного, познавшего и бездны, и триумф.

Он родился в Вансе, раннее детство – Париж: passage Julien-Lasgoix (20 arr.), rue de Tanger, la Villette (19 аррондисман), места темные, узкие, грязные, одно мрачней другого; rue Brunel (17 arr.), полутьма, недалеко от L'avenue de la Grande-Armée и Триумфальной арки. Проживал с русской эмигранткой, Серафимой, и ее ребенком (они бежали вместе – хорошо бы узнать ее фамилию, Серафима... кем была эта русская эмигрантка? Известно, что она вернулась в СССР). Он много писал: романы, романы – один лучше другого... На зависть легко справлялся со своими воспоминаниями: да, но какой ценой давалась та легкость – *не трогайте меня, я весь в слезах!* («Медвежья шкура»): *C'est sur la peau de mon cœur que l'on trouverait des rides. Je suis déjà un peu parti, absent. Faites comme si je n'étais pas là. Ma voix ne porte plus très loin.\**)

Как бы между делом пишет, что с удовольствием пожил бы в эпоху, когда приходилось целиком полагаться на свое чутье и в оди-

\* На коже моего сердца, вот где ты найдешь мои морщины. Я частично покинул этот мир, отсутствую. Сделай вид, будто меня нет. Мой голос доносится издалека, слабея. (Из романа Анри Кале «Медвежья шкура»)

ночку пробиваться сквозь тьму безмолвия. Ты сразу понимаешь: знает, о чем пишет, – справился бы. Большую часть своей жизни Кале провел в местах диких, с фальшивым паспортом или без паспорта, с очень скользкими попутчиками; в концлагере, без денег, один.

Вот он прогуливается со своей старой знакомой, сидит с ней в ресторане, провожает ее до номера гостиницы и отправляется гулять, доходит до моста, стоит в потемках, о чем-то думает, вдруг слышит – приближается поезд, он живо перелезает через парапет и стоит на краю моста, ожидая поезд. Поезд пролетает, а он стоит. Медленно перебрасывает ноги обратно и возвращается в гостиницу.

\* \* \*

Чтобы писать о Кале, надо лететь во Францию...

(В салоне самолета я как никогда испытываю нежность и слабость к вещам, которые вышли из употребления, на которые человеческим массам наплевать, они даже не знают о них ничего; пропасть между мной и этими массами, пропасть сейчас будет подо мной, пропасть. Я бы предпочел сейчас оказаться в том далеком веке, когда время отмеряли песком и всё держалось на честном слове.)

Старушка, у которой меня поселили, живет у черта на куличках, в очень старом доме, она с радостью меня приняла. «Я не встречу вас со станции, – говорила она по телефону, немного задыхаясь. – Надеюсь, вы найдете адрес... это рядом!..» – «Да, я найду! Не беспокойтесь, мадам!» – «В котором часу вас ждать?» – «Поздно... после девяти...» – «Ах, это совсем не поздно, совсем не поздно... я до часу ночи не сплю!..»

Просидели до часу ровно. С дороги хотелось вытянуться – не получилось: софа была коротенькая и с какими-то коварно блуждающими кочками, так что всю ночь мне снилось, будто я куда-то ехал, исследуя своей спиной неровности дороги.

Давняя поклонница Кале живет в четырехкомнатной квартире – все комнаты миниатюрные и сильно заставлены мебелью. Низкий потолок, узкий коридор (еле протиснулся), узенькие окна, веранда, антресоли, полки забиты книгами – аж дышать нечем! Черная лестница во двор, темная и обрывистая (за неделю проживания здесь я ни разу не рискнул по ней спуститься).

– Я так его обожала!.. Я помню его... Я ходила на его выступления, – развернула афишку, – я была такая молодая... Я была в него влюблена... Он был такой... такой очаровательный!.. Вот ваша дверь, прошу, ваша комната... самая светлая, в прежние времена мы с мужем на этом балконе кофе пили, по вечерам – вино, при свечах... ах, какие были вечера!... поутру птиц слышно, у нас птицы в саду...

– Я вам очень благодарен. Вы даже представить себе не можете, как я благодарен...

Вся квартирка пропахла травами и духами, старушка была буквально погребена в книгах, журналах, флаконах, в ее комнате вдоль

каждой стены стояло по большому шкафу, уменьшая ее до размеров склепа. Жила она на скромную пенсию и приторговывала старыми вещами.

– Что делать, такова жизнь.

– О, так делают и у нас, и моя жена тоже, – сказал я, натягивая улыбку.

Квартира старушенции чудовищно напоминала квартиру моей матери: куда бы ни бежал, ты бежишь навстречу своему прошлому. По мнению Кале, путешествия бессмысленны: ты не расстаешься с собой, ты странствуешь со своими мыслями, чувствами, с полным чемоданом своей тоски, прошлое всегда с тобой, ты на всё смотришь сквозь стекла своих чувств и своей философии и не можешь смотреть иначе. Прошлое мне улыбалось, в паричке и старомодных очках в потертой позолоченной оправе.

– Людям нравятся старые вещи...

– Меня и это не удивляет, – сказал я, поднося к губам старинную чашку, словно для того, чтобы ее поцеловать. – В наше время делают такой хлам!

Старушка рассмеялась:

– Верно!.. Как верно!..

– Я всё время живу с оглядкой на прошлое, у меня было много старых вещей, с детства, поэтому мне нравится читать старых писателей. В современных книгах все куда-то торопятся...

– О, да!.. Анри Кале писал так плавно... С ним так приятно гулять по старому Парижу... Того уж нет... Но он всё описал, тот Париж есть в его книгах! Мы все его обожали, я всегда слушала его радиопередачи... Вот, взгляните, подписанные экземпляры!.. Посмотрите – автограф!..

Я принимал в руки книги, листал, смотрел автограф... вот фотография... еще фотография... и всё хотелось кому-то передать дальше, вернуться к невидимому человеку и сказать что-то или, безмолвно улыбаясь, передать афишку, книгу...

Почему-то теперь, когда я приехал, всё это казалось менее значительным. Афишки, фотографии – ничего не доказывали, вернее, они не делали жизнь Кале более убедительной, а наоборот – замусоривали взор, вводили в сторону. Она мне передавала фотокарточки, а мне хотелось отпихнуть ее руки, встать и уйти. Время стерло отпечатки. Его следует искать не в вещах и не в домах, в которых он проживал.

А где?.. В письмах?.. Даже письма ничего не значат. Мы знаем, как пишутся письма. Сам могу написать... любые письма... даже самые страстные... Имеет значение только направление мысли, высокое напряжение духа, дающего о себе знать гудением в позвонках. Шея затекла, в висках стучит – вот к этому стуку и следует прислушиваться. Всё есть в романах, он весь в них!

– К сожалению, быстро забытый.

Все морщины вдруг опускаются. Она наклоняет голову и переходит на шепот.

– Я так удивилась, когда Люси мне рассказала о вас...

Люси мне рассказала о Кале, когда мы шли в книжный магазин «Харибда», где я должен был выступить, мы проходили мимо модульных блок-контейнеров, в которых, как она заметила между делом, жили проститутки, и продолжала рассказывать о Кале; мне захотелось изучить блок-контейнеры (мне они показались совершенно непригодными для проживания: с виду обычные товарные металлургические вагоны, я подумал, что такие контейнеры меня могли бы сблизить с Пьером Гийота, он бы наверняка с удовольствием описал бордель, состоящий из таких контейнеров); я попросил у Люси книгу Кале...

Не успел приехать, как устал от нее, – от этой хозяйской плюшкинской квартирке (в городке настолько маленьком, что и называть его не хочется); устал хватать на лету и переводить, на деревянном кофейном столике уже громоздились книги и фотографии писателя, а в моем уме скопилась толстая пачка записок, не говоря о блокнотах, в которые заглядывать не хотелось; от собственного почерка болели глаза.

По-моему, Кале нужен только ей и мне, никому во всем мире он не нужен. Время клепсидр и песочных часов завершилось, оглядываться на груды песка бессмысленно, даже в наполеоновских солдатах теперь играют не дети, а историки, увлекавшиеся в детстве историей. Зачем я придумал себе этот побег? Что я искал на самом деле? Столько отчаянных усилий было предпринято для того, чтобы найти ничтожные средства для путешествия в Бельгию и Францию, столько людей побеспокоили для того, чтобы я мог оказаться тут, сидеть в этой тесной квартирке, глотать пыль, пить черный кофе... А я ведь ее почти и не слушаю! Слова пролетают мимо – я наслушался людей. И ради этого путешествия пришлось прибегнуть ко всяким ухищрениям, скрестись в двери незнакомых чиновников. К тому же – способствовал случай: малыш на катке сломал руку (его толкнула девочка, которая носит в сумочке перочинный нож и классно матерится по-английски), малыш сидел в гипсе дома и одной рукой играл на синтезаторе; я мог быть здесь, дома во мне не нуждались; плюс – от денег, выделенных фондом на путешествие, жене удалось кое-что отщипнуть для семьи: мы снова болтались на ниточке, две тысячи триста евро – тоже деньги; но я бы предпочел сидеть с сыном дома, я бы читал ему книги, рассказывал что-нибудь, я даже согласен терпеть Stranger Things.

С такими мыслями я засыпал на жесткой неровной кушетке, глядя на странный кувшин, что стоял в самом дальнем углу и светился, отражая свет, падавший с улицы в узенькое оконце... кувшин превращался в огромную колонну, а мой взгляд медленно плыл вокруг этой колонны, точно я превратился в одно блуждающее око. Плывя вокруг кувши-

на, я заметил чудной рисунок, то ли выдавленный, то ли роспись, какое-то странное сказочное существо, с голыми длинными ногами, джинн в колпаке с бубенцом и длинной бородкой, нос у этого джинна был тоже длинный, выдающийся, усы торчком, на пузе пупок глубокий, из него выглядывает дымком легкая поросль, волшебные шелковые штаны, свободные и драные по краям, длинные черные нитки болтаются, касаясь пыльной земли, и пояс раздваивается, два помпона – зеленый и серебряный... босоногий джинн, и с ним кот, большой и пятнистый, как тигр. Гравировка кувшина увеличивается. Рисунок растягивается и движется. Я вижу фантастическую улицу, залитую ярким солнцем, на ней растут красивые деревья, каких в природе, наверное, не бывает, за невысокими заборчиками стоят домики причудливой формы. Я вижу человека в сером костюме и фетровой шляпе, он идет куда-то беспечно, сам себе улыбаясь. То отставая, то забегая вперед, подле него вьется выше описанный джинн – вернее, на джинна похожий молодой человек, тонкий, легкий, красивый, почти прозрачный. Он весело болтает, жестикулирует и подпрыгивает, и всё поглядывает на своего спутника, который сам себе улыбается. Этот попрыгунчик – юный Луис Эдуардо Помбо, арт-критик, художник, поэт, красавец. Они долго пытаются ветхую дверь, та не дается, вывеска болтается: «закрыто». С треском лопается и сыплется стекло, они смеются, переламываясь вдвое. Шляпа с головы писателя падает в пыль, они и над шляпой смеются. Помбо топчет ее ногой, Кале поддевает носком ботинка и подбрасывает в воздух, пытаясь поймать головой, но не получается, чуть не упал, – смех, смех... Снова они дергают дверь, ручка отваливается – смех. Они передают друг другу дверную ручку, что-то изображая, Помбо советует пристроить ее к заднему отверстию, но Анри засовывает ее в штаны и щеголяет, вихляя бедрами. Арт-критик хохочет, падает на крыльцо и топает ногами. Дверь снимают с петель, она исчезает. Они входят в старинное здание, забитое книгами так, что внутри и ступить негде. Это книжная лавка, которую Кале открыл в Монтевидео, вскоре она схлопнулась. И снова лошади (l'hippodrome de Maronas), кокаин и страстные отношения с юным Помбо.

Анри вернулся во Францию инкогнито, нелегально жил и печатался больше пятнадцати лет. За героизм, проявленный во время участия в Сопروتивлении, он был реабилитирован и восстановлен во всех правах.

\* \* \*

В утренних сумерках я медленно готовил завтрак, вещи укромно спали в кухонной паркой темноте, разбудить их было непросто, нащупать их и догадаться, что есть что, было не так просто. Время зашифровывает предметы, оставляет на них пыль восприятия других людей, которых мне, быть может, никогда не понять. Зачем я тут? Чтобы проверить себя. Наверное, хочу понять, насколько вглубь я

могу смотреть с пониманием; ты несешь свой взгляд, точно факел, лес не кончается, дебри, дебри, и клонит усталость в сон; еще в раннем детстве я ходил в музеи, чтобы проверить, по каким предметам мой взгляд легко скользит с пониманием, а от каких отталкивается. Я всегда любил старье: когда мы въехали в квартиру на Сальме, в ней умершая жилица оставила много старинных вещей; отец с дедом почти всё выкинули, но я успел на них взглянуть с изумлением, а те, что остались, служили нам верой и правдой, вещи вне идеологии; отец был настоящий большевик, как только я произношу в уме это слово «большевик», я вижу лицо отца, а затем все эти кожаные тужурки, остроконечные буденовки, штывки, сабли, маузеры, тачанки и прочая нечисть саранчой лезет, но первым возникает отец.

Старые лампочки захирели, толстые абажуры, покрывшись пылью – несколькими слоями пыли (настоящий войлок). Я ставлю чашку в кружочек желтого света, сам остаюсь во мраке. Нащупываю розетки. Из тьмы льется в чайник невидимая вода. Сумерки закипают. Чем светлей за окном, тем тревожней, – свет торопит на станцию, но я знаю: время есть, время есть. Из того же мрака вынимаю кофе. Отправляю – ложка за ложкой – в дыру кофейника. Скрутил невидимую папиросу и вышел под высокий тщедушный фонарь. Влажная улица пока спит, но вот-вот. Не так холодно, как у нас.

В шесть десять отправляюсь на TGV в Париж, два часа кемарю, ловлю бродяжки сны, нервно шупаю сумку, кошелек, телефон. Мышь сомнения прогрызла подкладку предполагаемой души: зачем я здесь?.. неужели нельзя без всей этой беготни, без нервов?.. сам себя загоняю в какие-то норы... но по-другому я не могу, а другой – кто мог бы это сделать иначе – просто не станет этим заниматься, и читать это будут только те, кто – не может без беготни, без нервов... не может иначе...

Пересел на поезд метро и доехал до площади Италии, где жил Поплавский (я уже видал этот дом, весьма тоскливо, сейчас другие задачи), знакомые места, по avenue d'Italie, Tolbiac, d'Alisia... длинные улицы... я шел и волновался...

Кале ходил на ипподром, ставил на лошадок. Интересно, с кем он пошел в первый раз? Как звали лошадь, на которую он поставил? Он был назван образцовым служащим (чуть ли не «служащим года»). Долги, голод, любовницы. Знать бы всех поименно. Но разве это возможно? Ты сам можешь вспомнить всех? Теоретически это возможно – отвращение останавливает. Для этого и нужен другой – тот, о ком ты рассказать можешь: I have put too much of myself into it\*; «художественное произведение всегда лично, принципиально лично, нельзя видеть художественное произведение безлично, дело не в имени, а в том, что личность в произведении отражается\*\*».

---

\* «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда.

\*\* «Козлиная песнь» К. Вагинова.

Avenue du Main, не прозевать поворот налево. Всё просто, вот и узенькая Rue de la Sablière. Названа в честь песчаного карьера или добытчиков песка; но кафе назвали в честь песочных часов – значит, люди думают, что это улица Песочных часов. Тем лучше, все эти карьеры давно пора забыть.

Не терплю криков чаек по весне. Пронзительные вопли...

26, rue de la Sablière – последний адрес Анри Кале. 13 аррондисман, места знакомые. Обычное восьмизэтажное здание. Он жил на восьмом этаже. Скучная, ничем не примечательная улица. Я шел по ней в волнении. Чтобы сюда попасть, я поднялся в пять утра, в поисках кухни (не будить же хозяйку) тыкался в двери, две комнаты были завалены основательно, там хранились вещи, коробки, склад с патефоном и старинными пластинками. Ночью проснулся разок, и мне показалось, что я в маминой квартире, и чуть не вскрикнул!

Хотел посидеть в «Песочных часах», но передумал, решил сэкономить, после двенадцати посижу, и пошел искать дом № 26. Легко нашел: светлое здание, с оградкой, куда приятней наших блочных высоток. Для Парижа оно суховато и невзрачно, типичное для спального района, но здесь оно как бы не на своем месте, и очень странно, что оно было построено в пятидесятые годы.

Я не стал пытаться проникнуть внутрь. Постоял рядом, сорвал листик какого-то растения, проросшего сквозь ограду. Травинка – и то ладно. Положил в карман... и вдруг почувствовал тяжесть. Со мной такого давно не бывало! Я же не курил и не пил сегодня. Что такое? Я держался за ограду, а меня давило, клонило к земле, я видел асфальт перед самым носом, и над головой яркий свет, оглушительные вопли чаек! Ах да, я же почти не спал ночью...

Страх отпустил. Усталость была простой и понятной. Я шел с большим трудом, но меня это не пугало. Улица сужалась, как тугой сапог. Но я знал, что это легкая галлюцинация от недосыпа. Меня разбирал восторг, оттого что я шел по строке моего романа. Да, твердил я себе, это строка моего романа, и его романа – здесь он ходил, по этой улице он торопился домой, неся в голове эпизоды романов.

## 6

Дом Жака стоит на окраине города, почти в лесу. Я много гуляю, даже в дождь. За лесом дышит озеро. В солнечный день от озерной глади во все стороны расходится яркий свет, словно купол. Куда ни пойдешь, на тебя отовсюду будто юпитеры светят. Здесь нет ощущения глуши, я чувствую город, слышу машины, из моего окна видна оживленная улица – правда, она находится немного внизу и вдалеке, но стук трамвайных колес я слышу и каждый раз, когда доносится до меня скрип, поднимаюсь, чтобы выглянуть на него: обожаю трамваи!

Есть люди, которые любят куда-нибудь уехать... Давайте уедем, говорят они. Если спросить их, куда бы вы хотели уехать? Они отве-

тят, что не знают, всё равно куда – хотя бы на дачу... Многие так и поступают – уезжают на дачу и там преспокойно живут, делая вид, будто они действительно сбежали, оторвались от рутины, укрылись и как-то реализуются, само пребывание на даче их питает, с чем-то связывает, куда-то выводит, освобождает от обязательств и натруженных мозолей (мой дед, например, на даче всегда ходил исключительно босиком), выводит за пределы кольца однообразных повторений, во что-то вливает и позволяет осуществлять тайное.

Но это мнимое, конечно. Это даже не путешествие, и не отдых, обыкновенный самообман, потворствование одной из глупых привычек. Я не люблю дачи; завидев домик посреди сада, с клумбой и кустами каких-нибудь ягод, я начинаю грустить, заборы меня угнетают, из-за забора за вами следит участливое соседское око, зверье обязательно влезет в дом, погрызет мебель, оставит помет. Сырость и лохматая ель, влажные травы, проникающие в дом стрекозы, пчелы, осы, но хуже всего неприятная тишь, располагающая к бездумью и безделью; тишь нагоняет на меня томление и мысли, такие страшные мысли, что хочется выйти и, не простившись, пойти на станцию, поскорее уехать, потому что перед глазами стоят сгоревшие на дачах, на свою беду вселившиеся бродяги, которых выволокли и случайно забили до смерти, повесившиеся, спившиеся и застрелившиеся; приходят мысли о браге, самогоне, каннабисной дичке и маковых бинтиках...

Но им, людям праздным, без осьминога в голове, удастся расслабляться на дачах, чувствовать там себя как дома, пить и куролесить, совершенно без задней мысли. Они живут в своей скорлупе, как те самозабвенные идиоты на картине Босха: сидят они в большом голубом яйце своей мечты, ничего вокруг не замечая, с упоением дуют в дудки, бьют по струнам, голоса глупую песенку.

Мне нужен город, улица за окном; или чтобы рельеф (шпили и высотные дома) вычерчивался на горизонте; я должен его чувствовать, не могу жить без органной ноты городского шума, любое загородное, дачное вызывает во мне протест, презрение к себе. Даже на один день выезжать не люблю, для меня это компромисс, уступка пошлости. Выпивка, шашлык, костерок... а разговоры, разговоры-то!.. Даже если я сижу в шезлонге, один, меня не беспокоят, меня все оставили в покое, вывезли и оставили, я читаю любимую книгу, если это происходит на даче – у кого-то в загородном доме, в избушке на кривых ножках, у озера, на опушке или в околотке, даже если приятно шелестит плющ, а с яблонь падают редкие яблоки – всё равно я не испытываю умиротворения, потому что помню: самим нахождением здесь я потворствую чьей-то глупости, я не сам, не по своей воле приехал, меня уговорили, уломали, обманули, день катится к чертям, и я ничего не могу сделать, я сам предал этот день, я сам себя отдал этим людям, позволил им захватить меня и втянуть в яйцо своей идиллии.

Я понимаю Руссо – он не выносил Париж, светское общество и так далее, его осаждали дураки, притворщики, кретины, потому он бежал в Эрмитаж, жил в лесу, чтобы работать, потому что не терпел праздности... но я-то... я бы жил в Париже, хотя энергетика Парижа мне не подходит, и всё же я бы заставил себя привыкнуть, придумал бы, как себя настроить в лад с этим городом, заперся бы в квартире, но не променял бы его на какую-нибудь глубинку. К черту глубинку! К черту полянки, реки, бессмысленную полосу пляжа! К черту! У меня столько дурных воспоминаний, связанных с этими выездами! У меня на глазах люди творили бездну глупостей – стоило им только выехать, они превращались в каких-то распушенных, ленивых, распутных, прожорливых идиотов, как будто только ради того и жили, чтобы вырваться и распутиться, не жили, а притворялись, а тут – на даче, на природе!.. на пляже!.. – им будто дозволено сорвать с себя маски, костюм, вылинять из своей городской личины, стать абсолютно прозрачной сантропезной личностью, – сама святая простота, от которой всё внутри у меня стынет и немеет, хочется крикнуть: да придите в сознание, придите в себя! Особенно хороши они по праздникам: долго готовятся, рассупонятся и ликуют, а потом долго не могут собраться... я никогда ни на одном празднике до конца не был с ними вместе, напиваться я напивался, и даже до беспамятства, но только для того и напивался до беспамятства, чтобы ощутить праздник, окупиться, понять, раствориться в совместной радости – какой бы ни была причина. Но не получалось, не испытал я ни праздника, ни совместного ликования.

Нет, если б не люди, которые вечно что-то замышляют, придумывают и тебя втягивают в свой карнавал, навязывают свою музыку, выпивку, вещества, – без них окраина была бы даже очень милой, я не смотрю на нее свысока, готов принять ее всецело, быть первооткрывателем ее лазов, тропинок, ухабов, познакомился бы с каждым псом и ходил бы в поля, но – один, без бутерброда в котомке, без спутника с сигаркой в портсигаре. Люди умудряются жить с праздником, носить его с собой, в себе, и всюду тебя в него посвящают. А я не хочу – не нужен мне праздник. Я не хочу покачивать головой под чью-то музыку. Праздники жутко растлевают, надо, чтобы их было меньше, чтобы люди шевелились и что-то делали. Пока они заняты, они еще держатся, и улицы нашего города гудят спокойно, ритмично, четко расчесаны улицы деловитыми походками, собрано и сплоченно люди куда-то идут, и меня это успокаивает: все заняты, никому до меня нет дела, я сажусь за мою писанину... Мне повезло, я довольно долго жил в тихом местечке. В восьмидесятые, да и в девяностые, Каламая был очень тихим закутком, нам время точно отмеряли неспешной водой; машины редко проезжали по улице Сальме, ехали медленно, приятно рычали, грузовики негромко тарактели, как речные катера, я открывал окно и, свесившись с третьего этажа (под-

оконники в нашем доме были широкие, жестяные), смотрел вниз, как с моста.

Мне не хватает того вертикального взгляда – когда ты каплей падаешь, а над тобой поднимается шуршащий лиственный фон тополей, а за ними стоит серая стена Дворца Культуры. Мне не хватает того неба, которое лизало мой затылок; не хватает солнечного пятна на лопатках. В зимние дни свет стоял другой, он был насыщен блеском сосулк и размерен веселой музыкой капели – до сих пор снятся мне те далекие слюдяные оттепели! В летние просторные дни царствовал шелест густой листвы, и хотелось бежать сломя голову – просто так, чтобы сердце стучало громко. В осенние – стук дождя под подоконнику, вой ветра на чердаке, шорох радиостанций под обоями.

\* \* \*

– Сейчас надо терпеть, а не аргачиться. Не надо пылить не по делу. Как там ваш Кале?

– Кое-что наметал.

– Ага! Это хорошо... Я уже два года ничего не пишу – *Tous les mots que je pouvais à dire se sont transformés en cadavres de mes jours...*\*

Иногда что-то набросаю, и всё.

Я и читаю так же – закладки, закладки, закладки... и еще закладки, закладки...

Впрочем, никто от меня и не ждет.

Я живу в комнате тысячи и одной ночи – и каждая кошмарная, бессонная или ступор.

Годы ее болезни были самыми слабыми, я ничего бы не писал вообще, если бы не она, я это делал для нее. Она приносила мне тетрадь, я садился писать: месяц, два, третий... Закончив, отдавал ей, она наклеивала на корешок картонный ярлык, надписывала даты: с такого-то месяца по такой-то, год, и ставила на полку. Работая над моими так называемыми рассказами (как видите, я не очень высокого мнения о своем литературном таланте), я листал тетради, подыскивая, что бы такое выдернуть, какие фрагменты сплести, ну, представляете, наверное... изучал с лупой, ругался на себя, на свой почерк, на то, что пишу всегда одно и то же; замечаю одни и те же черты в людях, на всех сержусь и над всеми посмеиваюсь в душе, не очень изящно рисуя карикатуры; часто начинаю с погоды, записываю температуру, как если б температура что-нибудь значила, или жирно пишу ночное время – подчеркиваю: ночь, бессонница, как будто кого-то будет волновать моя бессонница, кто-то прочтет – ведь не прочтет же! Меня в самом деле раздражают мои обороты; длинные предложения, которые не знаю, как закончить, и рассыпаю многоточие, будто бросаю спасательный круг; вот череда коротких предложений – что за частокол!

---

\* Все слова, что я мог сказать, обратились в покойников моих дней (*фр.*).

Стыдно, когда ленюсь или забываю поставить запятую, а вижу запятые, точку с запятой – трясусь от своей дотошности: бюрократ! А этот нудный знак тире – шлагбаум посреди строки, предлагающий глазам ехать в объезд; и рабская зависимость от сравнений.

В день, когда ее не стало, я записал: умерла, и больше не писал. Пока не нашел в ее шкафчике с десяток прикупленных тетрадей (все разного цвета, как обычно), на некоторых уже был ярлычок на корешке, правда, без даты. Тетради лежали красивой стопочкой, поверх них оставлена была записка: «Прощу тебя, продолжай писать – ради меня. Твоя Сильвия».

– Я до сих пор так и не пришел в себя. По ночам кошмары, кошмары... Вам что-нибудь снится?

– Да, – сказал я, – недавно во сне видел текст, разноцветные буквы на тетрадных листах, убористо, от руки, мой почерк, я знал, что это был мой текст, но свечение над тетрадкой, будто она залита какими-то фосфорными чернилами... этого я не понял... и еще, во сне я знал, что это – Кале, Анри Кале, мой герой, его кровь или не знаю что... Жуть! Бессмыслица!

Он подскочил, взял меня за руку. Я обмер. Он сжал мою руку.

– Вы – счастливый человек! – он был в сильном волнении, даже задышался. – Вы даже не представляете... как бы я хотел... Я бы так хотел видеть цветные сны... А такой сон, в котором я пишу или вижу текст... Такого у меня никогда не было! Никогда.

Он отошел и взял свой бокал, выпил. Я был слегка ошарашен такой подвижностью. Его словно подменили. Он двигался порывисто, легко, как вор, который влез в дом и шастает. И еще меня посетило странное чувство: мне показалось, будто он ушел в себя, настолько быстро и глубоко в себя, что я совсем исчез для него, он, может, и видел меня, чувствовал меня подле себя, но из черной глубины, сквозь туннель. Его не было в комнате. По комнате ходила его тень, призрак.

Он взял бутылку, в ней почти не оставалось вина. Он некрасиво сморщил губы, взглянул на меня, я отказался, и он вылил остатки в свой бокал, сразу выпил и нервно, совсем неузнаваемо заговорил:

– Вообще не понимаю, как продолжать, как двигаться дальше. Не имеет смысла. «Тримальяиона» ставят... Я этот роман не люблю. Потому что дописывал без нее. Начинал, ни о чем не догадываясь. Потом узнали... она болела... Писать его было невероятно сложно. Ни на секунду не мог забыть, что жизнь в ней убывает. И постановка эта мне...

Он провел рукой по горлу. Отошел, посмотрел в окно, сел на место и продолжал:

– Я, конечно, прихожу, смотрю, слушаю... но почти ничего им не говорю. Она не увидит этого, вот что я знаю, я об этом каждое мгновение в театре думаю: Сильвия этого не увидит, не увидит «Тримальяиона», она всё это... Я же для нее писал, всегда писал толь-

ко для нее! Писал и рассказывал, она спорила, хвалила, ругала – мне всё было важно. Пять лет, в этом романе пять наших лет. Еще до болезни, мы были счастливы, нам еще не было шестидесяти! Молодые. Мы с ней иногда чудили... Ездили в Прагу – напились! И теперь мне так трудно смотреть на сцену. Нет рядом ее. И все это знают, я вижу, они так на меня смотрят, особенный взгляд, Хенрик знает, поджимает губу, Урсула затяжной бросает взгляд, я не хочу этого. Трудно стало ходить в театр. Сильвия не увидит. Какой в этом смысл? Открываю «Энеиду». Не знаю, закончу ли? Открытое плавание. Автор не закончил. Я тоже не гарантирован от внезапной смерти. Я не верю в духов и загробную жизнь. Личность только по эту сторону. Где длительность, там и память. А за чертой – нет ничего. Пустые страницы чистого бытия. Нет времени, и смысла, значит, нет тоже. Там только это...

Он сделал пальцами движение, будто загорается и гаснет лампа, как мигает сигнал маяка.

\* \* \*

Сон: я возвращаюсь из школы, иду по моей улице, которая во сне кажется старинной – колодец, беседки на газонах... Вместо Дворца культуры раскинулся вокзал с пышным блестящим паровозом. Облако пара превращается в парус, паровоз – в корабль, тут же плещется море, я иду вдоль черной цепи, переступаю через туго натянутые канаты, по трапам идут дамы с кружевными зонтиками, господы в белых перчатках придерживают свои шляпы. Затем помню водокачку, большую машину с желтым пухлым баком, не какой-нибудь ГАЗ или ЗИЛ, а волшебный «Руссо-Балт» с блестящими спицами в колесах, с изогнутым лакированным крылом и большими всевидящими фарами, похожими на алмазы. Напористая струя, почти стальная, наполняет бак, вокруг – метеоры брызг, радуга, чей-то смех. Под машиной стремительно растет живое зеркало, через которое я перепрыгиваю, боясь в него провалиться, и бегу! Домов во сне на моей улице всегда больше, и стоят они не так. Большие, с огромными окнами и балконами. Кованные балюстрады, мансарды и флигели, выходящие во дворы. На верандах пьют кофе, дворы открытые и просторные, нет ни крыжовника, ни смородины, ни уродливых сараюшек, набитых дровами. Деревья не извиваются, а растут стройно и благородно, величественно и высоко протягивая свои сильные ветви. Гнилые заборы снесены. Над всем звучит музыка, поют птицы, свет проникает в каждый закуток. Крыши наших домов обретали во сне совершенно волшебные очертания.

Я долго и осторожно поднимался с пола. О, моя поясница! Чтобы поднять себя, я должен каждую ногу подтянуть с осторожностью, гусеницей переваливаясь, выйти на удобную для подъема позицию...

В каком-то промежуточном движении, меня упор, я на мгновение ввалился в 2001 год (тут, видимо, сумерки подыграли), я оказался в том легком доме, похожем на дачу, в котором жил в течение года на Лангеланде. Тот дом стоял у последнего поворота перед обзорной площадкой (красивый обрыв), куда приезжали немецкие туристы полюбоваться прибором, пройтись по гальке, умилиться морскими котиками, посмотреть на маяк и рыбацкие шхуны, достать бинокль и с серьезным видом направить его на берег родной Германии... Нырляльщики садятся в надувную лодку и уходят в мерцающие ослепительные воды. Другие вернулись, стянули с себя костюмы, вон они лежат на камнях, как тюленьи шкуры из фарерской легенды, а сами нырляльщики, оставшись в тонких обтягивающих одеждах, изящные как танцоры, прохаживаются по шуршащему берегу, громко делятся впечатлениями, дымя сочно-пахнущей травкой...

Я снова там. Не может быть! Я вижу берег и морскую даль, вижу рыболовецкие шхуны и катера; на холме вижу ирландца, его длинные черные волосы развиваются, он жестикулирует, что-то рассказывая, на нем черные очки, кожаная куртка, его дети внимательно слушают, в сторонке, кутаясь в кофту из шерсти ламы, стоит его жена; вижу на парковке их синюю «Шкоду»...

Я снова лежу на войлочном полу, слушаю шелест камыша и скребет ветвей. В том доме похоже скрипели полы и щелкали доски, балки под крышей поскрипывали, я слышал сквозняк, как слышу его теперь, и за окном моим стоит такая же по насыщенности звуками жизнь, как некая субстанция, растекшаяся и залепившая слух пузырярем, в котором гудит комарье, шуршат травы, тростник, ветви. Стены дома были обшиты грубой материей, на ощупь напоминавшей мешковину. К чему бы я ни прикоснулся, всюду нащупывал мешковину – и часто напевал:

так налей посошок  
и зашей мой мешок

Лангеланд был красивый в ясные дни, и он становился невыносимым в непогожие. Вот где не хватало мне звуков большого города, машин, какого-нибудь строительства... От тоски я учил немецкий, ходил к маяку, сидел на пробитой перевернутой лодке на берегу моря, глядя на серую полосу Германии вдалеке. Ветряки на острове Эрё, казалось, росли прямо из моря.

Меня мучила тяга домой, по ночам, когда не спалось, свет из окна становился прежним, словно от знакомого фонаря, и я лежал, подолгу потворствуя иллюзии, будто за окном до смерти скучный газон и здание Дворца культуры. Сквозь сумерки проступал склеп мансарды, за окном шуршал Лангеланд, ветви сухих осин, сосны, дорога. У меня нет дома, твердил я себе. Ничто меня там не ждет – ни

газон, ни деревья, ни серые стены Старого города. Когда я вспоминал улицы нашего города, они восставали под веками искаженными. И меня это мучило – а ведь раньше я хотел от них сбежать! Раньше о газоне я писал пренебрежительно, сравнивал его с мятым носовым платком... теперь я отдал бы руку, чтобы его увидеть из окна моей комнаты. Нет, и комната была больше не моя. В ней жили другие люди. Наладить ход прежней жизни невозможно, говорил я, глядя из моего окна на датский лес. Какой была она, моя прежняя жизнь? Я шел по ней отстраненно и скованно. Последние годы я даже не улыбался. Мне было двадцать пять, а я превратился в лаборанта, который не вылезал из своего противобактериологического костюма. Я хотел невозможно. Я надеялся исчезнуть в других мирах. Что угодно, только не банальная жизнь, не это однообразие, не завтрак-обед-ужин каждый день, работа, зарплата – ни за что. Пусть лучше меня похитят инопланетяне и ставят на мне опыты! А потом я понял: от жизни нет смысла прятаться, надо развернуться лицом к ней и броситься в отверстую пасть (я помню ту страшную фотографию, которую вырезал из журнала «Вокруг света», – мне было двенадцать, я начал клеить всякие фотокарточки на дверцу моего шкафа с внутренней стороны: обезьяна в прыжке бросается на тигра, выпустив свой последний решительный крик; в двадцать пять я в ней увидел другое, в обезьяне я увидел себя).

Я выхожу из комнаты. В доме стоит глубокая ночь. Хрустя позвонками лестницы, спускаюсь на rez de chaussée. И что я вижу – Жак не спит, он стоит у большого окна (на плечах плед, луна серебрит волосы), в руке кружка, рядом с ним бутылка рома.

– И вам не спится?

– Да, – подхожу.

– Ну, берите кружку, попьем чаю с ромом.

– Отлично.

В молодости я был ужасно легкомысленный. Женился, вместе прожили год, она забеременела, я ездил в Литву и Польшу, возил барахло, торговал на рынке, и однажды остался в Польше: застрял, взял большие деньги в долг с другом, немного загуляли, сходили на рок-фестиваль, 1991 год – многое было в новинку, чуть-чуть увлеклись травкой, новые знакомые, из одной квартиры в другую, какая-то свобода шальная вдруг в голове, а потом новости из Питера – нас ищут! где деньги? готовы выбивать силой, мы за наши мешки-баулы, а барахлишко-то уплыло!.. возвращаться не с чем, караул!

Мой закадычный друг Леха жил в очень старом ветхом доме, он был на несколько лет старше меня, многого к тому времени уже насмотрелся и часто говорил о самоубийстве – ничего, кроме неприятностей, ждать от этой потаскухи (так он называл жизнь) не стоит. Он учился в Риге, бросил, поругался с отцом – там была ненависть, отец ему сказал: «Уезжай, а то убью!» – Леха уехал в Питер, где мы и

познакомились на одном из книжных развалов, он торговал книгами и читал философию, я торговал шмотками и приходил к нему за книгами. Когда мы узнали, что оба из Риги, то рассмеялись: стоило уехать, чтобы встретиться! Мы вместе ездили за барахлом, в Риге я часто у него бывал, он жил с какой-то женщиной, лет на пять старше, и ее дочкой, в дощатом домишке на одной из старых деревянных улиц, где пахло углем, хлоркой, ангидридом, аммиаком и самогоном; в коридорах стояли старинные шкафы, настолько просторные, что было трудно протиснуться, и мы шутили, что в них тоже живут, возле дверей стояли высокие сапоги, почти все там ходили в сапогах, потому что лужи во дворах и на тротуарах не просыхали; их окна выходили во двор, на первом этаже, почти подвал, очень узкие низкие окна, вид был на гаражи и дрова, груды досок, прогнивших до основания, балки, черные, я отлично их помню, потому что часто бывал у него и, когда сидел в легком жестком старом кресле, то как раз видел в окно те балки, дрова и каменную стену гаражей; его женщина (имени не помню) работала на складе (мы разок ездили туда, я помогал им затащить, везли тяжелые сумки с консервами, гречкой, рисом, макаронами, потом забрали девочку из детского сада).

Алексей работал на стройках. Дома у них ничего не было, одно старье, – старые табуреты и стулья, на шатком столе клеенка с потертым рисунком. Он умудрялся жить вроде бы с ними, а вроде оставался сам по себе – так он себя поставил, да и со мной он выстроил отношения интересно: мы вроде бы дружили, а всё же он был слегка на высоте; я чувствовал, что он мне ничем не обязан, а я обязан перед ним отчитываться, это само собой возникло, он приходил на дежурство и проверял, что я читаю, что ем, пью, я ему докладывал о написанном, прочитанном, он выслушивал с удовольствием, рассказывал свое, если считал нужным, и имел своей манерой говорить сильное на меня влияние – я заслушивался, в нем было что-то гипнотическое, чувствовался большой жизненный опыт, он ведь и в Польше пожить успел, ездил по деревенькам, лазил в горах, повидал многое, сквозь него шла жизнь (теперь он другой: много лет спустя мы нашли, всё близится к закату, жизнь в нем затухает, он сам об этом постоянно говорит). Тогда он жил в деревянной комнате с ободранными обоями, со шкафом с обломанными дверцами наверху, откуда смотрели пуговицами подушки и большое ватное красное, слегка порванное одеяло, мы сидели при свечах или включали лампу с желтым абажуром. Мы много курили, травка растягивает время. Он только дрова подбрасывать выходил, приносил чайник, редко говорили, играли в шахматы – он выигрывал, конечно, славно играл; иногда, подняв книгу, из тех, что валялись у него возле кресла, с лупой выискивая что-нибудь, он читал. Его подруга приносила нам вареники или просто спрашивала: «К чаю вам принести чего-нибудь?», – нам было всё равно, пили чай с простым печеньем. Он работал на трех работах, всё успевал, водку

не пил, много курил травы, которую мы покупали возле бани. Учил польский, а я у него подучивал. Берлинская стена рухнула, и всё остальное потихоньку крошилось, но система работала, коммунистическая партия, как фантастический двигатель, болтаясь в воздухе, продолжала управлять, отдавать приказы, ловить и сажать, созывать съезд, издавать указы, печатать газеты; мы реже возвращались домой, меня всё устраивало в Польше – мое нищенское существование, затворничество, спальный район, в котором я бывал, – всё было неказистым и непроглядным, но сквозь эту пелену веяло манящей струей, какое-то круговращение меня затягивало, я чувствовал, что к чему-то приближался, где-то было водоворот, я предчувствовал авантюру, путешествие в неведомые миры. С университетом не вышло – ну и черт с ним! Пусть всё идет не по плану! Мы много пьянствовали. Творили всякие безрассудства... форсировали бастионы реальности... Леха часто уезжал, я оставался один, много читал и писал, забывая о пище, у нас было много супов, пакеты с супами, я их варил и ел, а когда супы кончались, я просто пил чай и воду, не думая о еде совсем...

Однажды я приобрел какой-то порошок, от которого я чуть не угодил в психушку, я купил его у таксиста в центре Варшавы, приехал к себе – я снимал маленькую комнату в многоэтажке дзельницы Таргувек, в большой семье, которая иногда уезжала, тогда в моем распоряжении была вся квартира, но я не имел права никого приводить, зато придумал себе развлечения: покурить марихуаны втихаря или принять еще чего-нибудь. И вот я купил у таксиста порошок, завернутый в бумажку, он был желтоватого цвета. Я спросил, что это такое, он честно ответил: «Не знаю». А как употреблять? «Кончик спички обмакнешь в порошок и в рот. Два, три раза – ждешь. Потом повторишь, по желанию». А эффект какой? – «Понятия не имею». Я сидел один и под музыку помаленьку спичкой собирал порошок и отправлял в рот, без ограничения, крупица за крупицей, крупица за крупицей... К трем часам ночи я разделался с ним и пошел в туалет, в зеркале я увидел Мефистофеля. От страха я чуть не грохнулся, ноги мои подогнулись, я спрятался от Мефистофеля и боялся войти в туалет. Задним умом я, конечно, понимал, что никакого Мефистофеля в зеркале не было, я уговаривал себя: это я, это мое отражение... но поддался панике, не выдержал и побежал вон. На улице стало хуже. На меня навалился искаженный мир, громады домов нависали надо мной, здания казались гораздо больше, чем прежде, из окон на меня пялились и гоготали фурии. Рядом появлялись демоны, что-то шептали на непонятном языке. Я побежал и долго бежал, не чувствуя ни усталости, ни боли в ногах. Потом шел вдоль дороги, не ощущая холода, очень долго мочился в кустах... Меня постигло расщепление: я был одновременно в Риге и Варшаве. Та часть, что находилась в Польше, была в панике. Другая переносила испытание легче. В голове творилось непонятное: какой-то дикий звон, сквозняк и смена лиц.

В таком карусельном состоянии я обошел мой район. Много раз забредал в Ригу, снова возвращался. Помню, что долго стоял у пруда, совсем не понимая, что со мной происходит. Я хотел это прекратить. Думал – броситься в воду, но с водой тоже творилось неведь что. Пруд шевелился, вода меняла цвета, она текла то вверх, переливаясь, то снова двигалась внутрь, будто вращаясь. Над всем этим поднималось туманное свечение, которое меняло оттенки. Это уже была совсем другая планета. Мое отражение в воде было ужасно. Пытка продлилась до девяти часов утра. Я пришел к себе совершенно измученным, насквозь мокрым, и непонятно, где я так извалялся, стопы были сбиты в кровь, я после дня два не мог ходить и еще неделю в голове то гудело, то звенело, занималась карусель, но всё тише и тише – вспыхнет зарница, зазвенит бубенец, и стихнет. Больше порошками я не баловался.

Дверь закрипела, и к нам вошел Петя, он был в пижаме, в его руках большая мягкая игрушка (кажется, Тигра из сказки Милна). Таким я его еще не видел.

– Чего вы тут? – спросил он.

– Да так, – сказал Жак, – не спится.

– Чай хочешь? – спросил я.

– Хочу, – сказал он. Как сомнамбула, пересек комнату, забрался в большое старое кресло и, прильнув к своему тигру, тут же засопел. Жак набросил на него свой плед и негромко продолжал:

– Ну вот, девятностый год, переломный... В Варшаве для меня вдруг всё кончилось. Меня сорвало с места. Вернулся Леха из Риги и сказал, что он собирается на верфи Щецина, мы сели в «Северного бродягу» (так поезд назывался) и поехали. Поезд был набит страшно, вещей – прорва, людей – уйма! Детей на шеях везли, плачь, вздохи, ругань... А баракла – тонны, всё валится, люди ползут за ним... Ой, не продохнуть, и всё время толкались, толкались... Пассажирам становилось плохо, некоторые блевали прямо рядом с собой, я такого больше никогда не видел и – дай Бог – не увижу. Как Леха и обещал, в Щецине нам дали работу, которая много ума не требовала – грузи-разгружай, тяни-толкай. Двенадцать человек в бригаде, двенадцать часов смена, адский труд, деваться некуда; я был молодой, тридцать лет, сил хватало, мог и не спать, по двенадцать часов разгружать и загружать корабли, товарные вагоны – всё нипочем; в бригаде были узбеки, украинцы, белорусы, и два поляка. Платили гроши, поляки поминали забастовку восьмидесятого года... А я ни сном ни духом, что за забастовка была в восьмидесятом году? Мне объяснили. Я стал многим интересоваться, и чем больше интересовался, тем больше понимал, какой я невежественный, – ничего-то не знаю! Я-то себя воображал – книги у меня все мудреные... полный чемодан! А эти грузчики, без образования, семь классов в деревенской школе, а знали побольше меня. Не слышал я ни о пакте Молотова–Риббентропа, ни о

Катыни... А без этого, я считаю, нельзя жить! Раз меня насмешливо спросил один из них: «В каком году Вторая мировая война началась?» Спросил и ухмыляется, и дружки его смотрели, ехидно съезжившись, готовы были разорваться от важности и насмешек, — они прекрасно знали, что я отвечу... Мне было стыдно, я таким тупицей себя чувствовал. Это был 1990 год, переломный для меня, я еще не знал, что он такой важный будет для меня, но про себя я уже решил — домой не вернусь, так и буду двигаться, такая жизнь по мне... С такими мыслями я засыпал, другие балагурят, выпивают, в комнате нашей было семь человек, и тесно было, как в кубрике...

И вот как-то меня будят — собирайся, в кино сниматься едем, массовка, люди нужны... Я встал, оделся, побрел в автобус... Меня записала какая-то женщина, я с ней по-немецки поговорил, сел в автобус, смотрю на нее, думаю: красивая немочка... и опять уснул. Приехали. Ночь. Где мы? Хойна. Построили в очередь — и в спортзал, передевают в штатское, старье какое-то, серые шинели, плащи, рабочие одежды, кого во что, я — в военных сапогах и зимней шапке, в рабочей куртке тридцатого года... Во мраке вижу — советские ЗИЛы стоят, жутко, меня пробрало, в кузовах прожекторы, солдаты в советской форме... О, думаю, приехали! Тут лучше рот держать на замке, чтоб не пристали с расспросами. Спрашиваю поляков: о чем фильм? Все: *wojna-wojna*... Тогда ясно... Здорово я прочувствовал войну в ту ночь, нас долго держали кучно, я быстро стер ноги в чужих сапогах, мы теснились сначала в спортзале, потом погнали на улицу, построили в шеренги, погнали — одних в депо, других на улицу, мы в депо изображали сварочные работы, жгли электроды, я с удовольствием жег их, другие стучали молотками, изображали деятельность, над нами ходила красивая немка и просила в громкоговоритель изображать труд, побольше ярких вспышек, я ей отвечал по-немецки — и давай варить! Она улыбалась, я поймал ее веселый взгляд, она смешно говорила по-польски, старалась, но получалось смешно. А те снаружи что-то, в свою очередь, изображали, катали колеса, тянули вагон, носили из одного места бревна или шпалы, а потом тащили обратно. В окно я видел, как по железнодорожному полотну, на насыпи, ехала дрезина, на ней стояла большая камера, стоял, согнувшись, как лаборант, заглядывающий в микроскоп, оператор и, важно скрестив руки на груди, стоял плюгавый режиссер в шляпе, замерзший...

На следующий день моя судьба совершила неожиданный пируэт. В общем, я думаю, что затем сила меня и забросила в Польшу, подержала в Варшаве, где я провел больше года в полусне, а затем закинула в Хойну. Как я потом узнал, нас с верфи сняли на эту массовку лишь потому, что большая часть массовки, которая уже была тут, пропала — они накануне напились и разбрелись... поэтому срочно послали Сильвию за людьми в Щецин, где ей дали адрес нашего общежития... Ну, что тут скажешь, судьба! Она сама нам об этом рассказала, когда

мы выпивали в спортзале, сидя прямо на гудах одежды, в которой выходили на улицу, нам еще предстояли съемки, последняя ночь, все как-то сразу сблизилось, люди собирались группками и пили, жадно делились эмоциями; она говорила, что и на съемки-то угодила совершенно случайно, она была в институте, в Гданьске, там ее спросили, не хочет ли она помогать киногруппе, будут съемки в глуши, нужен человек со знанием польского и немецкого, и она от нечего делать согласилась: *мне просто было почему-то любопытно – посмотреть, как снимают кино...* Я слушал ее и удивлялся, мне всё время казалось, что мы не на съемках, это не кино, а какое-то странствие, мы все едем куда-то, вот мы и перезнакомились... Тут мой немецкий пригодился, мы вышли покурить, и был неожиданно светлый день, что-то около полудня, мы гуляли возле собора, Сильвия (тогда еще не знал ее имени) рассказала, кто и о чем снимает фильм, это была «Европа», имя режиссера мне ни о чем не говорило, я даже не обратил внимания – наверное, и не понял, всё это пролетело мимо моих ушей, я уже был влюблен, хотя не догадывался, чувство овладело раньше, чем рассудок успел пробить тревогу. Пасмурный день, никого, мы всю ночь не спали, утром выпили – в общем, всё сместилось и нарушилось, мы как-то оказались на улице, я читал ей стихи – и по-русски тоже, она попросила, я с радостью читал, она немного понимала, сказала, что учит русский, читала Ахматову. Мы стояли на заснеженной тропинке, у самой стены собора Святой Марии. Побитая стена нависала над нами. Слышны были голоса. Где-то работали солдаты. Но никого не было видно. Мы с ней были словно в магическом пузыре. Я говорю: «Завтра мы уезжаем...» Она: «Да». Я говорю: «И я вас никогда не увижу, Сильвия... А вы такая необыкновенная, красивая, веселая... Можно я вас поцелую?» Она сама меня поцеловала...

Момент был волшебный.

Потом я вернулся в Щецин. Переписывались, созванивались. Она приехала ко мне. Решили не расставаться. Вскоре всё перевернулось в мире как нельзя лучше для нас. Я вернулся в Ригу, сделал документы, уехал. Ее отец болел, она долго меня скрывала от него, пока он был в больнице, я с ним ни разу не встретился, а потом его привезли в дом. Тут уж мы поговорили. Я стал за ним присматривать, делать мне было нечего, работы не было; читал ему газету, книги, готовил еду, включал и выключал музыку, телевизор, подносил лекарство. Целый год за ним ухаживал... и писал мой первый роман.

– Долго писали?

– Около семи лет.

Жак на рассвете. В старом клозете. Вынес из дома ворох тряпья, сел на трамвай и отвез мешок на Untere Rebgasse 17. Пока ехал в

трамвае, вспомнилось, как возил вещи на продажу, и вдруг подумал, что мне теперь предстоит всё отдать в Красный Крест, пока не снесу столько же, не умру.

Прошелся по городу. Выбрал я не самый подходящий час: народу было полно, гадеж, ремонтные работы, мойщики улиц и окон, собаки, велосипеды, дети. Кафе в пустом переулке, сел – никого и как-то глухо, неудобно, прохладно, ветер дует не переставая. Да что за черт!.. Сел на автобус и уехал во Францию, гулял по полям, пока не разболелись ноги. Дышать стало легче. Сидел в придорожном ресторане, пил вино... Солнце, разморило, отовсюду вдруг ароматы полевых растений нахлынули, уезжать не хотелось, но и оставаться больше не мог.

Ночь – мое черное золото; вот когда копать и копать. Жак на закате. В белой палате. Обо мне написали – и я вдруг стал интернациональной фигурой; в наши дни всё решает хайп, а не талант, качество написанного или сказанного, в общем-то, больше не значит ничего, о тебе говорят – это главное. Обо мне заговорили на самых разных языках, в том числе на родном. Делатели белого шума плетут из сплетен соломенное чучело, а потом поджигают его, – вот этот дым и есть хайп. Он крадет ваше время. Всё это черная магия.

О, Сильвия! Ты продумала мой досуг наперед, ты знала, как я буду жить после твоей смерти. Поэтому ты всегда рядом, мне не отпустить тебя, ты во всем, но это не сладостное присутствие, не духовное наполнение, а гул ветра в кувшине. Вспоминаю, как мы были счастливы – и превращаюсь в стон. Как меня гложет тоска! Минута за минутой – для меня больше нет дней и часов, тут тикают минуты. Иногда удается потеснить тоску: включу проигрыватель, поставлю пластинку, пью вино, набиваю трубку – вот как сейчас: ночь, сижу в оранжерее, смотрю на звезду сквозь толстое стекло, вокруг шелестят растения, небо чистое, но стекло мутноватое, так что кажется, будто в ночи собирается гроза. В нашей спальне я ни разу не уснул, стараюсь в нее не входить. Редкий случай – пишу, а тоска рядом за мной наблюдает, вот-вот вцепится. Я проснулся в ужасе, мне снился кошмар. Я был кем-то, кто попал в страшное помещение, казенное каменное здание с красными стенами. Меня схватили и привезли туда, кажется, в клетке. Я был связан, меня волокли – я целиком был во власти тюремщиков, меня раздели и макали в кипяток, углубления в каменном полу, каменные ванны, большой кувшин с кипящей водой, – я кричал, пузыри покрывали мою кожу, а потом с меня содрали волосы и лицо. Я очнулся, но стряхнуть ужаса не смог, я был всё еще там, мою комнату заполнил кошмар – казалось, что сейчас ко мне войдут эти жуткие санитары, начнут сдирать с меня одежду (на кожу и волосы мне плевать, а вот одежда – за наготу подростковому стыдно). Я принес ужас с собой, как заразу. И долго не мог от него отделаться, он меня облепил, липкий и маслянистый,

по членам разбежалось жжение, в глотке – подошва стертого башмака, будто я болен чем-то неприличным и мой нос вот-вот провалится. Руки тряслись, пот выступил; и не лег сразу, пил чай и слушал *Se qu'on entend sur la montagne*\* ...а вот уже день! светит солнце, мальчик садится за пианино, начинает играть, я выключаю проигрыватель, курю помаленьку, слушаю... Затих, и сразу стали слышны – шаги, голоса, безошибочно определяю, где кто находится и чем занимается. Ночью под музыку я так и уснул, проспал до обеда. Только что встал, глаза искали циферблат, а часов-то нет – одни растения и стекло кругом. Растерялся. От исписанной за ночь бумаги повеяло было приятным теплом, но не обволокло. В саду посетители пьют кофе и беседуют. Они словно подкрались ко мне, пока я спал. (Если у человека нет хорошего укрытия, он не может писать, – кажется, так говорил Кьеркегор.)

Сын и его жена развлекают гостей, нас пока не трогают, даже не стучали, – но постучат... Обязательно. Эти сытые беженцы поднимутся наверх, чтобы пожать мою руку, оглядеться, оценить стол старика – о, как внезапно я состарился! – книжную полку, афишки, пластинки, портрет... Но не будем торопить события, поглядим на них сверху, рассмотрим внимательно...

Отодвинул занавеску: сидят, расселись...

Прежде всех притащился хромой поэт Собакин, – неделей раньше, будто подкуп, почтой прибыл его тоненький сборник стихов: «ГРусьТЬ» (Август Собакин; издательство «Ultima Thule», СПб, 2023 год, печать офсетная и так далее). Девственная, хрустящая, пахнущая серой книженция. Витиевато подписана – мне лично, ого! Я спросил: что это? Невестка воскликнула: Как!!! – и потрясла головой. Сегодня в час пополудни Август Собакин, грузно навалившись на живую изгородь, неловко шарил тяжелой рукой в поисках щеколды. Сын вышел ему открыть. Собакин громко (аж мне было слышно), с одышкой и расстановкой, сообщил сыну: «С утра шел, с самого утра пораньше вышел...» (Нахал, будто мы на отшибе живем!)

Рвался в дом, но его попросили дожидаться остальных в саду, и там он ходил, забывая хромать, утирал лысину нашими салфетками, пил огуречную воду, проливая на столик, небрежно ставил графин на краешек, все-таки напросился в туалет, долго откашливался и что-то напевал (про «веселого кота»); его снова выставили, я наблюдал за ним, он вошел в оранжевую, постоял там, шурша чем-то, вышел, тоже со вздохом, прошелся по террасе, случайно пнул старый цветочный горшок – громкий керамический крик; поэт долго что-то чирикал в блокнотик, до смешного миниатюрный, и наконец занял место на скамье, тут мы его рассмотрели: лысый, пунцовый, тяжелый, верхняя губа будто провисает под пышными усами, претендующими на

\* «Что слышно на горе» (*фр.*) – симфоническая поэма Ференца Листа.

близость или даже родство с многострадальным народом, – но сколько бы жалости он своим видом ни вызывал, мы не снизились.

Чуть поодаль, важно обособившись, на чугунном стуле сидит политический блогер Хвостогрив, человек седоватый и с виду едкий. Когда-то я читал его статьи, он всегда пытался забежать вперед, однако ничего, из ныне происходящего, он не предсказал, и близко нет. За ним тенью приплыл сутулый писатель Брусникин, уточним: писатель и колумнист, «знаменитость» (в первую очередь, наверное, колумнист, то бишь не писатель, вместе с Хвостогривом писал в каком-то медиаресурсе); моя невестка произносила его имя с домашней нежностью, будто он был частью ее семьи, и вслед скороговоркой перебирала награды, которые теперь лучше забыть.

Собравшись вместе, гости выпили и осмелели, заговорили громко, как у себя дома (хотя даже я в нашем саду стараюсь громко не говорить: соседи существуют).

О чем говорили гости? Легко вообразить: о стратегических ценах на нефть, о коварно завышенных ценах на жилплощадь (хором думают, что я неплохо устроился); чего стоят мясо, лук, спаржа (яйца, господа, не забудьте о яйцах!); Нетребко... чьи-то яхты под арестом гниют в Средиземном море... миллионы туда, оркестранты сюда... Идиоты надеются, что маневры с кувалдой раскачают лодку – а на кувалду действуют их разговоры, наверное? Их писульки в интернете... О, не дай бог им заговорить о правах русских... Тут я строг, у меня на этот счет четкая неколебимая позиция: чем больше бомб падает на Украину, тем меньше прав имеют те, кто выбрал российское гражданство, лучше быть «a stateless refugee», чем гражданином террористического государства. Сказал бы я этим блогерам-релокантам, артистам-писателишкам, которые рассуждают о будущем своей страны, пописывают статейки и стишки, делают смелые заявления, пытаются, так сказать, и лицо сохранить и честь не уронить, да и слогом блеснуть (некоторые из них продолжают на своей мрачной родине печатать книжки, оправдывая себя тем, что книги-де выходят в запрещенных термитами издательствах, которые беглые поэты-писатели меж собой называют «героическими»). Нет, знаете что – вам лучше засунуть ваши титулы в задний проход, повязать фартук поверх ваших примелькавшихся рыл и отправиться мыть посуду в грязном дешевом ресторанчике в любой из европейских стран, желательной одной из бедных, чтобы изо дня в день неутомимо обучаться науке быть европейцем!

Приоткрываем люкарну – врывается шелест. Ветер с озера. Суховатое лето выдалось, шелест стоит жесткий, тревожащий ухо. Вот шум ветра схлынул, стали слышны голоса, будто сквозь промокашку проступающие чернила. Доносится легкое, можно сказать, мелодическое звяканье бокалов. Они не чокаются – просто небрежно ставят бокалы. Их должно быть пятеро или семеро, считая детей.

Вижу писателя, поэта и блогера. Они сидят на травке, где во время Второй мировой были картофельные грядки. Год назад приезжали релоканты и сидели на этих же местах (будто разыгрывается один и тот же спектакль). Вроде бы неглупые люди, ничуть не глупее этих, а очень серьезно говорили о возможности применения стратегического ядерного оружия и «золотой табакерке». Год назад... на этих же стульях и скамеечке... Подумать только! Ну какой дворцовый переворот?! Какая «табакерка»?! Это даже не наивность, а элементарное незнание положения вещей, нагромождение исторических анекдотов.

Господа, вы смотрите на мир сквозь паутину. Признайтесь, просто признайтесь, что вы беспомощны, что вам нечего сказать!

Нет, только поглядите на них! Как картинно сидят, многообещающе! Писатель прижимает к себе свой бесценный авторский экземпляр. В электронном послании блогер сообщал: слышан... буду в ваших краях... вожу с собой наше барбареско... давно мечтал с вами лично...

Они пьют барбареско, Собакин сидит на моей любимой скамеечке – видимо, стульчик его напугал изящностью, а худошавый блогер, весь напряженный, обвинив ногой ногу (почти йог), постукивает ложечкой о бокал и спрашивает жирного поэта:

*– А вы давно уехали?*

*– Семь лет околачиваюсь.*

*– Дома бываете?*

*– Бывал, еще до войны. Кому-то ж надо родных хоронить. Вот и ездил, пятерых схоронил. У них ничего не было, всё на свои. Меня так и звали, как похоронного агента: приезжай, говорят, хоронить не на что. Приеду, хороним, а они надо мной смеются, пьют, суки, за мой счет и со стороны всех зовут... Ну отца-мать, понятное дело, меня и звать не надо было. Как узнал, так и поехал. А вот остальные... Отребье, ну сплошное отребье!*

Писатель шепчет запоздалые соболезнования, его взгляд устремляется в синеву, где смотреть не на что – ни облачка! Помню, в мой приезд (тридцать с лишним лет назад) шел дождь, над озером было хмуро, мы шли по тропинке, и мне казалось, что вода на нас брызгала. Ее отец лежал в больнице, мы только что ходили к нему, Сильвия его посетила, а меня не представила, я ждал внизу, в очень грустном фойе. Мы старались идти так, чтоб нас не приметили соседи; закрались, как воры, через заднюю калитку, прошли сквозь оранжерею, где все цветы и деревья загнулись; стояла терпкая вонь, как возле силосной ямы. На террасе было полно мусора, в том числе птичий и мышинный помет. В доме никого, но пустым он не был – плескались волны, шелестел камыш, какие-то окна оставались открыты, и занавески тянули к нам невидимые руки. Она сразу вручила мне связку ключей,

мы открыли вино, закурили и ходили по комнатам, осматриваясь; она вздыхала и усмехалась: ну, папа, папа... ну, вот... ты только посмотри... На чердаке было преступно тихо, я почувствовал себя разбойником и напал на нее с поцелуями, она задрожала от смеха.

Брусникин поправляет волосы, он сидит продуманно, в расчете на случайную фотографию: мало ли, моя невестка еще та дура – схватит телефон и: вот они, три личности, три ума, мыслители в изгнании. Но разговор у них получился еще не самый мучительный; хотя и в нем угадывается звон сверла, занесенного над больным нервом.

*– Осели на окраине, значит. В Берлине не понравилось?*

*– Делать мне там нечего, в Берлине вашем. Я всё понимаю, но – не мое, не мое... Народу – тьма. Дышать нечем, а я не могу без воздуха, не пишется... Мне нужны виды, пространство... Я же в первую очередь рисую, фотографирую... Слова затем приходят, если приходят... В последнее время как-то всё встало, выскабливаю последнее, видать. Не поймите неправильно, я уважаю берлинцев, но мне тут теплее, тут не бывает непогоды, тут как-то ровно – ни жарко ни холодно, и спится хорошо. А без этого никак, психическая сила нужна, чтобы говно это переносить, я имею в виду войну и прочую хуйню...*

И о чем, скажи на милость, говорить с ними?

Скрипнули дверцы и запели ступеньки: в дело пошел фарфор, гремят чашечки. Ох, осторожней! Добрались до серванта, хотя про извести впечатление; моя невестка старается, не дай бог серебро додумается вынести... Что за люди, хвастовство у них в крови! Это ж стыд... Что, если те, внизу, решат, будто я тут всё организовываю: спускаю на них китайский фарфор, итальянское серебро... Что там дальше? Кружевные французские салфетки уже постелены... нечем больше удивлять, нечем!

То, что сейчас творится на лужайке, стало обыденным: здесь не принято гнать посетителей метлой, я их впускаю, но в последние дни дальше музейной прихожей никто не проходит.

Петя вышел к ним, на него смотрят с удивлением, как на сувенирного.

*– Это вы только что играли?*

*– Я.*

*– Простите, а на каком инструменте?*

Сильвия умерла у него на глазах, в гостиной, со всех сторон залитой солнцем, в гостиной много окон и выход во двор, через большие стеклянные двери, которые теперь сильно заедают, засорились желобки и некому почистить; она смотрела, как Петя вертел голову-

ломку, стеклянный куб с шариком внутри. Шарик катался негромко, во все стороны от куба разлетались яркие зайчики. Она прилегла, зажмурилась и отошла... Мальчик этого не понял, он подумал, что тетя Сильвия уснула, но позже он, конечно, догадался. И тут же стал взрослым, перестал быть ребенком, посерьезнел и стеклянную головоломку не трогал. Теперь он кажется таким же, как они, собравшиеся внизу, важно сидит на железном садовом стуле, за столом, покрытом клеенчатой скатеркой; перед ним большая чашка на блюдце, он пьет с ними чай, – настоящий маленький джентльмен...

Женский голос:

*– А где Евгений Петрович, ну правда?*

Ненавижу свое имя, и ведь никогда меня не было. И не нужен был. А тут вдруг отыскали. Нет, вы меня придумали, изобрели. И своей вещицей сделали. Заехать ко мне вошло в обиход, попить у меня в саду чаю, вина, а потом – в кафедральный собор фотографироваться у надгробной плиты Эразма.

*– Вы цветы наши видели? Идемте я вам покажу.*

Черт, теперь они пойдут в оранжерею!..

Сын постучал и заглянул:

– Ну, что?

– Сейчас спущусь.

– Это как-то подозрительно...

– Сейчас. Иди к ним!

Сын ушел. Его шаги уверенно спешили по ступенькам вниз; Жак прислушивался, пока шаги не затихли, взял ботинки и по гладким ступенькам узкой лесенки спустился.

Трус! Трус, трус, трус. Дезертир, Frère Jacques!

Он крадется мимо окон, выглядывая. Он старается ступать как можно мягче, в руках несет обувь.

*– У вас тут немало русских. Мы гуляли по рынку, так отовсюду русская речь...*

*– Да, так и льется!.. Могло быть и поменьше.*

*– Меньше уже не будет. Будет больше!*

*– Уезжают люди?*

*– Бегут, бегут... И будут бежать.*

Пока они смотрят сад, есть возможность выскользнуть.

Жак надел обувь, посмотрел через узенькое дверное окошечко: в оранжерее никого не было. На террасе – пусто. Открыл дверь, несмело вышел (если кто-то увидит, будет стыдно). Прошел по террасе,

сознавая комизм своих дерганных движений. Несколько вороватых шагов на цыпочках – и он в оранжеере. Теперь можно идти спокойно, стекло такое мутное, сто лет не чищенное, высокие растения... пальмы... здесь столик есть и стулья, можно даже присесть и посидеть... вот моя грязная чашка... Вышел. Калитка могла скрипнуть, но не скрипнула. Гости гомонили, глядя на соседский дом. Поэтому всё равно не услышали бы, как он вышел и направился по тропинке в парк. Птицы, деревья, ветерок – все приветствовали его. Свобода! Трепет листы, шум сумасбродных птиц, тревожная смена облаков – сегодня они такие стремительные; кокетливое небо меняет платья, показывает себя... но я в этих днях не нахожу прорехи; такое случается после долгой паузы – никак не начать, не пробить словом ткань времени, потому что когда пишешь, то прерываешь время, образуется посреди дня лагуна, ранка, которую ты ковыряешь словом, ковыряешь, срывая корочку, – и если не делать этого изо дня в день, ткань будней быстро затягивается, потом никак не сколоть... и вот я сижу, глядя на лужи, полируя их до блеска – такое пространство, голое, прозрачное, чистое, с небом и скорой сменой картинок, такое время мне нужно, лагуна, чтобы можно было запустить в него мысль и писать, писать, писать...

С шуршанием разрезая лужи, проехал мальчишка с ЛГБТ-шарфиком – радужный луч, сбежав из далекого рукодельного детства, оплел всю Европу.

Я всегда писал только для того, чтобы в себе разобраться. С радостью не видел бы себя, но разобраться нужно, прежде чем меня заберут (поставят в шкаф, на полку или куда-нибудь подальше), мне необходимо расплести узел, или хотя бы ослабить тугую завязь... С этим узлом я не могу уйти, не могу. О чем говорю? О боли... о стянутой от натуги душе... о судороге мысли, которая устала стоять на страже. В кровь стерта пленка духа, уставшего сдерживать мир, который теснит, давит, сваливает на меня груз – книги, лица, портреты, героев, негодяев, тонны томов... меня толкали и загоняли в битком набитые автобусы, поезда, гнали куда-то, далеко я ходил – за моря-океаны, я вился волчком и стелился поземкой, кувыркался тонким шуршащим листом по мерзлой тропинке... на многое смотрел, не в силах отвести взгляд, видел многое – и пьяный ваш Олимп, и грязный стол, казавшийся мне твердью... Я писал в небо, облакам Юпитера, бросал в огонь, бросал в море, отдавал пепел стенам города, проваливался в стоны нелюбимых, дарил себя камням побережья, отражениям звезд, да – облакам над Юпитером и кольцам Сатурна, лунному свету, сердцу, во мне разверзшейся бездне, из которой рвались осколки звезд и призраки ночи. И в результате... смятение, затворничество, бездействие. Сутками не выбираюсь из дома. Некуда, кажется, ходить – всё исхожено, каждая тропка, – как только встанешь на нее, знаешь, куда она приведет; боюсь скамеек – на них сидят всё те же вопросительные

и восклицательные взгляды; выучил назубок иззубренные лестницы, выводящие к мостам, дождем помытая дорога блестит скучно-обыденным блеском, озеро и пруды отражают солнце, множа приевшуюся красоту, а лес кажется куцым, почти прозрачным. Воздуха не хватает – будто блеск его вытеснил, выслепил. Поднимаешься в город – колени, ломота стоп. Спускаешься в парк – паутина парковых дорожек; все тропы, как щенки в брюхо самки, утыкаются в аллею, по которой ползет пыльное облако с молниями: туристы. Это особый сорт людей, который меня заставляет ощутить одиночество особенно пронзительно. В конце аллеи ненужный маяк (пенис импотента). А вот трамвай... Покатаюсь-ка я на трамвае!

## 8

Ноябрь; погодка такая безрадостная, что без наручников и плети можно ощутить на своих ребрах персты маркиза де Сада.

Я вернулся домой. Дошел до магазина, постоял на мосту, глядя на Канаву... Облако влаги, насыщенной дорожными газами и грязью, поднималось от дороги. Клубясь, облако плыло над мостом, фонари, как астрологи-волшебники, нам его подсветили, указали на туманность и затемнения. Но я не ушел. Я еще некоторое время смотрел на дорогу.

Ветер безошибочно нащупал мои нервы, открылись клапаны, я застонал. Как же было хорошо на вилле Жака! Как тяжело выбирать-ся из кокона, в эту грязную жизнь... Перебирая мои записи, я слышу, как Петя играет на валторне. По ночам продолжаю жить в доме Жака, смотрю из мансарды на дорогу, жду трамвай. Гуляю в парке у озера, курю в оранжерее.

Однажды он решил, что больше не будет возить барахло на продажу, перестанет быть челноком, станет человеком; вернее, этот вопрос решил сам собой, и другие вопросы – учиться или трудиться, играть в театре или преподавать – отпали сами собой, потому что его волевое решение было сильнее, точнее – судьба, предопределение и его самоотдача освободили его от раздумий над этими пустыми вопросами. Судьбу человек в себе носит, считает Евгений Петрович. Нужен верный момент и благоприятные обстоятельства, чтобы бутон судьбы раскрылся. Для этого надо вслушиваться в себя, вслушиваться в стук сердца. Дышать судьбой надо! Он на своем месте; в точке, где судьба работает с ним, катает его по спирали американских горок – я видел, как в нем всплескивал и завивался огонь; я видел, как огонь вспыхивал, видел внутренний вихрь, работающие поршни, пар – очень скоро Жак сядет за стол, и винт придет в движение, начнет вертеться, взбивая пенную строку.

В древности время наверняка шло медленней. Жизнь была насыщенной, песка было больше, и был он гуще, каждая песчинка свети-лась внутренним светом. А теперь песок и песок, тусклая серая масса. Люди живут быстрой, день свой проживают наскоро, словно

стежками прихватывая. Внутреннее кино перестало быть медленным. С каждым мгновением человечество всё дальше от тайны. Склоняюсь к мысли, что есть некий поток вещества времени, о котором нам ничего неизвестно. Может быть, его извергают квазары перед тем, как обратиться в черную материю (свернувшиеся сливки вселенной). Помнится, я говорил об этом в Питере много лет назад. Ехали мы в такси – Кузя УО, Серега и я. Была ночь. Кузя рассказал, как посетил подземный храм Успения Пресвятой Богородицы на горе Сион. Не знаю, почему он об этом заговорил. И говорил он как-то загадочно: в подземном храме Пресвятой Богородицы он впервые себя почувствовал спокойно, по-настоящему спокойно. Мы долго ехали в молчании. Это было в июне 2010 года, а теперь их обоих нет.

Думая об этом, смотрю из окна на большую лужу; вспоминаю монеты, что лежат на дне ручья в «Сталкере»; фильм снят давно, а ручей есть, актеров и режиссера – и многих других – нет, но они там, идут вдоль ручья, катится над ним камера, и ты видишь шприц, маузер, календарные листки и монеты с тремя львами. Когда я увидел их в первый раз, мне было, наверное, десять, я закричал: «Мама, смотри! Наши кроны! С тремя львами!» Точно такие же лежали в моей коробке, все были найдены в траве или вырыты из земли.

Бессмысленно переставляю книги; механически открую, клону взглядом, поставлю.

В «Египетской марке» Мандельштам Анну Каренину называет старшей сестрой г-жи Бовари? «Бовари» написана раньше. Превозносит?

Пьер обдумывает свою жизнь, бегущую бессмысленно, по инерции: «Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, всё на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его». Пьер пытался что-то менять в устройстве жизни вверенных ему крепостных, но управляющие всё делали по-своему; кругом обманутый, Пьер вращался в пузыре химеры. Мы проживаем слишком сумбурную и слишком короткую жизнь, чтобы что-то успеть осмыслить, чему-нибудь научиться и, с оглядкой на историю, изменить к лучшему. Человек катится сам по себе, несет его и несет. Что несет его? Поток жизни... кристаллики дней... песчинки событий... Сорванная резьба, сорванная судьба, по кругу побежали дни, взметнулись – метель, опали – тоска, хандра, вино... Не может человек изо дня в день жить, одни и те же события, одни и те же лица, дела и заботы угнетают его, оттого впадает он в пьянство, разврат... «Женщины – это винт, на котором всё вертится...» – говорит Стива Облонский. Левин какими-то сельскохозяйственными машинами занимался... и Толстой возился, для него, наверняка, в новинку было закручивать и откручивать гайки... О, это бесит, я знаю. Вот и повлияло! В годы его детства начали строить железную дорогу. Топоры-

пилы, стук стоял с утра до ночи, доносясь отовсюду. С раннего детства железная дорога вторгалась в воображение, а потом протянулась в пространстве (каждый пассажир с собственной подушкой). Толстой создал кукольный мирок и казнил паровозом Анну. Кровожадный бородач! (См. записку № 5)

### Записка № 5.

Сон Анны, или *Threesome*. Странно, что в этом вязком русском романе возникает сцена любви втроем. С другой стороны, такие тяжелые, давящие сны обычно случаются в душные дни, – если вдруг уснул днем, в духоте, даже если все окна открыты, – духота вяжет и мучает, не давая проснуться; и чем дольше спишь, находясь во власти сна и жары, тем мучительней становится медленный, похожий на трясину, кошмар, и случаются такие сны, внутри которых ты доходишь до крайней точки и тебе кажется, что время остановилось, хочешь и не можешь проснуться, и ужасом становится само это состояние, но когда просыпаешься, то последняя сцена сна почему-то становится первой, весь сон разматывается в обратном направлении. Перечитав сейчас эту сцену, я подумал: как было бы здорово, если б Толстой, немного сойдя с ума, написал бы эту сцену излишне подробно, как пишет Надаш; тогда сон перевесил бы всё, и это был бы совсем другой роман! *В созерцании бытия может быть только один центр – это наше тело.* (П. Надаш, «Книга воспоминаний», с. 188) Соитие через сочленение тел; созерцание тела (прикасаясь к телу, ты прикасаешься к небу) – epimeleia: забота о себе. *Единственной радостью может быть только неконтролируемое происшествие! как будто наша свобода заключается единственно в том, чтобы, не сопротивляясь, позволить беспрепятственно воздействовать на нас тем явлениям мира, которые пожелают проявляться именно в нас.* (П. Надаш) Я очень долго был «толстофицирован». По ночам ходил в лес и выкрикивал: «Я готов ко всему! Дай мне Абсолютную Свободу! *Je suis prêt à tout!*» (Накликал?) Свобода пришла ко мне (из меня) через познание моего тела, через познание других тел, с которыми я сплетался, познавая себя, освобождаясь под воздействием психоделиков и долгих ночных разговоров, доводивших меня до бреда в утреннем сне, из которого в полдень я выбирался, как из трясины, чувствуя по всему телу расплзшиеся, шевелящиеся, булькающие слова моих ночных собеседников. Щупальца тянутся во все стороны, голодный мозг, словно Минотавр, требует жертв, требует персонажей; поэтому нужен роман, чтобы пульсация была не беспорядочной, но ритмичной, в согласии с основным замыслом; вспышки ослепляют меня, зеркала повернуты внутрь, мною отправленные людям сигналы возвращаются ко мне и бьют в сердце, сигналы летят в меня, как гильотинированные обломки лучей, они похожи на рельсы и коридоры, но в них пустота, словно я отправлял кому-то книги, а они, не востребо-

ванные, вернулись ко мне; открываю мою посылку, беру книгу, листаю – и ни одного слова не узнаю! Ночью ЕП сказал: «Я не готов к миру: я не готов в нем жить и умереть. Никогда не был. Сильвия это понимала. Она устроила так, чтобы я стал лучшей версией меня самого. И ничего не изменилось. Я способен жить только в клетке. За пределы выхожу только со своим передвижным шарабаном. Построить в норвежском лесу хижину – подвиг Геракла!» («Словесная клеть», ЕП перевел для себя – чтобы разобраться в шифре: «я не перевел его, а разобрал и собрал вновь, чтобы понять»). Чем не подвиг?)

Прошло две недели; никак не удается стряхнуть оцепенение после того, что сказал мне малыш.

Должен ли я сказать это Леночке? Его мать должна знать... Нет, она тут же скажет: это твое влияние!..

Мы с малышом прошли по Кадриоргу, сфотографировали сухой фонтан и поехали обратно, и на мосту он кое-что сказал...

До сих пор в себя прийти не могу. Во мне теперь тот сухой фонтан, на дне которого обнаруживаются самые обычные, самые земные вещи, но словно увиденные во сне – глазами другого, и эти глаза... я вижу мой внутренний мир глазами моего сына. Всё во мне заржавело. Как те велосипеды, что находят на дне осушенных прудов, озер, каналов.

Если б я заранее знал, что он придет, я бы прожил мою жизнь иначе.

\* \* \*

Дом блестит окнами, улица ползет по холму. Сквозь лесок горит озерная гладь. Солнце здесь не кончается. На всё смотрит. Всех замедляет. В эркере пьет кофе Жак, на нем светло-синий костюм, у него пышные седые волосы, длинный воротник белой рубахи расстегнут, на шее повязан платок. Петя играет на пианино. В теплице шуршат растения. В гараже гремят инструменты. Набрав полные легкие света, солнце заливает дыханием холм, музыка замолкает, и время встает: рука с маленькой фарфоровой чашкой застывает в воздухе, взгляд делается стеклянным.

Ни шороха. Ни одного движения.

Бесконечность безмолвия.

Но вот легкая пробегает тень, Жак опускает руку, поворачивает голову и кому-то улыбается.

\* \* \*

Этой ночью мне приснилось письмо. Я стоял у окна и смотрел на дорогу, ожидая, когда покажется трамвай, и вдруг понял: *письмо*. Спустился в музейную комнату, взял со стола конверт, распечатал: из конверта мне на ладонь высыпался светлый морской песок.

Александр Кабанов

## ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ

\* \* \*

Рассеянный и вновь сгущённый  
свет божий, здравствуй, вот и я –  
безвременно перемещённый  
войной из точки бытия.

Туда, где корабельной миной  
луна ржавеет на мели,  
чудесным образом хранимый  
на жёстком диске всей земли –

Я выхожу в часы прилива,  
где звёзды тусклые висят,  
где родина несправедлива,  
когда тебе за пятьдесят.

И это – берег одиночки,  
составленного из людей,  
перемещённого из точки  
в кавычки памяти своей.

Где линзой на фанере выжиг  
закат мальчишка дворовой  
над морем, и никто не выжил –  
погиб на третьей мировой.

Где новым ветром унесённый  
сквозь радиоактивный дым –  
был я, в последний миг спасённый  
чудесным образом твоим.

\* \* \*

На кухне – родом из венеции,  
сидеть во тьме и слушать тьму,  
вдыхая пряности и специи –  
быть трезвым, вопреки всему.

Пусть осень за окном угрюмая  
и пробивается зима –  
что толку, о глнтвейне думая,  
сидеть, верней – сходить с ума?

От страха (он без срока годности)  
погибнуть в лютой кутерьме,  
от пустоты и безысходности  
спасает тмин в крошечной тьме.

Живи, не забывай о правиле  
и сохраняй баланс всегда,  
ну вот и музыку поставили:  
и под бадьян взошла звезда.

Корица в палочках и молотый  
орех мускатный – пропуск в храм,  
где ангел, раненный, исколотый,  
вещает через телеграмм,

что в небе их осталось семеро,  
но это, право, ничего,  
что вновь летят ракеты с севера  
(баллистика – страшней всего).

И зло не делится, а множится,  
шахеды с юга – кровь из вен,  
а на востоке – фронт корёжится,  
на западе – без перемен.

И рвётся связь, включая странности,  
но мы не убоимся зла,  
и жизнь – как специи и пряности,  
которым больше нет числа.

\* \* \*

Я приготовлю вам рождественское блюдо,  
вы знаете рецепт: пустыня и звезда,  
всё повторится вновь – волхвы и вера в чудо,  
а мы не повторимся никогда.

В садах и в парках всей листвой наружу  
проснёмся мы, как воздух и вода:  
так важно утро, чтоб настроить душу  
на нужный лад, пока горит звезда.

В садах и в парках мусор собирают,  
беседки закрывают к ноябрю,  
у нас мужчины раньше умирают,  
чем женщины, которых я люблю.

А мы блуждаем, согнуты в подковы  
с тобой на счастье, вопреки войне,  
и женщины, как будущие вдовы  
и матери, заплачут обо мне.

Беседки закрывают, оставляя  
одну на двух бессмертных стариков,  
и в ней всегда – июнь в объятьях мая,  
и в ней всегда – кенжеев и цветков.

А мы – снаружи всех стихотворений:  
друг другу – безусловная родня,  
в садах и в парках, там, где шишкин – гений,  
где рождество, не забывай меня.

\* \* \*

Я завернул за угол дома,  
чтоб отыскать последний храм  
на улице, что мне знакома  
по довоенным вечерам.

Вокруг весна: постель и уголь,  
вот-вот проступит акварель,  
и дом разбомблен, только угол –  
остался от него теперь.

А за углом, горит, вестимо,  
фонарь, рассеивая дым:  
пусть молятся руины рима –  
святым развалинам моим.

Пусть через них ведёт дорога  
и не теряется в веках,  
туда, где мать выносит бога  
из-под завала, на руках.

И с ним стоит на перекрёстке,  
теряя к смерти интерес:  
вся, как благая весть, в извёстке –  
о том, что сын её воскрес.

\* \* \*

Весенний сквер, как чистый лист,  
и я вношу в него поправки:  
вот спешился мотоциклист  
с зелёным ящиком доставки.

И стало трошечки теплей  
на лавочке под старым клёном,  
где времени древесный клей –  
при мне разбавили зелёным.

Что в этом ящике, куда  
спешит доставщик – кто же знает,  
и чья горячая еда,  
которую он доставляет.

Похоже, ящик из свинца –  
из довоенного металла,  
судьбы не разглядеть лица  
во тьме зеркального забрала.

Какое счастье быть вдвоём  
в весеннем сквере безопасном:  
не дрейфь, до лета доживём,  
и этот ящик станет красным,

и жёлтым – осенью, ясны  
зимы белеющие дали,  
и то, что раньше, до весны –  
мы никогда не доживали.

\* \* \*

Когда придёт за нами снег,  
тогда природа ахнет,  
что этот снег – один на всех,  
подземной жизнью пахнет.

Как будто он в себя впитал  
небес людские свойства,  
где в каждом облаке – металл  
и хитрые устройства.

Пусть сыплется ночной снежок  
и пусть луна – с пилюлю,

но ты, не засыпай, дружок –  
посматривай в кастрюлю.

Возьми, как ноту фа-диез –  
два фарша для контраста,  
чтоб сделать соус болоньез,  
а после – будет паста.

А пасту, без вина – нельзя,  
пусть отдыхает проза,  
и снова к нам придут друзья  
воскресшие, с мороза.

Мы улыбнёмся тишине  
сквозь чёрный снег исхода,  
и позабудем, что войне  
исполнилось три года.

И навсегда запомним нас:  
в последний день недели,  
в пустынный комендантский час,  
без слов, на самом деле.

\* \* \*

О полном собрании лжи,  
загадившем книжные полки,  
мой друг паганель, расскажи,  
вернувшись домой с барахолки.

Мы помним тюремный уют  
страны, что живёт на болотах,  
а здесь до сих пор продают  
стихи в дорогих переплётах?

Со вкусом воды и земли  
и невозполнимой утраты:  
стихи, что кого-то спасли,  
стихи, что во всём виноваты.

Сползает туман по реке  
и солнце встаёт заводное  
в стихах – на чужом языке,  
где каждое слово – родное.

К примеру: война и шинель,  
добро, человечество, скверна,  
а знаешь, мой друг, паганель,  
купи мне дюма и жюль верна.

Под шелест казённых бумаг  
и шёпот игрушек из фетра,  
под звон мушкетёровых шпаг  
и рвущийся парус от ветра,

Когда остывают враги –  
покинуть небесную лигу,  
прошу, в благодарность, сожги  
меня, как запретную книгу.

Да будет развеян окрест  
мой пепел, спасая влюблённых –  
из рая и ада, из мест,  
поверь мне, не столь отдалённых.

Лена Берсон

## Скатертью полет

\* \* \*

Когда позовут, то сперва успокойся.  
Дыши «по квадрату», чтоб схлынула жуть.  
И после веди себя – лучше геройски,  
Но если не выйдет, веди как-нибудь.

До входа, где байки весёлые травят,  
Иди и следи, чтоб экран не погас.  
Но если тебе телефон не оставят,  
То думай о нас, просто думай о нас.

Представь, что до смерти ещё не дорос ты  
И можешь свернуть предрассветною тьмой  
С дороги на до... например, Долороза  
Внезапно домой.

Туда, куда прежде могло не хотеться,  
Забиться и двери закрыть изнутри.  
Но если тебе принесут полотенце,  
То вытри глаза и поблагодари.

Все в курсе, что ты перепуган и хрупок,  
Что в памяти держишь, как в слабой горсти,  
Моление о чаше и список покупок,  
И выкрик на лестнице: «Хлеб захвати».

Все эти, о ком ты тревожился, или  
Все те, за кого не боялся, дурак,  
Глядят на тебя, будто ты не всемогущ.  
А это не так.

\* \* \*

У него свидания с женой  
Раз в полгода, прямо как в тюрьме,  
Он к ней ходит со своей виной.  
А она простила? Вроде не.

Носит ей бумажные цветки,  
Хоть бы раз живое что-нибудь.  
Да теперь хоть куст приволоки,  
Ничего обратно не вернуть.

Он над ней стоит, не смеет сесть,  
Сильно дольше, чем хватает сил.  
Он бы ей принёс благую весть,  
Если б сам такую получил,

Типа: «Им не выиграть войну,  
Даже всех нас перехороня».  
А она сказала б: «Ну и ну,  
Ты такой ребёнок у меня».

\* \* \*

Что, наказанье моё, ты едва не  
Запропастилась, а ехать пора.  
Слезы мучительней, чем расставанье,  
Хватит уже, не реви, будь добра.

Выйдем на улицу неторопливо.  
Свет, как всегда, не горит, черт возьми.  
Дай мне уехать легко, без надрыва,  
Как уезжали на море детьми.

Взрослые вечно встревожены, жаль им  
Бабушку, кошку, квартиру, бог с ней  
(Дай мне уехать, как мы уезжали,  
В жадном предчувствии солнечных дней).

В поезде даже соседи не те им –  
Заняли лишние несколько мест.  
Зрением мне бы уехать, не телом,  
Чтоб не искала знакомых примет.

Чтоб не решала: такие же или...  
Пыльная зелень, разбитый вокзал?  
Чтобы своими шипящими ливень  
Мне никого бы не напоминал.

Чтобы в каком ни случится пейзаже,  
Прямо сейчас или жизнь погода,  
Чтоб не искала, не думала даже,  
Вкуса качелей в припадке дождя.

\* \* \*

Проводила, посадила – скатертью полет.  
 Кто-то отдал жизнь, а кто-то – всё наоборот.  
 Как там, жгут ещё, как раньше, во дворах листву?  
 В этой жизни мне, конечно, не попасть в Москву.

Не попасть до высшей меры Страшного суда.  
 Мы ещё поедем в отпуск, только не туда.  
 Мало ли сирени в мире, всюду тот же цвет,  
 Мало ли, где люди жили, те, которых нет,

Мало ли с какой поездом до какой войны  
 Подышу ли я в подьезде, прежде чем уйти.  
 Мы рассеяны, но этим так заострены,  
 Что собой дырявим землю на своём пути.

Долгих лет тебе бессонниц, родина моя,  
 Чтобы пьяной или трезвой и с утра больной  
 На вопрос: «А кто виновен?», отвечала: «Я».  
 На вопрос: «А кем убиты?» отвечала: «Мной».

\* \* \*

Весь крикнут крик, все наши песни спеты.  
 Уперлась в лоб стена.  
 Но если вам нужна одна победа,  
 Другая нам нужна.

Мы знали, что у людоеда профит,  
 Его ножи вжик-вжик,  
 И ночь прошла и страшный день проходит  
 Среди полуживых.

Припали к окнам: улица видна же,  
 По ней идёт народ,  
 Но это все не наши, где же наши.  
 Появятся вот-вот.

Торговец воеет, ослик цвета пыли  
 Трусит, раздвиг бока.  
 Мы спросим: «Как вы долго, где вы были?»  
 «Мы шли издалека».

Осенний свет, который был подослан,  
 Сожжен из-за войны.

Взглянув на нас, они не заподозрят,  
Что мы обречены.

Но взглядами порезавшись об это  
Сиротство и вдовство,  
Поймут, что если всем нужна одна победа,  
Нам – ничего.

## РАХИЛЬ

Эта хабалка с крашеной челкой,  
Не замечая адова пекла,  
В рупор визгливо плачет о чем-то,  
Как над долиной трупов и пепла.

– Что она просит, так некрасиво  
Рот искривляя, будто для блева?  
– Просит вернуть ей дочь или сына.  
– Кто же вернет-то, честное слово.

Всё уже ясно, как на скрижали,  
Слева направо ль, справа налево.  
Вы не рожали, не провожали,  
Не прижимали к сердцу и чреву,

В пятнах засохших крови и пота,  
В детских больницах, детских болезнях...  
– Что она просит, клянчит чего-то,  
Не понимая, что бесполезно?

Каждую осень вещи, взрослея,  
Делают нашу близость короче.  
– Что она воет?  
– Ждет возвращения,  
И утешаться больше не хочет.

\* \* \*

Это убитый Валерка.

Жизнь – это очень надолго.  
Скоро тринадцать, а толку.  
Мама Валеркина, Роза.  
Бабка Валеркина, Дора.

Рты и носы грубой лепки.  
 Смерть превращается в роды.  
 Мама и бабушка – вдовы.  
 Тетка Любовь из Сарато-  
 Ва, из Ростова – Людмила.  
 Обе смешные до жути.  
 Ехать хотели, куда там!  
 – Кто убеждал нас, не ты ли?  
 – Как я оставлю квартиру?  
 – Дура ты, Милка, «квартиру».  
 Как я оставлю могилы?  
 – Дура ты, Любка, могилы –  
 Кости и тряпки по сути.  
 Мать говорит, что для сына,  
 Что для здоровья и счастья,  
 Медики и медицина.  
 Дора здоровьем не блещет  
 И начинает прощаться,  
 Сёстрам раздаивать вещи.  
 – Брать ли сервиз этот синий?  
 – Будет Валерке с женой.  
 Если мы станем своими,  
 Знать бы, какую ценой.

\* \* \*

Свет становится как сухожилия  
 Старика – желтоват, слабоват.  
 Там, где прожили мы, там, где жили мы,  
 Нынче мало о чем говорят.

Снег ли, дождь ли, отмучились дачники,  
 Но в театре – сезон и аншлаги.  
 Если кто-то спешит с чемоданчиком,  
 «Мне бы так, – говоришь, – мне бы так.»

Все – кто больше, кто меньше – состарились;  
 Не хватает её и его.  
 ...Лишь составы идут за составами,  
 Вьются бесы, а так ничего.

## Валерий Скобло

\* \* \*

Первая военная зима  
Нам сегодня в окна заглянула.  
В небе нет еще моторов гула,  
Целы все окрестные дома.

И бомбежек нет. А тихо так,  
Что звенит испуганно посуда.  
Выползают страхи из-под спуда.  
Нет пока обстрелов. Медлит враг.

Собственно, он в городе моем.  
Он вошел – никто и не заметил,  
Заглушил шаги осенний ветер.  
Мы ответно смотрим в окна. Ждем.

ПУСТЬ...

Пусть крутые времена –  
Только чтобы не война.  
А война берет за горло,  
Что сказать? – да вот она.

Пусть... Но я молю о том,  
Чтобы мимо... в горле ком...  
Мимо самых-самых близких.  
Не при мне... Пускай потом...

Пусть отступится война,  
Неподъемна пусть цена...  
А кругом и близких нету.  
Все молчат... И тишина.

\* \* \*

Прикинь: «потом»  
попадешь во Вселенную до Большого Взрыва.  
Это не очень-то и представимо, зато красиво.

Т.е. до Сотворения Мира...  
до Времени и Пространства,  
Когда у Мира не было теперешнего убранства.

О, этот дивный мир из будущих  
своих собственных обломков!  
Там митинг: встречает тебя  
предков толпа и потомков.

Прабабки и прадеды, правнуки,  
правнучки слева и справа,  
Представь-ка: вот тебя  
приветствует вся эта орава.

Больше всего угнетают вот эти –  
те, которые «после»...  
И ты понимаешь, что лучше бы  
не родиться вовсе.

\* \* \*

Знаю всех, кто стучал на меня –  
по службе и от души.  
Знаю и тех,  
кто исправно стучит сегодня.  
Если тебе так хочется, бедный,  
возьми запиши:  
Я – космополит, и нету меня  
безродней.

Патриотизм так понимают:  
стучать на всех и подряд.  
А плата – милый случайный  
бонус им лично.  
И в воде такие не тонут,  
и в огне не горят.  
Я всех их прощаю:  
не ведают, что творят.  
А, может, и ведают –  
это как-то мне безразлично.

\* \* \*

Да, приятель, конечно, мы встретимся  
и горестно так помолчим.  
Синдром явственно прожитой жизни  
смертельно неизлечим.

Труп врага проплывет по течению,  
только выстрой дом у реки

И гляди на текущую воду –  
так говорят старики.

Если спускаться к топкому берегу  
в туманную зябкую рань...  
Впрочем реке что ли делать нечего:  
сплавлять всякую дрянь?

Так что постарайся как-то справиться  
без трупов и личных врагов.  
У этой реки ни течения  
и никаких берегов.

### ЖИЗНЬ

Порою мне кажется, что жизнь не прошла даром.  
Я что-то в ней понял, а это уже немало.  
Она не была сказкой, не была и кошмаром.  
И что-то главное в ней для меня не пропало.

В ней всё заработал я кровью своей и потом,  
А то, что сверх, – удача, я не просил об этом.  
Чего уж не было: она не прошла как по нотам.  
Только пусть бы закончилась не зимой, а летом,

Когда свет одолевает тьму, а солнце – холод,  
Когда уходить – совсем и не так уж обидно.  
Думал, добро побеждает зло, когда был молод.  
...Осенью и зимой это не так очевидно.

\* \* \*

Малость еще поживешь –  
и увидишь повсюду Знак Зверя,  
Здравый свой смысл потеряв...  
Ощувив: небольшая потеря.

Ты в небесах от отчаянья  
разом узришь три шестерки.  
Люди вокруг вдруг покажутся волки...  
да, злобные волки.

Рыком звериным внезапно  
солóвьи услышатся трели.

В голос завоешь тогда:  
 Что вы разом и все... обалдели?

А всего и делов-то – вспомнить:  
 Z есть zero, просто нолик...  
 Да куда там? – беги же!  
 Убегай от опасности, кролик!

\* \* \*

Мне не было шести, когда Хозяин  
 Преставился... отдал кому-то душу.  
 А вот – кому? – и до сих пор секрет.  
 Покой ничей вопросом не нарушу.  
 Как жили – так и далее живите.  
 С тех пор минуло семь десятков лет.

И все-таки задам вопрос: кому же?  
 Куда был брошен?... где же та сума?  
 Какой-то над Хозяином Хозяин  
 Скогтил ее... иль всё-таки Господь,  
 Которому на свете всё не вчуже,  
 Убрал ее подальше... в закрома?

Не отыскать ни повод, ни причину.  
 Зацепки самой маленькой не вижу,  
 Наощупь я впотьмах куда-то лезу.  
 А всё без толку,  
 вот... и вот... и вот...

Вникать мне в это явно не по чину,  
 А я пытаюсь – что за идиот!

Но что-то мне подсказывает – каюсь –  
 Моя душа не встретится с Хозяйской:  
 Хозяин он – но нет, не надо мной.  
 Не суждено, страдая общей оспой,  
 В глаза ему взглянув,  
 задать вопрос свой:  
 Куда попал он мартовской весной?

Наталья Явчуновская

## Перелет Чкалова через Альпы

*Сон в одном действии*

Когда Лидия Петровна вернулась из лагеря, жить ей было решительно негде. Мама с Борей ютились в коммуналке у Ольги Адамовны, которая, думалось Лидии Петровне, держала их из жалости. Встреча вышла тягостной. Мама состарилась, а Боря, напротив, оказался молодцом и красавцем, в матери не нуждавшимся. Увидев их, Лидия Петровна, и раньше понимавшая, что не всё с ней в порядке, окончательно осознала, что вступила в самый странный женский возраст: не молодая и не старая, а так, вокруг пятидесяти.

Лидия Петровна, как и все, села в тридцать седьмом, но при обстоятельствах оригинальных. Взяли ее не из теплой постели на рассвете, как брали многих, а вечером, в седьмом часу, и не из дома, а из детской больницы, где она сидела у постели больного менингитом Бори. Следующие двадцать лет Лидия Петровна страдала, в том числе и от неразумных мук совести, словно была виновата в том, что покинула больного ребенка. И говорить нечего, что вины ее в том не было, но избавиться от чувства, что она плохая мать, Лидия Петровна не могла, хотя и знала, что сын поправился, что из больницы забрала его родная бабушка, что пережили они войну и не погибли.

Отсидев свое и даже больше, приехала к родным и стала спать на полу под обеденным столом на ватном полосатом матрасе, однако белье было мамино, льняное, крепко накрахмаленное – как у свободных людей. Поразило Лидию Петровну то, что Боря не предложил ей свою раскладушку. Каждый вечер он спокойно смотрел, как Лидия Петровна разворачивает матрас и запикивает его между пузатыми ножками стола, после чего ставил в проходе свою раскладушку, стелился и спокойно ложился спать. Лидия Петровна понимала это так, что он не простил ей того, что в тот вечер она ушла из больницы, и Лидия Петровна была с ним согласна.

Проспав так несколько ночей, пошла в гости к двоюродной сестре Кате, хотя мать ее отговаривала. После ареста Лидии Петровны мама только раз виделась с Катей. Причина разрыва заключалась в том, что Катя, когда узнала, что Лидию Петровну взяли, испугалась так, что себя забыла. Тетку с ребенком на порог не пустила, захлопнув

---

\* Победитель конкурса на звание лауреата международной Литературной премии имени Марка Алданова. 2024.

перед носом дверь. Вышло просто, как у Маршака в «Кошкином доме», о чем мама Лидии Петровне неоднократно писала в лагерь. Маршак был у нее на уме, потому что она как раз читала его маленькому Боре.

Когда Лидия Петровна завела речь про Катю, сказав, что собирается плюнуть ей в глаза, мама поджала губы и произнесла:

– Бог ей судья. Не надо, Лида.

Но Лидия Петровна, с двадцатью годами лагеря за плечами, считала, что очень даже надо и поэтому ответила:

– Не могу, мамочка, лишить себя этого удовольствия. Я, конечно, о ней все эти годы не много думала, но имела ее в виду. Теперь в самый раз повидаться.

Катя давным-давно не жила на прежнем месте, но Лидия Петровна через справочную узнала адрес. Приехав на место – изумилась. Катя теперь жила в огромном доме с разными финтифлюшками, и Лидия Петровна поняла, что жизнь Кати сложилась очень удачно.

До войны и ареста Лидии Петровны, обе они, Лидия Петровна и Катя, были замужем за партийными работниками, но муж Лидии Петровны занимал положение значительно более высокое, а Катин только шел в гору. Увидев, в каком доме живет Катя, Лидия Петровна с некоторым ожесточением потянула на себя громадную дверь и, оказавшись перед лицом внушительной лифтерши, тут же и приняла решение: не юлить, а сказать, как есть. Примет сестра – хорошо, нет – будет стеречь ее Лидия Петровна у подъезда. К удивлению Лидии Петровны, лифтерша позвонила и тут же пропустила со словами:

– Вас ждут. – И многозначительно глянула на Лидию Петровну.

Дверь в темную прихожую, загроможденную чем-то неясным, открыла женщина совсем уж странного вида: на ней был темно-синий сатиновый халат, в каких ходят уборщицы в учреждениях. Женщина, опустив голову, тихо сказала:

– Входи, Лида.

Лидия Петровна захлопнула дверь, и тогда женщина в сатиновом халате мягко соскользнула на пол, как пальто, падающее с плечиков, обняла ноги Лидии Петровны и прижалась щекой прямо к облезлым ее ботинкам. Лидия Петровна окаменела. Следует заметить, что, не будь она так взволнована и имей возможность взглянуть на себя со стороны, картина эта несомненно ее бы позабавила, потому что это был вылитый Рембрандт – как его могли бы представить в домашней шараде.

– Это я, Катя, – сказал сатиновый халат, не отпуская ноги Лидии Петровны.

Лидия Петровна ответить ничего не могла от испытанного замешательства, но подергала левой ногой, робко пытаясь освободиться.

– Я знаю, Лида, меня простить нельзя, но ты прости. Я тебе ноги целовать буду. – Простишь? – с надеждой спросила Катя, первый раз подняв голову и глядя Лидии Петровне в глаза снизу вверх.

Лидия Петровна, наконец, нашлась и, дернув ногой посылнее, стряхнула с себя двоюродную сестру, сказав брезгливо:

– Ты что, рехнулась? Что за комедия?

Лидии Петровне пришло в голову, что хитроумная Катя, ожидавшая скандала, а возможно и пощечины, ее опередила, бухнувшись на колени, чем привела Лидию Петровну в состояние крайней растерянности. Слова, которые она готовила, чтобы яростно сказать сестре, моментально улетучились. Осталось только чувство омерзения, слово мрачный бражник прижимался к ней своим жирным брюшком.

Она, было, решила тут же повернуться и уйти, но дело, за которым Лидия Петровна пришла, – а именно оскорбить и унижить сестру, – нужно было довести до конца, иначе выходило глупо. Лидия Петровна сказала:

– Как видишь, я вернулась, не умерла, и вот я здесь, чтобы сказать тебе, что ты подлая низкая тварь, ты не человек, мразь. И... – Лидия Петровна подумала и добавила, – будь ты проклята.

– Уже, уже! – взвизгнула Катя, по-прежнему сидевшая на полу. – Проклята, а ты не уходи, мне тебе рассказать надо. Я тетю Аню искала и Борю. Хотела искать. Но они не давали. Ты их не знаешь. О! Это такие люди! Я тебе расскажу. Идем. – И, проворно встав с колен, Катя пошла вглубь квартиры, маня за собой Лидию Петровну.

Открыв двухстворчатые двери, Катя проскользнула в гостиную, имевшую нежилой вид. Люстра почему-то была замотана простыней, кресла и диван стояли в чехлах, и на мебели лежал толстый слой пыли. «С дачи они, что ли, вернулись?» – недоуменно подумала Лидия Петровна.

Катя, посмотрев по сторонам, словно, как и Лидия Петровна, оказавшись в комнате впервые, присела на краешек кресла и прошептала:

– Садись.

Лидия Петровна села на пыльный стул и уставилась на Катю. Та заговорила быстро, опустив глаза и тербя ворот халата:

– У меня, когда война началась, мальчик родился... Глазки голубенькие, волосики беленькие редкие. Пушок такой. – И Катя легко провела пальцами вокруг собственной головы, показывая Лидии Петровне, какие волосики были на головке младенца. – А в эвакуации умер в один день. Почему, Лида?

Лидия Петровна к этому времени уже поняла, что с Катей говорить, а тем более ругаться, без толку, а потому, не собираясь отвечать на несурзанный Катин вопрос, поднялась и, не обращая более на нее внимание, пошла к выходу. «Да, – с горечью подумала она, – хотела всё высказать, а оказалось – некому. Совершенно сумасшедшая эта Катя.»

Та, шаркающей больной походкой поплелась за Лидией Петровной, тихо приговаривая на ходу:

– Лида, не уходи. Я тебе всё сказать должна. И про мальчика, и про Танечку. Не уходи.

– В другой раз. – Сухо ответила Лидия Петровна и взялась за дверь, но тут ключ заворочался в замке, Лидия Петровна отступила, и в квартиру, держа перед собой авоськи с продуктами, протиснулась девушка.

Это, как тут же и выяснилось, была Таня, Катина дочь. Лидия Петровна помнила ее младше Бори и, конечно, ни за что бы не узнала, но Таня сразу объяснила, что она – Таня, что от лифтерши узнала о появлении Лидии Петровны и стала Лидию Петровну просить остаться пить чай.

Этот день прошел для Тани так же, как и все прочие. После работы, купив продукты, она возвращалась домой, словно взбиралась в гору. Дома сидела – Таня так всегда и думала – сидела мама. По утрам, захлопнув дверь, она летела вон, как в детстве на санках с кручи, а вечером возвращалась, и ноги не шли: в них была необъяснимая тяжесть. Таня, мнительная от природы, такую разницу в ощущениях объясняла слабостью своего здоровья, печально полагая, что долго прожить ей не суждено. С тревогой прислушивалась к сердцу, работавшему, впрочем, совершенно так, как и положено работать сердцу двадцатилетней девушки. Плохое самочувствие ее объяснялось просто – она тяготилась матерью.

Не далее как вчера, просидев с мамой весь вечер, выслушивая жалобы и бредовые намеки, Таня под конец поймала себя на мысли, что было бы хорошо, если бы мама прямо сейчас умерла от сердечного приступа, как это случилось когда-то с папой. Окинула взглядом хилую Катину фигуру, и ее кольнула досада: мама – женщина здоровая, с чего ей умирать. Мимолетная мысль накрыла честный разум Тани и тут же улетучилась. Она промелькнула невольной и, подумав так, Таня ужаснулась до потных ладоней. Особенно стыдно было осознать, что она так холодно, не любя, разглядывала родного человека. Тут же вскочив, обняла мать, принялась горячо целовать, чем Катю поразила, потому что та как раз развивала очень важную и мучительную мысль о связи дочери с американской разведкой. Ее порыв укрепил Катини подозрения. Потому что совершенно очевидно, что это игра с целью Катю запутать и отвлечь от того важного, о чем шла речь.

Катя подзревала дочь в шпионаже уже много лет, еще при жизни несчастного Ивана Константиновича, еще когда та была подростком, – но прямых доказательств не имела, за исключением того, что дом их находился не так уж далеко от американского посольства и, таким образом, существовала реальная возможность сноситься со шпионским руководством посредством электрических розеток, как делал это сам Иван Константинович. А недавно доказательства обнаружались. У Тани на тумбочке Катя нашла книжку Бориса Пильняка «О'Кей» – и всё стало на свои места. Замызганная книжонка отворачи-

тельного красноватого цвета, в точности, как несвежее мясо, сразу привлекла Катину внимание. Один из голосов, сидевших у Кати в голове, первым заметил книгу, которой прежде не было, и грубо ткнул Катю носом. Она взяла книжку и увидела, что это сочинение вредного писаки, осужденного за шпионаж. Вот, пожалуйста, год издания – 1933-й. Значит, это еще до того, как его разоблачили. Всё тот же голос накричал на Катю, запретил читать и объяснил, что Пильняка используют для составления шифровок. И, обозвав Катю душой, пошел дальше ругать нехорошими словами, какие и повторять-то стыдно. Катя, убитая ужасным открытием, бессильно опустила на кровать и заплакала. «Не хнычь», – сказал голос, не терпевший, когда Катя распускалась.

На Катину удачу, голосов в ее бедной голове было два, и если один ругал и насмехался, то второй, чисто ангельский, верный Катин друг и защитник, всегда вставал на ее сторону, жалел Катю. В голове ее поднялся ужасный гам. Голоса страшно переругались из-за Пильняка, совершенно не обращая внимания на Катю. Она сидела понуро и слушала их перебранку.

В этот драматический момент Таня вернулась домой и попала под горячую руку. Пришлось держать ответ за запрещенного Пильняка, которого ей дали почитать, а она забыла припрятать. Таня объяснила, что Пильняка реабилитировали, но это не помогло. Вышла безобразная сцена, и она поклялась, что книжки этой дома больше не будет.

И вдруг сегодня новость: лифтерша сообщила, что у мамы гостя – тетя Лида. У них не бывало гостей. Вообще никто не приходил – разве что водопроводчик, и Таня почувствовала себя так, словно сбежала с уроков. И совершенно неважно, пришла эта тетя Лида к худу или к добру: главное, что сегодняшней день спасен просто потому, что он не такой, как прочие.

Эта тетя Лида, которую Таня совершенно не помнила, единственная в семье отсидела по 58-й статье, и Катя считала себя перед ней виноватой. Буквально на днях мама опять завела о ней речь. И всё то же, что и всегда: взяла бы к себе тетю Аню и Борю, не умер бы Петечка. Ну при чем тут это?

Все эти мысли промелькнули у Тани в голове по пути от лифтерши до квартиры. Но главное всего было соображение, что сегодня ее оставят в покое и что мать, должно быть, счастлива.

Таня со своими авоськами топталась в дверях, переводя взгляд с Лидии Петровны на Катю. «Затравленная она какая-то», – подумала Лидия Петровна. С появлением явно нормальной Тани Лидия Петровна решила повременить с уходом. Все-таки было интересно выяснить, что тут у них произошло.

До войны, точнее, до ареста Лидии Петровны, Катя была хоро-

шенькой и, с точки зрения Лидии Петровны, очень обыкновенной. Лидия Петровна отчего-то полагала, что душевная болезнь сопряжена с умом или, на худой конец, с тонкостью души. Она не помнила за сестрой ни того, ни другого и, откровенно говоря, считала Катю недалекой, не стесняясь наедине с мужем называть ее попросту душой. И, вот, поди ж ты, Катя капитально сбрендилла. Ничего не осталось от хорошенькой женщины, и только взглядевшись, Лидия Петровна призналась себе, что – да, это ее двоюродная сестра, предательница, иуда.

Расположились на кухне. Лидия Петровна, теперь особенно приверженная чистоте, с неудовольствием отметила спитой чай, давно не мытую сахарницу и старые крошки в корзиночке, в которую Таня рассеянно положила мятую пастилу.

Лидия Петровна молчала, только стреляла глазами, и в глазах ее было холодное и веселое любопытство. Молчание Лидии Петровны совсем смутило Таню. Она надеялась, что тетя Лида заговорит первая и выйдет всё прилично, но заговорила мама, сбивчиво и тревожно. Она всё извинялась, радовалась, что сестра осталась на чай, совала той пастилу. Лидия Петровна пастилу взяла, но есть не стала, а только мяла в сухих пальцах, а потом положила на блюдец и до чая не дотронулась. Наконец заговорила, и фразы ее выходили, как фарфоровая чашка, которую она держала в руках, – гладкие, с холодным блеском правильных оборотов.

Получилась кошмарная сцена: мама бубнила и канючила свое про вину, тетю Аню и покойного Петечку, а тетя Лида, без всякой, казалось, связи, про то, что она город совершенно не узнала, так похорошел за двадцать лет, и даже про погоду – мол, осень в этом году на диво сухая. Таня готова была расплакаться.

Лидия Петровна, хоть и говорила складно (она имела к этому большой талант), однако же у нее было неприятное чувство, что мир вокруг нее, на этой кухне, какой-то нереальный, искаженный, лишенный той злой простоты, которая была прямо за порогом и которая так раздражала и пугала Лидию Петровну. Сейчас она подумала об этом мире снаружи, как о чем-то уютном и понятном, в отличие от сонной мути Катиной квартиры.

Катя вдруг замолкла, словно к чему-то прислушиваясь, а затем жарко зашептала, чтобы Лидия Петровна ни слову не верила из того, что наговорит ей дочь, и тут же добавила, что очень надеется, что тетя Аня и Боря навестят ее, потому что сама она из дома не выходит по причинам, которые она Лидии Петровне объяснит позже, без свидетелей, и выразительно покосилась на Таню, сидевшую с совершенно несчастным видом. Лидия Петровна растерянно слушала, а Катя, не договорив, поднялась и со словами:

– Прости, Лида, мне отдохнуть надо, ты только не уходи, – поспешно вышла из комнаты.

Как только Катя затворила дверь, Лидия Петровна шепотом спросила Таню:

– Что у вас происходит? И где отец?

И Таня, тоже шепотом, поминутно оглядываясь, не вернется ли мать, рассказала про несчастья, постигшие семью.

Причина заключалась, разумеется, в Катиной болезни, открывшейся во время войны после рождения ребенка, впрочем, вскоре умершего от остановки дыхания. Катя рассудком так и не поправилась, лечили ее многие врачи во многих больницах, однако толку было мало, и дело кончилось тем, что Катя, под влиянием болезни, написала в НКВД донос на своего мужа, Ивана Константиновича, обвинив его в том, что он является вражеским шпионом. В том же доносе она, однако, умоляла Ивана Константиновича в тюрьму не сажать, объясняя, что его шпионить враги заставили, угрожая убить семью. Тут же, в качестве примера, приводила смерть своего сына, Петечки, от рук иностранных агентов.

Катин донос много способствовал тому, что Иван Константинович остался на свободе. Органам хорошо было известно, что Катя душевнобольная и несет бред. А кроме того, Катя, в своих измышлениях, отстала от времени: теперь как раз ловили не шпионов, а евреев и врачей-убийц. Иван же Константинович, природный русак и видный партийный работник был, несомненно, жертвой болезненного оговора. В органы Ивана Константиновича на беседу пригласили, посочувствовали и посоветовали поместить больную супругу под постоянный надзор. Однако сам Иван Константинович, помня прежние времена и видя беспокойные нынешние, так переволновался, что, вернувшись домой и сказав Кате «что-то мне нехорошо, будь добра, принеси коньяк», тут же, не дождавшись, пока жена вернется с графином, упал на диван, схватившись за сердце. В общем, пока ехала неотложка, Иван Константинович умер и был похоронен на Новодевичьем со всем почетом.

– Что же теперь? – спросила Лидия Петровна. Она внимательно выслушала рассказ, не перебив ни разу.

Таня уныло пожала плечами.

– Так и живем. Вы же видели маму.

– Да. Но ее лечат? Есть надежда?

Таня посмотрела Лидии Петровне прямо в глаза.

– Я каждый раз иду домой со страхом – не знаю, что застану, а врачи говорят: она тихая, и это ремиссия. В общем, может жить дома. Но это, тетя Лида, не жизнь.

– Да-да. Несомненно, не жизнь. Тебе найти нужно кого-нибудь в помощь.

– Всё бесполезно. Да и денег нет. Вы, тетя Лида, расскажите лучше про себя. Вы-то как?

И Лидия Петровна рассказала, впрочем, очень скупое, канву своих злоключений, завершив рассказ сообщением, что теперь, слава Богу, всё благополучно, она вернулась к семье и живет с ними в комнате на Сретенке.

– А муж ваш? – С испугом спросила Таня.

– Расстреляли.

Повисла пауза. Щеки Тани горели. Лидия Петровна видела, что она хочет что-то сказать, но молчит и только как-то некрасиво морщит губы. Наконец решилась:

– Вы же видите: мама до сих пор не может себе простить, что не приютила тетю Аню и Борю.

Лидия Петровна молчала.

– И как же вы теперь на Сретенке? Помещаетесь?

– Тесно, разумеется. Там две комнатки крохотные. В одной Ольга Адамовна, во второй мы. Я под столом сплю, но меня на очередь должны поставить. А пока так.

– А знаете что, тетя Лида... Переезжайте к нам. У нас места вон сколько. – Вдруг бухнула Таня, и сама испугалась сказанного.

Лидия Петровна выпрямилась и губы поджала.

– Глупости, с какой стати! Ты не беспокойся, я буду вас навещать, – надменно соврала она и, соврав, зачем-то добавила совсем уж ерунду: – Чем смогу – помогу вам с матерью.

У Лидии Петровны и в мыслях не было вернуться: как-то ее понесло, что бывало с ней, впрочем, крайне редко.

Сказанное растрогало Таню, о чем она тут же и сообщила, добавив при этом, что редко встречает сочувствие. А дальше, смущаясь и краснея, взялась уговаривать Лидию Петровну если не поселиться, то хотя бы пожить у них, пока комнату не дадут. Лидия Петровна отнекивалась, и тогда Таня сказала:

– Вы, может быть, думаете, что я хочу, чтобы вы за мамой ухаживали? Ужасно, если вы так думаете. Я просто...

– Совсе я так не думаю. Мне, конечно, нелегко жить с мамой и Борей и, в особенности с Ольгой Адамовной, – добавила она. – Я их очень потеснила, но предложение твое выглядит странно хотя бы потому, что ты меня совершенно не знаешь.

– А кто такая Ольга Адамовна?

– Это... Она спасла маму и Борю в тридцать седьмом.

– Место моих родителей... – горько сказала Таня.

Лидия Петровна на эти слова ничего не ответила. Помолчав, произнесла:

– Видишь ли... дело в том, что... Допустим, я к вам перееду. Ну, перееду я к вам, а через месяц ты поймешь, что жить со мной не хочешь. Тебе неловко будет меня выгонять. Так что лучше не надо. Хотя... – она взяла паузу и глянула на Таню. – Давай вот как поступим: познакомимся ближе, а потом решим. Да и чтобы у тебя не было

сомнений: если я к вам перееду, будь уверена: стану заботиться о Кате.

Лидия Петровна покинула квартиру в смятении. Ударом под дых вспомнилась жизнь до тридцать седьмого. Катя, так страшно изменившаяся, всё же была той же Катей. Перемена, случившаяся в ней, особенно горько отозвалась в душе Лидии Петровны. Ей казалось, что она избавилась от глубоких чувств, а вышло вон как – стоило поворошить угли, и боль вернулась.

Она спустилась на пролет вниз, опасаясь, что дверь откроется и выйдет Таня или соседи, и заметят ее, едва стоящую на ногах, с очевидно ужасным лицом. А всё от того, что в единый миг увидела себя – молодую и беззаботную, мужа – расстрелянного где-то там, она не знала где, Черное море, груши «дюшес», которые оба так любили и которые бережно везли в поезде, возвращаясь из Крыма. В этой мгновенной вспышке мелькнуло и совсем уж неважное, пустое – шелковое платье, которое было так ей к лицу. Она успела всего пару раз его надеть. Отвратительна была мысль, что оно досталось какой-то НКВДшной бабе. Вспомнив платье, опустила глаза на свои старые, с чужой ноги ботинки. В таких мальчиговых дети ходили в школу. Эти ботинки, которые она видела каждый день, чистила тщательно, стараясь замазать облезлые носы, совсем ее расстроили, как не расстраивали прежде и как не расстраивал ее даже ватный матрас под столом Ольги Адамовны. Постояв так в пролете между этажами, встряхнулась и пошла к лифту.

Выйдя из подъезда, задрала голову и постояла, с горечью разглядывая великолепие стройных пилястр и лепных карнизов чужого жилища. Вздохнула: дух захватывает. Дом-то замечательный. И квартира – как из прошлой жизни. Одним словом, сон. Хотела Кате в глаза плюнуть, а вон как обернулось. Катя, думала Лидия Петровна, хоть и сумасшедшая, всё равно враг, потому что, когда она захлопнула дверь перед носом мамы и Бори, была в своем уме, а такие вещи не прощают, точнее, не прощает Лидия Петровна. И Таня – дочь врага, и нет перед ней у Лидии Петровны обязательств. Поделом же им. Что ей до ненормальной Кати и ее дочки. Неврастеничка! Первую встречную – нет, гораздо хуже! – человека недоброжелательного готова не то что в дом пустить, а поселить на своей жилплощади. И какой жилплощади! Боже ты мой! Четыре комнаты, высоченные потолки, раздельный санузел и никаких соседей. В подъезде лифтерша. За такую жилплощадь люди глотку перегрызут, а она жить зовет. Но простить их невозможно и жить с ними нельзя. Враги.

На этих мыслях она решительно повернулась и пошла прочь. Она шла вроде бы к метро, а на самом деле – механически переставляла ноги, находясь всё еще под впечатлением не от увиденного, хотя то, что она увидела, было неожиданно, а от того взрыва памяти, кото-

рый ей довелось пережить. Интересно, что встреча с сыном и матерью не оказалась столь болезненной, как встреча с ненавистной и теперь такой больной сестрой. Лидия Петровна шла по улице, а в висках у нее по-прежнему стучало, как там в подъезде, и, чтобы успокоится, она заставила себя разглядывать прохожих и улицу. На то, что было вокруг, она тоже взглянула иным взглядом.

Прежняя кутерьма – встреча с близкими, знакомство с Ольгой Адамовной и, вообще, необходимость войти в новую жизнь, заслонили город. Вдруг он открылся ей и поразил. Это была Москва, но какая-то другая, искаженная, не та, которую она помнила. Поменялись лица и запахи. Сквозь новые дома в воображении Лидии Петровны проступали дома старые, отсылая ее совсем уж почему-то далеко, в юность: трамваи какие-то грохотали и даже будто проехал извозчик. Лидии Петровне померещилось, что откуда-то потянуло навозом. Между тем она как раз проходила мимо булочной, оттуда пахло свежим хлебом, и какая-то женщина вышла с французскими булками в авоське. Хлеб с аппетитными корочками прошлыл мимо Лидии Петровны, женщина с авоськой пропала среди прохожих, и Лидия Петровна с тревогой подумала, что сходит с ума: не было на улице Горького никакого навоза и быть не могло. Магазины были, ларек с мороженым и другой – с пирожками. Важный милиционер стоял на углу, а навоза не было. Лидия Петровна осторожно принюхалась, проверяя саму себя, и поняла – померещилось. Решительно отринув морок, наваянный, несомненно, Катиным сагиновым халатом и всем тем нездоровым, что довелось увидеть в гостях, Лидия Петровна уже совершенно осознанно отправилась домой.

Уже возле самого дома резко остановилась, так что шедший позади нее гражданин чуть на нее не налетел, и во двор не вошла, а отправилась на Сретенский бульвар, села на скамейку и принялась думать. Меньше всего она ожидала, что девочка позовет. Странно, что Таня не понимает – это невозможно. Двадцать лет из жизни не вычеркнешь, через поступок Кати не переступишь. А с другой стороны, размышляла она, это глупые сантименты. Всё, на что может рассчитывать Лидия Петровна, – комната в коммуналке. И это в лучшем случае. А у них – четыре комнаты и отдельная ванная. Представив себе эту большую, просто огромную ванную комнату, порядком запущенную (Лидия Петровна заметила, когда мыла руки), она пришла в воинственное состояние духа и принялась себя ругать и насмехаться. Ход ее мыслей был таков, что дожила она, Лидия Петровна, до седых волос, а ума не нажила. Что, испытав всё то, что она испытала, следовало бы поумнеть и оставить глупости вроде рассуждений про врагов, предательство и загубленную жизнь. Если она вынесла всё, что она вынесла, вынесет и Катю. Главное, никогда не забывать про метр-раж и отсутствие соседей. И не подпускать к себе те опасные видения, которые обрушились на нее, как только она вышла из Катиной

квартиры и позже, на улице. Такие штуки могут ослабить, лишить сил. Обдумав всё таким образом, Лидия Петровна в духе самом боевом отправилась домой, готовая сражаться не на жизнь, а на смерть.

– Ну что, Лида, твой визит? – спросила Анна Григорьевна. – Надеюсь, до милиции дело не дошло?

– Вот ты, мамочка, иронизируешь, – оживленно говорила Лидия Петровна, снимая пальто, – а там такие чудеса творятся, что я тебя сейчас очень удивлю.

И Лидия Петровна, в красках и лицах, рассказала обо всем, что произошло с ней в тот день. Только о размышлениях своих и сидении на скамейке умолчала. Анна Григорьевна с изумлением выслушала рассказ.

– Знаешь, – сказала она, – Бог Катю, видно, наказал. Но должна тебе заметить, наказал слишком строго. А девочку жалко. Недаром говорится, что родители ели зеленый виноград, а у детей оскомины.

Лидия Петровна с удивлением взглянула на мать.

– При чем тут зеленый виноград вместе с божьим наказанием? По-твоему, выйдет, что меня на двадцать лет засадили не просто так, а это Бог меня наказал? Что ж он за других не взялся? – горько закончила она, в раздражении неловко порвала пачку Беломора и закурила, сильно затянувшись. – Так у тебя всё просто, мама.

Анна Григорьевна пожала плечами:

– А если сложно объяснять, Лидочка, свихнуться можно. Что же теперь? Надеюсь, ты не собираешься принимать предложение? Звучит неразумно. Что ты ей ответила?

– Сказала, что подумаю.

– Ты шутишь.

– Вовсе нет. Отказаться всегда успею, а жить мне все-таки где-то надо.

– Лида, ты не находишь, что это неэтично?

Лидия Петровна ответила, постаравшись скрыть улыбку:

– Неэтично, мамочка, спать под столом и стоять в очереди в туалет. Я не напрашивалась. Я просто подумаю над этим.

Анна Григорьевна неодобрительно посмотрела, пожала плечами и выплыла из комнаты. А Лидия Петровна, вместо того чтобы тут же начать думать, как она только что обещала, рассеянно взяла валявшуюся на тумбочке книжку и принялась читать. Это оказался роман про милицию, дурацкий до невозможности, но в обнимку с ним Лидия Петровна бездумно унеслась в мир ненастоящий и от этого очень утешительный.

Появление матери практически из небытия совсем не обрадовало Бориса. Он помнил ее молодой, пахнувшей духами. Помнил drobный стук ее каблучков. От ее быстрых движений проносился легкий

ветерок, и ему нравилось зимой утыкаться носом в мягкую шубку. Он тянул носом и всё про нее знал: пахло морозом и пудрой и немножко автомобилем. Но запах бензина был совсем слабый, не противный. Она читала ему перед сном, а когда уходила, он слышал ее голос из гостиной. Он всегда выделял его из строя других голосов: у них часто бывали гости, и он любил засыпать под смутно доносившуюся разноголосицу, из которой вдруг выныривал ее высокий голос. Слыша ее, он зарывался носом в подушку – от блаженства.

Потом была болезнь, которую он помнил смутно. Белое и желтое: белая палата и желтый свет. Мама, бывшая всё время рядом: теплая и мягкая, но какая-то неразличимая. Потом она пропала совсем. Осталась одна бабушка. Из больницы, бледного и слабенького, еще совсем больного, бабушка привела его не домой, а в какое-то другое место и сразу же уложила спать. Он свернулся калачиком под большим тяжелым одеялом и тут же стал засыпать, и ему мерещилось, что он в какой-то уютной пещере. От новых ощущений, а возможно, от слабости и нездоровья, Боре приснился кошмар. Его разбудила бабушка, сказавшая:

– Боренька, проснись, тебе пописать надо.

Он с трудом встал на ноги, бабушка подсунула горшок, и он пописал, раскачиваясь в полусне, а потом сразу повалился и уснул, уже без всяких снов, до утра. Только на следующее утро он с удивлением разглядел это новое место. Первое, что он увидел, был старый заштопанный коврик, в который он, открыв глаза, уткнулся носом. Боря пытался понять, что на нем изображено, и совершенно запутался. Какие-то тусклые бежево-зеленые разводы с вылезавшими обтрепанными нитками. Он лежал и гадал, но так ничего и не придумал, и только встав с кровати и первым делом обернувшись, разглядел всю сцену: кавалер вел даму к пруду, и то непонятное, что разглядывал Боря спросонья, был кавалерский башмак и зеленые листья, торчавшие из воды. Маленький гобелен восхитил Борю, и он обрадовался, что теперь будет спать рядом с ним. Вот только мамы по-прежнему не было рядом. Бабушка стояла тут же и умильно смотрела на Борю, и он сказал:

– А где мама? Она видела коврик?

– Мама, Боренька, в командировке. Она потом придет и посмотрит. – Сказала бабушка, стараясь быть как можно более убедительной.

И вот что смешно: когда Лидия Петровна вернулась с документами и восстановленная в правах, она действительно увидела коврик. Но взрослого Борю уже не интересовало, что Лидия Петровна о нем подумает.

Сретенка, где отныне жили Боря и бабушка, была местом удивительным. Полуподвал в старом двухэтажном доме еще, видно, восемнадцатого века постройки, со сводчатыми потолками и маленькими окнами наверху. Этот полуподвал был, возможно, до революции

каким-то купеческим складом. Во всяком случае, так говорила дворничиха, жившая за стенкой. А она-то знала точно, потому что заселилась еще при НЭПе. Дворничиха любила, когда бывала в хорошем настроении, рассказывать, как купца со всей семьей турнули и как купчиха рыдала на узлах. Куда девались эти купец с купчихой и прочими домочадцами – неизвестно, а новые жильцы были люди пестрые, самого разного пошиба.

Боря с бабушкой поселились в самом низу, по соседству с дворничихой, в комнате, разделенной на две неравные части кирпичной стенкой. Стенка доходила почти до самого потолка, но не совсем, оставался довольно приличный зазор, потому что потолок был сводчатый, и кладку до конца выводить было, конечно, хлопотно. Дальняя комнатка была совсем крохотная и без света. В ней помещались только кровать и комод. Здесь жила Ольга Адамовна – ну, это когда не сидела. А в первой, проходной, жили Боря и бабушка. В комнату Ольги Адамовны бабушка не позволяла ходить без надобности, говоря, что там чужие вещи и трогать их нельзя. На комод, застеленном белой дорожкой, стояли две вазочки с бумажными цветами и деревянное распятие, которое, когда Ольгу Адамовну взяли, бабушка спрятала в комод.

Про родителей бабушка говорила недомолвками. Навсегда перепуганная, Анна Григорьевна тайком читала и писала письма, и слишком поздно перестала врать. К тому времени, когда она сочла возможным сказать правду, Боря уже всё знал. Он врал ей так же, как она врала ему, но зла на бабушку не держал, потому что понимал, что о таком позоре лучше молчать. Вообще, он стыдился многого, но в первую очередь того, что родители – враги народа. Ну, и бедности. И это, между прочим, странно – богатых вокруг не было.

Борис думал, что мать, как и отец, никогда не вернется, но она вернулась. Впрочем, не совсем. Из сухих почтовых листков, убористо исписанных то карандашом, то фиолетовыми чернилами, мать обратилась в человека из плоти и крови, живущего где-то очень далеко, если смотреть по карте – всё правее и правее, через бескрайнюю зелень и голубизну речных вен. Бабушка поехала к ней на поселение и вернулась с кедровыми орехами и фотографией. Он не сразу различил, где мать, а где бабушка. Пригляделся и узнал бабушкино пальто. Та, другая, была в валенках и телогрейке, замотанная по-бабьи платком. Лицо с длинным носом и опущенными уголками рта. Боря долго разглядывал вторую. Сначала его как кипятком ошпарило отчаяние, а потом, насмотревшись, подумал, что хорошо, что она не может приехать. Он вернул фотографию бабушке, не глядя ей в глаза. А Анна Григорьевна прижала к себе его голову и сказала:

– Вот так оно всё, Боренька.

И вот Лидию Петровну отпустили, оправдали, восстановили в правах, и она свалилась им на голову: курит «Беломор», мешки под

глазами и чулки в резинку. Борова жизнь к этому времени хорошо складывалась, и тут приехала мама. Он знал, что это неизбежно, поддакивал бабушке, когда та радостно говорила о скором возвращении матери, но как-то всё надеялся, что пронесет, мать не приедет. Приехала. Борис страдал.

В этот день, вернувшись домой, он с неудовольствием увидел, что Ольга Адамовна, очевидно недавно вернувшаяся с работы, затворилась в своей комнатке, а на ее месте за столом сидит мать и читает. И не что-нибудь умное, а детектив про милицию. Борис скривился. Мать сказала:

– Боренька, ты сегодня рано.

– Да. – И поспешно добавил: – Но я сейчас же ухожу.

– А обедать? Я сейчас накрою. Мой руки.

За обедом бабушка, обращаясь, в основном, к Ольге Адамовне, пересказала все обстоятельства похода Лидии Петровны. Тут выяснилось, к всеобщему удивлению, что Боря отлично помнил, как они с бабушкой ходили к Кате, а та их выставила.

– Кто бы мог подумать! Ты ведь совсем маленький был. А я помню ее совершенно нормальной. Это воздаяние, – убежденно сказала Анна Григорьевна.

– Ну, хоть тут Господь услышал мои молитвы, – саркастически заметила Ольга Адамовна.

– Странное замечание в устах верующего человека, – холодно сказала Лидия Петровна.

– Ничуть, – безмятежно ответила Ольга Адамовна. – И верующие грешат.

– Значит, мама, эта ваша Катя умом тронулась?

– Для тебя, Боренька, не Катя, а Екатерина Андреевна, – назидательно сказала бабушка, пояснив: – Она значительно тебя старше. Не забывай соблюдать дистанцию, дружок.

– Бабуля, какая разница – Катя или Екатерина Андреевна? Один черт. Главное, что им досталось по заслугам. Я очень рад. А ты что думаешь, мама?

– М-м-м, – Лидия Петровна аккуратно вытерла губы салфеткой. – Я бы так говорить не стала, но, в известном смысле, твою позицию можно понять. Впрочем, теперь другие времена.

Ни Анна Григорьевна, ни сын не поняли, что она имела в виду, а Ольга Адамовна только подняла брови.

– Ты о чем?

– Ни о чем, Боря. Так, вообще.

– Таня предложила твоей матери у них пожить, – сказала бабушка. – Катя ее слишком донимает.

– Да? Вот это новость! Ты, конечно, согласилась?

– Боря, как тебе не стыдно! Зачем маме это нужно? Они непоря-

дочные люди. Я это тебе, Лида, еще до того, как ты туда отправилась, говорила. Напрасно не послушала.

– А по-моему, это здорово. Главное, потом никуда не съезжай, – со смешком сказал Борис.

– Это цинично. – Закончила разговор Анна Григорьевна и встала из-за стола.

– Мама! – Лидия Петровна со стуком вернула на стол стопку грязных тарелок.

– Так ты пойдешь к ним жить? – не унимался Борис.

– Не знаю. Подумаю. Не решила. Пока.

Сын удовлетворенно кивнул и со словами: «Ну, я пошел», – первый раз с того дня, как Лидия Петровна вернулась, поцеловал ее в щеку.

Дочь и внук огорчили Анну Григорьевну. Этой ночью она никак не могла уснуть и всё думала о Лиде. Как Лиду жизнь переломала! Завтра же она напомнит ей притчу про чечевичную похлебку, и Лида одумается.

Всю свою жизнь Анна Григорьевна старалась быть порядочным человеком. До революции ей это очень хорошо удавалось, а вот после всё как-то уж слишком запуталось, и Анна Григорьевна чуть было не пала духом. К счастью, выбраться из затруднения помогли ей подросшая дочь и будущий зять, обладавший такой силой убеждения, что Анна Григорьевна вполне успокоила свою вздумавшую бунтовать совесть и жила в согласии с собой до самого ареста зятя, а затем и дочери. Рассуждение ее было самое что ни на есть справедливое и заключалось в признании того, что на свете есть люди поумнее ее, и им виднее, что хорошо, а что плохо. Тем более что зять постоянно указывал на положительные сдвиги, да и сама Анна Григорьевна их видела: страна преображалась, а к тридцать пятому построили метро. Анна Григорьевна имела свою жилплощадь – комнату в коммуналке в Останкино, но жила у дочери или на ведомственной даче, полученной зятем. Чтобы жить по-честному, честно смотреть людям в глаза, Анна Григорьевна в свою комнату пустила жить соседку Дусю. Дело было, собственно, в том, что когда-то эта останкинская дача принадлежала супругу Анны Григорьевны, но после революции Анну Григорьевну уплотнили до того, что осталась одна комната, – впрочем, совсем неплохая. Одной из соседок как раз и была эта самая Дуся с мужем и тремя детьми. Когда Лида вышла замуж и карьера ее мужа стремительно пошла вверх, Лида съехала и вскоре поселилась в большой отдельной квартире. Места было вдоволь, и они позвали Анну Григорьевну к себе. Анна Григорьевна тут же пошла к Дусе и предложила той жить в ее комнате, потому что, в самом деле, впятером в одной тесно. Анна Григорьевна была довольна, что поступает по справедливости. Дуся, не ожидавшая такого подарка, была готова

Анне Григорьевне ноги целовать. Так всё и было до того дня, когда забрали Лиду, квартиру опечатали, и оказалась Анна Григорьевна посреди улицы, фигурально выражаясь, в чем мать родила. Хорошо еще ребенок был в больнице.

Вот тогда-то и сунулась обезумевшая Анна Григорьевна к родной племяннице, к Кате, а та, как известно, на порог ее не пустила, захлопнула перед носом дверь. Потом, в процессе переживания всех обстоятельств, история исказилась в воображении всех участников, и вышло, будто Анна Григорьевна явилась, держа за руку малютку Борю. Нет, Анна Григорьевна была одна, Боря в больнице, но речь о ребенке, которого могли забрать в детдом, шла, разумеется, в первую очередь.

Очутившись в отчаянии и недоумении перед закрытой дверью, Анна Григорьевна первым делом опустила на ступеньки и впала в оцепенение. Прежде она никогда не оказывалась в таком положении: без вещей, даже без зубной щетки, которая, как и прочие вещи, осталась в опечатанной квартире, и без угла, где можно было голову приклонить. Посидев так на ступеньках холодной лестницы, замерзнув и от холода несколько придя в себя, Анна Григорьевна вспомнила про свою останкинскую комнату, про которую, в вихре ужасных событий, совершенно забыла. Анна Григорьевна ринулась в Останкино, думая о Дусе как об ангеле, несущем избавление. Она справедливо полагала, что теперь может поселиться по месту прописки, и Дуся, а также вся ее дружная семья, будут рады помочь бедной Анне Григорьевне, как она когда-то помогла им. Каково же было изумление Анны Григорьевны, когда, добравшись уже поздно вечером до Останкино и постучавшись к Дусе, обнаружила, что и тут ей не рады и даже больше: Дусин муж обложил Анну Григорьевну матом и на робкие ее упреки пообещал донести куда следует. Ошибка Анны Григорьевны заключалась в том, что она с бухты-баракты выложила им всё начистоту: про арест зятя и дочери, про внука в больнице и про предательство племянницы. Как же казнила себя Анна Григорьевна за глупость! Только потом сообразила, что нужно было молчать и, прежде всего, вселяться в собственную комнату.

Из Останкино, в состоянии уже невменяемом, отправилась она обратно в город, как лунатик спустилась в метро и там, в тепле, без сил и всякого соображения опустилась на скамейку. Мимо проходили поезд, люди входили и выходили из вагонов, а Анна Григорьевна всё сидела. Она не заметила, как поток пассажиров сначала уменьшился, затем превратился в тоненький ручеек, а затем и вовсе иссяк. Перевалило за полночь. К Анне Григорьевне подошла дежурная и сказала, что скоро метро закроют и нужно идти домой. Ждали последний поезд. Анна Григорьевна как пьяная поднялась с места, безумными глазами огляделась вокруг, нелепо потопталась на месте, соображая, что ей делать: садиться в последний поезд или выходить наружу. И то и другое было лишено смысла. У Анны Григорьевны,

разумеется, были друзья, к которым можно было бы пойти переночевать, но делать это нужно было, конечно, раньше. А вот Анна Григорьевна потеряла самообладание от полученных ударов и тупо просидела на скамейке всё то время, когда другой на ее месте стал бы действовать. Ошалевшая Анна Григорьевна топталась на перроне, пока к ней не подошла женщина, которую она, в своем отчаянном состоянии, не заметила. А между тем эта женщина уже довольно давно наблюдала за Анной Григорьевной, благо делать ей всё равно было нечего: перерыв между поездами в этот поздний час был большой. Так вот, она подошла к Анне Григорьевне, деликатно взяла ее за рукав и негромко спросила:

– У вас что-то случилось? Вы нездоровы? Может быть, вам нужно в больницу?

Анна Григорьевна безумными глазами на нее посмотрела, в этот момент подошел поезд, и женщина буквально затащила Анну Григорьевну в вагон.

– Мне, оказывается, идти некуда, – сглотнув, сказала Анна Григорьевна.

– Как так? Но ведь вы же где-то живете? – спросила женщина, оглядывая приличное пальто Анны Григорьевны.

– Нигде не живу. – И Анна Григорьевна зарыдала.

Женщина как-то нехорошо сжала губы, искоса глянула на Анну Григорьевну и больше ничего не сказала. На Кировской она тем же манером вытащила обмякшую Анну Григорьевну из вагона, вывела на улицу и усадила подле себя на бульварной скамейке.

– Рассказывайте. – Приказала она и с отвращением, как показалось Анне Григорьевне, на нее взглянула.

Только теперь, в темноте ночного бульвара, Анна Григорьевна прямо посмотрела женщине в лицо, и лицо это ей совсем не понравилось. Некрасивое суровое лицо с густыми мужскими бровями, мясистым носом и губами в ниточку. Анна Григорьевна почему-то подумала, что она воровка. Тут же вспомнила про обручальное кольцо и второе, с бриллиантиком, подаренное мужем на рождение Лиды. Непроизвольно спрятав руки в рукава, Анна Григорьевна испугалась будничным страхом, не имевшим ничего общего с тем ужасом, который держал ее в напряжении всё последнее время. Она порывисто встала, чтобы тут же бежать от этого страшного лица, но женщина резко дернула ее за руку, усадила обратно и прошипела:

– Да будете вы говорить или нет? На вас лица нет. Чего вы испугались? Натя папиросу. – И достала из кармана папиросы и спички.

Вид папирос Анну Григорьевну успокоил, потому что она рассудила, что воровка не станет предлагать закурить. Поэтому упавшим голосом она сказала:

– Спасибо, я не курю. У меня дочь арестовали, и зятя тоже. А квартиру опечатали. – И снова заплакала.

Женщина вздохнула, размяла папиросу, закурила и, выпустив дым, сказала:

– Пойдемте ко мне ночевать.

Новую знакомую Анны Григорьевны звали Ольгой Адамовной, и фамилия у нее была польская, совершенно непронизносимая, состоявшая из одних согласных. Ольга Адамовна жила в том самом среднем подвале, где и поселилась на ближайшие двадцать лет Анна Григорьевна и где в романтической обстановке под тяжелыми сводами купеческого склада вырос потом Борис.

Ольга Адамовна оказалась тем ангелом небесным, на которого стал бы уповать всякий, веру в высшие силы не утративший. Анна Григорьевна как раз и была таким человеком, и в несчастье своем пошла она за Ольгой Адамовной как за путеводной звездой. Уже дома, в тепле, Ольга Адамовна напоила ночную гостью чаем, заставила выпить водки, дала колбасы и выслушала рассказ Анны Григорьевны про дочь, зятя и внука. Помолчав и снова закурив (Ольга Адамовна много курила), презрительно скривилась и сказала:

– Так вы из этих. Ну что ж. Не выгонять же вас. Живите.

Анна Григорьевна стала протестовать, благодарить, говорить, что она только переночует и сразу же уйдет, на что Ольга Адамовна холодно и несколько враждебно ответила вопросом:

– Куда? – и Анна Григорьевна заткнулась.

Глупости это были, бредни. Идти Анне Григорьевне было совершенно некуда. В доме благодетельницы испытала она унижение, какого не знала даже тогда, когда ходила по всяким учреждениям, пытаюсь выяснить судьбу дочери и сражаясь с властями за Борю, которого собирались после больницы отправить в детдом. Под суровым взглядом Ольги Адамовны испытала она унижение и, хотя Ольга Адамовна этого не сказала ни разу, Анна Григорьевна подумала, что та, видно, считает ее курицей. Тупой курицей, но это Анну Григорьевну не обидело. Она даже почувствовала на время облегчение – как случается, когда долго врешь, а потом вдруг начинаешь говорить правду.

Ольга Адамовна очень помогла советом и делом. Колечки Анны Григорьевны, которые она на Чистых Прудах старательно прятала в рукавах пальто, продали по-быстрому, и тех небольших денег, что выручили за них, хватило на то, чтобы под руководством Ольги Адамовны сунуть кому надо, выписать Анну Григорьевну из Останкино и прописать на Сретенке. Вышло это довольно легко и быстро, потому что Ольга Адамовна выдавала себя за племянницу, а выселять Дусю никто не собирался. Потом разрешили забрать Борю, и к тому времени, когда Лидию Петровну отправили из Бутырки по этапу, они уже благополучно и окончательно водворились на Сретенке.

Мозги Анны Григорьевны всё это время работали так хорошо, как не работали уже давно. Впрочем, это было естественно: сытому и благополучному человеку, живущему в отдельной квартире зимой и

на даче летом, мозги ни к чему. В новых суровых условиях стала Анна Григорьевна соображать, как молодая. Однако до самого того дня, когда привезла Борю домой, не задумывалась она над тем, отчего Ольга Адамовна, человек чужой и прежде незнакомый, приняла в ней такое живое участие.

Подруга Анны Григорьевны, жившая неподалеку на Покровке, осторожно ее спрашивала и деликатно предупреждала, чтобы Анна Григорьевна поостереглась и не очень-то доверяла незнакомому человеку. Тем более, скоро открылось, что Ольга Адамовна – католичка, имеет в своей спальне что-то вроде алтаря с распятием и читает молитвы каждый вечер, стоя на коленях. Подруга с Покровки говорила, что выглядит это подозрительно, а проще говоря, не по-советски, тем более что Ольга Адамовна – женщина молодая, ненамного старше дочери Лиды. Анна Григорьевна отмахивалась, потому что в ее положении было глупо подозревать Ольгу Адамовну, а хуже, чем ей было до их встречи, вряд ли могло быть. Подруга говорила так свободно, потому что жила в одной комнате с мужем, и ей некуда было пригласить еще и Анну Григорьевну. Она очень беспокоилась о ней, и всякий бы согласился, что тревога обоснована: у Ольги Адамовны был хоть и полуподвал, но свой, ловко разделенный на две комнатки, а она взяла и поместила у себя чужого человек, да еще с ребенком, да еще мать репрессированной.

Однако спрашивать Ольгу Адамовну о резонах было как-то неловко. Анна Григорьевна жила себе и жила, а Ольга Адамовна молчала. Она слышала, как дворничиха выспрашивала про них и даже приходила с участковым, а Ольга Адамовна только мрачно буркнула, что это тетка ее с внуком переехала к ней из Останкино и, если кому интересно, могут в домоуправлении справиться. Потом помолчала и добавила, глядя на участкового, – и в милиции, товарищ участковый. Одним словом, Ольга Адамовна умела жить. Чего стоила та ловкость, с которой она сунула деньги паспортистке и та, не поднимая шума, деньги взяла. Анна Григорьевна готова была поклясться, что у нее так никогда бы не получилось, тем более что она полагала, что взятка – это ужасно и даже преступно. И вот, пожалуйста, оказалась замешана в дело со взяткой и была рада-радешенька, что выгорело.

Однажды, это уже шел год тридцать восьмой, и от Лиды начали приходить письма с разных пересылок, Ольга Адамовна сказала Анне Григорьевне поздно вечером, когда Боря спал:

– Не удивлюсь, если меня скоро посадят. Поэтому я на вас, Анна Григорьевна, очень надеюсь: сохраните жилплощадь, чтобы, если выйду, было куда вернуться.

Анна Григорьевна остолбенела. Тут же спросив, отчего у Ольги Адамовны такие мрачные предчувствия, заверила ее, что всё сохранит в целости, но отмела всякую мысль об аресте. Во-первых, Ольга Адамовна – человек прекрасный (это было глупо, Анна Григорьевна

сознавала, но никак не могла не упомянуть). Во-вторых, работала она простой санитаркой в больнице, и в-третьих... Анна Григорьевна не успела перечислить все те причины, по которым Ольгу Адамовну не могли арестовать, как та ее перебила. Сделав по своему обыкновению неприятное лицо, Ольга Адамовна спросила, слушает ли Анна Григорьевна радио и читает ли газеты. Услышав утвердительный ответ, спросила, что же Анне Григорьевне, в таком случае, неясно. Анне Григорьевне было неясно ничего. Тогда Ольга Адамовна в гневе и сердцах резко поставила чашку на неприятно звякнувшее блюдце, и сказала:

– Я же полька, вы что, не знаете, что поляков всех под гребенку. А я, к тому же, и верующая.

– Но вы же в костел не ходите, а распятие можно спрятать, – растерянно сказала Анна Григорьевна.

– Да оглянитесь вы вокруг! – кипятилась Ольга Адамовна. – У вас у самой вся семья сидит, а вы ничего вокруг не видите. Только и знаете, что бегать да кланчить разрешение на посылку для вашей Лиды.

Анна Григорьевна с укором посмотрела на Ольгу Адамовну, потому что ей эти слова были, разумеется, обидны, но та сама тут же раскаялась, извинилась и сказала, вздохнув:

– Я, конечно, неправа. Вы уж простите меня, голубчик, Анна Григорьевна. Вы человек деликатный и из деликатности своей за всё время ни о чем меня не спросили. Я вам благодарна за это. Я как-то стесняюсь про себя говорить, да по нынешним временам это и небезопасно. Однако вы имеете на это право – мне кажется, я достаточно вас узнала. Так вот...

Рассказ Ольги Адамовны был сух, как и вся ее речь, и сводился к следующему. Ее, верующую католичку, совершенно потряс процесс над ксендзами в Петрограде в двадцать третьем году. Особенно расстрел одного из них, человека, по мнению Ольги Адамовны, святого. Эти события, а также конфискация всего церковного имущества под чистую, только укрепили ее веру в Бога.

– Я чувствовала, – говорила Ольга Адамовна, – что всякий порядочный человек обязан противодействовать творящемуся беззаконию, а отступничество – грех непростительный.

Костелы позакрывали еще раньше, и она до процесса ходила на тайные службы, проходившие в квартирах, где и познакомилась со своим будущим мужем. После процесса мужа тоже арестовали и дали десять лет ссылки под Иркутском. Ольга Адамовна к нему поехала. Там жили они в ужасных условиях, а потом муж погиб – утонул. Несчастный случай. И Ольга Адамовна вдовой вернулась, но уже не в Ленинград, а в Москву, где были у нее друзья. Ее поддержали, устроили в больницу санитаркой, и она так и жила с тех пор – в полу-

подвале на Сретенке, одна, пока не подобрала в метро Анну Григорьевну.

– Вы так выглядели... С таким лицом бросаются под поезд. Я очень хорошо знаю это чувство...

Рассказ свой Ольга Адамовна завершила словами, что начали брать поляков без разбора, и она не сомневается, что и ее заберут. Анна Григорьевна, выслушав, растерялась от того, что затруднялась найти подходящие слова. Чувства ее были таковы, словно она говорит с больным перед операцией и что ни скажешь – выйдет фальшиво. Поэтому она только взяла руку Ольги Адамовны в свои и сказала:

– Всё сделаю. Не беспокойтесь, Оля. А может, обойдется?

– Дай-то Бог.

Рассказав внешние события своей жизни, Ольга Адамовна не упомянула о тех переживаниях, которые и были сутью ее ежедневного существования. А между тем после нелепой гибели мужа она растерялась. До окончания ссылки было далеко, вокруг люди умирали от болезней и тяжелой работы, голодали, а он – взял и утонул, как мог бы утонуть и на воле. Такая смерть казалась ей нелепой, не относящейся к обстоятельствам и даже несправедливой. Он же в погожий день пошел купаться и не выплыл, и тело выловили только через несколько дней. Одним словом, у Ольги Адамовны не было уверенности, что смерть мужа была мученической, и это ее беспокоило. Она поделилась своими мыслями со ссыльным католиком, и тот посоветовал ей больше молиться и напомнил, что людям не дано всё знать, а потому уповать нужно на Всевышнего и молить Деву Марию о заступничестве. А Ольга Адамовна и так молилась.

С тяжелым сердцем ехала она в Москву. В поезде попалась ей старушка-попутчица. Она всё смотрела на Ольгу Адамовну, жевала беззубым ртом, но так и не заговорила. Только выходя, сказала:

– Милая, а ведь уныние – великий грех. Господь тебя спаси и сохрани.

Слова неизвестной бабушки очень подействовали на Ольгу Адамовну: у нее словно глаза открылись, и она увидела, что вера ее пошатнулась. Это открытие ошеломило Ольгу Адамовну и наполнило сердце стыдом. А дальше события развивались так: в Москве Ольга Адамовна стала жить жизнью монахини – одна в подвале-келье, проводя дневные часы в больнице. Думалось ей, что должна она искупить свое тайное вероотступничество. Так прошло порядочно времени, и Ольга Адамовна была довольна собой, потому что смогла укрепиться в вере и своем душевном сопротивлении власти. Сопротивление это заключалось, собственно, в том, что Ольга Адамовна выполняла обязанности санитарки так, словно каждый больной был ее родственником, и что она не уступила безбожной власти, живет по вере и совести.

Необдуманный поступок, порыв – так Ольга Адамовна объясняла встречу с Анной Григорьевной. Ее жизнь стала тяжелее, но не хуже. В порыве своем, в необдуманности действий увидела она еще один пример сопротивления власти и похвалила себя за это. Жить с посторонними было тяжело. Пришлось потесниться, да и вообще – отвыкла она, полюбила одиночество. Но и это было хорошо – вышло, будто Ольга Адамовна взяла на себя послушание, и мысль эта была ей отраднa.

Ольга Адамовна как в воду глядела: вскоре ее вызвали в НКВД, откуда она уже не вернулась. Анна Григорьевна ходила в органы, справлялась, но так ничего и не узнала. Стали у нее там допытываться, кем ей приходится Ольга Адамовна, вспомнили про дочь, и Анна Григорьевна испугалась. Ну и, конечно, помнила, что обещала Ольге Адамовне сохранить жилплощадь. Словом, Анна Григорьевна притормозила с розысками, и это, возможно, был один из немногих ее разумных поступков.

Ольга Адамовна вернулась в сорок шестом и больше ее не забирала. Она уверена была, что это по недосмотру. Она так это всегда и объясняла, что, мол, во всяком деле бывают оплошности, человек – не машина. Всегда может случиться подпоручик Кижe, вздыхала она, рассказывая о своем удивительном везении. Ольга Адамовна вернулась, и Анна Григорьевна с гордостью достала из комода припрятанное распятие, торжественно вручила его хозяйке со словами:

– Оля, всё сберегла.

Ольга Адамовна пришлась по душе повзрослевшему Боре. Была она резкая, острая на язык и очень практичная. Не то что бабушка. Устроилась через каких-то сомнительных знакомых торговать в овощной ларек, и руки ее всегда были красные с неистребимой чернотой под ногтями. Боря часто к ней приходил – помогал таскать занозистые деревянные ящики. Облезлое пристанище Ольги Адамовны, невыносимо душное летом, холодное и промозглое во все остальные времена года, воняло гнилыми овощами и было полно луковой шелухи и вялых капустных листьев. Ольга Адамовна, в телогрейке, белом халате с нарукавниками, замотанная платком, орудовала за прилавком с видом совершенно разбойничьим. Приезжал шофер дядя Коля, весь в наколках, разгружал мешки и ящики, и они страшно ругались матом. Покупатели в очереди стояли как овцы.

Многие, и в их числе Анна Григорьевна, недоумевали, на что ей сдался этот поганый овощной ларек. Была у Ольги Адамовны возможность устроиться на работу почище, но она, назло себе и всему свету, выбрала ларек. Старинная подруга ее работала в больнице в книжном киоске и очень хотела устроить Олю в «Союзпечать»: у Любочки были нужные знакомства. Ольга Адамовна отказалась. Объяснение ее было самое простое. Она сказала Любочке, а Анне

Григорьевне не стала, считая ту простоватой и недалекой, способной без всякого умысла сболтнуть лишнее, – так вот, она сказала Любочке:

– Что я в твоём киоске – «Правду» воровать буду? А так у нас всегда дома картошка хорошая.

Ольга Адамовна неправду говорила: она лучше себя чувствовала в суррогате Дантова ада, если можно так назвать советское торговое учреждение, чем в чистенькой будочке в окружении стопочек газет и журналов. Многие люди придумывают фальшивые объяснения своим поступкам. Так и Ольга Адамовна, полагавшая свою жизнь растоптанной, лишённой смысла, находила утешение в ковырянии душевных ран, и после лагеря ей сподручней было делать это в ларьке с помощью злого мата, обращенного не против дяди Коли, а против мира и времени, в которые суждено ей было прожить жизнь. Ну, и картошка, разумеется, тоже – без нее ноги протянешь.

Любочка была шокирована и с большим недоверием посмотрела на Ольгу Адамовну, однако возражать не стала. Болезненная натура подруги хорошо была известна Любове Александровне. Впрочем, тяжелые времена каждый проживает по-своему. Любовь Александровна, сама хлебнувшая горя, жалела Ольгу – отсидевшую, потерявшую мужа, а главное, рожденную совестливой, с острым чувством справедливости – намного более сильным, чем у других, которое она, возможно ошибочно, принимала за веру в Бога. Да и кто его разберет, кроме знающих свое дело психологов, а только на них и стоит полагаться, где в Ольге Адамовне – Бог, а где – совесть. Неважно это, а важно то, что ненависть переполняла ее душу до лагеря, в лагере и после лагеря. Она истово молилась, но в молитвах своих просила о наказании. Она обращалась к Распятому, к его печально склоненной голове, к Деве Пречистой с просьбой не вразумить, но наказать. В ящике комода лежал у нее вырезанный из газеты список самых главных людей в государстве. Химическим карандашом были подчеркнуты отдельные фамилии – и о наказании их она молилась особенно усердно. За Сталина – всегда, а за остальных по мере того, как множились их злодеяния. Кстати, бумажку эту, газетную вырезку, нашли при обыске. и подчеркнутые фамилии говорили сами за себя при обвинении Ольги Адамовны в заговоре с целью убить вождя партии. В случае Ольги Адамовны это было почти правдой. После войны зловещий список пополнился Гитлером и, вообще, фашистами. Новую газетную вырезку с обвиняемыми по Нюрнбергскому процессу она заводить не стала, потому что прежнюю-то изъяли при обыске, а составила списочек на целую страницу, чтобы за молитвой о воздаянии никого не забыть. Интересно, что лагерных своих обидчиков, а также следователей НКВД, – то есть тех, кто вредил непосредственно ей, она в этот список не внесла, презрительно полагая их мелюзгой.

Любовь Александровна, хоть и хорошо знала свою подругу, однако и ей не всё было открыто в душе Ольги Адамовны. Тем не менее, она не поверила, что ради ворованной картошки Оля сидит в овощном ларьке.

Ольга Адамовна и Любовь Александровна были знакомы с детства – учились вместе в гимназии в захолустном городке одной из западных губерний. Отец Ольги Адамовны был какой-никакой, но польский помещик, а у Любви Александровны – из мещан. В гимназии едва знали друг друга, случайно встретились уже девушками в Петрограде, сблизились и стали неразлучны.

Жаркая девичья дружба длилась два года – целую вечность, а в восемнадцатом Любовь Александровна вышла замуж и вслед за мужем последовала в Москву. Замужество Любочки Оля пережила как личное горе. В душе ее смешалось всё: и тайная надежда, что подруга никогда ее не покинет, и ревность к разлучившему их мужчине, и сам этот мужчина – молодой революционер и прекрасный человек (Ольга вынужденно это признавала). Она облила Любочку слезами, замучила упреками, отреклась от нее в сердцах и прибежала просить прощенье. Любочка простила, вздохнула и уехала в Москву. Стали переписываться, и письма сгладили углы. Именно Любовь Александровна, верная дружеским обетам, была тем человеком, который помог Ольге Адамовне устроиться в столице после смерти мужа и возвращения из ссылки.

Ольга Адамовна, непримиримая в мыслях, а в жизни, как всякий человек, дававшая слабину, стала «своей» в доме Любви Александровны и двух ее мужей, верно служивших новой власти. Оба эти человека являли собой для Ольги Адамовны загадку – в семейном и дружеском кругу отличались исключительной личной порядочностью, и она задавалась вопросом, как такие люди могут служить власти безнравственной и порочной. Приходится признать, что эти самые мужья точно так же думали про Ольгу Адамовну с ее верой в Бога и буржуазную мораль.

Относительно благополучная жизнь Любочки, Любви Александровны, кончилась лет на пятнадцать позже, чем у Ольги, – ровно тогда, когда разом взялись за вершки и корешки. Однако нельзя сказать, что раньше не было грозных предзнаменований, от которых оба мужа Любви Александровны, прежний и нынешний, уже давно плохо спали по ночам. Одно дело страдать бессонницей, совсем другое – ночной обыск, арест, резкий свет лампы в кабинете следователя и отбитые почки.

В результате всей этой катавасии Любочка осталась одна с двумя детьми на руках. Даже подругу посадили, которая, казалось, была уж совсем ни при чем. Любовь Александровна ждала ареста, не сомневалась, что детям не миновать детдома, но отчего-то ее не забрали, и

поэтому она всегда согласно кивала, когда Ольга Адамовна ссыла-лась на подпоручика Кижэ как на спасителя. Вернувшись в город спустя восемь лет, Ольга Адамовна поехала к Любочке плакать, и на это ушла ночь. Утром, отправив Веру в школу, Любочка сказала, поставив этим точку в их ночных разговорах:

– Тебе повезло, что у тебя нет детей.

Ольга Адамовна вынырнула из лагерного небытия осунувшейся и постаревшей; Любовь Александровна, ни дня не сидевшая, также состарилась и исхудала. С Ольгой Адамовной всё было ясно. А вот Любовь Александровна с непривычки хлебнула лиха, окунувшись, так сказать, с головой в быт обывательский, беспартийный. От новой жизни на Любовь Александровну напал страх: ей всё время казалось и, надо сказать, на то были причины, что она не справится, не вытянет детей, и они помрут с голоду. Страх этот превратился в наваждение и довел бы бедную Любочку до психиатрической больницы, а то, не дай бог, до самоубийства, но натура у нее оказалась крепкая, женская, как у кошки, а про кошек говорят, что они, будто бы, падают с крыши на четыре лапы.

Жизнь Любви Александровны с самого начала складывалась так, что она всегда имела опору: сначала родители, потом мужья. К моменту ареста второго мужа ей казалось, что она знает о жизни всё, и поэтому она несколько свысока смотрела на тех, кто был моложе. Выяснилось, что возраст тут ни при чем и что подросток-беспризорник знает о жизни гораздо больше. Любовь Александровна погрузилась в состояние неприятного умственного головокружения, неспособности сосредоточиться и собраться с мыслями. Тут большую помощь оказал подросший сын Аркаша, многое взявший на себя. Любовь Александровну так и подмывало свалить всё на сына, а самой, обложившись книжками и рукодельем, от мира окружающего отгородиться. Однако тут взбунтовалась ее собственная совесть: все-таки сын был еще совсем мальчишка, и поступи она так, вышло бы гадко. Словом, Любочка взяла себя в руки, нашла работу и стала жить – не как все, а хуже, потому что была женой врага народа. Однако внутренне и, к чести ее, бессознательно, всё время новую опору искала и воспользовалась вдруг подвернувшимся случаем.

Одним из несчастий Любви Александровны была потеря отдельной квартиры, в которую они с мужем, буквально в тридцать шестом, переехали, хлебнув, надо сказать, горя: возникла безобразная неразбериха с документами, и бюрократическая волокита просто убивала Любовь Александровну. После ареста мужа эту чудную квартиру с собственной ванной комнатой превратили в коммуналку, осчастливив Любочку премерзкой соседкой. Любочка еще даже не успела в должной мере насладиться трехкомнатной квартирой, как ко всем ужасам добавилось еще и это – отняли комнату. В процессе

совместного проживания выяснилось, что соседка вовсе не такая противная. Маруся – одинокая и уже не очень молодая, работала машинисткой в милиции – там и получила ордер на комнату в центре. Этой комнатой в квартире со всеми удобствами ограничивались жизненные удачи Маруси: она была женщина безмужняя, жившая в многолетней связи с начальником милиции, из семьи уходить не собиравшимся.

Вышло всё сносно: милиционер Сидоренко, заживавший к Марусе, был мужик не вредный, Любовь Александровну и детей не обижал, а напротив – жалел, помог Любви Александровне, ни к чему особенно не пригодной, устроиться воспитательницей в детский сад. Милиционер имел какие-то темные делишки с одним приезжим, который, когда бывал в Москве, останавливался в Марусиной комнате, а Маруся по распоряжению милиционера на это время убиралась к черту на рога, к сестре в Лобню. Первый раз увидев на кухне вместо Маруси незнакомого мужчину, Любовь Александровна опешила, и мысль ее была о Сидоренко: что, мол, будет, когда он узнает про Марусино любовника. Однако незнакомец развеял ее сомнения, сказав, что Маруся в отъезде и что ни в жилконтору, ни в милицию бежать не стоит. Любовь Александровна и сама это понимала! Временный жилец приезжал не часто, останавливался на несколько дней, вел себя тихо, а потом так же тихо уезжал куда-то туда.

Любовь Александровна сообразила, что имеет место какая-то незаконная, а то и того хуже – преступная деятельность, уголовщина, одним словом, может и трупы имеются, а она с детьми находится, так сказать, в логове. Мало ей, что муж сгинул, двое детей на руках и сама по сю пору ждет ареста, так еще соседи подозрительные – приезжий очень ее тревожил. Человек этот не считал нужным представиться и вел себя так, словно Любви Александровны не существовало. Это особенно пугало, так что Любовь Александровна запретила детям при нем выходить из комнаты. Поразительно, что и Маруся не знала имени приезжего – и вообще ничего. Они так горячо шептались на кухне, обсуждая Сидоренко и этого, что Аркаше, иногда подслушивавшему под дверь и не разбиравшему ни слова, казалось, будто змеи шипят и ползают, шипят и ползают, а то были мама с Марусей.

Аркаша, мальчик воспитанный и, вообще, очень хороший, то есть по природе своей ясно видевший разницу между добром и злом, знал прекрасно, что подслушивать некрасиво, но так боялся за мать, считая ее непрактичной и глуповатой, что старался узнать обо всем, что могло хоть как-то касаться их маленькой уцелевшей семьи. И потом, сестра-малютка – он был за нее в ответе! Однако, если вернуться к Любви Александровне и ее обстоятельствам, потому что кто же особенно обращает внимание на подростка, если только он не набросит себе петлю на шею, что, согласимся, бывает не так уж часто, – так вот, возвращаясь к Любви Александровне, стоит ска-

зять, что она, опасаясь приезжего, всё же очень его заметила, как она всегда замечала приметных мужчин без всякой, впрочем, цели, а по свойству женской своей натуры. Он, кроме пугающего пренебрежения, был человеком с грубыми повадками, хорошо видными во всяких бытовых мелочах, и Любовь Александровна решила, что, должно быть, бьет жену, если, конечно, таковая имеется.

В один из приездов незнакомца Любовь Александровна, уже очень поздно, пошла ставить чайник. Мужчина оказался на кухне, словно ждал ее. И сказал ей буквально следующее – может, и не такими словами, потому что она растерялась, сами слова из памяти улетучились, остался один смысл: если она будет приходить к нему ночью, он даст продуктов и денег. И добавил: если завтра не придет – разговора не было. Конечно, Любовь Александровна про чайник позабыла, полночи курила в форточку и весь следующий день провела как не в себе. Переживания ее были обыкновенными переживаниями порядочной женщины. От его слов почувствовала, будто ее по голове огрели, и именно в таком состоянии вернулась к себе в комнату – хорошо, дети спали, и Аркаша не видел, что на ней лица нет. Потом, выпив воды из графина, испытала глгучую обиду. И это справедливо – Любовь Александровна не барышня легкого поведения. За что, вот скажите, за что он посмел сделать такое гнусное предложение? Ответа не было. Если бы можно было пойти и как-нибудь эдак убить его! Хоть бы кипяток на голову вылить, подумала она, вспомнив про чайник, и тут же создалась себе, что духу не хватит. Подумала про детей, которых должна оберегать, – и, между прочим, муж, уходя, ее об этом просил. Подумала с горечью, что ради детей обязана перенести всё. Сразу увидела этого соседа очень живо. Лицо какое-то пыльное, что ли. Черты неясные, расплывчатые и всё серое – глаза, волосы, кожа. А сам крупный. Тяжелый мужчина. Близость с ним показалась пугающей, но не отвратительной. Не будь он такой свиньей, мог бы нравиться. Дальше стала думать про другое: зачем сорокалетнему, с деньгами и не уроду, жена репрессированного с двумя детьми? У Любви Александровны уже кое-где видны седые волосы. Большую часть следующего дня думала именно об этом: на что ему сдалась старуха. Ну, тут она преувеличила. Любовь Александровна – женщина интересная, многие находили ее красивой, но – сорок два! – всякий найдет любовницу моложе. Вот хоть бы Маруся: лет на десять младше, а ей уже в лицо говорят, что стара, перезрела. Закралась мысль, что он издевается, и вздумай она прийти – посмеется и опозорит.

И так она думала весь день и даже вечером накричала на Верочку, а на задворках мыслей маячили консервы и денежные бумажки, и чем ближе дело подвигалось к ночи, тем выпуклее и ярче становились банки тушенки и копченая колбаса. Детей надо растить, а как? Верочка совсем прозрачная. И это ли, в конце концов, не выход? Подумав так, смирилась с позором, решив принести себя в

жертву, и от мысли, что не ради себя, а для них, стало легче. Ночью переступит порог, а там – будь что будет. Виделась сама себе чуть ли не Жанной д'Арк на костре, когда мылась в ванной. Ночью же всё случилось обыкновенно – он вообще молчал, был не груб и не ласков, а потом сказал – иди, сунул деньги в карман халата и буркнул про консервы в кладовке. Любовь Александровна вернулась к себе с чувством человека, провалившегося в отхожее место. Думала, что не уснет, но уснула и даже выспалась – прошлая-то ночь была бессонной. Он уехал через пару дней, и эти два дня были особенно тяжелы. Впрочем, он вел себя как ни в чем ни бывало, словно не он сопел ей ночью в ухо, и она делала вид, что сегодня – как позавчера, однако чувствовала себя совершенно деревянной, как мог бы чувствовать себя Буратино, вздумай папа Карло за грехи превратить его снова в полено.

А когда вернулась из Лобни Маруся, тут уж Любовь Александровна принялась размышлять над произошедшим. За полученные припасы и деньги ей, отчего-то, совсем не было стыдно. Наоборот – вздохнула с облегчением, потому что не нужно было ломать голову, где взять деньги Аркаше на новые ботинки – у него пальцы упирались. Пошли вместе по магазинам – там, конечно, ни черта не было, но зато купили хоть и ношенные, но подходящие – на рынке. Мысль, что она изменила мужу, тоже не мучила Любовь Александровну, тогда еще не знавшую, что она уже год как вдова, потому что не она уpekла его в тюрьму, вырвав из семьи. Ужасно было то, что в постели с этой скотиной она кончала каждую ночь и ничего не могла с этим поделывать. Ничего книжного, одна физиология – и выходило, что она, Любовь Александровна, Любочка, такое же мерзкое животное, а вовсе не леди Годива, а тем более – Жанна д'Арк. Любовь Александровна вынесла себе приговор и перестала себя уважать. Точка.

Нужно заметить, что в ней было мало себя самой и много от романов. Литературные персонажи всегда были под рукой и указывали, как следует поступать и что чувствовать. Ни в одном романе, из тех, что довелось ей прочитать, не было написано про любовь без любви, и даже Мопассан, о котором она часто в эти дни размышляла, не предлагал подходящих ответов. Все-таки и в нем, невзирая на его распушенность, было много чувств и даже морали. Нынешние обстоятельства предложили Любове Александровне отношения, лишенные и чувств, и морали. Отношения эти были, с ужасом подумала она, совершенно марксистские, то есть основанные на товарно-денежных отношениях. Мысль, что она прелюбодействует по Марксу, смешной не показалась, а подумала она с перепугу – хорошо, что еще не научились читать мысли, потому что за такое посадили бы обязательно. В общем, в голове у Любви Александровны был основательный кавардак: она ужасалась, что отдавалась мужчине без любви и была так порочна, что получала от этого удовольствие.

Осознание, что человек она конченный, не имеющий права даже на толику уважения, было горько, но на дальнейшую, внешнюю сторону жизни Любви Александровны никак не повлияло. Она не повесилась, не взялась заливать горе водкой, а осталась тем, кем и была прежде, – матерью двоих детей, живущей в нужде.

Имя у *этого* было такое же невыразительное и пыльное, как и лицо, – Владимир Иванович Мухин. Безобидно и серо, и жил он в каком-то сером (так ей представлялось) Барнауле. Работал, кажется, каким-то экспедитором и черт его знает, зачем приезжал в Москву, – уж, наверное, не для того, чтобы повидаться с Сидоренко. Всегда оставлял ей деньги и продукты, и как-то случайно она узнала, что в Барнауле у него жена и дочь: он спрашивал совета по части духов для супруги, а однажды показал янтарные бусы.

С началом войны мало что изменилось. Любовь Александровна думала, что больше никогда не увидит Мухина, что его призовут и отправят на фронт. Его действительно призвали, но изменилось лишь то, что теперь он приезжал в военной форме, – служил интендантом. Всё время, пока в Москве творилось черти что и город чуть не сдали, она Мухина не видела, а в сорок втором он появился как ни в чем не бывало, и всё пошло по-прежнему. Но и немножко по-другому. Он приехал, и Любовь Александровна увидела, что он рад. Сказал:

– Совсем без меня изголодались. Ничего, поправим. – Прозвучало как признание в любви, и Любочке стало смешно и противно.

А через год, в сорок третьем, между Сталинградом и Курском, он сказал ей, что война когда-нибудь кончится, и он думает перебраться в Москву, а пока хочет купить дачу. Изумление Любви Александровны понять можно: покупка дачи в военное время представлялась ей делом невероятным. Не веря услышанному, поинтересовалась, можно ли это делать. Владимир Иванович объяснил, что препятствий юридических никаких нет, а вот цены, наоборот, самые привлекательные. План Владимира Ивановича был следующий – для чего, собственно, он и рассказывал это Любви Александровне: купить дачу на ее имя, а она через некоторое время переведет собственность на него, Мухина.

– Понимаешь, Люба, сейчас есть хорошая возможность, упустить грех, а мне светиться некстати. Запишу всё на тебя, но... – и тут он взглянул очень строго: если что, Люба, я тебя с кашей съем.

Любовь Александровна вздумала протестовать, но ее мышиный писк впечатления не произвел, и вот он уже везет ее в дачный поселок, по дороге объясняя, что это она наследство получила от скончавшейся тетки, и теперь нужно писать просьбу о принятии в дачный кооператив на основании оставленного завещания. У Любви Александровны глаза на лоб полезли от всей этой уголовщины. Разумеется, она была на нервах, но в правлении всё прошло гладко: лишних вопросов не задавали, а бумаги, представленные Мухиним,

были безупречны. Придя в себя после оформления документов (она опасалась разоблачения, появления милиции и последующего ареста), Любовь Александровна сообразила, что раз такое дело и, возможно, на свободе ей осталось гулять недолго, стоит извлечь выгоду и для себя. Нерешительно и сильно трусая, спросила позволения пока что засадить огород картошкой. Боялась, что откажет, но – нет. Он сказал, что можно и даже хорошо, и вдобавок дал денег поправить забор – прежняя хозяйка, пока была жива, разобрала на дрова.

Вернувшаяся из лагеря Ольга Адамовна обнаружила Любочку хозяйкой дачи. Ольга Адамовна поразилась, и Любочка, расплакавшись и испытав большое облегчение, вывалила ей всю историю, включая неожиданный финал:

– Ты понимаешь, – сказала она, – мой Корейко скончался от инфаркта в поезде Москва–Барнаул. И никто, никто не знает, что я – лицо подставное, он всё держал в тайне. И что мне было делать? К кому идти? Я ни семью его не знаю, да и не уверена, в точности ли он Мухин. А в правлении он, видно, так подмазал, что они эту историю ворошить не стали, да и не всё ли им равно? Хотя, должна тебе сказать, смотрят там на меня странно, и я по-прежнему боюсь.

Ольга Адамовна присвистнула, заложила мечтательно руки за голову и сообщила Любочке, что всегда обожала рождественские сказки и что бояться не надо: дают – бери.

– Любочка, родная, я так рада за тебя! – в глазах блестели слезы, она поцеловала подругу. – Кругом ворье, негодяи, убийцы. Хоть одному хорошему человеку повезло. Пользуйся, и пусть все они будут прокляты.

Кого Ольга Адамовна проклинала – осталось неясно: она не потрудилась объяснить, но Любовь Александровна, кажется, вполне ее поняла, часто-часто закивала, и с тех пор ей стало легче, а позже и вовсе всё забылось, или, вернее сказать, она перестала об этом думать, а это почти одно и то же.

Любовь Александровна влюбилась в свою дачу. Каждый год собирала урожай картошки и яблок, их ели до середины зимы, и Аркаше приходилось ездить пополнять запас. Любовь Александровна боялась, что картошку украдут или она померзнет, и тема сбережения картошки и яблок была вечным кошмаром для Аркаши. Любовь Александровна не была ни жадной, ни скупой, просто страх, что ей нечем и не на что будет кормить детей, так ее никогда и не отпустил: она фанатично варила варенье, солила огурцы и капусту в едином механическом порыве со всеми прочими советскими женщинами, которых терзали те же страхи.

Повелось так, что Ольга Адамовна обычно ездила в гости к Любове Александровне, а не наоборот. Любовь Александровна иногда заглядывала в сретенский подвал, и они подолгу пили чай, но всё же гораздо чаще Ольга Адамовна бывала на Пушкинской, где в

огромном доме в коммуналке жила семья Любви Александровны. Из той злополучной квартиры, где торчал то милиционер Сидоренко, то, вечный позор, – барнаульский любовник, Любовь Александровна съехала, перекрестившись: после Аркашиной женитьбы разменялись и оказались на Пушкинской.

Коридор уходил в головокружительную даль, и Борис, впервые здесь оказавшись, подумал, что прежде это, должно быть, была гостиница. В новой коммуналке жило несметное количество народу, туалет был увешан досками жильцов – в точности рамы без полотен, и одна из подруг Любви Александровны, музейный работник, после посещения клозета говорила, не забывая хихикнуть, что он напоминает ей зал музея перед эвакуацией. Не только туалет со шпалерной развеской унитазных досок (туалет был, так сказать, высшей точкой, апофеозом безмерного, почти дворцового пространства), но и прочие помещения с их разнообразным, порой неожиданным и почти всегда ветхим содержимым смутно и тревожно походили на логово безумного коллекционера. И запах – вот еще важное обстоятельство этого жилища, пристанища многих. Здесь пахло кухней в последнюю очередь, а в первую – пылью, никогда не проветриваемым помещением, мышами, старым деревом, гниющим себе в потаенных местах потихоньку, старыми забытыми на антресолях шубами, изъеденными молью, и самой молью, видимо, тоже, если бы кто-нибудь знал, как моль пахнет.

Среди прочих жильцов в квартире обитали две дамы, с которыми после переезда Любовь Александровна быстро сдружилась. Одна – Марья Николаевна, бывшая оперная певица с какой-то очень сложной и запутанной судьбой, и вторая – Надежда Михайловна, сестра жены бывшего бакинского нефтяного магната. Все трое плюс Ольга Адамовна каждую неделю, в ночь с субботы на воскресенье, составляли партию в винт, отчего и происходили регулярные визиты Ольги Адамовны на Пушкинскую, откуда она возвращалась только в воскресенье утром. Если бы не винт, Борис гораздо раньше попал в дом Любви Александровны. Каждый год в апреле Любовь Александровна уезжала на дачу и возвращалась только в октябре. Тогда карточная игра, совершенно в духе Леонида Андреева, перемещалась за город, и по субботам Ольга Адамовна, Марья Николаевна и Надежда Михайловна садились в электричку и ехали играть.

Дачу, советскую дачу, Ольга Адамовна не любила, презирала за беспомощное подражание старой жизни. Саднящей занозой вспоминалось ей в Любином доме родительское небогатое имение. Отчего-то больше всего – рояль из материнной гостиной, хотя она никогда хорошо не играла и к музыке была равнодушна. Имение она часто видела в болезненных снах. В этих снах в одну кучу были свалены имение и Любочкина дача. Снилось одно и то же – будто бы и

дом, и сад, всегда с каким-то неприятным изъясном, – однако, принадлежат ей, и она ошибалась, думая, что никогда туда не вернется. Во сне она была счастлива и тревожна, опасаясь неясного подвоха, смутно грозящего несчастью, и в сонной мути убеждала себя в истинности происходящего. Словно для верности приводила туда то покойного мужа, то Анну Григорьевну с Борей, а утром просыпалась в плохом настроении. У Ольги Адамовны была своя собственная маленькая теория – что есть человеческая жизнь. Этой теорией она ни с кем не делилась, полагая, что либо ее поднимут на смех, либо она просто-напросто не сумеет хорошо объяснить. Она полагала, что в жизни, если не всех людей, то многих, есть *веха* – так она называла это про себя. В своей жизни такой вехой считала восемнадцатый год: могла вернуться из Петрограда домой, но не сделала этого. Когда жизнь ее пошла наперекосяк, она не раз спрашивала себя, отчего не вернулась, – и не находила ответа. Люди бежали из Петрограда куда глаза глядят, а она могла уехать очень даже просто, однако медлила, ждала не весть чего и так и не собралась.

Ольга Адамовна часто думала об этом времени – для нее, как она полагала, роковом. Отлично помнила себя в разоренной столице – или ей казалось, что помнила, но не могла ухватить за тот хвостик, который вывел бы ее к пониманию собственных поступков. В конце концов, пришла к невразумительному заключению, что бес попутал. Объяснение ей самой казалось слабым, но другого Ольга Адамовна не находила: она не была замужем, Любочка укатила в Москву, прочие знакомые разбрелись, а она именно в это время стала особенно религиозна, много молилась, и ей казалось отчего-то, что творящееся вокруг безобразие вот-вот кончится. Значительно позже встретила будущего мужа, а дальше пошло-поехало – роковая веха всё решила за нее, и наперед.

Среди немногих даров, отпущенных Ольге Адамовне Богом, был поистине благословенный дар здорового сна, но и ее изредка посещала бессонница, особенно в тех случаях, когда совесть была не чиста. Тогда она думала, как бы сложилась ее судьба, вернись она в восемнадцатом. Разумеется, на этот вопрос не было ответа, однако она была уверена, что стала бы другим человеком, и от возможности собственной инакости в груди бегали мурашки.

Однажды, это случилось дождливым августом, пришла телеграмма от Марьи Николаевны, оперной певицы: «везу шарлотку любе тчк приезжай борей субботу тчк». Ольга Адамовна ничего не поняла, показала телеграмму Борису, и тот покрутил пальцем у виска, за что получил выговор от бабушки. Тем не менее, в субботу оба звонили в дверь на Пушкинской: два длинных, один короткий – позывные Марьи Николаевны. Марья Николаевна, в атласном халате и с блестящим от крема лицом, провела их в свою комнату и объяснила,

что едет не только играть, но и гостить к Любочке, и берет с собой свою кошку Шарлотту, а поскольку Шарлотта весит как годовалый ребенок, Марья Николаевна опасается не справиться, и поэтому послала телеграмму Ольге Адамовне. На почте же вкралась ошибка – Шарлотту перепутали с шарлоткой, от чего и вышло недоумение Ольги Адамовны.

Таская громоздкую корзину с животным, Борис размышлял о собственном совершенстве, о том, что не пожалел вечер субботы, что легко согласился ехать. Интересно, что Борис не только не досадовал на Ольгу Адамовну, но отчего-то радовался поездке, и это его самого удивляло. Не раздражала ни тяжелая корзина, ни болтовня старушек: в отличие от деликатной Надежды Михайловны, Марья Николаевна кокетничала с ним всю дорогу просто от того, что он был мужчиной. Весело было смотреть в окно электрички, хотя за окном всё было уныло от дождя, моросившего который день.

Так или иначе, он весело шагал по хлопающей дороге, нагруженный кошкой и чемоданчиком Марьи Николаевны. Недоумение, связанное с собственной сговорчивостью, разъяснилось очень скоро. Как только они пришли, распахнулась дверь террасы и на крыльцо выскочила девочка с растрепавшейся косой, одетая во взрослую кофту и резиновые сапоги.

– Бабушка, Шарлотту привезли! – громко закричала она и, кубарем скатившись с крыльца, уселась на корточки у ног Бориса: она тут же сунула нос и руку в корзину и уже гладила кошку.

На крыльце появилась Любовь Александровна и следом за ней сразу целая компания, так что нельзя было разобрать, где кто. Все заговорили разом, пошли объятия, поцелуи, тут же кто-то захохотал, Марья Николаевна оперно пропела: «В том саду, где мы...» и была задушена в объятиях какой-то девушкой. Отпустив Марью Николаевну, девушка схватила Бориса за руку и задорно сказала:

– А я знаю, ты – Боря. А я Вера.

Борис посмотрел на нее и понял, зачем тащился в такую даль. Спасибо кошке. А вот Ольга Адамовна, хороша же она! Как могла не познакомить раньше? А нужно было? – спросила бы Ольга Адамовна, если бы Борис сделал ей этот упрек.

Оба – и Борис, и Вера – существовали в ее сознании порознь. Боря – почти собственный ребенок, выросший в доме и на глазах. Вера – Любочкина дочка, взбалмошная и симпатичная, но, в общем, ничего особенного. Позывов к сватовству Ольга Адамовна не ощущала, а главное, не видела в Вере то, что сразу разглядел Борис: самую красивую девушку. Тоненькая, с кругленьким личиком, с очаровательными ямочками на щеках, вся золотистая от нежного загара и светлых волос. Еще накануне и даже сегодня утром Борис не знал, как выглядит самая красивая девушка: ему разные нравились, но увидев Веру, понял, что она совершенна.

Вера поймала его, хорошо ей знакомый, мужской взгляд: ну, ясно, попался. Она любила, когда попадались, и завоевывать любовь, о чем дома хорошо знали, а вот про то, что Вера давно уже не девица, – нет, и маму, конечно, хватила бы кондрашка, узнай она, в скольких постелях побывала ее девочка. Впрочем, постелей этих было не так уж и много.

Семья от Веры ничего особенно не ждала: училась та через пень колоду; окончив школу, на уговоры поступать хоть куда-нибудь не поддавалась, сказав:

– Что могла – сделала, школу кончила. Теперь буду жить по-своему.

Начала с того, что пошла торговать молочными коктейлями, но недолго. Продавец она была никудышный. Узнала, что есть такая профессия – натурщица. Сиди себе и ничего не делай, а на тебя все пялятся. Устроилась, стала позировать и обнаженной, ловила на себе не только профессиональные, но и восхищенные взгляды.

Случился скандал. Любовь Александровна кричала, что нужно думать о будущем, что Вера из хорошей семьи и как ей не противно. Аркаша обозвал дурой. Впрочем, это была не новость: он часто ее так называл за поведение против правил. Вера скандал перетерпела и занятие свое, с точки зрения родни сомнительное, не бросила, а сказала просто, что за обнаженку больше платят, так отчего бы не раздеться.

Верочку рисовали, писали, лепили. Она побывала и колхозницей, и девушкой с веслом и даже животноводом в телогрейке и с овечкой на руках. Появилась масса богемных знакомых, и Вера зажила весело, по своему вкусу, обнаружив, что любит секс сам по себе. Попробовала как-то устроиться моделью на Кузнецкий, и ее взяли. Однако бросила быстро – не терпела женское общество. Снова вернулась к своим художникам, но теперь работала с мастерами, в класс ходила редко. Было несколько мэтров, которые ее особенно любили, и среди них один маститый и пожилой. Злые языки распространяли про Веру слухи, будто бы она спит со стариком, а он за это покупает ей тряпки и водит по ресторанам. А она на слухи плевала, справедливо полагая, что это от зависти. Старого мэтра Вера любила: он не читал нравоучений. Художник увлекался философией, любил порассуждать во время работы и однажды вполне серьезно протянул Вере томик Канта. Вера вяло взяла, пролистая, поняла, что скучно. Аккуратно положила книгу, и тут ее осенило: ведь не обязательно читать – можно просто носить в сумке. Кант в Вериной сумочке производил яркое впечатление на людей (под «людьми» она подразумевала мужчин), когда она небрежно доставала его в поисках сигарет или помады. Ей пришлось в голову, что для усиления эффекта хорошо бы иметь диплом философского факультета. Много зная о закулисной стороне жизни, стала разузнавать, нельзя ли диплом купить. Старый мэтр, узнав об этом, скис от смеха и сказал ей буквально следующее:

– Не мучай себя. Придет время, и ты станешь вдовой большого художника, а это гораздо лучше.

Имел ли он в виду себя – неизвестно, однако Вера ему поверила и забросила свою идею. Тем летом она только что вернулась с Алтая, куда ездила со старым художником в творческую командировку, – на натуру, писать передовиков. Лицо и руки Веры были покрыты нежным загаром, светлые волосы выгорели – она была красавица.

Борису предложили заночевать, и весь вечер и полночи он провёл возле Веры и в город вернулся влюбленным.

На даче была тьма народу. Помимо семьи, гостили еще какие-то друзья Аркаши, в воскресенье спозаранку прикатила еще целая компания со спиртным. Жарили шашлык, мужчины пилили дрова для Любови Александровны, Борис таскал воду и качал Веру на качелях. Шел мелкий дождь, горел костер, от Веры пахло дымом. Борис совершенно потерял голову.

В ночь с воскресенья на понедельник он был как не в себе, и вечером оказался уже на Пушкинской. Его появлению никто не удивился. Видно, дом был такой – проходной двор, как говорила Любовь Александровна. И правда: всё время кто-то толкался до поздней ночи, и Любовь Александровна ругалась, что шумно и ребенку мешают спать. А ребенок, дочка Аркаши и Сони, привыкла – спала в шумной прокуренной комнате и не знала, что бывает иначе: у Аркаши был миллион друзей, и все они стекались на Пушкинскую.

Однако Аркашины друзья – это одно, а Вера – сама по себе. Ее приходилось ловить, гоняться за ней по городу, выпрашивать свидания, ссориться и, в конце концов, стать ее рабом. Так казалось Борису. Он бесился, мысли о Vere назойливо крутились в голове.

Наконец, уже осенью, Вера сказала, что всё уладила. Борис не понял, о чем она. Вера объяснила: Марья Николаевна обещала давать ключ по средам, когда она ходила к косметичке и в парикмахерскую. Всё устроилось так просто – Борис был шокирован, и позолота осыпалась с Веры. А в самом деле, что тут такого? Разве не этого хотел Боря? Разве не этого хотела она сама? Марью Николаевну еще нужно было упрямить, и она не сразу согласилась. Поморщилась:

– Что же, Вера, я теперь сводня?

Вера замахала на нее руками, уверила, что нет и, честно глядя в глаза Марьи Николаевне, сказала:

– Посудите сами, где же нам? – Марья Николаевна согласилась, что нигде.

Значит, всё сложилось: в среду вечером Марья Николаевна – в парикмахерскую, а Борис – на Пушкинскую. Марья Николаевна – на кушетку косметички, а Борис – в комнату Марьи Николаевны, а там уже Вера, и – дверь на ключ.

А однажды вернулась Лидия Петровна и этим огорчила не только Бориса. С первого дня Ольга Адамовна невзлюбила Лидию Петровну. Всякий бы подумал, что причиной тому тесный сретенский подвал и поместившаяся под обеденным столом Лидия Петровна. Но нет. Невыносимая теснота не смущала Ольгу Адамовну: просто они не понравились друг другу. Каждой казалось, что другая говорит и делает всё не так. Лидии Петровне не по душе была грубость Ольги Адамовны, ее бестактность и сварливость, о чем она и сообщила матери в раздражении, назвав Ольгу Адамовну мизантропом. Анна Григорьевна пыталась ее разубедить, доказывала, что Оля – человек чудесный. Резковатый, да, но если бы не она, где бы они теперь были с Борей? Лидия Петровна ее не слышала. Ольга же Адамовна, со своей стороны, считала Лидию Петровну лживой и за это невзлюбила ее сразу же и люто.

Нужно признать, что у Лидии Петровны были ужимки и повадки, наводившие пронизательного наблюдателя на такую мысль. Кроме простой неприязни, ни на чем, кроме интуиции, не основанной, было и другое обстоятельство. Когда Лидия Петровна как-то обмолвилась, вздохнув, что, мол, много невинных людей пострадало, Ольга Адамовна сказала, презрительно фыркнув:

– Это вы-то невинные? Повидала я таких, как вы. – И поджала губы.

– Что вы имеете в виду? – ледяным тоном не сказала, но молвила Лидия Петровна.

Она выпрямилась и подалась вперед, и у Ольги Адамовны мелькнула мысль, что она похожа на крысу. Ольга Адамовна не испугалась, на попятный не пошла, а тоже приняв воинственную позу и гадко скривив рот, сказала так:

– Я, уважаемая Лидия Петровна, имею в виду лишь то, что когда сажали нас, вы не переживали. Мы для вас были так, пыль. А вот когда за ваших взялись, рэволюционэров, – она нарочно неприятно выговорила это слово, – тут вы все заскулили: ах, несправедливость, ах, ошибки и перекосы.

В общем, вышел скандал. Лидия Петровна выскочила из дома, хлопнув дверью, а Ольга Адамовна той же ночью не могла уснуть, мучаясь сознанием, что поступила ужасно с человеком, хоть и неприятным, но в первую очередь бездомным: пойти-то Лидии Петровне некуда. Подлю, ох, как подлю, поступила Ольга Адамовна. Она тут же утром и извинилась, и Лидия Петровна с фальшивой улыбкой извинение приняла, сказав, что, мол, это пустяки, и она думать забыла о вчерашней размолвке.

Впрочем, Лидия Петровна солгала: ей было обидно. Накануне от слов Ольги Адамовны она чуть не расплакалась, однако сдержалась. Между тем положение ее было ужасно: с одной стороны, приживалкой в доме Ольги Адамовны (потому что это все-таки был ее дом), с

другой – Катины хоромы, но Катя была ничуть не симпатичнее. Нужно было, конечно, добиваться какой-то жилплощади, но и это было в высшей степени туманно. И ее, как и Ольгу Адамовну, по ночам терзали мысли, но не о собственных дурных или хороших поступках, а о том, что жизнь почти прожита, она одна на свете, никому до нее дела нет, а главное, ее никто не любит. Это детское чувство, желание, чтобы ее любили, было самым горьким и заставляло пятидесятилетнюю Лидию Петровну особенно страдать.

После того как Лидия Петровна навестила двоюродную сестру, Анна Григорьевна сказала дочери:

– Как это всё неприятно, Лида. Не стоит иметь с Катей дело. Неужели ты за чечевичную похлебку готова продать чувство собственного достоинства, самоуважение, наконец? Я не верю в это.

– Мама! Мое достоинство уничтожено давным-давно, и я не стану тебе рассказывать как. Если я могу сделать жизнь Бори и свою лучше, я сделаю это. Не читай мораль.

Анна Григорьевна вздохнула и опустила глаза.

Лидия Петровна ничего не стала предпринимать с бухты-барахты. Всё обдумала и, выждав некоторое время, отправилась к Кате. Она решила принять предложение. Впрочем, необходимо было поговорить с самой Катей, а это было совсем не пустое дело. Черт его знает, что у больного человека в голове! В подъезде сидела всё та же лифтерша – Ирина Ивановна, кажется? Вот тоже, пожалуйста. Лифтерша, не бог весть кто. Пустое, можно сказать, место. А в то же время – человек не последний. И с ней нужно добрые отношения заводить. Просто всегда может пригодиться.

Ирина Ивановна, видно глаз у нее был наметанный, тут же узнала Лидию Петровну, поздоровалась. Лидия Петровна отчего-то почувствовала себя неловко и, сказав: «А я снова в пятнадцатую к Екатерине Андреевне», быстро пошла к лифту, двери которого были огромны, как храмовые врата.

Вид мраморного вестибюля и лифтерши вдохнули в Лидию Петровну дополнительные силы. Она тут же представила себе, как будет приходить в дом не гостьей, а полноправным жильцом, и в этом качестве перекидываться парой слов с лифтершей. От этой заманчивой картины сердце Лидии Петровны приятно сжалось, и с чувством, что всё задуманное удастся, понеслась Лидия Петровна вверх как на небеса.

Катя, всё в том же сатиновом халате, маленькая, тщедушная и, как показалось теперь Лидии Петровне, очень жалкая, открыла дверь.

– Вот, Катя, пришла тебя навестить.

– Лида! Ты простила меня, скажи?

Лидия Петровна разделась, сердечно взяла ее руки в свои, тепло

пожала, а затем, обняв Катю за плечи, не спеша повела ее не в заброшенную гостиную, а на кухню, хоть и неопрятную, но обжитую. По дороге она негромко говорила:

– Я же тебе уже сказала в прошлый раз, что – да, простила. Не нужно больше об этом: всё прошло. У меня, ты знаешь, кроме Бори и мамы, только вы с Таней, так какие счеты. Не тебя следует винить, жизнь.

– Спасибо. Однако как же ты смогла, я хочу сказать – простить смогла? Не понимаю. Мы сестры, всё верно... – она помедлила, – но я предала вас, а такое не прощают. Предатели – они хуже всех. Недаром товарищ Сталин предателей арестовывал и сажал. Так с ними и нужно поступать – и в личной, и в общественной жизни. Ты так не считаешь?

– Конечно, ты права, – отвечала Лидия Петровна, располагаясь на кухне. – Выпьем чаю? Я чайник поставлю. Я простила тебя именно потому, что предатель должен сидеть в тюрьме и семья его за него в ответе. Ты поступила, как настоящий советский человек, а что я не виновата, ты тогда ведь не знала. Это потом выяснилось. Так в чем же твоя вина?

– Да-да. Так и было. И всё же... – глаза Кати забегали, и Лидия Петровна с тревогой на нее посмотрела.

– Что? – ласково спросила она.

Катя на минуту замерла, словно к чему-то прислушиваясь, а затем, решившись, сказала:

– Вот, как на духу. Я ведь тогда только о себе думала. Чтобы об вас не замараться. Ты понимаешь, не о родине, а о себе. Вот это-то простить нельзя. А ты по доброте прощаешь. Нехорошо это, Лида, нужно быть тверже.

Лидия Петровна так и замерла с чашками в руках, не донеся до стола. Ловушка. И как прикажете из нее выбираться? Сумасшедшая, кривая логика. А Катя как была дура, так и осталась.

Если бы Лидии Петровне был известен ход Катиных мыслей! Но Лидия Петровна ничего не знала о голосах, уживавшихся в Катиней голове, а они принимали самое живое участие в разговоре.

Еще неделю назад в голове ее началось бурное обсуждение внезапного появления Лидии Петровны. Первый голос, грубый и наглый, тот, что всегда Катю ругал, задорно рассуждал о том, что кузина наверняка отомстит: а именно, попросту убьет Катю. Добрый ангел, Катин защитник, противоречил, уверял, что хоть Катя и виновата, но сестра по доброте обязательно простит. Он же и посоветовал Кате встать перед Лидией Петровной на колени, попросить прощения и рассказать всё как есть. Первый в ответ только гнусно ржал, страшно Катю этим пугая.

Голоса пришли к ней однажды среди бела дня, когда она кормила

грудью еще живого Петечку, и поначалу Катя испугалась. В комнате никого, кроме нее и младенца, не было, и вдруг она услышала разговор. Голоса обсуждали Катю, и беседа их была самого неприятного свойства. Говорили о Боре, Лидином сыне. Поначалу от страха Катя не понимала слов. Ее будто кипятком ошпарили. А когда разобрала, испугалась еще больше, потому что боялась, что разговор услышат соседи. Однако очень скоро выяснилось, что кроме нее голоса эти никому не доступны, и ей стало легче, потому что она перестала бояться доноса и ареста. В конце концов, если никто не слышит, то и пусть говорят, а Катя не такая дура, чтобы кому-нибудь рассказывать и вредить себе.

Между прочим, до появления голосов она совсем не думала о Лидином сыне. История эта была опасная и давняя: незачем ворошить. В тот день, выставив тетю Аню, она всё рассказала мужу, и Иван Константинович ее поддержал. Он был того же мнения, что и Катя: в СССР людей просто так не сажают, а с врагами якшаться – себе дороже. Ну и потом, у Ивана Константиновича – репутация, замараться никак нельзя. Чтобы развеять всякие сомнения, Иван Константинович напомнил Кате слова Максима Горького, что жалость человека унижает, а значит и с этой точки зрения не следовало пускать к себе. Не жить же тетке приживалкой: родина о каждом невинном позаботится. Так и вышло: тетя Аня с ребенком не пропали, а голоду не умерли и даже жить остались в Москве.

Дальше жизнь пошла своим чередом, а потом грянула война, и стало уж совсем не до родственников. Только родив, с младенцем на руках и маленькой Таней, пришлось Кате ехать в эвакуацию, а Ивана Константиновича оставили в Москве. В Москве из-за бомбежек было страшно, а в эвакуации тяжело. Все-таки быт был неустроенный. К тому же Катя мало спала и совсем замучилась с детьми. И тогда появились голоса, напомнив ей про Борю и тетю Аню. Злой и грубый всё ругал и издевался. Самое поразительное, что он знал о Кате буквально всё. Беспощадно вывалил всю ее подноготную, но больше всего напирал на случай с Борей и тетей Аней, видно, считал это худшим поступком. Катя удивлялась, зная за собой, как за всяким человеком, разные грехи. Однако от всего остального злобный голос отмахивался – хотя, впрочем, не забывал. При случае всегда поминал ей аборт и кое-что прочее. А все-таки каждый раз возвращался всё к тому же: предательству сестры.

Второй голос, добрый и снисходительный, Катю жалевший, не уставал находить Кате оправдания, хотя и он соглашался, что с родственниками вышло некрасиво. Злобный голос говорил, что Кате прощения нет, что хуже предательства ничего придумать нельзя, что муж ее такой же шпион, как и Лида. Только Ивана Константиновича еще не разоблачили, но обязательно выведут на чистую воду, и что тогда Катя запоет? Что Катю посадят, как посадили Лиду, а детей – прямиком в детский дом. Катя была в ужасе.

Она завалила мужа письмами и телеграммами с требованием срочно приехать ввиду открывшихся обстоятельств. Иван Константинович, который, разумеется, не мог в военное время всё бросить по прихоти жены, даже накричал на Катю по телефону, твердо дав понять, что в ближайшее время не сможет приехать, что бы ни случилось. Голоса на это отреагировали очень живо: принялись обсуждать Ивана Константиновича как ловкого закоренелого шпиона, мастера увиливать и прятать концы в воду. Злой голос ругался почем зря, а добрый, ангельский, своими нежными переливами, чуть не рыдая, Ивана Константиновича оправдывал. Он горестно объяснил, что Ивана Константиновича не отпускают к семье вражеские разведки, во время войны заставляя шпионить особенно усердно. Мол, Иван Константинович у них в руках, потому что от его работы на врага зависит жизнь семьи. Иван Константинович – в Москве, а здесь к Кате приставлены специальные люди, которым поручено следить, чтобы Катя с детьми не сбежала. А вот если Иван Константинович вздумает со шпионажем порвать, тут-то они и убьют их всех. Ангел даже знал, что следить за Катей поручено противной соседке со второго этажа, той, что с длинным носом и в папильотках, а также и другим людям, и в их числе любимой Катиной подруге Любе, бывшей вместе с ней в эвакуации.

Последнее открытие совершенно потрясло Катю: на своей шкуре испытала она ужас предательства близкого человека, потому что Люба была даже ближе мужа: знала то, что муж не знал, и ни разу не проговорила. К Катиному ужасу, Люба у нее буквально поселилась, донимая разговорами про то, что, мол, Катя совсем извелась, не спит, а она, Люба, принесет ей снотворное, а за детьми присмотрит. Эти слова стали для Кати последней каплей. Ей открылась страшная правда: Люба, которую она так любила, которой верила как себе, эта Люба задумала отравить ее и детей. Неимоверным усилием воли Катя заставила себя сдержаться, ничем себя не выдала, а стала, напротив, брать у Любы таблетки и ловко их прятать, потому что ангельский голос посоветовал ей, если с детьми что-то случится, выпить снотворное и умереть, развязав таким образом Ивану Константиновичу руки. Опасаясь Любы, Катя и вовсе перестала спать. Так, прикорнет днем на пару часов, пока Люба на работе, а ночью боялась – со шпионским снаряжением ничего не стоило проникнуть ночью в комнату. Днем, укладывая детей спать, брала Петечку к себе в постель для надежности: так ей было спокойнее.

И однажды, измучившись, так крепко уснула, что проснулась только от плача Тани, дергавшей ее за ворот. В дверь, между тем, отчаянно барабанили. Она взглянула на Петечку, тихо лежавшего у нее под боком, и увидела, что мальчик не дышит. Катя, дико закричав, принялась трясти младенца, Таня от страха заревела во весь голос, а Люба, надрываясь, орала из-за двери:

– Катя, Катя, открой!

Потеряв всякое соображение, Катя металась по комнате, трясая уже посиневший трупик, и тут принялись ломать дверь. Выломали, обнаружили безумную Катю с мертвым младенцем на руках, зарезанную и описавшуюся Таню, тут же вызвали врача и милицию. Катю связали, потому что она не отдавала мертвого мальчика, а потом увезли в психиатрическую, а Таню забрала Люба.

Завели уголовное дело, вызвали Ивана Константиновича, однако очень быстро открылось, что Катя не в себе, страдает бредом и галлюцинациями, а ребенка придушила во сне: уснула слишком крепко. Бедный Иван Константинович! Что он вынес! Ради справедливости, нужно сказать, что со всех сторон ему оказали поддержку. Потому что всякому ясно, что на человека обрушилось страшное несчастье: мало того, что молодая жена лишилась рассудка, но и ребенок трагически погиб. Мрачный и разбитый, Иван Константинович забрал Катю и малышку Таню в Москву. Катю тут же поместили в психиатрическую больницу, из которой она нес скоро вышла и уже совсем другим человеком, а Иван Константинович, наняв няню, стал жить с Таней вдвоём.

Катю выписали из больницы уже после Курска, и несколько оправившийся Иван Константинович шутил, что, мол, и в семье, и на фронте дела пошли на лад. Кате не стали говорить, что она сама нечаянно убила ребенка. Сказали только, что Петечка умер от остановки дыхания, а это случается с младенцами. Катя не поверила. В больнице ее, конечно, подлечили, но голоса, верные ее спутники, никуда не делись. Катя потухла и примирилась со страшной реальностью: муж, верный и любящий, на самом деле англо-американский шпион, человек добрый, но безвольный. А Катин удел – вечно дрожать за маленькую Таню, ожидая, что Иван Константинович снова оступится, и тогда убьют и дочку.

Между тем Иван Константинович уверенно поднимался по службе. Был он человек деятельный, хитрый. Интуиция Ивана Константиновича была развита превосходно. Достанься ему другая жена, в своем уме, ох как далеко пошел бы Иван Константинович! И прожил бы, между прочим, намного дольше. Про себя сетовал на судьбу и хотел с Катей развестись. Но прежде спросил совета у вышестоящих. Те, что были наверху, не одобрили, сочли, что ответственному работнику развод не к лицу, однако намекнули, и намекнули тонко, что будь у Ивана Константиновича приличная незамужняя дама и вздумай он посещать эту даму время от времени, никто бы его не осудил, потому что, товарищи, все мы люди. Иван Константинович затаился, однако даму принялся обдумывать обстоятельно, ибо не имел склонности к поспешным решениям. И присмотрел, между прочим, одну очень приличную разведенную особу, имевшую отношение к искусству, а именно – работавшую в радиокomitee. И вот тогда,

когда он взялся за ней ухаживать и в своих ухаживаниях довольно далеко продвинулся, Катя взяла да и накатала на него донос.

Про намечающийся роман мужа она знать не знала, однако поведение Ивана Константиновича показалось ей странным, не таким, как всегда. Дело в том, что уже давно Иван Константинович дома был мрачен, неразговорчив и раздражителен. Старался держать себя в руках, но улыбки его и забота слишком были слащавы, и голоса это обстоятельство всегда отмечали. Первый, злобный, не уставал напоминать, каким прежде был Иван Константинович:

– Нынче-то муженек всё время врет. Вот что шпионаж с человеком делает. Совсем изолгался. А прежде, помнится, Ваня улыбочивый был, шутил, проказник. Когда, говоришь, он с ней последний раз спал? А, не слышу? То-то и оно. Давно дело было. Эх, Катька, Катька. Разлюбил он ее. И правильно, и верно. Она в зеркало давно смотрелась? Хе-хе, милая!

Ангел горячо вступался и за Катю, и за Ивана Константиновича:

– Не правда, сам ты врешь! А Иван Константинович просто страдает. Как и Катя, не может пережить Петечкину смерть. Ведь подумать, даже могилка мальчика так далеко, что не вдруг поедешь! А он – отец. И за Таню сердце у него болит, ведь по лезвию ходит. Чуть оступится – и Таню, и Катю убьют. До постели ли тут. А вина перед родиной? Это какое испытание, и всё на одного человека!

Жалость к бедному Ивану Константиновичу очень утешала Катю. И так бы она и жила, изводясь ежеминутной тревогой, если бы в один день злой голос не сказал:

– Эге! А что это с нашим Ванечкой? Глазки блестят, и утром сегодня, когда в ванной брился, пел. С чего бы это?

– Уж и попеть человеку нельзя, – вступился ангел. – Мы вот с Катей, радовались.

– Радовались они! Бдительность терять нельзя. Вчера не пел, а сегодня поет? Подозрительно это. И если присмотреться, дураку ясно, что новое задание получил. Он, когда со службы приходит, куда портфель ставит? Правильно, сначала на подзеркальник в прихожей, а уж потом в кабинет относит. А вчера?

– Что вчера, ну что вчера? Подумаешь, дело большое! Ну, поставил человек не на подзеркальник, а под стул. И что с того? Куда захотел, туда и поставил.

– Н-е-ет! Он его ногой эдак поглубже подпихнул. У него там шифровки! А вы не знали? Ха-ха! Новое задание получил. Слышали, что сегодня по радио передавали? То-то и оно. Он потом в кабинете заперся, настольную лампу включил и давай ею мигать. А Катька – дура: если со шпионом живет, давно азбуку Морзе выучить должна. Он весь вечер шифровку сигналил. Всё, Катерина, кончай волюнку. Пиши на него куда следует, угробит он вас с Таней.

– Может, не надо? – робко вступился ангел.

– Надо! – рявкнул Катин ненавистник, да так страшно, что Катя обмерла и дрожащей рукой под его диктовку накатала донос.

Ну, а что за этим последовало, хорошо известно. Умер бедный Иван Константинович, не успев вкусить плотских радостей с очаровательной сотрудницей радиокомитета, – огорчив, кстати, и ее. О чем она с досадой сообщила подруге в дамском туалете, когда они обе красили губы перед зеркалом.

Ничего этого Лидия Петровна не знала, видя только одну внешнюю сторону Катиного безумия. Ориентироваться в таких обстоятельствах было, разумеется, нелегко. На ощупь, на ощупь приходилось продвигаться. Взяв паузу, впрочем, небольшую, Лидия Петровна нашлась с ответом. Она вздохнула и сказала задушевно:

– Ох, как ты права, Катя! Все мы слабы – и ты, и я. А ты знаешь, – неожиданно для себя, сказала Лидия Петровна, – ведь я, вот, когда следствие по моему делу шло, ни одной бумаги против себя не подписала, а меня били.

– Советские органы не бьют подследственных, – угрюмо сказала Катя. – Это ложь. Зачем ты, Лида, на советскую власть клеветнешь?

– Клевету? – с вызовом начала было Лидия Петровна, но вовремя себя остановила и сказала уже другим тоном. – Ну да, конечно. Впрочем, это к делу не относится. Давай лучше о тебе и Тане поговорим.

– Как это не относится? – возмутилась Катя. – Ты такие вещи говоришь, что... Лида, ведь это неправда, не могли тебя бить?

Лидия Петровна вздохнула.

– Нет, правда, бил следователь, но его самого потом арестовали.

– А, вот видишь, это совсем другое дело. – Катя улыбнулась. – Наши чекисты все до одного отличные ребята. Я прежде многих знала. Это теперь я всё больше дома сижу, потому что меня в сумасшедшие записали. Ты знаешь, как надо мной издевались? В сумасшедшем доме с психами держали. Мне приходилось всё терпеть ради мужа и дочери. Лида, это было, наверное, не лучше твоего лагеря. Мы с тобой обе безвинно пострадали. Знаешь, жизнь прошла, а враги как были, так и остались. Петечку убили, Ваню убили. Вот теперь за Таню взялись. Дождались, чтобы она подросла, – и тоже... Я не могу тебе подробности рассказать, но, поверь, это страшно!

– А почему не можешь?

– Нельзя. Я тебе только и говорю, потому что знаю, что ты не замешана, но если расскажу, они и тебя впутают. А это расстрел!

– Что? Почему расстрел?

– Я же говорю, мне нельзя рассказывать. И тебя с твоими подвергать опасности не хочу: я и так перед вами виновата.

– Вот оно что! Ну да, ну да. Другое дело. А Таня предложила мне у вас пожить по-родственному: у мамы страшная теснота. Но раз ты говоришь, тогда конечно. Жаль.

Катя заговорила быстро и сбивчиво:

– Таня так сказала? Звала тебя жить у нас? Это, Лида, всё меняет. Я не могу тебе открыться, но поверь, именно поэтому я могу тебе доверять. Если ты к нам переедешь, мы вместе сможем следить за Таней и оберегать ее. Мне одной это не под силу. Они постоянно за мной наблюдают, велели таблетки пить, а без этого они Таню обещали просто уничтожить. Присылают ко мне доктора, она всё записывает, а потом им докладывает. Она женщина хорошая, ее тоже принуждают. Но ведь работает на них. А пока тебе ничего не известно, ты в безопасности, и я могу на тебя положиться.

– Доктор? Кто такая?

– Психиатр якобы. – Катя усмехнулась. – Она меня еще в больнице «лечила». – Катя тяжело вздохнула. – Сплошная паутина лжи и предательства. Вот, доктор. С виду такая милая, да и по сути – милая. Хорошая она, жалеет меня. И это не для вида. А приходится за мной шпионить, таблетки мне подсовывает, но не по своей воле: ее тоже крепко в руках держат. Вот как это получается, объясни ты мне: граница на замке, мышшь не проскользнет. Однако ж умудряются просочиться и вредят, и шпионят. Сил нет. Всё опутали. У нее, у докторши, муж пожилой. Ученый какой-то. Ее мужем держат. Получается, что и ее, как и меня, легко на крючке держать.

– Зачем, по-твоему, им держать тебя на таблетках, если ты здорова? Какой ты видишь в этом смысл?

– Волю мою подавлять. Разве неясно? У меня от этих лекарств руки трясутся, сухость во рту, в голове туман. Я вся ослабленная, вялая. Не могу им противостоять и Таню выправить и спасти. Приходится только наблюдать, как она гибнет. Дрожу за нее, боюсь, что в тюрьму посадят.

– Ужас, – искренне сказала Лидия Петровна, представив, что это всё правда, а себя – на месте Кати. Вот если бы пришлось ей так думать про Бюрю? – Ужас. – Еще раз выдохнула Лидия Петровна, впервые искренне пожалев Катю.

У нее, между прочим, уже голова шла кругом от Катиних бредней. Наваливалось ее безумие. Мрачные Катинины страхи, ни на чем не основанные, абсурдные, словно становились правдой. Лидия Петровна мысленно потрясла головой и взаправду нарочно пошевелила пальцами ног, чтобы ощутить собственную реальность, ничего общего не имеющую с Катиными измышлениями. Нет, лучше отказаться от плана, наплевать на Катину жилплощадь, бежать.

– Что-то здесь душно. Я открою окно?

– Зачем? – испугалась Катя.

– Не надо? Совсем без воздуха невозможно. И этот сатиновый халат. Зачем он тебе? Ты же не уборщица.

– Ты что, не понимаешь? С открытым окном им легче читать мои мысли, а духоту перетерпеть можно. А халат... – Катя понизила голос,

оглянулась по сторонам и сказала: – Это маскировка. Сколько людей ходит в синих сагиновых халатах? Пойди найди среди них Катю... – и подмигнула.

Лидия Петровна похолодела. Слышно было, как муха жужжит, бьется о давно не мытое окно. Тоска. Лидия Петровна ясно представила себе, как каждое утро будет пить с Катей чай. Допустим, окно она помоеет. Вообще, приведет кухню в порядок, это ерунда. В чистой кухне станет с Катей чай пить, и обедать, и ужинать... Картина выходила страшная. Лучше в коммуналке.

– Так ты переедешь? – прервала молчание Катя.

Лидия Петровна подняла глаза и ответила:

– Да.

В метро размышляла: зачем сказала «да», когда решила сказать «нет». Ответила себе: из-за Бори. Нет, из-за Бори, конечно, тоже, но и из-за себя. Глупо терять такую возможность, а к Кате придется привыкнуть: пусть болтает.

Лицо Ольги Адамовны при известии, что Лидия Петровна перебирается к двоюродной сестре, приняло выражение: «Ну что ж, я другого не ожидала». Вот что было написано на ее лице. Ольга Адамовна убедилась в собственной правоте – интуиция ее не подвела: Лидия Петровна – лгунья и приспособленка, ради квадратных метров готовая на что угодно. Ольга Адамовна прямо воспрянула духом: у нее было такое чувство, словно в подвале прибавилось воздуха.

Мешал ей не лишний человек, а именно Лидия Петровна. А кроме того, Ольга Адамовна так привыкла к Анне Григорьевне, так полюбила ее за то, что та была прямо как дитя и без Ольги Адамовны просто пропала бы, так полюбила Борю – словно он был ей сыном, что появление Лидии Петровны являлось прямой угрозой ее маленькой, но такой нужной семье. Она боялась, что Анна Григорьевна и Боря отдалятся от нее.

Опасения ее были напрасны, потому что Анна Григорьевна, раз полюбив Ольгу, прикипела к ней. Тем более, что ее Лида, хоть и дочь, всегда была холодновата, совсем не близка с матерью. Ольга Адамовна, Олюшка, – человек иного сорта. Резкая, но с такими минутами сентиментального умиления, которых никогда не бывало у Лиды и которые так нужны были самой Анне Григорьевне для ощущения счастья.

Узнав, что мать перебирается к Кате, Борис возликовал: ему тоже было неуютно в одном доме с нею. Детские воспоминания разбились при виде лагерного заморыша. Совершенно чужая женщина! Вышло печально: Лидия Петровна никому не была нужна. А она это отношение сретенских очень чувствовала и, само собой, обижалась.

На другой день Борис помог переехать. Собственно, вещей у

Лидии Петровны почти не было. Так, донес чемодан, а главное, увидел небывалую квартиру. Про себя подумал злорадно, как они с бабушкой стояли на пороге, а Катя в дверях, а потом ушли восвояси как побитые собаки. А сегодня пришел будто к себе домой.

Катя, мерзкая старушонка, обняла его, и Борис содрогнулся от отвращения. Дикого вида эта Катя. Он с любопытством ее разглядывал: сумасшедших прежде ему встречать не доводилось. Худая и маленькая, говорит невнятно и всё жуёт губами, а губы серые. Перевел взгляд на Таню. Сразу видно – размазня. Некрасивая – это ладно. Некрасивые тоже разные бывают. А эта – кислятина. Он спросил с бухты-барухты:

– Ты, наверное, комсорг?

Таня изумилась:

– С чего ты взял?

Борис пожал плечами.

– Просто предположил.

Таня смутилась, как она смущалась всегда, когда с ней заговаривали молодые люди, и сказала:

– Нет. Я на вечернем учусь.

– А! – безразлично ответил Борис и добавил: – Ну, я побежал.

Вышел из дома насвистывая, руки в карманы и тоже, как и мать, задрал голову вверх, оглядел великолепие нового ее жилища. Восхитился. Но не домом, который, несомненно, был хорош, а мамой. Кремень. Снимаем шляпу.

Борис сразу смекнул, что Лидия Петровна, если поселится в Катиной квартире, перетащит и его за собой, и станет он жить не в полуподвале в коммуналке с дворничихой за стенкой, а вот в таком доме. Как это всё будет и куда при этом денутся Катя и Таня, он не задумывался. Шагал своей дорогой, а направлялся он к Вере – и виделась ему заманчивая картина: кухня, на которой он только что побывал, и сидят там мать и Ольга Адамовна, а бабушка – у плиты. Картина эта была бы несуразной в глазах постороннего, и этот посторонний мог бы указать Борису на его логические огрехи, но никакого постороннего, разумеется, не было, и остудить воспаленное его воображение было некому. Не то чтобы Борис был так глуп, что не мог сложить два и два и вывести из этого, что изображение его рисует картины самые нелепые. Просто – и с этим, видимо, приходится соглашаться – в фантазиях своих мы не всегда видимы, и не всегда знаем, куда они нас заведут. Взять хотя бы то, что он тяготился Лидией Петровной не только потому, что жили они тесно, а стало еще теснее, – главное всего было, что он от нее отвык и в его жизни, особенно в той жизни, где появилась Вера, места свалившейся на голову матери не было. А вот, пожалуйста, в этой Катиной квартире, до овладения которой было еще очень далеко, если вообще возможно, он видел себя живущим вместе с матерью, которая в нынешних обстоя-

тельствах была для него как большой зуб. Может быть, дело было в том, что нынешняя Лидия Петровна была жалка и убога, а Лидия Петровна как хозяйка прекрасной квартиры приближалась к образу матери его детства? Или следовало признать, что Борис был корыстен.

Вообще, он очень хотел другой жизни: без штопаных носков, одной пары брюк и полуподвала. Всегда, еще с тех пор, как был подростком, тянуло его к людям благополучным, и он ненавидел свою бедность. Странился таких же, как он, да и девушки ему нравились нарядные. Ничего дурного Боря не делал, но Ольга Адамовна, у которой острым был не только язык, но и глаз, в шутку звала его Растиньяком. Между прочим, Борис, умевший, как и Ольга Адамовна, быть неприятным, на нее не обижался.

Он рано понял, что с бабушкой о важном говорить без толку. У Анны Григорьевны все жизненные рецепты были морально безупречны и совершенно непригодны. Когда Борю стал задирать в школе один мальчишка, бабушка ходила к учительнице и к директору, но это ничего не дало: парень стал тайно шпынять Борю. А вот Ольга Адамовна дала дельный совет: велела разузнать, не состоит ли тот в блатной шайке, и когда выяснилось, что он сам по себе, дала Боре острые ножницы. Объяснила, что с ножом в школу нельзя, а с ножницами можно, а это такое же оружие. Борис, по наущению Ольги Адамовны, гада выследил и в темном месте, без свидетелей, ткнул ножницами со словами, что это так, на первый раз, а если не отвяжется, выколует глаз. От Ольги Адамовны он узнал, что кураж – великое дело, главное не дрейфить, и Борис не сдрейфил, ножницами ткнул, рассмеялся, руки в карманы и пошел. Глупый мальчишка вздумал жаловаться, но из этого ничего не вышло, потому что репутация у него была подмоченная, а у Бори – наоборот, прекрасная: по поведению пять, и статьи в стенгазету пишет. Он знал, что Ольга Адамовна человек жестокий, и эту жестокость в ней уважал.

По дороге к Вере всё рисовал картины переселения со Сретенки к Кате. Шел он пешком, времени было вдоволь, и к середине пути ему надоело думать об одном и том же, как они там поселятся. Явилась совершенно другая мысль. Надо с Таней сойтись короче, в гости напроситься с друзьями. Жалко, что такая хата зря пропадает. Настроение тут же испортилось: как же он, болван, не подумал, что теперь там будет жить мать, и это всё меняет. Выходило, что ничего хорошего для него, Бориса, в переезде Лидии Петровны нет. Вздохнул: с какой стороны ни посмотри – он останется с носом, а мать-проньера с козырями на руках. Вот если бы можно было устроить так, чтобы приходиться с Верой как к себе домой, а не пробираться в комнату Марьи Николаевны. Таня – легкая добыча, он про нее всё понял: робкая, одинокая, подруг нет или есть какая-нибудь, вроде самой Тани, – дурнушка и зубрила. И вывод сделал, что если подружиться, можно будет пользоваться квартирой – Веру водить и,

вообще, собираться. Лидии Петровне, пожалуй, придется потесниться – уж она-то там точно на птичьих правах. А про Катю не думал: сумасшедшая, ничего не соображает, ее и в расчет брать не стоит. С этими размышлениями и с досадой уже на мать – зачем переехала – в задумчивости и мечтах пришел он к Вере.

Ее семья жила в двух комнатах. В одной – Любовь Александровна с Верой, в другой – Аркаша с семьей. Любовь Александровна сказала, что Вера в соседней, у брата.

У Аркаши пили чай. Собралась, как всегда, целая компания и, едва переступив порог, Борис почувствовал, что в воздухе пахнет грозой.

Они с Верой собирались в кино, и Борис купил билеты, но Вера сказала, что неохота, – они с Иришкой пьют чай с вареньем из блюда. При чем тут варенье и баловство с блюдцем, Борис не понял, но у Веры всегда так – она любила нарушать планы, и это сердило Бориса. Обе, взрослая Вера и маленькая Иришка, громко хлюпали и давились смехом. Соня, жена Аркаши, сегодня совершенно ледяная, налила ему чаю, и он дул, уткнувшись в чашку носом с недовольным видом, пока Аркаша не сказал:

– Ты чего, старик? Не дуйся на Верку. Она сегодня с утра в детство впала. Ты, кстати, не знаком с Борисом. – Аркаша кивнул на человека с залысиной лысиной, рядом с которым сидела не московского вида тетка. – Известный адвокат и мой приятель. И Ольга из Свердловска. В милиции работает. А ты у нас теперь Борька-маленький. Они с Веркой дружат. – Сообщил он адвокату и милиционерше: – Ну, остальных ты знаешь.

Невзрачный и плешивый адвокат показался Борису гораздо старше Аркаши, однако тот звал его запросто по имени. Его спутница, Ольга, поразила Борю. Не в том смысле, что в ней было что-то особенное, – напротив, очень обыкновенная женщина, но на вид провинциальная, корявая какая-то, в страшной бабьей кофте – розовой, как исподнее. Поразило Бориса именно то, что он встретил ее в Аркашином доме.

Видимо, уже напившись чаю, Ольга сидела не за столом, а в кресле, и грызла семечки, сплевывая в кулак. Соня бросила на нее косой взгляд и сказала:

– Я вам сейчас что-нибудь принесу для шелухи.

Тут Борис сообразил, что причиной бури была эта самая Ольга, неприличная до невозможности. Оказавшись свидетелем тихого скандала, отвлекся от обиды на Веру, перестал сердито дуть на чай и присмотрелся к сидящим за столом. Разговоры, обычно живые и занимательные, сегодня были какие-то... натужные, словно все присутствующие говорили вовсе не о том, что их занимало. И у гостей, и у хозяев во взглядах было одно: так в консерватории смотрят на

бедолагу, явившегося в зал с простудой и вздумавшего чихать и кашлять во время исполнения какой-нибудь симфонии. Всем было неловко, но хуже всех адвокату, обводившему окружающих страдальческим взглядом: он безуспешно молил о пощаде. Одна Ольга из Свердловска вела себя естественно, то есть с удовольствием грызла семечки, сплевывала в мисочку, поданную Соней, и была как рыба в воде. Сплевывание перемежала громким разговором и громким смехом. Аркашин приятель, инженер, освободил себе краешек стола и на нем чинил Сонин уголок. Он часто что-нибудь чинил, потому что Аркаша в хозяйственных делах был не силен. После каждой реплики Ольги инженер хмыкал. Было непонятно: это хмыканье относилось к уголку или к грызшей семечки гостье. Супружеская пара, близкие друзья, зашедшие по дороге домой на чай, чтобы рассказать новый, очень смешной анекдот, от которого мужа распирало, узнав, что новенькая – милиционер, рассказывать поостереглись; жена, пожалевшая Бориса-большого, решила помочь его спутнице, спросив высоким голосом и слишком громко:

– А вы в Москву насовсем или в командировку?

– Если Боря поможет – насовсем.

– В милиции будете работать?

– Да не знаю я (плевок). Разные возможности есть (плевок). Хотя... в милиции надоело (плевок) – работа беспокойная, а у меня дочке десять. А вы тут, между прочим, странно живете, но мне нравится: свободно у вас.

– В каком смысле? – настороженно спросила Соня и покосилась на Иришку, под шумок уплетавшую курабье.

– Не знаю. – Просто ответила Ольга, пожав плечами.

Воцарилось недоуменное молчание: никто не понял, что она имела в виду. Вдруг Вера, сидевшая до сих пор с совершенно лисьей мордочкой – такое на ней было написано коварное любопытство, сказала:

– Ой, ангел пролетел! А может, милиционер родился? – и прыснула.

Соня окаменела.

– Вера! – сказала она с упреком, в сердцах.

Неловкость замаял никогда не подводивший Аркаша. Он решительно дернул Бориса-большого за рукав и, задумавшись спросив: «А скажи-ка мне, Боря...» – втянул того в обсуждение юридических тонкостей наследственного права, которое Аркаше на фиг было не нужно, потому что наследовать ему было нечего, однако он всегда интересовался профессиональными тонкостями в самых разных областях.

Борис-большой выдохнул, но был на нервах: поминутно терял нить, потому что неустанно следил за Ольгой и очень тревожился, опасаясь (и не напрасно), что она произвела плохое впечатление. Он страдал.

Борис Михайлович был старым холостяк, все свои молодые годы проживший подле мамы, женщины властной и чрезвычайно ревнивой. Он не мог жениться – хотя сердце его всегда лежало к детям и крепкому браку – просто потому, что как только мама начинала подозревать, что дело идет к свадьбе, у нее случался сердечный приступ и тут уж было не до Боренькиных амуров. Мама умерла после войны и оставила Бореньку известным адвокатом при деньгах и в чудной отдельной квартире, но уже плешивым и немолодым обладателем множества холостяцких привычек. А это подспорье так себе для того, кто мечтает о семье. Борис искренне погоревал над утратой, но вскоре с удивлением обнаружил, что без мамы стал гораздо счастливее. Он, как и раньше, мечтал о семье, и теперь препятствие в виде горячо любимой мамы было устранено самой природой – он ни в чем не был виноват, до конца исполнив сыновний долг. Стал подыскивать себе невесту и оказалось, что дело это непростое. С одной стороны, он был немолод и некрасив, с другой – прекрасно обеспечен. Борис Михайлович опасался, что его станут любить за деньги.

Аркаше, своему младшему товарищу, человеку сердечному, за хорошей бутылочкой коньяка поведал о своих сомнениях, добавив при этом, что они с Соней ему как родные, и он хотел бы, если они не против и не сочтут за бестактность, приводить к ним возможных, так сказать, кандидатов, чтобы они свежим и непредвзятым взглядом... ну и так далее.

– Смотрины? Валяй, старик, – сказал Аркаша и тем же вечером рассказал Соне, взяв с нее слово, что она будет молчать как рыба.

Соня Бориса-большого пожалела, заметив попутно, что покойница была не подарок и что вот как в жизни бывает: такого хваткого адвоката днем с огнем не сыщешь, а в делах матримониальных – просто дитя.

Борис Михайлович находил невест по всему Союзу и приводил на суд Аркашиного семейства. Он перетаскал к ним множество женщин, и среди них особенно всем понравилась яркая художница из Риги, которая, впрочем, сбежала сама, найдя в себе силы пренебречь московской пропиской. Наконец, недавно, будучи в командировке в Свердловске, он познакомился с Ольгой, и роман закрутился.

В этот день Борис Михайлович впервые привел к друзьям новую подружку – а между тем все помнили рижанку, и сравнение было не в пользу милиции. Милиционерша странно выглядела рядом со стольным адвокатом, про которого Вера говорила, что он ушлый. Говорила она это со знанием дела, потому что в ее кругу художественных мэтров Борис Михайлович был хорошо известен и уладил полюбовно не один развод.

Явление Ольги волшебным образом превратило обычный вечер, каких в этом доме было множество, в событие исключительное: про-

сто редкой птицей оказалась гостья. На кухне подруга сказала Соне (куда она специально за ней пошла – якобы принести чайник с кипятком):

– Слушай, она прям как у себя дома. Где он ее откопал?

– Не знаю. – Прочедила Соня. – Весь пол в шелухе. Ты лицо ее видела? Милицейская физиономия.

– А она семечки с собой принесла или ты дала? – спросила та. Соня только рукой махнула.

После этого случая Бориса и Ольгу обсуждали долго. Особенно коробили семечки. Соня сказала мужу, и сказала твердо, что не потерпит. Одним словом, Аркаше досталось ни за что, и он только умолял не педалировать.

Соня вообще любила тишину, книгу, плед и свет лампы. Вместо этого замужество подарило ей шумный открытый дом, где постоянно пили чай и ужинали, где одни гости, зашедшие на огонек, сменялись другими, забежавшими «на пять минут». Причина этого безобразия заключалась, разумеется, в живом Аркашином нраве, и Соня, любя, терпела. Утешала себя мыслью, что, не будь ее, пропал бы Аркаша в вихре жизненных удовольствий. Он, нужно сознаться, любил пожить: на последний рубль купить Соне букет цветов, а с гонорара что-нибудь шикарное, – и Соня счастливо вздыхала, хоть прежде и думала потратить деньги на что-нибудь действительно нужное. Он постоянно покупал книги, особенно английские, но тут уж Соне нечего было возразить – этого требовала профессия.

Задолго до войны, когда Аркаша был маленький, а Веры на свете не было, Любовь Александровна развелась с первым мужем, вновь вышла замуж по большой страсти и вместе со вторым мужем и сыном отбыла в Англию в торговое представительство, где новому супругу предстояло трудиться. Аркаша пошел в школу в Лондоне, отучился несколько лет, потом отчима отправили в Америку, и там Аркаша тоже ходил в школу. К тому моменту, когда отчима со всей семьей, в которой в Америке случилось прибавление в виде Веры, вызвали на родину, Аркаша знал английский как родной. Дальнейшие события в виде ареста и расстрела отчима навели его на мысль, что английский, очевидно, ему в жизни не пригодится. Вышло иначе.

Аркаша родился в несчастном двадцать третьем году, из которого мальчиков почти не осталось, а ему, можно сказать, повезло. Во-первых, повезло, что остался жив до самого Сталинграда. Во-вторых, сидя в Сталинграде, был, считай, покойник – но случилось так, что оказался в штрафбате: их лейтенант в минуту затишья принялся рассуждать, видно повинуюсь ходу собственных мыслей, что они – тут, а евреи в Ташкенте греются, в ответ Аркаша дал лейтенанту в морду. В штрафбате должен был бы случиться ему конец, но, видно, ангелы его хранили за набитую офицерскую морду и сделали что могли: в

первом же бою Аркаша был ранен, не убит, и только потерял ногу – на том для него война и закончилась.

Еще в Америке Аркаша, насмотревшись кино, мечтал стать актером и потом, уже в войну, думал, что обязательно пойдет в театраль-ный. Однако после госпиталя, вернувшись домой на костылях, передумал – и не из-за ноги, хотя увечье должно было стать непреодолимым препятствием в актерской карьере. Ему хотелось попробовать жизнь на зуб, и он поступил на биологический. Изучение биологии картину мира не прояснило, зато стало ясно, что у Аркаши склад ума не науч-ный; тут он вспомнил про английский и занялся переводами по биоло-гии и медицине. Вскоре в зале научной библиотеки познакомился с замечательной девушкой, недавно окончившей медицинский, с чудес-ным именем Соня.

Случай с милиционершей оказался только началом длинной исто-рии любви. Ругаться Соня ругалась, но одно дело кричать на мужа, и совсем другое – сказать в глаза Борису: мол, ты ее не приводи. Соня не смогла. А поскольку роман адвоката и милиционерши не только не закончился, но набирал обороты, Борис Михайлович вновь привел свою подругу, а потом только с ней и появлялся. Уже в следующий раз Ольга вела себя прилично: семечки не грызла, не плевалась, от смеха не взвизгивала, сидела помалкивая. Аркаша только развел руками: он был впечатлен. Словом, сначала к Ольге привыкли, потом полюбили. Казалось, милиционер в ней умер. Главное же – преобразился и Борис: и прежде аккуратный, он стал теперь особенно ухоженным. Вдобавок – и это было приятное дополнение, потому что, согласимся, есть в том известная неловкость, – он перестал зачесывать редкие пряди, скрывая лысину. Ольга перебралась в Москву, вышла за него замуж и поступи-ла в заочную аспирантуру в юридический. Соня с Любовью Александровной решили, что женщина она хорошая.

Лидия Петровна благополучно водворилась в Катиных хоромаш. Отвели ей бывший кабинет Ивана Константиновича – комнату про-сторную, с двумя окнами, занавешенными тяжелыми темными што-рами. Была комната такая же нежилая, как и гостиная, – пыльная и обветшалая, обставленная тяжелой мебелью. Всё как в кино: книж-ные шкафы по стенам, письменный стол о двух тумбах, покрытый зеленым сукном; кожаный диван, кресла кабинетные – просто парод-ия. Так про себя подумала Лидия Петровна, когда вселялась. А в шкафах – мамочки! – одни классики марксизма-ленинизма о многих томах, политэкономия, история ВКПб, биография Сталина на меловой бумаге с фотографиями, трехтомник неподъемный про челюскинцев, журналов политических тьма. А почитать нечего. Лидия Петровна поразилась. Форменный склеп. Вот, значит, как приноравливаться надо. Не только к Кате. И как прикажете жить в такой комнате?

Диван хоть и кожаный, но узкий. По ночам Лидия Петровна с него сползала. Каждое утро одеяло оказывалось на полу, и простыня елозила туда-сюда. Ясно, что всё это барахло нужно вытряхнуть, привести комнату в божеский вид, для живого человека подходящий. Но как это устроить, скажите на милость? Нужно ждать, притираться к Кате и Тане, держать ухо востро. Не скажешь же им: я, мол, диван вашего папочки покойного, которого вы со слезами на глазах помните, выкину вместе с марксизмом-ленинизмом, а на его место поставлю кровать или там тахту, чтобы спать удобно было. Терпела Лидия Петровна.

Катя, само собой, ничего не замечала. При ее голосах ей не до удобств Лидии Петровны было. Но вот что удивительно: Таня тоже ни разу в комнату Лидии Петровны не зашла, не спросила, удобно ли на папином диване спится. Таня вообще поразила Лидию Петровну. Вскоре стало ясно, что она к быту человек равнодушный, и то запустение, которое обнаружилось при первом посещении Катиного дома, есть следствие не Катиного безумия, а банальной Таниной неряшливости. Таня и постель собственную не застилала, что уж говорить про мытье полов, вытирание пыли и уборку мест общего пользования. Получилось так, что, как только Лидия Петровна въехала, Таня тут же и исчезла (в переносном смысле, разумеется). В библиотеке, кажется, скрылась, а домой приходила только ночевать. Ну, Лидии Петровне она была ни к чему. А всё же... Странно это. Молодая женщина, как никак. Такие мысли мелькали у Лидии Петровны. И вот как человек устроен: Таня ведь только мешала бы Лидии Петровне – радоваться следовало, что под ногами не болтается, не раздражает. Лидия Петровна радовалась, но и досадовала на племянницу: что же, Лидии Петровне одной в доме порядок наводить? Одним словом, Таня мешала. И неважно, дома она или в библиотеке – она занимала комнату, и этим выводила Лидию Петровну из себя. Потому что, и с этим любой бы согласился, в этой комнате мог бы жить Боря или мама. Вдруг оказалось, что четыре комнаты – это так мало! Лидия Петровна была бы рада от Тани избавиться. Ну не убивать же ее, в самом деле!

Диван этот скользкий – пустяк. Лидии Петровне и не на таком спать доводилось. Можно и потерпеть, а вот заводить на новом месте свои порядки Лидия Петровна полагала недальновидным. Прибралась – это да, и прибралась основательно. Всё вычистила, сняла чехлы с мебели и серую от пыли простыню с люстры. Медленно-медленно, тихо-тихо, бархатными лапками, овладевала Лидия Петровна Катиным домом. Вела с Катей неспешные беседы, избегая резких суждений. Всё больше слушала, поддакивала, сочувствовала.

Катины голоса очень доброжелательно отнеслись к переезду Лидии Петровны. Обсуждали событие – в том смысле, что Лидия Петровна – человек надежный и здравомыслящий. Свое отсидела, вину искупила, и родина ее отпустила. Родина-то отпустила, но даже

комнаты не дала. А время поджимало. Прокантовавшись таким манером около месяца, Лидия Петровна не без опаски приступила к самому важному: завела речь, как бы ей прописаться у Кати. Начинать разговор было опасно. Потому что, и это ей было совершенно ясно, вопрос этот – минное поле нехоженое, и как бы Лидии Петровне, фигурально выражаясь, на нем не подорваться. Мысленно перекрестившись, завела разговор с Таней.

Одним приятным воскресным утром, усадив Катю, в целях трудотерапии, перебирать гречку, сказала Тане, здесь же пившей чай:

– Танюша, мне на неделе по делам надо. В исполком и в милицию. Не могла бы ты, дружок, с мамой посидеть?

Таня отложила книгу (она всегда читала за едой), а Катя замерла над рассыпанной по столу гречкой. Первыми на слова Лидии Петровны отозвались голоса, но это в Катиной голове, так что их никто не слышал. Один прямо закричал, что бывало нечасто: «Милиция? Дождались! Ну, это точно из-за Таньки. Всё, теперь дело заведут!»

– А в чем дело, тетя Лида? – рассеянно спросила Таня.

– Нужно что-то с пропиской решать. Мне давно назначено. Надеюсь, комнату дадут.

– Как же так, тетя Лида, – испугалась Таня, – вы же согласились у нас жить.

– Но я здесь не прописана, могут быть неприятности. Ты не беспокойся, этот вопрос не за один день решится, так что пока всё будет по-прежнему. Еще надоем вам, девочки. – И покосилась на Катю. Катя сидела как каменная.

– Я не хочу, чтобы ты уезжала. – сказала Катя так жалобно, что, глядя на нее, Лидия Петровна про себя обозвала себя сукой.

– Катюша, я тоже не хочу. Но что же делать? Выхода-то нет.

– Есть, тетя Лида! – воскликнула Таня – ее озарило. – Есть! Давайте пропишем вас здесь.

Лидия Петровна изобразила изумление. Ей, человеку практически, казалось невероятным, что кто-то может предложить прописаться на своей жилплощади. Все-таки должны быть какие-то границы. Очевидно, у родни Лидии Петровны границ не имелось. А Лидия-то Петровна готовилась к разговору как к сражению, всякие тонкости и хитрости припасла, а оказалось – проще некуда. Лидия Петровна даже разочарование испытала и, изобразив, как уже было сказано, изумление, сказала:

– Это невозможно – нет оснований.

– Тетя Лида, – тут Таня ясно представила, как она возвращается к прошлой жизни, и картина эта привела ее в ужас, – вы пойдите и там поговорите. А вдруг не откажут? Им же нужно вам комнату предоставить, а так выходит, что уже есть жилье. Мы, если нужно, всё с мамой подпишем. Правда, мама?

– Не уходи, Лида. Я без тебя пропаду.  
– Хорошо, попробую разузнать. – растерянно сказала Лидия Петровна.

Лидия Петровна попала на прием к одной хорошей женщине, сочувствовавшей реабилитированным, и та сказала, что если установить опеку над больной родственницей, Лидию Петровну могут прописать. Нехорошо было то, что имелась дочь, а следовательно, делать Лидию Петровну опекуном оснований не было. Тут уж Лидия Петровна сама взялась размышлять и действовать. Перво-наперво взяла у Тани, принимавшей теперь горячее участие в деле о прописке, телефон психиатра, про которую Катя ей рассказывала.

Лидия Петровна, созвонившись и отнеся в регистратуру шоколадку, записалась на прием. Разговор с доктором вышел сухой. Как ни пыталась она завоевать симпатию врача, та смотрела всё тем же холодным взглядом, словно уличая Лидию Петровну бог знает в чем. В общем, оказалась неприятной женщиной. Но и это бы не беда, не будь у Кати дочери. Дочь же на беду имелась, и обойти Таню было непросто.

Как-то под утро – сон не шел – думала Лидия Петровна о сыне. Какой он в детстве был чудный малыш с розовыми толстыми щечками, кожа бархатистая, и как она тогда думала, укачивая его на руках, что потом на этом нежном личике будет борода. И как тогда ей казалось это смешным, невозможным и печальным, конечно. А теперь Боря стал красивым юношей, и у нее от гордости замирало сердце. В приятных размышлениях о сыне она почти уснула, как вдруг ее пронзила мысль – пронзила так, что сон как рукой сняло: Таню услатить нужно к черту на кулички. От досады Лидия Петровна села на диване и тут же упустила одеяло. Лидия Петровна, ревностно относившаяся к чистоте постельного белья, не допускала, чтобы пододеяльник касался пола, поэтому она расстроилась еще больше. Мало того, что Таня спит через стенку, но и одеяло теперь какое-то подозрительное: нет уверенности, что достаточно чисто. Натянув с досадой одеяло, от чего оно противно вздыбилось несуразным горбом, подумала, что спать под ним теперь будет неприятно, а менять пододеяльник из-за такой малости как-то уж совсем глупо – смахивает на паранойю. Мысль о паранойе вернула ее к мысли о Тане и о том, что да, нужно от нее избавляться.

Размышления Лидии Петровны пошли сразу несколькими путями. С одной стороны, сразу стало стыдно вообще так думать. Ну, действительно, выходило, что Лидия Петровна – кукушка: пробралась в гнездо и чужих птенцов выкидывает, а своему месту готовит. Нечего говорить, подло. Вполне осознав это, Лидия Петровна мысль о своей безнравственности отложила аккуратно в сторону, решив обдумать отдельно и не сейчас, а стала размышлять совсем о другом. А именно

о том, какая Таня, в сущности, противная. Тут размышлениям Лидии Петровны споткнуться было не обо что, и мысль потекла плавно. Встала Таня в ее воображении как живая, с той ясностью (возможно ложной), какая бывает только в мыслях ночных. Неладно скроенная, глупая. За едой как-то особенно противно облизывается. Вообще, ест неаккуратно. Фу! Лидия Петровна заметила это при первом знакомстве, а сейчас, ночью, ее даже передернуло – так живо она увидела, как Таня ест. Картина эта совершенно убедила Лидию Петровну, что угрызения совести можно смело отбросить. Осталось только придумать план, как избавиться от племянницы.

День за днем, на трезвую голову, а не ночными сомнительными размышлениями, которые могут завести черти куда, принялась Лидия Петровна обдумывать, как бы сделать так, чтобы племянница исчезла из квартиры навсегда. И – ничего путного в голову не приходило. В своем воображении Лидия Петровна то выдавала Таню замуж, то отправляла работать в дальние края, то мечтала о несчастном случае, который унес бы жизнь ненавистной племянницы. Всё это были глупости. Молодого человека у Тани не было, до окончания института – вечность, и несчастные случаи по заказу не происходят, это каждый знает. Вообще, Лидия Петровна запретила себе думать в криминальном направлении – не по соображениям нравственным, а оттого, что была несколько суверена. Ей казалось, что этим она может навлечь несчастья на Бору и на себя. В общем, она совсем извелась от бесплодных размышлений и досадовала, что не может сплести интригу, как в романе.

Между тем Борис забегал частенько и совершенно освоился. Катя ему радовалась, называла Боренькой, дрожащим голосом повторяла, что Петечка ее мог бы вырасти вот таким же. А Таня смущалась. Ей казалось, у нее горят уши. И всем это видно. Он был такой... высокий, и пах молодым телом. Непонятно, как с ним разговаривать. Неизвестно почему, Борис свел дружбу с лифтершей Ириной Ивановной: просто всегда останавливался поболтать. Катя, узнав, что племянник якшается с лифтершей, перепугалась. Разумеется, она лифтершу прекрасно знала и именно поэтому опасалась.

Как только Ирина Ивановна появилась в их подъезде, голоса незамедлительно сообщили Кате, что она – сотрудник органов, под видом лифтерши внедренный в подъезд с целью выявления шпионских сетей, если таковые имеются. Катя узнала, что Ирина Ивановна – старый опытный чекист. Да она и сама это видела: Ирина Ивановна, всегда вежливая и бесстрастная, проявляла на своем посту исключительную выдержку. Люди в подъезде жили разные и очень непростые. Случались шумные компании и даже безобразное поведение молодых людей с пятого этажа. Урезонила их, с помощью участкового,

именно Ирина Ивановна, после чего мальчишки пропали. Говорили, что они уехали в геологическую экспедицию, но Катя знала доподлинно, что их арестовали и посадили в тюрьму.

В правоте тех, кто сидел в Катиной голове, она убедилась однажды утром. Она как раз выходила за молоком, что случалось крайне редко, так как Катя опасалась проникновения вражеских радиоволн в свою голову, а риск на улице, разумеется, многократно возрастал, так вот, выйдя из лифта, она нос к носу столкнулась с этой парочкой с пятого этажа. Оба были небриты, в телогрейках и с вещмешками. Откуда они явились, ясно было и младенцу. Ирина Ивановна, присутствовавшая при этом эпизоде, поздоровалась как ни в чем не бывало, а эти наглецы вдруг как заорут:

– Ирина Ивановна, мы вернулись! Ура! Целуем ручки! – а Ирина Ивановна строго им в ответ:

– Ничего-ничего, дождетесь, голубчики.

Катя перепугалась, потому что ей было страшно за дочь: равновесие, такое шаткое, могло рухнуть от малейшей оплошности. Система обороны, выстроенная Катей и заключающаяся в изоляции от враждебного мира, эта система не допускала ничего привходящего – безобидная с виду лифтерша, которая, как агент органов, была, разумеется, достойна всяческого уважения, несла угрозу Катиной семье. Удивительно было другое: как Катя Лидию Петровну-то пустила! Тут хорошо было бы расспросить ее врача-психиатра, но, увы! той так и не удалось пробраться в глубины Катиной души и с помощью почтенных докторов Фрейда и Кандинского найти ответы.

Борис, как и все прочие, не ведал о душевной буре, приключившейся с Катей из-за его дружбы с Ириной Ивановной. Иначе бы поостерегся. Но Борис вглубь не смотрел, а простой здравый смысл подсказал ему, что лифтерша с ее осведомленностью, вытекавшей из рода занятий, всегда может сообщить что-то стоящее, а то и свести с кем-нибудь из влиятельных жильцов.

Ирина Ивановна симпатизировала Борису, потому что многие жильцы с ней не здоровались: проходили, задрав нос, и лифтершу это обижало. Жизнь ее сложилась так, что, перевалив за пятьдесят, оказалась она в чужом подъезде с крошечной зарплатой. Катя была не далека от истины, предполагая в Ирине Ивановне разведчицу. Разумеется, никакой разведчицей она не была, но в свое время работала в райкоме по части политпросвета и агитации, хорошо выступала на заводских митингах. К несчастью, однажды в райком пришла разнарядка: после войны требовались честные, то есть не скомпрометировавшие себя, работники торговли. Организовали призыв и направили Ирину Ивановну на должность директора мебельного магазина. Она просила пощадить, объясняла, что ничего не смыслит в торговле и по этой причине не справится, но слушать ее не стали, и

в один прекрасный день она вступила в мебельный магазин директором.

Пытаясь вникнуть в суть дела, Ирина Ивановна листала документы, но цифры и буквы мелькали перед ее глазами без всякого смысла. Она растерялась, но тут в кабинет, предварительно вежливо постучавшись, вошел старший продавец и, деликатно прикрыв дверь, сказал:

– Ирина Ивановна, не волнуйтесь. Не боги горшки обжигали.

Благодарная Ирина Ивановна пожаловалась на свою неосведомленность в деле торговли мебелью, на что тот ей ответил:

– Вы, Ирина Ивановна, главное магазин утром откройте, а вечером закройте. Бумаги, какие следует, подпишите, а остальное я сделаю сам.

И положил перед Ириной Ивановной конверт. Ирина Ивановна сдуру даже не сразу сообразила, что там деньги. Заглянула в конверт неделикатно, а обнаружив купюры, пошла красными пятнами. Хотела раскричаться, но глянув в глаза старшему продавцу, прикусила язык. Глаза у него были прямо, как у мертвеца, и это остановило Ирину Ивановну от надлежащих действий.

– А что же мне целый день делать? – робко спросила она, на что тот задумчиво ответил:

– У нас тут ресторан поблизости очень приличный. Вам там во всякое время будут рады. Я уж договорился: за вами столик закреплен. Если в парикмахерскую нужно или в ателье – всегда отвезут. Вы не волнуйтесь, всё будет хорошо. – Поклонился и вышел.

Однако, как же тут не волноваться? Ирина Ивановна не вчера родилась – правда, взятку получала впервые. Рассказала, рыдая, мужу о своей беде:

– Я как чувствовала, что добром не кончится. Ведь посадят теперь, как пить дать, посадят. Скажи, что делать?

Можно подумать, супруг мог что-нибудь посоветовать! Он тоже переживал, однако выслушав рассказ о старшем продавце и отринув ни к чему не относящееся описание его глаз, решил, что делать нечего, следует смириться, а там будь что будет. Может, и пронесет. И, действительно, года два Ирина Ивановна прожила в полном благополучии, как она не жила никогда прежде. Даже от страха перестало сосать под ложечкой. Одним словом, Ирина Ивановна покорно и честно выполняла навязанное соглашение: аккуратно принимала конверты и не совала нос, куда не следует. Ее неосведомленность в делах, творившихся в магазине, была удивительна. Она не замечала даже то, что заметил бы посторонний. Но однажды всё кончилось, а отчего кончилось, так и осталось для нее загадкой. К ней нагрянули прямо в ресторан, арестовали при публике, провели следствие и осудили. Это вихрь был какой-то. На следствии и в суде Ирина Ивановна блясла невнятицу – со стыда можно было сгореть, потому что на вся-

ких липовых бумагах стояла ее собственная подпись, и когда вся эта кутерьма со следствием и судом кончилась, она благополучно отбыла к месту заключения, где и провела следующие пять лет.

А вот когда Ирина Ивановна вернулась под домашний кров, всё оказалось очень кисло. Из партии ее, разумеется, исключили, на работу не брали. Хорошо, что муж не бросил и дети простили. Помучившись с поисками работы, Ирина Ивановна, наконец, водворилась в подъезде Катиного дома, где и сидела уже который год то с вязанием, то с книжкой. Жильцы не обращали на нее внимания, а она всё замечала, делала выводы и была осведомлена сверх всякой меры.

Все-таки случались вежливые люди, звавшие Ирину Ивановну по имени отчеству и не забывавшие поздороваться. Такими были мальчишки-геологи с пятого этажа, хоть они и проказники. А тут, откуда ни возьмись, явились Лидия Петровна и Борис – оба обходительные. Ирина Ивановна испытала к ним симпатию. Лидия Петровна всегда останавливалась на пару слов, и слова эти были самого приятного свойства. Она имела обыкновение посочувствовать Ирине Ивановне в ее трудном положении – в подъезде гуляли сквозняки, входная дверь хлопала гулко, с оттяжкой, и этим действовала Ирине Ивановне на нервы. Дети жильцов донимали лифтершу: топали как слоны, визжали как поросята и беспрестанно таскали грязь. Во всем этом Лидия Петровна быстро разобралась. То же и Борис – тонкостью души пошедший, очевидно, в мать. И он здоровался и останавливался поболтать. Недолго – так, на пару слов. Однако всегда внимательно выслушивал ответ, и суждения его были самого правильного свойства – именно такие, какие Ирине Ивановне хотелось слышать. Она не заметила, как коротенькие разговоры с Борисом превратились в безобразные сплетни. Лифтерша нажаловалась ему на всех жильцов. И он согласился, что практически все – люди неприятные, ну разве за некоторым исключением. Между ними обыкновенным стало, что Борис оказывал Ирине Ивановне маленькие услуги – так, сущие пустяки. То к дворничихе сбегает с поручением, чтобы Ирину Ивановну не гонять, то в домоуправление на минутку, то передать что-нибудь лично кому-то из жильцов. А Борису не трудно, он всегда готов услужить. Зато Борис теперь всё про всех знал. Хотелось бы знать, для чего ему понадобились эти знания, что он, собственно, собирався с ними делать? Действия его, приходится признать, были безотчетны и вызваны величием самого дома.

Вообще, совесть и у Бориса, и у Лидии Петровны, была не чиста. Оба вели себя как заговорщики: врали, юлили, набивались в друзья. Ну, у Лидии Петровны был план – результат отчаянного ее положения, но и Борис, увидев Катиню жилье, не мог устоять против соблазна если не получить, то хоть попользоваться. С этой целью завел

дружбу с Таней, надеясь, что она будет давать ключ, когда дело дойдет. В день первого знакомства отнесся к Тане безразлично, а когда сообразил, какую пользу можно извлечь из этой дружбы, позвал в кино, впрочем, сразу же предупредив, что будет целая компания. Одним словом, открыл Тане дверь в мир живой.

Прежде у нее была одна подруга – Петухова, жившая в соседнем подъезде, девушка чрезвычайно положительная. Это у нее, среди книг на полках, нашла Пильняка, завалившегося с тридцатых, и выпросила почитать. С Петуховой учились в одном классе, и дружбу эту одобрял покойный Иван Константинович, отец строгий и взыскательный, поборник девичьей чистоты. Тане всё запрещали, позволяя одну Петухову, дружба с которой так и тянулась годами, такая же скучная, как сами девушки. Ни в институте, ни на работе Таня друзей не завела от того, что робела, – не было в ней бойкости.

Боря позвал в кино, и она не могла потом вспомнить, что смотрели, потому что видела одних его друзей. Поразила их свобода, смех, анекдоты – то, что потом пошли в какую-то коммуналку, где пили вино и мальчишки принесли водку. Один, мелкий, похожий на маргышку и очень говорливый, так напился, что его тошнило в туалете, и вся компания умирала от смеха, когда он, в обнимку с унита-зом, отказывался встать и, еле ворочая языком, требовал, чтобы его оставили с его семьей. Так и бубнил: «Хочу остаться со своей семьей». Дико это было, отвратительно, но, очевидно, для одной только Тани, всех же прочих веселило. От этой пьяной обезьянки никто не отвернулся – вот что поразило Таню более всего. Пока его тошнило и он болтал глупую ерунду, так всех смешившую, – и Бориса, между прочим, тоже, – Таня думала, что мальчишка этот, конечно, комсомолец и что сказали бы покойный папа или отец Петуховой. О, она прекрасно знала, что бы они сказали.

В тот первый вечер Таня познакомилась с Верой, ставшей главным впечатлением на неделю вперед. Красавица с конским хвостом, тонкой талией, стройными ногами. Юбка колоколом. А у Петуховой две косички, уложенные корзиночкой, как у самой Тани. Да, и самое главное, Вера курила! Держала эдак сигарету в пальцах с кровавым маникюром. Таня смотрела на нее во все глаза: жар птица! И на работе, и в институте все были серые. Дома – нечего говорить – мамин сатиновый халат. Прежде она как-то не замечала, а тут у нее невольно сравнила. Вспоминала Веру, и сердце билось, как от первой любви. Она не мечтала стать такой же: понимала, что невозможно, хотела только видеть ее, смотреть, как та курит, сидит, свободно закинув ногу на ногу, и не стесняется мужчин.

Когда в другой раз Боря забежал к матери, спросила, где Вера учится. Ответ поразил:

– А нигде. Верка – натурщица.

Расспрашивать больше не стала, но принялась обдумывать этот

невероятный факт. Вера оказалась не типичной советской девушкой и вообще неизвестно, советской ли. Поделилась новым знанием с Петуховой. Та пришла в ужас. Накинулась на Таню, стала объяснять, что дорожка эта скользкая. В Советском Союзе, разумеется, нет проституции, но порядочная девушка в натурщицы не пойдет. Соображение, что Вера может быть непорядочной, чрезвычайно взволновало Таню.

Иван Константинович, как известно, дома романов не держал, зато отец Петуховой, имевший отношении к цензуре, обладал хорошей библиотекой и в своем кругу слыл человеком начитанным. С его разрешения Таня брала книги и прочитала порядочно. Одним из необычайных впечатлений была «Нана», откуда она и почерпнула представление о женской порочности. Читала под одеялом, сунула Петуховой, и потом они долго шепотом и с оглядкой обсуждали роман. Короче говоря, Таня не последовала предупреждению Петуховой, с Верой не порвала, хотя и связана с ней была только в собственном воображении. У Тани словно случился медовый месяц. Явился в ее жизни Боря и привел за собой целую компанию и, в первую очередь, Веру.

Вера сказала:

– Твоя двоюродная сестра? – и губки скривила уморительно, как обезьянка.

Бориса бросило в жар:

– Вообще-то, троюродная.

Вера глянула на него такими ясными глазами, что хоть сквозь пол проваливайся, легко коснулась кончика его носа и сказала:

– Не всё ли равно? Разве не видишь, она не подходит. И, пожалуйста, не надо мазаться бриолином – это мерзко.

Борис хотел объясниться и не смог, хотел рассказать, что есть у него хитроумный план, что не Таня ему нужна, а ключ, потому что комнат много и они с Верой могли бы там встречаться и даже приводить друзей. Вместо этого зачем-то брякнул:

– Она сирота, и мать у нее с приветом. Жалко девчонку.

– А-а-а! Мы теперь Армия спасения? Ну, ладно. – Вера сделала пируэт, взметнулся блестящий конский хвост, и маленький вихрь, учиненный ею, принес запах духов. У Бориса захватило дух, он кивнул.

Таня же, тем временем, с удивлением обнаружила, что учиться скучно. Прежде досадно было, что из-за мамы нет времени толком заниматься, а когда, спасибо Лидии Петровне, время появилось – захотелось. Сердце, словно больное – а, может быть, и вправду заболело ее молодое сердце – замирало и проваливалось куда-то, кровь стучала в висках. В таком состоянии открыть учебник не было никакой возможности. Сидела на работе и ждала, что Боря позвонит и позовет

куда-нибудь. Между институтом и Борей всегда выбирала Борю. Поначалу мучили угрызения совести, но Таня их мужественно утопила, затоптала, отрунула и не позволяла поднять голову. Он же, потаскав ее за собой для приличия, сказал однажды и не наедине, а при всех:

– Может, к тебе двинем? Ты как? У Таньки шикарная хата.

Таня поняла, что влипла. Одно дело тайком вместо института идти с Борей и его друзьями куда позовут, а дома пусть думают, что она учится, другое дело – взять и привести к себе целую ораву. Маму удар хватит. Мысленно-то она, конечно, осмелела, но вот так запросто взять и ввалиться целой компанией – она себе это не представляла. Тем не менее, ей ясно было, что откажи она сейчас, в другой раз не пригласят.

– Ты же знаешь, мама... – робко сказала она, но Борис пути отхода перекрыл:

– А что мама? Ты разве не у себя? У тебя своя комната имеется.

Таня зажмурилась и согласилась. Поехали. От страха ее прямо тошнило. Возле дома один из компании, Таня его раньше не встречала, сказал:

– Ба! Это ж логово Диоскуров. Знакомые места! Нас тут как-то с милицией выводили. – И решительно направился к телефону-автомату. Позвонил, вернувшись, сказал:

– Прошу. В нашем распоряжении не комната, а целая квартира. – И галантно распахнул перед девушками дверь.

Лифтерша, увидев развеселую компанию и с ними Таню, за спиной которой возвышался Борис, удивилась, но ничего не сказала. Двери лифта распахнулись, и появился один из обитателей квартиры с пятого этажа, тот самый из злополучной парочки, которую Катя подозревала в тюремной отсидке.

– Девушки, – он широким жестом, посторонившись, пригласил дам в лифт, – жмите на пятый, а мы ножками. Здорово, Ланцелот, – обратился он к звонившему из автомата и добавил, адресуясь к лифтерше: – Это, Ирина Ивановна, к нам.

– Только не шуметь, – строго ответила та.

Таня была в замешательстве: с одной стороны, перестала потеть от страха, а до того даже дышать не могла, с другой – это чудо какое-то было. Парней с пятого она, разумеется, знала, не раз вместе ездили в лифте; историю про то, как их вязала милиция, а затем они сидели в тюрьме, не раз слышала от Кати, хоть и не верила ни единому слову, – однако в ее воображении соседи, чьих имен она не знала, приобрели романтический ореол. И вот теперь она проплывала в лифте мимо собственного этажа, поднималась выше на этот самый пятый, где обитали загадочные соседи.

В дверях стоял второй. Увидев Таню, удивился:

– Ты – наша соседка. Ну, дела. Не думал, что у Ланцелота есть такие порядочные знакомые.

Попав к Диоскурам, Таня во все глаза разглядывала всякую всячину, которой пестрела квартира и которая являлась материальным свидетельством их доблестных походов. Совершенно поразила ее сушеный крокодилчик, совсем маленький, сантиметров тридцать, не больше. Она робко спросила одного из хозяев, Колю:

– А вы в Африке тоже были?

– Увы, – Коля комично развел руками, – дальше Восточной Сибири не пришлось, но там с крокодилами туго. Это деду подарили. Смешная штукавина.

– Жалко детеныша, – неожиданно для себя сказала Таня и сама испугалась собственной смелости, прикусила язык и дала себе слово больше ничего не брякать.

Коля посмотрел на нее внимательно, но Таня стояла, опустив глаза и взгляд этот не поймала. А потом она больше молчала и слушала, танцевать стеснялась, но рябиновую на коньяке выпила, и это было с ней впервые.

В тот же вечер всё разъяснилось. Оказалось, что этот Ланцелот, бывший на самом деле просто Алексеем, – приятель Веры, учится в Суриковском и работает, как и она, натурщиком, а с Диоскурами (это он их так называл) свел дружбу в геологической партии. Алексей, которого геологи почему-то звали Ланцелотом, был одним из участников памятного скандала, после которого они все вместе уехали в поле. Таня сразу обратила на него внимание, потому что он был старый – точно за тридцать, с семью висками и помятым лицом. Вера, к неудовольствию Бориса, всё время на нем висла и целовала при всяком случае в щеку.

Что касается соседей-геологов, то они оказались внуками какого-то то ли профессора, то ли академика, круглый год жившего на даче. Были они здоровыми молодцами, улыбчивыми и смешливыми: Вася и Коля. Приглядевшись, Таня нашла, что они не совсем одинаковые. Коля – тот, что объяснил про крокодила, – был как будто чуть мельче, чуть тише, – одним словом, копия Васи. Сделав такой вывод, она его пожалела: уж кому-кому, а ей хорошо известно, каково это – жить в тени. Коля, когда танцевали и все смотрели на Веру, которая где-то выучила рок-н-ролл и теперь учила Бориса, Коля пригласил Таню танцевать, но она не решилась, и правильно сделала, потому что рядом с Верой вышел бы один позор; тогда Коля, взамен танца, налил ей рябиновой в маленькую рюмку. Он ей так сказал хорошо:

– Я тебе вот сюда налью, на один глоток, – что она тут же и выпила.

Теплая волна ударила сначала в живот, а потом в голову и, осмелев от выпитого, она спросила, кто такие Диоскуры. Впрочем, тут же поправилась, сообщив, что знала еще в школе, но теперь забыла. Коля лукаво на нее посмотрел и сказал:

– Ну, мать, не скажу. Придешь домой, откроешь энциклопедию, у тебя же есть энциклопедия?

– Большая Советская... – краснея, ответила Таня.

– И в следующий раз сама мне всё про них расскажешь. Между прочим, я – Кастор.

– Кто?

– Читай Брокгауза, старушка.

Потом пили еще, но Коля велел Тане не наливать, затем собрались петь, подняли крышку пианино, Вера требовала зажечь свечи, и их зажгли, Ланцелот-Алексей сел к инструменту и принялся то ли петь, то ли декламировать. Таня, боясь депростоволоситься после Диоскуров, даже не помышляла спросить, что он исполняет. Выручила одна из девушек, сказавшая, что обожает Вертинского. Разумеется, Таня про него слышала и даже из первых рук – родители Петуховой были на его концерте.

Одним словом, лучшего вечера в жизни Тани не было. Потом вдруг оказалось, что нужно идти домой, и это открытие поразило ее как громом – совсем чуть-чуть вниз и вот она, ее квартира. Перенестись так мгновенно не было сил.

На лестнице ее поймал Боря, отвел в сторону и жарко зашептал. Он просил ключ и разрешения ночевать с Верой. Таня остолбенела.

– Боря, как же это, там мама и тетя Лида. Это невозможно.

– А что тетя Лида? Она у вас в гостях, квартира не ее, а вот ты у себя дома. Кого хочешь, того и пускаешь. Ты что, маленькая?

– А мама? Она же... ну, ты знаешь... Ей это не понравится. И вообще, так не делают, – вдруг сказала она с вызовом. – Это... это неприлично. – И запнувшись, словно сдаваясь, добавила: – А Вера знает?

– Конечно, и очень хочет.

– Чего хочет Вера? – спросила вышедшая из квартиры геологов Вера.

– Ты хочешь у нас с Борей ночевать, в моей комнате? – на Танином лице было написано такое горькое изумление, что Вера в строгом недоумении обернулась к Борису.

– Это о чем? Я ничего не знаю.

Борис, пока разговаривал с Таней, был развязен, а тут полинял.

– Понимаешь, она, – он глянул на Таню, и вдруг выпалил, задрвав подбородок, – она сама позвала. Наверное, перепила там. – Он кивнул на закрытую дверь.

– Я? Перепила? Ничего я не пила. Он врет. И не звала я. Это всё он.

– Свихнулся? Я тебе что?.. – Вера приблизилась вплотную.

От гнева милая ее мордочка стала острая, как бритва. Она зашипела, не разжимая губ, так что оба – и Борис, и Таня – отпрянули. Шипение это сложилось в хлесткую матерную фразу, адресованную Борису, от которой тот, конечно, скатился бы с лестницы, не стой он вплотную к стене, а Таню взяла за руку и, сказав:

– Пойдем отсюда. – Потщила вниз по лестнице.

Вера сбивчиво тараторила в такт дробному стуку своих каблучков:

– Прости, прости, прости. Ужас, кошмар. Я не... да я вообще не такая. Хорошо же он обо мне думает! Урод.

Таня видела, что сейчас эта Вера, которая прежде казалась, может быть, бессердечной, горько расплчется. Оказавшись возле своей квартиры, Таня совершила оплошность: не раздумывая открыла дверь, затщила туда Веру и в темной прихожей тихо сказала:

– Чтобы Борька не догнал. – Вера кивнула, и они на цыпочках прошли на кухню.

Уже бесшумно прикрывая дверь и больше всего опасаясь, что замок лязгнет, думала, что мама чутким ухом услышит и проснется, если она, конечно, вообще спит и тогда... Таня на секунду зажмурилась, боясь того, что может произойти. В том-то и ужас, что всё, что угодно.

– Ты такого негодяя видела? – только и успела сказать Вера, как в дверях, совершенно бесшумно, возникла Катя. Она прислонилась к притолоке и тяжело посмотрела на Веру.

– Добрый вечер. – Вежливо сказала та, а Катя отрезала:

– Ночь. – Повернулась и ушла, шаркая тапками.

– Не бойся, я сейчас убегу.

Однако Таня, вздохнув, ответила:

– Поздно. Мама тебя видела. Теперь уж всё равно, пойдем ко мне.

– Слушай, я ненадолго. Посижу и пойду: боюсь, Борька внизу караулит. – Вера шмыгала носом и сморкалась в платочек.

– Да уж всё пропало. – Сказала Таня, махнув рукой и, когда вошли к ней, ее прорвало, и она рассказала Вере про Катю и про себя, про жизнь вдвоем до самого появления Лидии Петровны, а за ней и Бориса.

Вера выслушала внимательно, а затем подвела черту:

– Ну Борька и сволочь. А я в него, кажется, влюбилась. У-ф-ф. Не хочу любить негодяя. Он же тебя использовал! Ну, дела. А с виду...

Таня, у которой от собственного рассказа навернулись слезы, улыбнулась: такой милой показалась ей Вера.

– Если хочешь – ночуй, только спать придется в одной кровати. Тебя дома не хватает? – тревожно спросила она, ясно представив, что бы было, не явись она ночевать.

– Не-а. Я всегда говорю, что ночую у подруги. На всякий случай. Никогда ведь не знаешь, как дело пойдет. Верно?

Таня не нашлась с ответом, и они легли, тесно прижавшись друг к другу. Повернуться было невозможно, но так было даже лучше, потому что обоим казалось, что у них разбито сердце. Вместо того, чтобы спать, принялись шептаться голова к голове, обдавая друг друга жарким дыханием.

– Расскажи о себе, – попросила Таня. – Я про тебя ничего не знаю, и мне интересно. Ты такая...

– Какая?

– Ну, не такая, как все. Яркая, независимая. Не то что я.

Вот какой оказалась эта ночь: Вера рассказала о том, о чем никому прежде не говорила. Первые слова ее были:

– Я обязательно уеду в Америку. Клянусь. Не знаю, как это будет, но будет. Это страшная тайна, так что ты никому. Представляешь, я родилась в Америке! – она слегка отодвинулась от Тани, насколько позволяла теснота кровати, чтобы виднее было выражение Таниного лица после сказанного. Впрочем, было слишком темно, и только тихое «О-о-!» подсказало ей, что впечатление было сильным. – Мой отец был там в командировке, ну, а когда вернулись, его посадили, и он сгинул.

– А как там было в Америке?

– Не знаю. Я же младенцем была.

– Жалко.

– Но я слышала, что кто там родился, имеет право на гражданство. Дурой надо быть, чтобы не сделать всё, чтобы туда попасть. Представляешь, какая там жизнь?

Таня лежала ни жива ни мертва. От этого рассказа, от убежденности Веры ей стало сладко и жутко, словно – вылезти из-под одеяла и – вот она Америка, про которую она совсем недавно читала в «О'кей». Слышала бы это мама! Тут уж точно записала бы Веру в шпионки. Таня от удовольствия даже хихикнула.

– Ты чего?

– Ничего. Ты Пильняка читала?

Выяснилось, что нет, и Таня пообещала дать, сообщив, что он как раз лежит под матрасом, надежно спрятанный от мамы.

А потом они уснули, и утром, проснувшись, пришлось Веру предьявлять. Мысли утренние, как известно, не чета ночным. Открыв глаза и вспомнив всё, Таня струсилась. Перво-наперво она не могла постичь, как у нее хватило смелости привести Веру к себе домой. Не иначе, это были проделки рябиновки, которой угостил ее Коля. Знал бы он об ужасных последствиях своих действий! Не выпей Таня ту жалкую рюмку, ни за что бы не засиделась допоздна и Веру бы привести не решилась. Однако тут же пришлось спросить саму себя, было ли ей вчера хорошо, и пришлось самой себе ответить, что весь вчерашний вечер была счастлива. Вспомнились и Диоскуры, и Ланцелот, и свечи, и тени от этих свечей, вольно гулявшие по клавиатуре и лицам.

Вчерашние впечатления укрепили Таню и, с намерением не сдаваться, она вышла из комнаты. На кухне, разумеется, были обе – мама и тетя Лида. Таня сказала, вздернув подбородок, готовая ко всему:

– У меня подруга ночевала. Мы были в гостях у ребят с пятого этажа.

– Пусть она уйдет, – опустив голову, сказала Катя.

Ночью, застукав Таню с неизвестной девушкой, похожей на жарптицу, Катя вернулась к себе вся дрожа. Таня явилась ночью, что само по себе было ужасно, но девушка с большими красными серьгами и покрашенным ртом – это было еще ужаснее. Катя поняла, что дочь попала в настоящую беду, и остаток ночи провела, не смыкая глаз, терзаясь самыми ужасными мыслями. Голоса, из-за сцены на кухне, подняли страшный тарарам – причем, что бывало редко, в этом случае оказались совершенно заодно, то есть потребовали от Кати решительных действий: задержания и обезвреживания американской шпионки, имевшей наглость угнездиться на Катиной кухне. Катя трусила, бормотала себе под нос в мучительном диалоге с голосами, что не справится, что лучше будет снова написать куда следует, но даже нежный ангел, всегда болевший за Катю, сурово приказал действовать.

Утром на ватных ногах приплелась на кухню. Там застала бодрую и подтянутую Лидию Петровну. На плите уже варился суп, пар поднимался над кастрюлей, а сама Лидия Петровна сидела с чашкой свежесваренного крепкого чая, и на тарелке перед ней лежали аккуратно разложенные бутерброды с докторской.

Ночную сцену Лидия Петровна пропустила: пообвыкнув спать на скользком диване, спала крепко уже которую ночь. Находясь в неведении о событиях, имевших место на этой самой кухне, ничего особенного в сегодняшней Кате не заметила, разве что та показала ей чуть нервнее. Катя от завтрака не отказалась, но жевала механически, странно облизывалась и косилась по сторонам. Отметив это, Лидия Петровна не придала значения ее поведению, на самочувствие Кати ей было наплевать. А напрасно! Психиатр, да хоть и санитар, подсказали бы ей, что звоночки-то тревожные. Но психиатр, несимпатичная во всех отношениях, была далеко, и справляться, а значит, и быть на чеку, нужно было Лидии Петровне в одиночку.

Лидия Петровна, голосом противным от фальши, попыталась с Катей заговаривать, но та ее не слушала, и Лидия Петровна, плюнув, обратила свое внимание на бутерброд. Именно тогда, когда она с удовольствием запивала кусок чаем, появилась Таня. Что-то в девчонке было новое, но Лидия Петровна не разобрала, потому что сразу последовало звонкое заявление про подругу, и оказалось, что ночью имели место события, о которых сама Лидия Петровна не имела понятия, а вот Катя, напротив, была осведомлена превосходно. Дальше события развивались стремительно, так что у Лидии Петровны не было возможности осмыслить происходящее. На требование Кати незамедлительно изгнать непрошенную гостью, Таня вежливо, но твердо сказала, что подруга всё равно сейчас уйдет, и попросила мать не устраивать сцен. Так и сказала:

– Вера уйдет, и ты мне выскажешь всё, что сочтешь нужным, мама.

Лидия Петровна остолбенела: смелость невиданная, а Катя, не

говоря ни слова, решительно поднялась, железной рукой отстранила Таню и поступью Командора двинула в комнату дочери. Таня замешкалась, не сразу ринулась за матерью, и этого мгновения хватило, чтобы Екатерина Андреевна распахнула дверь, выхватила кухонный нож из кармана сатинового своего халата и бросилась с ним на уютно лежавшую в постели Веру.

Вера, не желая доставлять Тане лишние неприятности, хотела улизнуть незаметно. Как только за той закрылась дверь, собралась встать, но малодушно прикрыла глаза и на беду мгновенно уснула: ночь-то была бессонная. Вера спала крепким утренним сном, к появлению Екатерины Андреевны была не готова, и та, налетев стремительно, принялась без разбора тыкать ножом в одеяло. Вера со сна закричала страшным петушиным голоском, в комнату влетела Таня, как кошка бросилась Кате на спину, а за Таней – Лидия Петровна, которая, правда, не видела, как Катя орудует ножом, но по крикам и суматохе поняла, что происходит нечто из ряда вон. Увидев кучу на полу и нож в Катиной руке, закричала голосом трубным, звериным, чем совершенно переполошила соседей. Лидии Петровне хорошо виден был нож в Катиной руке и она, попытавшись схватить ту за запястье, хотела нож выкрутить, но Катини пальцы держали крепко – не оторвать. Между тем на одеяле появилась кровь, однако Вера была жива: она кричала тонюсенько, выпутываясь из одеяла, наконец вскочила на ноги и, услышав, как Таня крикнула: «Беги!», помчалась к входной двери. Не сразу справившись с замками, выкатилась на лестничную площадку.

Тут уже толпился народ, по лестнице спешили жильцы с других этажей, к Вере подлетели Вася и Коля. Вася, крикнув: «Скорую!» – подхватил Веру, а Коля ринулся в квартиру, откуда по-прежнему раздавались крики и дикий вой Лидии Петровны. К моменту, когда Коля оказался в комнате, дело было сделано: Таня сидела верхом на матери, а Лидия Петровна навалилась на нее крестом, прижав распятую Катю к полу. Сдернув с развороченной кровати простыню, Коля ловко спеленал Катю, попутно стряхивая с нее Таню и Лидию Петровну, а затем вынул нож из ослабевших Катиных рук. Обмякшая Катя теперь мешком лежала на полу и смотрела на Колю полными ужаса глазами. Надо заметить, что она была единственной, кто за время побоища не издал ни звука. Всё время, что она бушевала, силы в ее маленьком теле было много: недаром Таня и Лидия Петровна еле с ней справились. Она еще сопротивлялась, когда появился Коля, но, увидела его и, словно злой дух покинул ее тело, – она затихла. Вид у всех троих был безумный.

– Что случилось? – выкрикнул Коля.

– Мама Веру зарезала. – хрипло сказала Таня.

Коля оглядел комнату, поднял валявшийся на полу нож и сказал:

– Этим? Через одеяло? Не думаю.

Действительно, нож, которым Катя вздумала убивать и который незаметно лежал в кармане халата, был совсем маленький: Лидия Петровна именно им любила резать овощи – лезвие сантиметров десять, не больше. Таня вскочила на ноги:

– Я к Вере! – и побежала к выходу.

Лидия Петровна между тем хлопала Катю по щекам – у той глаза закатывались, и Лидия Петровна испугалась, не плохо ли с сердцем.

А вот на лестнице события шли своим порядком. Скандал и смертоубийство случились в тот утренний час, когда в подъезде было особенно людно: лифт беспрестанно ездил вверх-вниз, кто-то топал по лестнице, Ирина Ивановна уже заступила на пост, и тут раздался первый, еще не слишком громкий крик – это кричала Вера, а затем уже к ее голосу добавились голоса Тани и Лидии Петровны. Голос последней произвел на всех особенно сильное впечатление: он был грозен и страшен смертным страхом.

Ирина Ивановна, лифтерша ответственная, тут же отложила Жорж Санд, прихваченную сегодня на работу, и спешно стала подниматься по лестнице, чтобы выяснить, что случилось во вверенном ей подъезде. Сразу определила, что крики раздаются из квартиры, хорошо ей известной, – из места обитания их прежде тихой сумасшедшей. Открылись соседние двери. Выглядывали люди – кто одетый, а кто и в пижаме. С нижнего этажа прибежал гражданин с намыленной физиономией и бритвенным станком в руке. Скатились молодцы с пятого, и тут дверь распахнулась, и на площадке появилась Вера в одних трусах, босая и вся в крови. Вася закричал: «Скорую», Ирина Ивановна: «Милицию», – и ринулась вниз, чтобы со своего поста, оборудованного телефоном, звонить в отделение. Все сгрудились возле Веры, которую Вася, подхватив на руки, понес к себе в квартиру.

И «скорая», и милиция прибыли незамедлительно. Оказалось, что на теле Веры – только мелкие порезы, жизни и здоровью не угрожающие, а вот для Екатерины Андреевны понадобились не только милиционеры, но и врачи. Сразу выяснилось, что преступница не в себе и, кроме врача «скорой» с лекарствами от сердца, ей требуется психиатрическая перевозка, которая и была вызвана на место. Само собой, опрашивали свидетелей, составляли протокол, увозили Катю, и только к середине дня обессиленные Таня и Лидия Петровна рухнули за стол на кухне, и Коля, бывший неотлучно при всех дальнейших событиях, поставил чайник.

Веру намазали йодом, приехал Аркаша и забрал ее домой, а Таня, наконец, рассказала не для протокола о событиях минувшей ночи и сегодняшнего утра. Конечно, многое, что к делу не относилось, она в рассказе опустила. Однако пришлось рассказать Коле про душевную болезнь матери, из-за которой произошли все ужасные события сегодняшнего утра. К ее изумлению и стыду, оказалось, что

в доме всем давно известно про Катину болезнь, но Коля оказался деликатным молодым человеком: лишнего не спрашивал.

Между тем Борис находился в полном неведении о событиях утра: он крепко спал на своей раскладушке на Сретенке. Накануне, оскорбленный Верой, не стал ее дожидаться, а с пылающими щеками и в страшном гневе отправился куда глаза глядят, то есть попросту бродить по городу. В четвертом часу отпустило, и он вяло поплелся домой.

Выходка Веры оказала на него ужасное действие – он даже заплакал. Гнев, горечь, унижение не давали дышать. Прежде, то есть до того, как Вера плюнула в него матом, он любил ее такой любовью... от невозможности выразить силу и необъятность этого чувства, он, сжав кулаки, поднял глаза в мутное ночное небо, но подсказки не нашел. Опустил глаза, посмотрел под ноги, вздохнул и сказал сам себе, что любил сильно. Тут бы взяться за перо и сочинить стихотворение. Принялся бормотать слова, но рифмы не шли, а в голову пришло другое: уязвленное сердце требовало наказания Веры, разрушившей его чувства, растоптавшей его самого.

А они... ну, просто твари. Танька – тварь неблагодарная, а Верка... шалава. Нормальная девушка в натурщицы не пойдет, совесть-то поимеет. И это она притащила его на продавленный диван старой курицы Марьи Николаевны. Старуха-то – сводня. И куда он глядел? В кого влюбился? Стыд и позорище. Предатели они все. В первую очередь, конечно, Верка – матом, как Ольга Адамовна с грузчиками... Вера фантомом явилась в смутном ночном свете: белое нежное тело, гибкое, лишенное изъянов. Попадись она ему в этот миг – убил бы. С ней покончено, и хорошо бы как-нибудь отомстить. Это он обязательно обдумает. Подумал о мести, и напряжение, требовавшее мерить шагами улицы, улеглось, на душе стало пусто, пришла усталость; он ошалело осмотрелся вокруг и огорчился, что теперь домой топтать и топтать, – забрел черти куда.

На Пушкинской в это утро творилось бог знает что. Всех переполошил звонок – это Вася звонил по наущению трясущейся на его диване Веры. Тут же были доктор со скорой и милиция, суматоха невообразимая; Вася, заткнув ухо от гама, орал в трубку, что Вера ранена, но жива, и, мол, приезжайте, она в больницу не хочет.

Телефон в Пушкинской коммуналке находился возле кухни, до которой от комнат Аркаши и Любви Александровны было шагать и шагать. Пока ответили, да пока позвали Аркадия, Вася истомился топтаться на месте, оглядываться на суматоху и затыкать ухо. Аркаша подошел, и он вывалил на него новость, из которой Аркаша усвоил, во-первых, что Вера ранена, а во-вторых, адрес. Плохо себе представляя, что случилось с Верой, Любви Александровне до поры ничего

говорить не стал, а сказал только Соне, и они, поймав такси, помчались за Верой. Прибыли и, к счастью, нашли Веру живой, хоть и перепуганной до смерти. К этому времени милиция и скорая уехали, и Вера с Васей сбивчиво нарисовали картину произошедшего. Аркаша не стал вникать в тонкости, а сгреб сестру, усадил в такси и отвез домой.

Это происшествие – что и говорить, из ряда вон, – произвело на всех соседей самое сильное впечатление, потому что, надо признать, знакомых не часто режут. Коммуналка жужжала как улей; Любовь Александровна, хоть и видела, что дочь жива, разумеется, пришла в сильнейшее волнение, от чего бестолково металась по квартире, не зная, как лучше устроить раненую Веру. Соня внимательно Веру осмотрела и успокоила свекровь, подтвердив диагноз врача: ран нет, одни царапины, но душевное состояние таково, что требуется полный покой, здоровый сон и забота близких, ну и валерьянки накапать побольше.

Между тем известие о смертоубийстве, хоть и не удачном, но имевшим место в доме Диоскуров, быстро разнеслось по городу. Вася позвонил Ланцелоту, а тот уж сообщил всей художнической братии. В мастерских гудели. Тут же снарядили делегации навещающих, которые и потянулись на Пушкинскую, и Соня замучилась бегать открывать, да и просто пропала бы, если бы не помощь Марьи Николаевны и Надежды Михайловны, которые взяли на себя обеспечение прибывающих чаем, прием подарков в виде многочисленных букетов, тортов и коробок конфет.

Любовь Александровна находилась при дочери неотлучно. Вера, напившись валерьянки и съев два диетических яйца с сухариками, мирно спала. В комнате Сони и Аркаши образовался штаб по приему гостей, где они, вместе с Марьей Николаевной и Надеждой Михайловной, раз за разом рассказывали, как дело было. На следующее утро явился сам мэтр – да не с букетом, а с корзиной цветов и тортом такого размера, что Соня не знала, куда его пристроить, – конфеты и торты со вчерашнего дня лопала уже вся коммуналка. В общем, вышел праздник, хотя за Веру все, разумеется, очень переживали.

На Сретенке же по-прежнему пребывали в полном неведении. Ольга Адамовна утром в день происшествия спозаранку отправилась с Пушкинской домой, еще до того, как раздался звонок и Вася оповестил о случившемся. На Сретенке никакого телефона, разумеется, не было, пользовались автоматом на углу. Ольга Адамовна, вернувшись после винта, застала в комнате спящего Бориса и на кухне – Анну Григорьевну, занятую приготовлением обеда. Ольга Адамовна, порадовавшись в очередной раз, что Лидия Петровна съехала и, не забыв попенять себе за эту радость, отправилась прилечь, потому что игра накануне была напряженная. Ольга Адамовна спала, Борис спал, Анна Григорьевна хлопотала на кухне, и так было до самого вечера,

пока не явилась Лидия Петровна, на которой не было лица. Увидев дочь в таком состоянии, Анна Григорьевна бросила мыть посуду и засемила вслед за ней в комнату, где Лидия Петровна решительно и ничуть не опасаясь разбудить сына, протиснулась между раскладушкой и стеной и, громко отодвинув стул, уселась со словами:

– Катя чуть человека не убила.

Анна Григорьевна плюхнулась напротив, и выражение лица у нее было такое, при котором иные крестятся. Рассказ Лидии Петровны заключался в том, что дура-Таня, весь вечер проторчав в гостях у соседей сверху, не нашла ничего лучше, как притащить к ним ночевать какую-то девицу, обе на кухне были застигнуты Катей, которая незамедлительно вплела ночную гостью в свои измышления: решила, что девчонка – иностранная шпионка, что неудивительно, если принять во внимание, как та была одета. Лидия Петровна самолично собирала после всего случившегося ее яркие и, по уверению Лидии Петровны, иностранные тряпки. А утром, когда Катя потребовала удалить шпионку из квартиры, Таня повела себя столь вызывающе (Лидия Петровна никогда не видела с ее стороны подобного поведения), что Катя, находясь в плену бреда и спровоцированная дочерью, ринулась в комнату и совершила попытку несчастную девушку зарезать. Если бы не решительные действия самой Лидии Петровны, убийства было бы не миновать! И вот теперь в милиции заведено дело, Катю с сердечным приступом и в состоянии душевного расстройства увезли в сумасшедший дом, они с Таней полдня давали показания. И когда всему этому ужасу пришел конец, Лидия Петровна почувствовала, что не имеет сил более находиться с племянницей в одном доме и приехала сюда, чтобы поделиться произошедшим, передохнуть и выяснить у Бори, что всё это значит, потому что открылось, что жертва – Борина подруга. Кто бы мог подумать! Лидия Петровна развела руками и с отвращением посмотрела на сына, который так и спал – как убитый.

– Вот я его сейчас разбужу! – во весь голос, не стесняясь, грозно сказала она

Лидия Петровна всё время, что добиралась на Сретенку, кипела от злости. Да это была даже не злость, а мучительное раздражение, которое когтями скребло нутро Лидии Петровны. В самом деле: непростое житье с Катей, хождение по разным учреждениям, начиная от исполкома и кончая психдиспансером, давало некоторую надежду укрепиться в сестриной квартире. Всё было туманно, ненадежно и в самом начале задуманного долгого пути. Лидии Петровне необходимы были время и устойчивость положения. Она что ни день с тревогой думала о Кате, не выкинет ли та какой-нибудь фокус. И Катя выкинула, но беда пришла, откуда не ждали, от Тани, не таившей, как казалось Лидии Петровне, никакой угрозы. Теперь, сидя на Сретенке,

Лидии Петровне очень хотелось выслушать версию Бори о событиях предыдущего вечера.

Расстроенная Анна Григорьевна, выслушав рассказ дочери, сказала, что, во-первых, услышанное совершенно ужасно, и она не может в это поверить, во-вторых, что ей очень жаль бедную девушку, которая, несомненно, натерпелась страха, но, слава богу, осталась жива, в-третьих, что она завтра же утром поедет в больницу навещать Катю и, в-четвертых, что Боренька, конечно, ни при чем и очень огорчится, когда обо всем узнает. Лидия Петровна посмотрела на мать тяжелым взглядом и ответила, что ей, пожалуй, не следовало приезжать. Разочарованная, собралась уходить, чего ждала – самой было неясно. Но тут Ольга Адамовна вышла из своей комнатки, проснулся Борис, разбуженный громким разговором, и уже Анна Григорьевна, всплескивая руками, рассказала, в сотый раз, если брать пересказы на Пушкинской, как Катя резала Веру.

Борис, вскочив с раскладушки, скакал на одной ноге, натягивая брюки; Ольга Адамовна сказал:

– Не может быть, я же только утром оттуда уехала, и всё было спокойно. – Тоже кинулась одеваться с намерением мчаться к Любви Александровне, чтобы оказать всю возможную помощь.

Лидия Петровна пыталась добиться от сына объяснений, но от нее отмахнулись, и со словами: «потом, всё потом» – Борис и Ольга Адамовна вылетели из подвала на бульвар.

*(Окончание следует)*

## Инна Кулишова

\* \* \*

Больше не захожу в еврейские группы в сетях.  
Столько разных фамилий, словно идешь  
по кладбищу к своим и оглядываешься по сторонам.  
Зато теперь на меня смотрят погибшие собаки, чей прах  
зывает: найди нас, Господи, те, кто на улицах  
среди руин  
искали дыханье заложников, мин,  
зато на меня смотрят кошки из-под машин,  
бросавшиеся защищать котят, и дрожь  
проходит по срезанным взрывами веткам,  
ярким, как лица, в которые боль  
ше не всмотришься, принимая бой  
ню как бой,  
деревья сглатывают подкож  
ную жизнь и ложатся, прикрыв собой  
неведомое неведомым нам  
еще живое,  
еще ж  
ивое,  
и воя  
нет,  
вой  
ветра рождает искомо  
е стихотворение, которое не напишет еще живой,  
еще любой поэт,  
столько фамилий над буквами разными, столько мой  
бог фамилий, столько зверей, столько вет  
ок, столько псевдознакомых лет

Словно домой возвращаешься, словно домой,  
где дома нет.

27. 28-29.11.23.

### ХАНУКА 7 ДЕКАБРЯ. ДВА МЕСЯЦА

Вертись, мой дрейдл\*, на песке,  
я лягу на волчок,  
и буквы тело вскроют, ске-  
лет каждой, цок да цок,  
войдет в меня и скажет: здесь,

здесь чудо было, где  
 ад выходил наружу весь.  
 Но на сковороде  
 горят и пляшут левивот\*\*,  
 все латкесы мои  
 из тела, тело где? А вот,  
 из глины и любви.  
 Сейчас по телу потекут,  
 как капли янтаря,  
 песчинки масляных минут,  
 и всё, и всё не зря.

7.12.23

---

Два месяца, по солнечному календарю, с начала трагедии 7.10.23. В Израиле совпало с началом Хануки.

\* Дрейдл – детский волчок на Хануку.

\*\* Левивот (*левит*), или латкес (*идиш*), – картофельные оладьи, которые жарят на Хануку.

\* \* \*

Подожди подожди умрет последний свидетель  
 имеющий право  
 имеющий голос  
 имеющий номер.  
 Опустеют стены Аушвица, Дахау, Трешлинка и т.д.  
 От царапин, от наготы, от туристов.  
 От поминальных дат.  
 Поминательных дат.  
 И тогда...  
 И тогда...  
 Вы воздвигнете новые  
 стены.  
 И голос рожденных в другой свободе  
 скроют они  
 ввиду высокой звуковой непроходимости.

25.01.24

\* \* \*

О киевский модерн, модерн тбилисский,  
 я вижу вас нетронутыми, до...  
 Дома, не угли и не обелиски,  
 дома, где дома всё, и арт нето  
 глядит как зрит во все мои землянки,  
 похожие на сакли из мeste-

чек белых: нагноившиеся ранки  
или эскиз к непрошеной звезде,  
которых нет, не то – сожгли и стерли,  
теперь не тот чет-нечет, ваш черед,  
как будто нота, скорченная в горле  
певца, за нотой движется вперед.  
О как близки суставы ваши, жилы,  
белесый отсвет на фасадах, но  
мы умерли, пока мы были живы,  
мы свет в окне и не само окно.

23.03.24

\* \* \*

На тенью забинтованный фасад  
смотрю, считав по окнам и балконам,  
какими днями этот ад не взят,  
какому дну был адрес незаконным.

(Не-здесь-не-в-этом-городе-не-я  
но на Кузнечной где не предвещало  
ничто меня но стало мной боя  
сь не стать в боя х-а!-зникнувшее Жало)

Из киевских с-не-с-ноше-с-ных оград  
кую неношеной себе огранку,  
твой смех бежит по улицам, и рад  
в лоб и в затылок целовать буханку.

Которую несла или несешь  
сейчас на том, и кров насущный льется,  
теряя тени, в будущую ложь  
о жизни под нерусский голос Отса.

29.01.24

\* \* \*

Не трогай ступнями меня говорит Земля  
нет кожи  
Не видишь что же  
смотри вот следы от лап их тоже для  
меня готовят раскатывает губу машина  
раскатывать надо мной асфальт  
и над ними тоже

Словно вынесу не свою броню  
словно кожу свою замену  
словно не их похороню  
не меня мни мню  
Не ходи по мне нигде ни зажима  
для ран моих ни иглы ни карт  
по каким обходить меня можно  
следы от лап так болят  
безбожно  
что приходится помнить да и  
что забывать если даже взгляд  
не смотрит в меня умирая

26.04.24

\* \* \*

Когда был улица кутузов\*  
ходил троллейбус и трамвай  
и окрик сильных профсоюзов  
что выбирай не выбирай

но даже в Англии в Европе  
могли такое гвалт создав  
мы жили как в голеностопе  
несуществующий сустав

Мы были не были но были  
не мы но мы и что с того  
Что вошь нет вожжи в хвост кобыле  
нет что-то вроде Мотовство

небытия справляя нынче  
на той же улице в другом  
небытие приемом клинча  
мы обнимаясь ищем дом

22.05.24

---

\* Улица Гамрекели, бывшая Кутузова, в Тбилиси.

\* \* \*

Вот тебе – за то что ешь и пьешь  
 Вот тебе – за всю неложь не глядя  
 Вот тебе – за чистый лист в тетради  
 Вот тебе – за внутреннюю дрожь

За способность гибнуть на войне  
 на природе на изгибах улиц  
 Из-за этого мы не проснулись  
 Плачет плачет плачет зверь во мне

23.11.24

\* \* \*

Говоришь Рождество  
 Говорю Рождество  
 И куда счас его  
 И куда

На какой стороне  
 на такой стороне  
 и зачем это мне  
 и зачем

Смотрят боги язычества  
 в дно Рождества  
 и молчат Ну какие шары  
 Вот война вот война вот война  
 Мир товар тварь Египет? Куда бы ни шли  
 смерть вольна

Зажигаешь свечу а какую свечу и по ком по кому не хочю  
 и какой сейчас праздник когда я лечу  
 над своими телами лечу

Что так больно ни рифмой ни слогом не под  
 держать собственный шаг или взгляд  
 Кто пришел для зверей? Для деревьев? Где плод  
 взятый после воскресший назад

23,24/12/24

## Михаил Дынкин

\* \* \*

В какой-то будущий четверг  
(возможно, в нынешнюю среду)  
я видел — мёртвый человек  
стрельнул в проулке сигарету  
у человека без лица.  
Потом они заговорили...  
Клубилась звёздная пыльца,  
под ней подрагивали шпили  
воздушных замков ли, дворцов...

Я вспомнил, в прошлый понедельник  
в квартире, полной подлецов,  
мы проиграем кучу денег –  
я и двойник эфирный мой  
(спасибо шулерской колоде).  
Я помню, как я шёл домой  
(в ночь с пятницы на вторник вроде)  
и думал: «Гиблые места...  
Бунт Времени... Фатальный вирус...»  
Потом я бросился с моста,  
но ничего не изменилось.  
Не изменилось, извини.  
Смог непролазен. Долг огромен.  
И солнце тащится в зенит  
и тонет в облаке вороньем,  
в бреду безрадостного дня –  
воскресный он или субботный? –  
где две гориллы ждут меня,  
чтоб отметелить в подворотне.

\* \* \*

«Как мы жили... Напрасно мы жили! –  
говорит Карабас-Барабас. –  
Наши куклы на нас положили.  
Меценаты покинули нас.  
Да ещё этот гость из кошмара,  
чудо-юдо с дырявым сачком...  
И чего я терпел Дуремара,  
вечно цацкался с ним, дурачком?»

«Невозможно прожить без помарок, –  
 говорит подхалим Дуремар. –  
 Я носил вам отборных пиявок,  
 праздным жалобам вашим внимал.  
 Как мы жили? Скажу, что красиво,  
 назовут лицедеем, но ведь  
 дышим мы, и на этом спасибо,  
 пьём портвейн, а могли умереть.»

На подмостках бутылки, окурки.  
 За кулисой – тюки, сундуки.  
 В сундуках разъярённые куклы  
 богохульствуют, сжав кулаки:  
 «Как мы жили? Иди ты, Создатель!  
 Это что вообще за вопрос?»  
 Тощий пудель лежит на кровати,  
 сразу видно – преставился пёс.

Буратино вернулся с повинной:  
 «Жизнь моя – полуявь, полусон...  
 Снова я оступился, Мальвина;  
 переспал с проституткой Лисой,  
 заигрался, остался без денег,  
 наши кольца в ломбард заложил...  
 Что мне делать, Мальвина, что делать?  
 Как я жил? Безобразно я жил!»

Наверху же, под куполом звёздным  
 плачет старец – мираж в мираже.  
 Где-то он напортачил серьёзно,  
 а чинить бесполезно уже.

\* \* \*

У Яна шестистолие, его  
 не призывают в армию, такого.  
 Вот он стоит над зимнею Невою  
 отчаянный, свободный, бестолковый.  
 Так соловьи в наушниках свистят,  
 что глохнут разом горести и страхи.  
 А это друганы его летят –  
 Колян Хорей и Костя Амфибрахий  
 на Дактиле (на птеродактиле).  
 Ян машет им руками и смеётся,  
 пока по небу цвета крем-брюле  
 ползёт на запад гаснущее солнце.

А дальше только сумерки и сны,  
три ангела над человеком спящим,  
три друга в ожидании весны  
и говорящий мезозойский ящер;  
крылатый ящер, ставший соловьём,  
разбойным свистом, фомкою скрипичной...  
Жаль, скоро Крыса в бункере своём  
распорядится истребить всех птичьих:  
– Эй, поднимайтесь, жители Зимы,  
солдатики мои из гуттаперчи!  
Сметите их с поверхности Земли,  
зарвавшихся, не по сезону певчих!

\* \* \*

Прекрасно быть маленьким в мире больших.  
Цветастые бабочки в окнах души,  
сквозное предчувствие чуда.  
В сиреневых тучах растут города.  
Течёт по лицу дождевая вода,  
а кончится дождь и забуду  
о пасмурном дне, оседлаю коня.  
Пускай в Зазеркалье уносит меня  
стремительный конь деревянный.  
Там кролик с Алисой, болванчик и мышь  
пьют чай, говорят: «Подключайся, малыш!»  
И луны висят над поляной;  
одна – малахит, а другая – сапфир.  
На длинном столе мармелад и зефир  
и прочие вкусные вещи.  
А выдую чашку и что это, а?  
Я стар. У меня умирает жена.  
Туман за окошком зловещий.

Я вышел из зеркала. Всё. Занавес.  
Слетает звезда с бутафорских небес  
и чай поражения горек.  
А кролик за кадром хохочет: «Малёк,  
заскакивай как-нибудь на огонёк», –  
но это шакал, а не кролик.

\* \* \*

Снова на губах замерзает слово,  
тикают в ушах мины тишины.  
А жена моя возвратится скоро,  
даром что давно нет моей жены.

А жена моя – девочка, ребёнок;  
ленты в волосах, плюшевый медведь...  
От её зверят, платьев и гребёнок  
вышел бы в окно небо посмотреть.  
Вышел бы в окно, да живу на первом.  
Открываю дверь, чтобы выйти в сад.  
Там жена моя ждёт меня, наверно:  
красные глаза, ленты в волосах.  
Ты чего? Не плачь.  
Но не слышит, плачет.  
Кажется, и я больше не жилец.  
Вот стою в саду, пятилетний мальчик,  
поиграй со мной, говорю жене.

\* \* \*

как строку удлинить, чтоб она в бесконечность ушла  
как о смерти забыть, чтобы стала бессмертной душа  
чтобы пела в метель и во тьме оставалась бела  
чтоб нырнула в постель и тебя, старика, обняла

ты промёрз до костей и устал от себя самого  
ты не ждёшь новостей, потому что не ждёшь ничего  
опустился на дно, запечатав изогнутый клюв  
и лежишь как бревно, одеяло до глаз натянув

где душа твоя, где, кто там воет по-волчьи внутри  
тьма идёт по воде и уходит под воду, смотри  
для того, чтоб смотреть, надо сердце иметь, говоришь  
машет крыльями смерть или это летучая мышь

над кроватью твоей, над останками дней и ночей  
и стучится Борей, ибо снова пришёл без ключей  
в ледяное окно (только кто же откроет ему)  
и грозит кулаком неизвестно чему и кому

как унять эту дрожь, как забыться и сбиться во сне  
чтобы месяца нож распорол тебе грудь по весне  
чтобы огненный шар над змеиным бульварным кольцом  
чтоб в палату вошла санитарка с помятым лицом

и сказала, гляди, как цветастою юбкой шурша,  
из отверстой груди поднимается в небо душа  
и сказала – молчи, не с кем больше вести разговор  
не врачи, а грачи, опекают тебя с этих пор

Игорь Метельский

## Дым над рекой

\* \* \*

как бы проклятьем ложится навечно  
пепельный слой  
но промелькнет стебелек поперечно  
точной иглой

как бы безропотно и бледновато  
вянет цветок  
но расширяясь течет ароматом  
жизненный сок

как бы случайно рождение строчки –  
меркнут следы  
раскрепощенной во тьму оболочки –  
гибель звезды.

\* \* \*

*Анне Сарибекян*

я увидел в мелкоскоп  
новую звезду  
плазменную плотную слезу  
подержал на кончике пера  
поместил на сорванный листок  
и пустил по темному ручью  
как бы навсегда  
греясь у костра  
выпростал простую  
искорку ночную.

\* \* \*

опять душой к земле приник  
мой внутренний старик –

в тысячелистие листья  
пластами синевы  
нисходит лето

## ИГОРЬ МЕТЕЛЬСКИЙ

в зной дорог  
струится синева  
не наиграется вьюнок  
взрывается трава –

прибит осколком  
глуповат  
сквозь алый аромат  
недолгим ухом ухватив  
сквозной локомотив.

\* \* \*

обними колонну дерева –  
страшное прошло  
тишина в обхват измерена –  
звездное число

законное завьюжено  
белые пески  
разворачиваю кружево  
маленькой тоски

разговор пунктиром тянется  
рвется второпях  
воробьиная невнятица  
множится в ветвях

света роздано – хоть ешь его  
и благодари  
расставание неспешное  
с музыкой внутри.

## ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ \*

нужен след  
и его свет

нужен зов терпеливый листа –  
его чистота

нужны пыль дым грязь –  
их связь

нужна пустота

ее густота и холодная власть  
ее страсть

нужен спелого сочного цвет  
и его запрет

нужна вода —  
ее круг и всплеск  
их блеск

и тогда  
камень в руку положен —  
он возможен.

---

\*хиротония, рукоположение священника (*греч.*)

\* \* \*

в темном небе  
дорога течет  
мыслей наперечет  
световые мазки  
музыки зги  
временное кольцо  
покажи мне лицо  
покажи мне лицо  
камня оврага пня  
дома воды огня  
царапины вдалеке  
звука ночного в руке.

## ДЫМ НАД РЕКОЙ

Приди, мой ночь!  
*Николай Заболоцкий*

мир возвышений  
царапин и вмятин  
ясен вполне  
и вполне непонятен  
шепот далекий  
ты тьма мелочей  
ночь одинокий  
воронка вещей

мышь за стеною  
о чем-то шуршит  
сон головою  
к подушке пришит  
слух воровской  
дирижирует сваркой  
дым над рекой  
выгибается аркой

мир корабельных  
кладбищенских рош  
пой колыбельную  
всю его мощь

кто-то парит над кроватью крылат  
смотрит холодный его циферблат.

\* \* \*

не выключай светильник  
не разрешив аккорда  
или прими на форте  
баховский подзатыльник

сквозь известняк школярский  
в линию мировую  
вдруг попади шлифуя  
жилистый скол каррарский

чудо уже свершилось  
кроткая одержимость  
выстроит мост над бездной  
каменный и небесный.

Владимир Батшев

## Белым по черному

*Роман\**

MÜNCHEN. РОМАН НИКОЛАЕВИЧ ОЛОНЕЦКИЙ

Князь Олонецкий-старший отложил в сторону «Возрождение» – умер князь Кудашев (вздорный был человек, хотя многие так не считали), князь Голицын отказывается от дуэли с Полем де Касаньяком, тот в ответ ругается в газете... Господа, полно! Как можно...

Вот у него сегодня серьезный разговор с незнакомым человеком.

Человека прислал Роману Николаевичу генерал Бискупский. В письме сообщалось, что бывший красный командир авиационной части бежал два месяца назад на самолете в Польшу, откуда смог перебраться в Германию. Генерал просил побеседовать с перебежчиком. Его уже допросили и поляки, и немцы, он рассказал всё, что знал. Но генералу интересно мнение князя – как независимого наблюдателя, а значит, объективного.

Хотя какая может быть объективность от беседы с человеком с той стороны? У нас у всех предвзятое отношение к ним – или в сторону восторга (они – антибольшевики, значит, они с нами!), или в сторону подозрения (еще один агент ГПУ!).

И вот они сидят в русском ресторане, в углу, – пожилой эмигрант и относительно молодой, лет 35-40, новый эмигрант.

– Что будете пить? – с улыбкой интересуется князь, заранее зная ответ. И не ошибается.

– Водку, если позволите.

– Позволю, – кивает головой Олонецкий и делает заказ подошедшему официанту.

– Графинчик? – уточняет тот.

– Да, конечно, – а сам ловит себя на мысли, что водку он не пил давно.

Непросто передать в двух словах все сложные и бесчисленные впечатления, которые охватывают князя при первом знакомстве с человеком, пришедшим «оттуда». Наверно, у собеседника впечатления тоже не просты. Они охватывают всю гамму чувств, от изумления до горечи отчаяния. Стоя на пороге «того» мира, который еще свеж перед глазами, хочется выразить свои впечатления скорее, пока будни

---

\* Продолжение. Начало см.: НЖ, № 317, 2024.

повседневной жизни еще не сгладили резкой смены ощущений. Они могут быть достаточно интересны и эмигрантам, а может быть, даже и полезны.

– Будьте здоровы, – чокаются собеседники.

– Селедка хороша, – замечает князь.

– Огурчики – как у нас дома, – отмечает перебежчик.

– Ну-с, какое ваше первое впечатление от нашей эмиграции, господин Ильин? – вытирает рот салфеткой Олонецкий.

Ответ готов:

– Раньше мне казалось, что эмиграция активно борется с коммунизмом...

Олонецкий улыбается.

– А теперь?

– А теперь я вижу, что борьба против коммунизма не составляет «первой необходимости».

Улыбка сходит с лица князя.

– «Не составляет необходимости»? А почему она должна составлять первую необходимость?

– Вот-вот! – оживляется собеседник. – Эмигранты уже более десятка лет по условиям своей жизни не видят коммунизма «над своей кроватью». Для нас же, «советских», как называют себя беспартийные советские граждане, – это ощущение покрывает всё остальное.

– Почему?

– Потому! Там теперь нельзя жить ни минуты, не остерегаясь, не защищаясь от вездесущего «коммунизма»... а получение пищи, сохранение жилища, воспитание детей! – всё это связано с необходимостью «обойти» какой-нибудь «закон» или «постановление» власти, или нарушить «коммунистический образ мыслей». И тем самым всё население, все «советские», от мала до велика, чтобы не погибнуть (ибо коммунистическая власть не интересуется сохранением жизни своих граждан), должны находиться постоянно настороже, постоянно в борьбе против того или иного закона или действий власти. Вы позволите?

– Да, пожалуйста.

Ильин наливает и опрокидывает содержимое рюмки, пьет – как воду.

Закуска съедена. Олонецкий подает официанту знак.

– Сейчас принесут рассольник с грибами. Я люблю его, потому заказал. Вы не против?

– Нет-нет! Так о чем я? Да! Здесь – в эмиграции – отсутствие необходимости борьбы (или защиты) ясно ощущается. Оно приводит к совершенно непостижимой для нас, «советских», высокой политической оценке эмигрантами самого «состояния в эмиграции». Эмигранты сам факт эмиграции рассматривают как фактор, определяющий борьбу с коммунизмом.

– Вы так считаете?

– Да! Я три месяца в Европе, но уже видал множество людей, гордых своей «политической ролью», гордых сознанием, что «они никогда не служили большевикам» – как будто отсутствие этой «службы» может что-то дать для настоящего. Что значит для борьбы с коммунизмом сегодня ваше далекое прошлое? И не является ли сама непрерывная ссылка на это прошлое лишь огромной ширмой, прикрывающей пассивность сегодняшнего дня?

От супа шел аппетитный пар.

Ильин продолжал, словно читал доклад:

– Эмигранты не видят, что теперь коммунизм имеет совсем иную форму, чем двенадцать лет назад, что он ведет борьбу на иных путях. Коммунисты стараются очистить свой государственный аппарат от инакомыслящих, видя в каждом некоммунисте на государственной службе ослабление своей позиции. Коммунисты должны построить аморальное «коммунистическое общество». Но русский человек «там» вовсе не строит коммунистическое общество, и строить его не станет, да и не может. Именно потому коммунисты принуждены ссылать сотни тысяч непокорных крестьян, непрерывно «чистить» совучреждения, арестовывать и расстреливать.

– Вы ешьте, ешьте, господин Ильин. Я внимательно слушаю. И как советские люди относятся к нам, к эмигрантам?

Ильин откладывает ложку.

– Как к счастливым! Эмигрант – словно счастливец, который выиграл двадцать тысяч и может спокойно спать каждую ночь, не ожидая стука в дверь, он не должен страшиться каждого сказанного им вчера слова...

Олонецкий тоже откладывает ложку.

– Счастливцев... Ну-ну...

– Да, счастливцев! Счастливцев потому, что избавленный от ежедневного гнета коммунистической системы, от сыска, наблюдения, провокации и предательства, может свободно располагать своей мыслью, своим словом, своей энергией и всеми бесконечными возможностями (по сравнению с русскими людьми «там»), которые дает ему пребывание в цивилизованном и культурном мире – в том числе, для борьбы против коммунизма... А как эмигранты пользуются сейчас этим счастьем?..

Князь вместо ответа принимается за суп. Он любит такой суп. Собеседник следует его примеру. Наверно, суп нравится и ему. А почему бы и нет?

– Видите ли, – произносит князь, – всё, что вы говорите, – правильно. Но далеко от реальной жизни. Эмигрант – живой человек, ему надо работать, чтобы получать деньги, платить за квартиру, обучать детей в гимназии... И совершенно естественно, что лица, уже достигшие обеспеченного положения, прежде всего имеют общение с людьми

ми своего круга, то есть с теми, кто тоже достиг какого-то положения. С того момента, как вы начнете зарабатывать – скажем... 1000 франков, – вам придется бороться уже со следующим слоем...

– В каком смысле? – не понимает перебежчик.

– В том, что борьба пойдет не с коммунизмом, а за хорошие квартиры, обеды в хорошем ресторане, новые автомобили...

– Вы делите эмиграцию по тому уровню жизни, которого она достигла...

– А как иначе?

– Вы позволите?.. – с дрожью в голосе спрашивает Ильин, берясь за графинчик.

– Наливайте, наливайте. Я давно не пил водки и пью ее с удовольствием. Вот нам уже несут жареную утку. Здесь ее готовят отменно.

Они снова выпивают и принимают за птицу.

– Очень вкусно, – хвалит Ильин.

Олонецкий только кивает головой, занятый едой.

Ильин смотрит на князя и думает, что вот сидит перед ним старый человек, не иначе «белой акации цветок эмиграции», типичный старорежимный чиновник, и в его лице смотрит старый мир, мир 1912-13 годов, мир, не знающий еще коммунистической революции, ГПУ, советской каторги, «социалистического строительства» и «коллективизации».

Как будто бы теперь уже не появились в Европе посредники, предлагающие для анатомических музеев черепа расстрелянных в подвалах ГПУ; как будто бы в России не вырыты и не опорожнены цинковые гробы для пополнения ресурсов «пятилетки»; как будто бы зерно, заваливающее иностранные рынки, не всходит на костях и трупах сотен тысяч сосланных крестьян, как будто бы людей не арестовывают за упоминание Христа Спасителя, а Симонов монастырь еще не взорван динамитом... И в этот момент «делить» людей по их материальному положению и думать о «борьбе» за франки, динары, прибыли и проценты..

Но князь прекрасно понимает своего неожиданного собеседника.

– Вы еще мало живете в Европе. Пройдет какое-то время, и вы убедитесь, что «здесь» действительно прежде всего существует узаконное мною «деление» и идет почти исключительно борьба за материальное благополучие сегодняшнего дня. Всё остальное – на «втором плане». Кстати, мы не боимся большевиков. В статье одного талантливого русского публициста мне попалось соображение о том, что «человек, скопивший 1000 франков и положивший их в сберегательную кассу, уже не может быть коммунистом».

Ильин отрывается от утки.

– Какая страшная ошибка! У нас «там» дело понимается как раз

наоборот: человек, дорожающий своим материальным положением или своим положением вообще, уже рассматривается его товарищами-антикоммунистами с подозрением, ибо гораздо легче, чем другие, может быть подкуплен властью. Ведь коммунистическая партия сегодняшнего дня – это вовсе не группа «карбонариев» или «комитаджей», ищущих, где бы что экспроприровать. Это огромная многомиллионная организация, крупнейшая рабовладельческая «компания», какую только знала история; это трест преступников, располагающий огромными ресурсами России.

– И что же? – любопытствует князь, гадая, кто же его собеседник – наивный офицер или агент ГПУ.

– А то, что в глазах московских партийцев эмигранты, ищущие материального благополучия, в крайнем случае представляются «вышедшими из игры» – потерявшими свое политическое лицо, в худшем же – людьми, с которыми можно дела делать.

Олонецкий хмыкает – ну и загнул!

– Буду откровенным. На меня первое столкновение с бытом эмиграции произвело глубокое впечатление. Как бы из могилы (для нас это действительно – «из могилы») встала прежняя российская действительность. Люди того же прежнего «петроградского» облика, помещенные на улицы европейских городов, те же разговоры – о закупках, праздниках, семейных неудачах и успехах, которые для нас сохранились только в невозвратном прошлом. А здесь какое-то болезненное стремление «воссоздать» прежнюю российскую действительность, сейчас, здесь, за границей, любой ценой, любыми средствами. Но русский быт, с его многими особенностями, нельзя восстановить полностью, без «помощи» России, т. е. без какой-то «связи» (пускай невольной) с ее порабителителями. «Марья Ивановна, бегите скорее в магазин... – услышал я однажды, – наконец, прибыли настоящие русские грузди... Уж возьмем побольше – ох, как я свое русское люблю, как же и не купить...» И грузди – а за ними клюква, балычок, икорка – приобретаются для «восстановления» здесь российской действительности....

Олонецкий нахмурился.

– Чем же плохи грузди? К водочке в самый раз...

– К водочке – да. Я не о том. Всего этого «русского» не существует в природе. Русские грибки, соленья, варенья, икорка – не существуют. Существуют только продукты советского экспорта. Продукты, которые силой оружия и угнетения коммунистическая власть отбирает у русского народа и вывозит за границу для получения валюты, необходимой Коминтерну, ГПУ, Разведупру. Там сотни русских людей идут под расстрел и в ссылку, чтобы сократить этот экспорт, здесь сотни и тысячи русских людей – так же ненавидящих коммунизм – ищут этот товар, поднимая его цену, способствуя его сбыту, вовлекая иностранцев – только теперь по-настоящему привыкших к икре, балычкам и т. п. И в то время, как эмигрантские газеты

призывают иностранцев не покупать советскую нефть, советский уголь и лес – продукты каторжного труда, дающих силу компартии и за границей, и внутри СССР, – эмигранты-обыватели «восстанавливают» для себя былую российскую действительность, судорожно ищут на рынке настоящие русские грибки, маринады, икорку...

Олонецкий слушал внимательно, отложив нож и вилку. Он пытался понять собеседника. Ильин был в ударе:

– Для нас, «советских», истинная картина не теряется – и, проходя мимо магазинов, торжественно возвещающих «русские» продукты, я никогда не смогу забыть «тамошней» картины – страдания людей, эти продукты «для советской власти» принужденных добывать... На икре, конечно, нельзя вырезать надписи, как то делают советские подневольные люди там на бревнах, но эта «надпись» – пускай несуществующая – перед глазами каждого русского человека должна всегда стоять.

«Точно, агент ГПУ. Очень складно излагает, собака, как заученный доклад», – думал Олонецкий.

## МОСКВА, КРЕМЛЬ

– Не получилось с высылкой эмигрантов в 32-м году, когда организовали дело Горгулова, устроим из Югославии, их там очень много, и они чертовски активны, – надо, чтобы схватили за руку русского эмигранта, тогда будет прецедент. У короля Александра мало сторонников, а если его не будет, то новый король – малолетний Петр, за ним стоит регент. А регент – сторонник сближения с СССР. Он установит дипотношения с Москвой. И тогда мы уже сможем югославянскими руками давить эмиграцию. Ведь у нас будет договор!

– Да, – мечтательно произнес собеседник. – Такой бы договор с Францией...

– Будет, – пообещал Литвинов. – Теперь там у власти социалисты. А это почти наши меньшевики, то есть договориться с Леоном Блюмом можно.

Хозяин черного стола встал и произнес задумчиво:

– Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы.

## ПРЕССА

Вчера с Северного вокзала, в 8 час. 5 мин., И.А. Бунин с супругой, В.Н., отбыл в Стокгольм для участия в торжествах по поводу получения премии нобелевскими лауреатами. Проводы И. А. Бунина не носили официального характера. На вокзал приехали ближайшие друзья отъезжавшего.

Впрочем, была представлена и парижская русская общественность М.М. Федоровым и двумя представителями национальной организации скаутов. Поднося В.Н. и И.А. Буниным цветы, юная «герл-гайд» и скаут-мастер выразили им пожелания счастливого пути, благополучия и скорого возвращения.

И.А. Бунин, видимо, весьма тронутый, произнес короткое слово и поцеловал юных скаутов.

В группах, приехавших проститься с В.Н. и И.А. Буниными были: Б.К. и В.А. Зайцевы, баронесса Врангель, М.А. Алданов, Б.А. Лазаревский, П.А. Ни-лус, Н.Я. Рошин, М.А. Струве, Л.Ф. Зуров, профессор Ельяшевич, Н.И. Куль-ман, В.В. Руднев и др.

*«Возрождение» (Париж), 4 декабря 1933*

### **В защиту Димитрова, Торглера, Попова и Танева**

Международный комитет по оказанию помощи жертвам фашизма опубликовал в «Юманите» воззвание в защиту лейпцигских обвиняемых.

Комитет призывает создать немедленно мощный международный единый фронт для борьбы с преступной фашистской юстицией.

В воззвании говорится: «Необходимо организовать собрания и демонстрации во всех странах и местностях. Необходимо при помощи многочисленных писем, телеграмм и делегаций выявить волю масс, как это сделано в САСШ. 19 декабря должны быть проведены везде международные демонстрации. Для подготовки демонстраций созданы комиссии во всех странах».

С другой стороны, Комитет борьбы за освобождение 4 невинных революционеров призывает трудящихся подписаться 10 декабря под петициями, требующими их освобождения. Вчера уже получены 43 списка с 1500 подписями. 14 декабря в Парижском районе состоятся 20 митингов в защиту лейпцигских подсудимых.

*М. Кольцов «Правда» (Москва), 10 декабря 1933*

### **Чудовище озера Лох-Несс**

#### *Свидетельство Гудбоди*

Известный шотландский спортсмен Гудбоди подтверждает своим свидетельством существование какого-то диковинного зверя в водах Лох-Несса.

Гудбоди рассказывает: 30 декабря, в сопровождении своих двоих дочерей, он ехал на автомобиле в двух километрах на восток от порта Аугустус (северная часть) с надеждой увидеть чудовище. Вскоре после полудня Гудбоди, к величайшему удивлению, увидел что-то на поверхности воды: ему показалось сперва, что это поплавки громадной рыбы, передвигающейся в сторону, т.е. на север. Потом в великолепный полевой бинокль, который был при них, свидетель и его дочери совершенно ясно рассмотрели что-то, что они принимали за поплавки, – в действительности горбы.

Странное существо, находившееся на расстоянии 400 или 500 метров от берега, внезапно наполовину повернулось. Гудбоди убедился, что внешность чудовища никоим образом не совпадает с описаниями, появлявшимися до сих пор в газетах. Шотландец насчитал по крайней мере 8 горбов, а одна из его дочерей утверждает, что их девять. Голова животного маленьких размеров. Она, точно на палке, торчала над водой – на длинной тонкой шее.

Гудбоди считает, что часть животного, которую он видел, имела приблизительно 5 метров в длину.

### **Чудовище сфотографировано?**

Объяснения очевидца подтверждает также лудильщик Ивернеса, который увидел животное около Юкихкастля. Наконец, три жителя Глазго, слу-

жащие «Шотландского кинематографического общества», заявляют, что им удалось сфильмовать чудовище вчера и что они собираются продемонстрировать снятый фильм в двух кинематографах Глазго на этой неделе.

### Капкан

В том месте, где был снят слепок со следа, оставленного в болотистой почве, по предположению, чудовищем, скрывающимся в водах Лох-Несса, Весерель и его сотрудники поставили капкан, в который, однако, странный зверь не попался.

### И в Испании свое чудовище

В газете «Энтразижан» помещена телеграмма из Мадрида от 1 января о двойнике знаменитого чудовища из Лох-Несса, появившемся на побережье Средиземного моря, около Валенсии. Его видели в разных странах и, в конце концов, поймали посредством крюка. Чудовище, похожее на кита, – громадная рыба длиной в 4 метра, принадлежащая к породе, до сих пор неизвестной. Пленница послана в океанографический музей Мадрида, где будет подвергнута внимательному обследованию.

\* \* \*

Экспедиция газеты «Дейли Мэйл» нашла на берегу озера еще один след допотопного чудовища, привлекающего в Шотландию многие тысячи туристов и оживившего до небывалого уровня торговые дела всех селений в районе Лох-Несса. След этот найден одним местным чиновником, который поспешил сообщить об открытии следопытам из экспедиции газеты. Новый след зверя совершенно совпадает по своей форме и размерам с другими, найденными дней десять назад.

Специалисты его осмотрели и утверждают, что след естественного происхождения. Они считают эти отпечатки отпечатками допотопного животного, диплодока. Таков результат сравнения с лапами животных, находящихся в естественно-историческом музее в Лондоне.

Впрочем, директор лондонского зоологического сада придерживается иного мнения. Он убежден, что в шотландском озере нет никакого доисторического животного, а туда какими-то путями попал просто-напросто большой морж.

*«Возрождение» (Париж), 1934*

PARIS. 6 ФЕВРАЛЯ 1934. МИШЕЛЬ

О, какое счастье – мой, мой личный автомобиль! Мой собственный, я его выкупил и езжу не на хозяйском, а на своем! И какая экономия – я теперь плачу только за место в гараже.

А те деньги, что раньше уходили на кредит, теперь можно откладывать на отпуск, поедем с Жанной к морю, не на Ла-Манш, а в Кольюр, – недавно пассажиры говорили, что это самое хорошее место на побережье; мы четыре года не были на море, последний раз ездили в Туке, там много русских отдыхает, несколько генералов, но Жанна тоже хочет поехать в Кольюр: она прочитала о нем в женском

журнале; поедем на собственном автомобиле, снимем комнаты – знакомый шофер, который отдыхал в прошлом году, дал адрес, рассказывал – очень теплое море в сентябре. А стоянка для машин? Конечно, конечно, и комнаты снимите в домике на берегу – метров двести от моря, засыпать под шум прибоя...

Ага, первый клиент моего собственного автомобиля. Куда везти? Вокзал. Хорошо. Садитесь. Едет куда-то. Воскресный отдых, не иначе. Или к подружке. Опасается, что опоздает на поезд. Не дрейфь, друг, не опоздаешь, моя машина имеет хорошую скорость. Тьфу, как по-русски правильно? У моего хорошая скорость. Тьфу, что за чепуха! У автомобиля хороший новый мотор, вот как бы надо сказать. Чего он волнуется? Нервы никуда не годятся. Воскресные поезда на всех парижских вокзалах отходят каждые двадцать минут. Три поезда в час. Вот он, твой вокзал. Спасибо, мсье.

Новый клиент. Куда везти? Монмартр. Поехали. Куда конкретно? Не знаю такой улицы, они все узкие, короткие, запутанные, у меня есть карта, посмотрим, если сразу не найдем.

...Какой-то иностранец останавливает его.

– На площадь Согласия! – тоном приказа требует он.

Мишель качает головой.

– Там стреляют, мсье. Там опасно.

– Я журналист! Плачу по двойному тарифу!

Шофер пожимает плечами – кто устоит против таких предложений?

На площади действительно что-то происходит. Конные гвардейцы в стальных шлемах расчищают сквер. В центре за обелиском горит автобус. На другой стороне, у Тюильри, собралось несколько тысяч человек. Журналист исчезает в толпе.

Мишель вылезает из машины, запирает ее и прислушивается к крикам. Оказывается, это не фашисты, а коммунисты. Когда полицейские теснят их вниз, они начинают забрасывать полицию камнями и кирпичами. Мост через Сену, ведущий от площади Согласия к парламенту, запружен огромным количеством конных гвардейцев, щелкавших затворами винтовок, за ними стоят полицейские и пожарная команда.

А тут кто? Несколько групп пытаются продвинуться к мосту по набережной от Лувра, но два пожарных шланга вынуждают их обратиться в бегство.

Около восьми часов пара тысяч ветеранов войны из Union Nationale des Combattants строем выходят на площадь и маршируют от Рон-Пуан к Елисейским Полям. Они идут стройными рядами под огромными трехцветными флагами. У моста их останавливают, лидеры начинают переговоры с полицейскими чинами.

Площадь заполнена людьми. Первые выстрелы Мишель не слышит. Но стоящая недалеко женщина падает с окровавленным лицом.

Потом он слышит стрельбу, доносящуюся с моста и противоположного берега Сены. Кажется, стреляют из пулемета. В ответ толпа врывается на площадь. Вскоре вся площадь в огне, из министерского здания идет густой дым. В ход пустили пожарные шланги, но люди стоят слишком плотно, чтобы их можно было рассредоточить.

Стрельба продолжается, пока конная гвардия не одерживает верх. Несколько раз площадь Согласия переходит из рук в руки, но ближе к полуночи полиция уже контролирует ситуацию. В какой-то момент – около десяти часов – толпа, которая к этому времени еще в ярости, но, очевидно, осталась без лидеров, пытается штурмом взять мост. Часть народа пробирается по набережным, где деревья служат хорошей защитой, часть бешено атакует площадь.

«Если они пройдут по мосту, – подумал Мишель, – они перебьют всех депутатов Национального собрания.» Но смертельный огонь – снова пулеметный – остановил толпу, и через несколько минут люди бросились врассыпную.

Вскоре доносится лишь редкая стрельба, и через десять минут Мишель возвращается к своему автомобилю. Вовремя – трое подозрительных типов в надвинутых кепках стоят возле машины.

Когда Мишель открывает дверцу и садится на сидение, они исчезают в темноте.

Даладьё, строивший из себя сильного человека, ушел в отставку. Он сделал заявление: «Правительство, на котором лежит ответственность за порядок и безопасность, отказывается обеспечивать их исключительными мерами, которые могут привести к дальнейшему кровопролитию. Оно не желает использовать солдат против демонстрантов. Поэтому я вручил Президенту Республики заявление об отставке кабинета министров».

Представьте себе Сталина или Муссолини, или Гитлера, не решающихся бросить войска против толпы, которая пытается свергнуть их режим. Возможно, что непосредственной причиной вчерашнего ночного бунта и вправду явился скандал с финансистом Стависким. Но мошенничество Ставиского просто продемонстрировало разложение и слабость французской демократии. На самом деле Даладьё и его министр внутренних дел Эжен Фро выдали U.N.C. разрешение на демонстрацию. А обязанности были отказать. Они должны были еще рано вечером иметь под рукой достаточное количество конных гвардейцев, чтобы рассеять толпу и не дать ей набрать силу. Но уйти в отставку сейчас, подавив мятеж правых – а мятеж был именно правых, – это либо полнейшее малодушие, либо глупость.

«Интересно, каким образом коммунисты оказались этим вечером по одну сторону баррикад с явными фашистами?» – думает Мишель. Он вылезает из машины и идет по набережной – интересно, что на другой стороне? Почему парижане продолжают волноваться?

Шум и крики заставляют обернуться. Первое, что он видит, как неизвестные люди толкают его автомобиль к воде. Они кричат, смеются и продолжают толкать машину к краю набережной. Неужели...

Мишель подбегает к краю набережной – задние колеса автомобиля висят над водой. Хорошо, что здесь неглубоко, – мелькает в голове. Его хватают за плечи, оттаскивают от воды, разворачивают к набравшей толпе. Озлобленные лица, перекошенные рты. Местный заводила и смутьян Поль Гранже.

Мишель отталкивает его от себя.

– Руки прочь! – громко говорит тот.

Нападавший оборачивается за поддержкой к толпе.

– Он не захотел вступить в наш профсоюз! – кричит Поль. – Я знаю таких – он фашист, он белый! Они все фашисты!

– Какой белый! О чем ты?

– Он белый, он воевал против красных. Против коммунистов. Он за фашистов. Он против Советского Союза, я знаю.

– Погодите! – раздается в толпе. – Я его тоже знаю! Он шофер. Какой он фашист? Он живет в соседнем доме.

– Да, шофер, – огрызается Поль. – Шоферы тоже бывают фашистами. Он не вступил в наш профсоюз. Он не дал денег на помощь революционерам. Он не хочет помогать борцам против фашизма. Значит, он вместе с ними!

Мишель стоит как оплеванный и тупо смотрит на обступивших его рабочих.

Все слова пропали. И французские, и русские. Слов не осталось в его голове.

– Ты, Гранже, бездельник... Ты нигде не работаешь, ты только кричишь... А я – рабочий, – растерянно произносит он. – Шофер – не буржуй и не фашист, а такой же рабочий человек. Я десять лет выплачивал кредит за машину. А теперь вы ее столкнули в Сену. Вы враги людей. Машина – мой кусок хлеба. А вы отняли у меня мой кусок хлеба.

#### PARIS. 7 ФЕВРАЛЯ 1934. АРТУР

Я старательно записывал события этого странного и исторического дня, поэтому могу точно рассказать всё, что было, – видел своими глазами.

Демонстрации, происходившие в Париже, к началу ночи приняли характер восстания.

*19 часов.*

На площади Согласия собралось 10000 человек. Со всех концов собраны полицейские силы и Республиканская гвардия для охраны Палаты депутатов. Демонстранты опрокидывают два автобуса и поджигают один из них. Республиканские гвардейцы в конном строю

атакуют толпу. Много раненых. Бригадир тяжело ранен ударом ножа. Демонстранты ранят лошадей гвардейцев, подрезая им жилы. Среди демонстрантов – коммунисты, которые явились первыми, члены крайне правых организаций и бывшие комбатанты.

*19 час. 40 мин.*

300 демонстрантов, собравшихся в район Риволи-Севастополь, бьют стекла магазинов и валят фонарные столбы.

*20 часов.*

500 демонстрантов, собравшихся на ступенях Большой Оперы, разогнаны полицией.

100 членов «Французской солидарности» двигаются от района Ришелье-Друо к Большой Опере. Они остановлены на пути полицейским заграждением. В то же время на площади Согласия полицейское заграждение снесено демонстрантами. Раздаются предупредительные сигналы горнистов. Республиканские гвардейцы в конном строю с саблями наголо атакуют толпу.

Одновременно 500 демонстрантов идут со стороны Дворца Правосудия из Латинского квартала. На бульваре Сен-Жермен происходят крупные столкновения. Производятся многочисленные аресты. Среди арестованных – депутат Десар, которого освобождают после того, как выясняется его личность.

Демонстрантам удается установить баррикаду на Елисейских Полях из скамеек, деревьев и решеток. Конные республиканские гвардейцы вновь с саблями наголо атакуют толпу, чтобы освободить подступы к мосту на площади Согласия. Пожарные готовят помпы, чтобы облить толпу, если ей удастся прорвать заграждения.

К этому времени ранено не менее 200 полицейских.

*20 ч. 10 м.*

Демонстрантам удается принудить к отступлению республиканских гвардейцев у моста площади Согласия. Демонстранты проникают на мост, они бросают камни в полицейских и наносят им удары. Демонстранты занимают половину моста. Устанавливается наскоро новое заграждение перед Палатой депутатов. Полиция и жандармы открывают стрельбу из револьверов по демонстрантам. По-видимому, среди полицейских царит растерянность. Четыре демонстранта ранены, из них один смертельно; он перевезен в госпиталь Божон. Ранено также много полицейских.

Полицейские власти официально сообщают, что демонстранты у площади Согласия стреляли первыми и что силы, охраняющие мост, открыли стрельбу лишь в ответ на выстрелы толпы. Всего у моста площади Согласия было произведено не менее 200 выстрелов. Директор муниципальной полиции Маршан, руководивший защитой Палаты депутатов, тяжело ранен в голову куском железа, брошенным одним из демонстрантов. Его перенесли в лазарет Палаты депутатов.

*20 час. 35 мин.*

Полицейские заграждения в районе улиц Бельшасс, Гренелль прорваны колоннами бывших комбатантов, число которых достигает не менее 2000. Бывшие комбатанты направляются к Палате депутатов.

В районе Отель де Вилль полицейским силам удастся оттеснить демонстрантов.

*21 час.*

Демонстранты поджигают второй автобус на площади Согласия.

Все полицейские силы сосредотачиваются вокруг Палаты депутатов для ее защиты. Демонстранты поют «Марсельезу».

*21 час. 45 мин.*

14 грузовиков перевозят на Кэ д-Орсэ отряд колониальной пехоты.

В районе улицы Бургонь демонстранты прорывают заграждения. Новые конные атаки с саблями наголо. Демонстранты оттеснены.

Лишь только закончилось заседание Палаты, во всем здании дворца потушили электричество. Депутаты, журналисты и лица, бывшие в Палате, вышли через задние двери.

*1 час. 15 мин.*

Толпа атакует морское министерство. Демонстранты поют «Марсельезу». Сбивают фонарные столбы. Пытаются выломать ворота. Засевшие в министерстве пожарные обливают нападающих из насосов.

Группа демонстрантов направляется на улицу Сен-Флорантен. Демонстранты ударяют в двери министерства на этой улице сбитыми ими фонарными столбами. Демонстранты бросают через разбитые окна нижнего этажа куски горящего дерева. В министерстве вспыхивает пожар, который, однако, быстро удается потушить.

Демонстранты опрокидывают автомобили пожарных.

*22 час. 30 мин.*

Республиканские гвардейцы с саблями наголо атакуют толпу на улице Руаяль и после упорной схватки оттесняют ее на площадь Согласия. На улице Руаяль происходит крупное столкновение. Много раненых, все – в ноги.

По последним сведениям, во время столкновения убито 15 человек и ранено несколько сотен.

Поздно ночью председатель совета министров Даладь обратился с кратким воззванием к народу. Сообщив о происшедших вчера в Париже демонстрациях и беспорядках, он отдал должное самоотверженности защитников порядка и призвал население к сохранению спокойствия и к выдержке. В воззвании он подчеркнул, что первые выстрелы из револьверов были сделаны из рядов демонстрантов. Поздно ночью распространился слух, что сегодня в Париже будет объявлено осадное положение.

## PARIS. ВАРИАНТ ЭРЕНБУРГА

## На улицах Парижа

*По телеграфу.*

На том месте, где некогда стояла гильотина и свалилась голова последнего Людовика, выстроились сейчас «королевские молодчики». Один из них пронзительно кричит: «Да здравствует герцог Гиз!», другие затягивают «Марсельезу». Дело не в гербах и не в названиях. У этих рыцарей бурбонской лилии вполне прозаичный лозунг: «Да здравствует префект Киапп!» По улице Руаяль идут толпы «патриотической молодежи». Маменькины сынки с руками в лайковых перчатках поджидают автобус, а потом начинают резать бритвами ноги лошадей, на которых смутно покачиваются неуклюжие тени национальных гвардейцев.

На углу молодой рабочий запел «Интернационал». Минуту спустя он уже лежит с рассеченной головой. Супруга г-на Киаппа позирует перед фотографами с христианской улыбкой: она перевязывает раны полицейским.

Буржуазия давно готовилась к этому. Подвернулся некто Ставицкий, «красавец Саша», по профессии финансист, по убеждениям – патриот, по несчастью – разоблаченный жулик. В очередном финансовом скандале оказались замешанными несколько депутатов радикальной партии. Тогда фашисты стали наспех разучивать роль оскорбленных пуритан. Покровители Устрика и прочих мошенников, опытные рецидивисты, продажные редакторы десятков газет, которые продаются по полосам и по строчкам, – вся эта проворная братия завопила: «Долой воров!».

Две ночи подряд люди стреляли из револьверов, ломали деревья, строили баррикады, били себя в грудь, а других по голове. Впереди шли члены «Союза бывших участников войны». Председателем этой благородной организации до недавнего времени состоял один из сподвижников Ставицкого Анри Росиньоль. Но газеты стыдливо молчали о Росиньоле. Инвалиды кричали: «Мы хотим, чтобы страной управляли честные люди». Инвалиды были в размолвке с жизнью. Они потеряли на войне то руку, то ногу, то глаз. Другие выиграли на войне миллионы. Инвалиды оказались сором, который забыли подмести. Они храбро шли штурмовать Палату депутатов. Они не подозревали, что каждый их шаг продиктован всё теми же старыми приятелями – фабрикантами пушек, газов и самолетов.

На улице бесновалась буржуазная чернь. Один за другим они сожгли автобусы, они ломали скамейки, фонари. Нарядная дамочка в меховом пальто визжала: «Долой воров! Да здравствует Киапп!» Это происходило возле обувного магазина Пине. Кто-то из защитников поруганной морали своевременно разбил витрины. Дамочка увидела туфли. В ней проснулась великая стихия воровства, и с криком «Долой воров!» она засовывала под свое меховое пальто краденые туфли.

Еще пусты вечером улицы. Закрыты многие театры и кино. Прохожие нерешительно останавливаются возле разбитых витрин или поваленных деревьев. Только один дом освещен. У подъезда – вереница прекрасных автомобилей. На фасаде изображен сфинкс. Это огромный дом терпимости, и здесь храбрые вояки, гордые победители в нежных объятиях отдыхают от боевых трудов.

*Илья Эренбург. «Вечерняя Красная газета» (Ленинград)*

## ПРЕССА

**Советское глумление над жертвами 6 февраля**

«Красная газета» от 10 февраля 1934 печатает сообщение «На улицах Парижа» с подзаголовком «по телеграфу». Несмотря на понятную брезгливость, мы всё же приводим это «сообщение по телеграфу» в части, касающейся французов, – полностью, как документ, свидетельствующий о совершенно разнузданном и до крайности наглом советском глумлении над Францией, над французами и над жертвами 6 февраля в Париже:

Можно ли гаже и подлее оклеветать французов, бывших 6-го на парижских улицах, во главе с «Союзом бывших участников войны»? Лучшие сыны Франции, ее честные фронтовые солдаты, те из них, кто пал под пулями в день прискорбных событий 6 февраля, оказываются только «сором, который забыли подмести».

Вся эта печатная мерзость свидетельствует, разумеется, только о паскудстве самих советских тварей. Она свидетельствует также о неподдельных чувствах советчиков к своей новой «союзнице» Франции и к французам.

Любопытно вместе с тем, что автор этого «сообщения по телеграфу» – мелкая советская потаскуха *Илья Эренбург* – судя по тому, что сообщение подписано «Париж, 9 февраля», *продолжает благополучно пребывать* во Франции до сегодняшнего дня.

*«Возрождение» (Париж)*

**Чудовище озера Лох-Несс**

Чудовище озера Несс впервые показалось перед публикой в ночные часы. По-видимому, лунный свет гонит допотопного зверя на прогулки. Под Новый год его видели несколько человек, находившихся в доме священника Росса. Вот что рассказывает он сам об этом явлении: «Я видел большое животное на поверхности всего в десяти метрах от берега. При лунном свете его черное тело блестело. Оно шевелилось и, по-видимому, опускало голову на длинной шее в воду. К несчастью, один из моих гостей удивленно и громко вскрикнул и испугал монстра, мгновенно скрывшегося под водой».

Вчера в Локзон прибыл запечатанный ящик, содержащий в себе отпечатки следов допотопного зверя и камень с царапинами от его когтей. Он передан профессору Кальману, хранителю зоологического отдела естественно-исторического музея. Эти следы будут изучены специальной комиссией ученых. От их заключения будет зависеть отношение властей к вопросу о чудовище: если ученые найдут, что след действительно принадлежит живому доисторическому существу, тогда правительство ассигнует нужные средства и снарядит экспедицию на озеро Несс. Об этом официально заявил сэр Джофрей Коллинс, министр по делам Шотландии.

*«Возрождение» (Париж)*

\* \* \*

В связи с появившимися во французской печати утверждениями, будто группа лиц разной национальности, арестованных в Париже по обвинению в шпионаже, занималась им в пользу СССР, ТАСС уполномочен заявить со всей категоричностью, что эти утверждения являются ни на чем не основанным клеветническим вымыслом.

*«Правда» (Москва), 30 марта*

## PARIS. КРАСИЛЬНЯ ПРОЦЕНКО

Варфоломеев пришел в красильню раньше всех и уселся за стол, чтобы в ожидании товарищей изучить свежее «Возрождение». Не успел дочитать до конца передовую Семенова, как пришел Кальчужный.

– «Возрождение» изучаешь?

– Изучаю, – согласился друг и товарищ.

Кальчужный переодевался в рабочую блузу.

– Про советских шпионов изучаешь? Про баронессу Шталь, наверно? – он подмигнул.

Варфоломеев усмехнулся.

– Про нее, совдеповскую паскудину. Хитровка! Наверно, красotka...

Кальчужный подошел с фартуком, у него каждый раз возникали проблемы с застежками.

– Помоги.

Варфоломеев помог застегнуть фартук.

Кальчужный взял газету.

– Ну и что ты думаешь об этой бабенке? Жаль, нет фотографии...

– Ты знаешь, я готов согласиться с поклонниками госпожи Шталь (есть и такие), что она просто симпатичная путешественница и вечная студентка. Очень образованная, очень знающая и увешанная дипломами, как старые русские швейцары увешаны медалями. Такое впечатление может сложиться у наивных людей. Но только до тех пор, пока следствие не подойдет к сейфу «вечной студентки». Тут картина сразу меняется, и из сейфа сами собой выскакивают «недоуменные вопросы»: откуда деньги? откуда сбережения? откуда тысячи и десятки тысяч? Лидия Шталь так отвечает на эти вопросы: «Я была замужем за богатым крымским виноделом и помещиком. Я развелась с ним в Константинополе в 1921 году, и у меня осталось 100 тысяч франков и на 50 тысяч драгоценностей. С этими деньгами я приехала в Париж».

Кальчужный согласно кивнул:

– Тут, конечно, не всё верно. Допустим, муж при разводе подарил 100 тысяч и брильянты. Это редко бывает, но все-таки бывает...

– Случается. Но вот что сомнительно: развод состоялся в 1921 году в Константинополе. В это время «богатый крымский винодел и помещик» уже не был ни виноделом, ни помещиком, ни богатым, а был беженцем в Константинополе. – Варфоломеев потряс газетой. – Допустим, что беженец Шталь подарил бывшей жене 100 тысяч и брильянты, и с этими деньгами бывшая жена приехала в Париж. Ну, а дальше? В Париже она училась, жила, платила за квартиру, путешествовала и из этих же денег у нее осталось в сейфе 10 тысяч. Может ли так быть или не может?

– Думаю, что не может. С 1921 года одна квартира обошлась

тысяч в семьдесят, да издержки на жизнь, да образование, да путешествия... Каким же образом «еще осталось»?

Варфоломеев засмеялся:

– Вот-вот! Сама Лидия Шталь как будто чувствует, что арифметика не на ее стороне, и спешит добавить: «Я давала уроки. Мне покровительствовала массажистка. Я преподавала гимнастику, я вышивала по шелку, я переводила, я была дам де компанн»...

– Словом, тысяча профессий, и все из самых почтенных, эмигрантских. Целая тьма занимается этими ремеслами, но велики ли заработки переводчиков, массажисток, белошвеек и преподавательниц гимнастики? И можно ли, даже не путешествуя, а работая день и ночь, относить десятки тысяч сбережений в банк? Пусть ответят на этот вопрос наши беженцы и эмигранты,

– Я позволю себе коснуться другой стороны дела, тоже очень интересной. Обрати внимание, какая цепь случайностей выпала на долю вечной студентки и беззаботной путешественницы. Можно сказать, не жизнь, а тысяча и один случай. – Варфоломеев стал загигать пальцы. – *Случайно* разоренный винодел остался богатым. *Случайно* подарил 100 тысяч. *Случайно* вечная студентка познакомилась на лекциях с профессором Мартэном, который *случайно* оказался переводчиком морского министерства. *Случайно* студентка сделалась любовницей профессора...

– Да, любовницей, но не содержанкой!

– Пусть так. Но! *Случайно* свои *случайные* сбереженья она хранила в одном сейфе со сбережениями профессора.

– Словом сказать, *случайность* так преследует Лидию Шталь, что даже при своей *случайной* поездке в Гельсингфорс она *случайно* познакомилась и сошлась с дамой, которая тоже...

– *Случайно!*

– Именно! *Случайно* оказалась шпионкой... Как хотите, а это слишком. Перебор, дорогой. Это уже нечистая работа. И почему вместо всех этих *случайностей* не допустить одну: Лидия Шталь *случайно* сделалась советской шпионкой?

Проценко, слушавший диалог, только захлопал в ладони.

– Я думаю, друзья, она еще и шлюшка хорошая... Но теперь – за работу!

#### ОБЕД С ГЕНЕРАЛАМИ. АВГУСТ 1934

Роман Николаевич Олонецкий уже стал забывать об обществе АУФБАУ, в котором состоял десяток лет назад и которое распалось после смерти Шойбнера-Рихтера. Однако его бывшие члены не забывали князя, он это понял, получив приглашение на обед в одном из мюнхенских ресторанов.

Он пришел вовремя, его ждали – Бискупский, полковник

Грюневальд из Генштаба и некий фабрикант, имя которого князь, признаться, забыл.

Роман Николаевич хмыкнул – штатский среди вояк.

С опозданием появился герой прошлой войны генерал Леттов-Форбек, он вошел пружинистой походкой бывшего и бывалого кавалериста.

– Привет, тезка, – фамильярно приветствовал промышленника.

Полковник, один из бывших подчиненных Леттов-Форбека, разумеется, в другом чине, ныне служил в штабе то ли Фрича, то ли Бломберга и был в курсе всех последних новостей.

– Ну что решили делать с этими болванами штурмовиками? – намекая на то, что вопрос решался наверху, поинтересовался Леттов-Форбек, заправляя салфетку за воротник.

– Ничего, – пожал плечами полковник.

– Но их два миллиона!

– Поменьше. Объединят с армией. После ликвидации Рема это вопрос не актуальный...

– Ну, разумеется, Рем пытался вместо рейхсвера организовать «народную армию», что нарушало существующее равновесие фактических властных группировок. А Гитлер всё время напоминает о том, что он – простой солдат.

– Ефрейтор.

– Пусть ефрейтор. Это позволяет ему поддерживать ореол создателя народного немецкого государства, в котором он установил классовый мир.

– Но как же Версальский договор?!

Полковник с генералом переглянулись, и оба улыбнулись.

– Ну, Версальский договор нарушается уже не первый день...

Леттов-Форбек ухмыльнулся.

Когда в 1914 году в Европе началась война, английские и французские войска приступили к захвату четырех немецких колоний на африканском континенте. Особо жестокими были бои в бывшей Германской Восточной Африке. Полковник фон Леттов-Форбек, который командовал немецкими частями, сделал упор на партизанскую войну. Для транспортировки оружия, боеприпасов и продовольствия были рекрутированы 200 тысяч носильщиков из местного населения, и полковник не проиграл ни одного сражения. Когда он вернулся в Германию, то мог смотреть на всех с высоты своего седла: они проиграли, а он – нет. Они потерпели поражение, а он был *вынужден* сложить оружие. Его не победили англичане. Потому он с некоторой долей презрения поглядывал на тех, кто произносил: «мы воевали».

Новая власть произвела его в генерал-майоры. Отношение к ней у Леттов-Форбека оставалось нейтральным. Ну, власть и власть. Ну, социал-демократы. Завтра будет партия центра. Послезавтра еще кто. Нацисты же делали вид, что забыли о его существовании.

Заговорили о перспективах грядущей войны. Полковник считал, что главной движущей силой ее станут секретные агенты. Благодаря современной технике они располагают всевозможными приспособлениями и механизмами. Сигнализировать они будут инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами. Шпионы-резиденты могут подавать сигналы самолетам, поместив источник ультрафиолетовых лучей, скрытый в виде какой-нибудь безобидной посуды, вроде горшка, в глубине дымовой трубы. Посредством инфракрасных лучей можно среди бела дня, из гущи расположения неприятеля, подавать сигналы, видимые за много миль.

Специальные предприятия, руководимые артистами своего дела, которых в отдельных случаях придется освободить из тюрем, будут выпускать всё, начиная от фальшивых неприятельских денежных знаков, государственных бумаг и займов, до зажигательных снарядов. Будут изготовлены патроны с вложенными в них пробирками с бактериями или пустотельными пулями, начиненными бактериями, которыми можно будет издали обстреливать водные резервуары, заражая их возбудителями эпидемических болезней.

Вредители и шпионы-боевики вполне осведомлены о степени опасности порученного им дела. Многие из них будут пойманы, другие сумеют совершить порученное, но всё же будут пойманы и казнены. Некоторые из них сами покончат с собой, другие, пойманные на месте преступления, станут жертвами разъяренной толпы.

– Война формально объявлена не будет, так как внезапность нападения является необходимым условием ее успешности. Это считается так же более «гуманным», если рассматривать внезапность нападения как средство сократить срок войны. Внезапное нападение – быстрый и «почти безболезненный» удар ножом в спину – сократит сроки военных действий.

– Мало того, уменьшит испытания, которые предстоят гражданскому населению, и сократит огромные расходы, требуемые современной войной.

– Механизированной войной, – уточнил полковник.

В такой час начальник службы разведки должен быть достаточно умен, чтобы не забывать о неприятельской контрразведке.

Что уже известно неприятелю? Каковы его собственные слабые места?

В течение многих лет полковник оплачивал предателей неприятельской разведки – людей, которым та сторона вполне доверяет. В этой игре, основанной на продажности, может ли он быть уверен в своих ближайших сотрудниках? Он никогда слишком не доверял им, но всё же с некоторыми пришлось быть вполне откровенным. Он понимает, что новая бойня вызовет огромное возмущение во многих частях света. Только немедленный, явный успех, победа над противником и экономические достижения смогут уменьшить враждебную

на войну реакцию. Кампания пропаганды будет заранее подготовлена его специалистами: тщательно подобранные слова, выдернуты все белые нитки, целый водопад газетных сообщений, которые вскоре смогут восстановить «моральный фронт» войны.

– Если удастся провести основные операции и удары, то ничего не подозревающий неприятель в течение 48 часов будет разбит почти на 20-40 процентов. В этом внезапном нападении должны принять участие воздушный флот и наиболее подвижные части армии. Произойдут одна-две крупных битвы, в которых решающую роль должно сыграть разрушение неприятельских путей сообщения и последующее расстройство транспорта и мобилизации.

– Всё это может казаться весьма жестоким и бесчеловечным. Тем не менее в недалеком будущем все эти действия будут рассматриваться как методы «современной» войны и для них найдут те же оправдания, какие были найдены для всяких других видов ведения прошлых войн.

– Может и так, но я не вижу пока большого желания...

– О?

– Да, не вижу у новой власти желания привлекать старые испытанные военные кадры.

– Себя имеете в виду, конечно?

– Кого же еще? В первую очередь себя.

– Всё впереди. К тому же почти все они воевали.

– Господин Геринг – летчик. Маловато для оперативного мышления. Обзор – с высоты полета аэроплана. Ха-ха. А у ефрейтора тоже не может быть стратегического мышления. Хотя допускаю, господа, что личная храбрость... но это еще не всё...

– Говорят о планах...

– Говорят пока только о походе на Восток. Воевать с русскими? Еще Бисмарк предостерегал от подобного шага. И Великая война доказала его правоту.

– И что же?

– Надо возвращать колонии. Да-да! Наши колонии в Африке.

– Ну, тут вы специалист.

– Да! Я не стесняюсь оставаться специалистом по Африке. Я четыре года воевал в Африке с англичанами и не проиграл войну! Я знаю Африку и африканцев так, как мало кто знает. Знаю, как там бороться с любым противником.

– И в результате...

– В результате новая власть пока не заявляет, что хочет восстановить колонии. Заигрывают с англичанами. А Альбион всегда славился коварством. Обманут! Обязательно обманут.

– Но новая власть, как я понимаю, отрицательно относится и к идее возвращения императора.

– Увы! Впрочем, нам должно быть всё равно, что за окном, – монархия ли, республика, диктатура ли...

– Да, разумеется. Законно избранная власть. Национальные социалисты получили большинство в рейхстаге, а не захватили власть, устроив очередной путч.

– Как в двадцать третьем году.

– Да-да! Помните, князь?

– Как не помнить. Помню даже, как господин нынешний рейхсканцлер сбивал свои знаменитые усы моей бритвой.

Разговоры за обедом с Леттов-Форбеком и другими бывшими членами кружка АУФБАУ разбудили воспоминания о семнадцатом годе.

– Видите, рейхсканцлер наводит порядок. Перестреляли головушку этой коричневой шпаны... – заявил полковник.

– Но и генерала Шлейхера застрелили, и Бредова, – заметил Леттов-Форбек.

– Издержки производства, – ухмыльнулся фабрикант. – Зато и левых, коммунистов...

Полковник кивнул.

– А могло произойти обратное. Если бы победили коммунисты, то они не только коричневых, но и нас с вами поставили бы к стенке. Коммунисты оказались слабее. Коричневые сделали свое дело и стали требовать от Гитлера оплаты долгов. Они считали себя оплотом новой власти. Считали, что они привели национал-социалистов в рейхстаг. А он не посчитал необходимым расплачиваться.

Генерал фыркнул.

– Почему же? Он расплатился. Только другой валютой.

Присутствующие усмехнулись как по команде – острота понравилась.

– Да-да! Расплатился. Они ожидали министерских постов, государственных назначений, дотаций, пенсий, акций реквизируемых предприятий... Не знаю, о чем еще они мечтали! Мечтатели! А он расплатился с ними свинцом.

– Это хорошая валюта.

– Надежная.

– Действует замечательно. И на мечтателей, и на смутьянов, и на просто дураков.

– А как вы думаете, генерал, как подействует...

– Никак не подействует. Все останутся довольны.

– Не знаю, не знаю...

– Вы имеете в виду провинцию?

– Именно. Это в Мюнхене или в Берлине все довольны, а там...

– Настроение провинции очень интересно. И важно знать, как она реагирует на последние события. Не хотите ли узнать?

– Кто – я? Вы предлагаете устроить опрос населения? Как в Америке делает институт Гэллапа?

– Зачем опрос, просто поговорите с людьми в провинции. С разными людьми, разных классов.

## ПИСЬМО ЖАБОТИНСКОГО АРТУРУ

Дорогой Артур, вернемся к нашему разговору в бистро «Для приятелей»: можно ли, как ты надеешься, совместить активную деятельность в пользу сионизма с последовательным служением коммунизму. Если это возможно – нет никаких противоречий, но если нет, тогда...

Давай посмотрим беспристрастно на действительность, забудем, что пишущий эти строки не только против коммунистических методов, но и против коммунистического режима; более того, забудем об отношении коммунистов к сионистам в странах, где их преследуют.

Выразим свое мнение о коммунизме на основе двух его основополагающих принципов.

Отношение к капиталу: финансирование строительства в Палестине исходит на девяносто процентов из кармана людей среднего класса. Все фабрики в Палестине созданы на их деньги. Деньги на строительство Тель-Авива дал средний класс. И самые старые в стране сельскохозяйственные поселения созданы на деньги мелкой буржуазии и большого капитала, другая группа поселений, более поздняя (Месха, Седжера и другие), – на деньги барона Гирша; новые поселения – на деньги Керенга-Есод (Основного фонда). И снова – это деньги буржуазии. Факт этот может быть неприятным или нет, но факт налицо. А одним из ведущих принципов коммунизма является классовая борьба против буржуазии, и цель ее – покончить с буржуазией, после победы пролетарской революции, реквизируя всю ее собственность, большую и малую.

А это означает уничтожить единственный источник капитала для строительства Израиля. Коммунизм в силу своей природы стремится настроить народы Востока против европейских стран. Он видит европейские страны как «империалистические и эксплуататорские» режимы. Совершенно ясно, что коммунисты станут натравливать народы Востока против Европы. И сделать это они могут только под лозунгом национального освобождения. Они говорят им: «Ваши страны принадлежат вам, а не чужим». То же они неизбежно скажут и арабам, особенно арабам Палестины. Ибо в соответствии со стратегическим законом нельзя пренебрегать никакой армией, никаким борющимся движением, нужно бить противника в его слабом месте. Евреи слабее англичан, французов и итальянцев.

И снова я хочу подчеркнуть: я не говорю, что коммунизм злонамерен. Наоборот, я знаком с несколькими русскими коммунистами, которые питают симпатию к сионистам. Но симпатия не может изменить объективного отношения к сионизму. Принципиально коммунизм против сионизма.

Коммунизм не может не подкапываться под сионизм и не предоставить арабам возможность превратить Палестину в часть большого арабского государства. Он не может вести себя по-другому. Коммунизм стремится подточить и уничтожить единственный источник строительного фонда – еврейскую буржуазию, ибо основа его – принцип классовой борьбы с буржуазией. И поэтому оба эти движения несовместимы даже теоретически. Тот, кто хочет служить сионизму, не может не бороться против коммунизма. Весь процесс строительства коммунизма, даже если он происходит где-то там, на другом конце планеты, в Мексике или в Тибете, наносит ущерб строительству Земли Израиля. Каждый провал коммунизма – в пользу сионизма. Редко встречаются в жизни два так резко несовместимых движения.

Нет места понятиям «прежде» и «после». Если мы хотим прежде всего создать еврейскому народу государство по обе стороны Иордана, мы не можем оставаться нейтральными.

Как человек не может дышать в воде (любит он воду или нет), так сионизм не может существовать в атмосфере коммунизма. Если сионизм занимает в сердце первое место, нет в нем места прокоммунистическим тенденциям, ибо для сионизма коммунизм как удушающий газ, и только как к таковому можно к нему относиться. Или – или.

У каждого интеллигентного человека можно обнаружить массу всяких взглядов и вер. Поэтому посиди, подумай и выбери, какую из них ты предпочитаешь, какой хочешь служить, а ко всем остальным отнесись, как советская власть к идее пацифизма: если можно дать ему ход, почему бы и нет, если нет – создает сильную армию; склони голову перед одним идеалом. Человек может жить и без идеала – заработкам это не мешает, но с двумя идеалами может мириться только болтун.

Если ты выбрал коммунизм институт Гэллап иди с миром; если еврейское государство на земле Израиля – то твоя симпатия к коммунизму лишена смысла, и ты должен бороться с этим, покончить с этим, как и я.

Но я это делаю с удовольствием, а ты с сожалением, вот и все различия между нами. Есть только две возможности. Третьей не дано.

#### PARIS. АПРЕЛЬ. ВАРЛОФФ

Проверка отца Жоржа показала, что он действительно является бывшим армейским сержантом, работавшим в военном министерстве заведующим канцелярией. Варлофф запросил у Центра разрешение приступить к операции и ускорить вербовку. Он поручил Короткову оплатить покупку обручального кольца для невесты француза и пообещать ссудить деньгами в долг, что дало бы возможность молодой чете вступить в брак.

Варлофф самонадеянно ожидал из Москвы «добро» на начало операции, как вдруг один сотрудник «Сюрте женераль», который был советским информатором до предыдущего года, когда он не поладил с «легальной» резидентурой, решил возобновить контакт со своим советским куратором. Будучи начальником отдела по борьбе с наркотиками, он имел доступ к секретным служебным архивам. Это он сообщил советским о продажном министре юстиции и передал полицейские протоколы о похищении Кутепова.

А теперь этот информатор раздобыл еще один материал: «Сюрте женераль» получила от своего тайного агента из французской компартии сведения о том, что некий чехословак, проживающий в Париже и обучающийся в Сорбонне, является советским гражданином и агентом НКВД. «Сюрте» поручила одному молодому сотруднику записаться на тот же курс антропологии и познакомиться с подозреваемым советским агентом.

Как только Москва переслала Варлоффу сообщение «легально-го» резидента, он в мгновение ока понял, что «Сюрте» осуществляет

контрразведывательную операцию. Впоследствии он признал, что она была «блестяще задумана».

Центр распорядился прекратить вербовку француза и временно выслать Короткова из страны. Как оказалось впоследствии, операция с целью избежания хитроумно расставленной ловушки стала последним делом Варлоффа во Франции в качестве нелегала. Судьба вмешалась в ход событий и не позволила ему пробыть в Париже достаточно долго для выполнения задания по внедрению во «Второе бюро» французского Генштаба.

Он не успевает пройти и десяток шагов, как сзади раздается крик.

– Лева!

Варлофф не вздрагивает – многолетняя привычка дает себя знать: он никакой не Лева, а американский гражданин Уильям Гольдинг, – но голос нагоняет.

– Лева, да погоди!

Его хлопают по спине.

– Ты что же, не узнаешь старых друзей?

Варлофф лихорадочно роется в памяти – хотя какая лихорадки, никакой лихорадки, просто забыл, чей голос... оборачиваться или нет...

Он поворачивается.

Тьфу, хочется плюнуть. Неряшливо одетый незнакомец, без головного убора... Нет, знакомый. Это Верник, который работал пять лет назад в торгпредстве мелким клерком (как это по-русски?) и был постоянным собутыльником Праслова. Он знал Варлоффа как Льва Николаева, советника советского торгпредства, и не имел понятия о его настоящем имени, звании и положении в полпредстве.

Верник считался любимым собутыльником Юрки Праслова, резидента ГПУ. Но про Праслова он знал только, что тот – заместитель торгпреда, добрый и веселый пьяница.

– Хм... тебя трудно признать, – тянет время Варлофф.

– Да я Верник!

Варлофф кивает.

– Теперь точно признаю тебя, но ведь ты...

Верник шмыгает носом, кивает головой.

– Да, Лева, я сделал большую глупость – решил остаться в Париже, отказался вернуться в Союз, сделался невозвращенцем.

Глядя на его небритое лицо, Варлофф понимает, что жизнь Верника не баловала с тех пор, как он покинул свою работу.

– Может быть, по старой дружбе угостишь меня стаканчиком вина и мы поболтаем, – предлагает Верник с надеждой в голосе.

– Пойдем поболтаем, – соглашается Варлофф.

– А ты по-прежнему в торгпредстве, – утвердительно говорит Верник, заглядывая спутнику в глаза.

– Да, всё там же, – согласно кивает Варлофф. «Едва ли Верник

знает, что я – нелегал и американец, наверно, думает, что Николаев всё еще официально числится работником торгпредства.»

– Ну, заказывай, – разрешает он Вернику, когда они оказываются у стойки.

Тот обрадованно поворачивается к бармену.

Во время двадцатиминутного натянутого и трудного разговора Верник жаловался на свою жизнь. Теперь, по его словам, он убедился, что совершил ошибку, порвав с Советским Союзом, и умолял Варлоффа помочь ему вернуться на родину и устроиться там на работу. Чтобы поскорее отделаться от старого знакомого, тот пообещал помочь. Затем распрощался, сославшись на неотложное деловое свидание.

Спеша уйти подальше от старого знакомого, Варлофф понял, что его работе в качестве нелегала во Франции нанесен смертельный удар. Побег Верника не мог не привлечь внимания «Сюрте» и, вероятнее всего, Верник стал информатором. Следовало, не теряя времени, укладывать чемоданы и уезжать из Парижа.

### *Flashback*

#### ПАРИЖ. 7 ЛЕТ НАЗАД

О, история Праслова многому научила начинающего шпиона Варлоффа!

Праслов был первым советским «нелегальным» резидентом, работавшим во Франции. «Он был надежным сотрудником службы, направленным туда работать под прикрытием коммерческой деятельности», – рассказывал Варлофф через много лет, вспоминая расследование, которое проводил в 1926–1927 годах, когда был резидентом в Париже и работал под «крышей» торгпредства.

Праслова направили в Париж с латвийским паспортом и легендой бизнесмена, чтобы создать во Франции экспортно-импортную фирму. Варлофф вспомнил, что Праслов сидел в роскошно отделанном помещении. С ним работал во Франции другой агент, по фамилии Боговуд. Он-то и донес на Праслова, в результате чего Центр решил расследовать обстоятельства коммерческой деятельности Праслова.

Варлофф обнаружил, что, несмотря на многочисленный персонал, Праслову не удалось ни заключить ни одной выгодной сделки, ни завербовать хотя бы одного агента. Он обратился тогда за помощью к своему другу, торгпреду Михаилу Ломовскому. Тот согласился помочь Праслову, передав в его ведение большой объем товаров, экспортированных из Советского Союза, за которые Праслов немедленно получил большие комиссионные. Но тесная деловая связь между мнимым гражданином Латвии и русскими вызвала интерес у французской контрразведки. За фирмой Праслова «Сюрте женераль» установила столь тщательное наблюдение, что это мешало проводить какую-либо шпионскую деятельность.

Тем временем, благодаря большому объему операций, проходивших через торгпредство, в распоряжении Праслова оказались десятки миллионов франков. Варлофф потребовал на просмотр бухгалтерские книги фирмы. Праслов признался, что спустил девять миллионов франков в казино и что он готов для расстрела вернуться в Москву. Его несомненно ликвидировали бы по возвращении, если бы не личное обращение начальника ИНО Трилиссера к Сталину. Трилиссер оказался зятем одного из приспешников «Большого Хозяина», просьба которого подвигла Сталина на нехарактерный для него акт великодушия: он приказал заключить бывшего резидента в концлагерь на пять лет. Позже, вероятнее всего, его шлепнули в родном подвале.

Варлофф, основываясь на личном опыте, понимал, что советские разведывательные операции являются по-любительски неэффективными. Это ощущение подтверждалось целой цепью провалов весной 1927 года, которые выявили слабые места в разведоперациях ОГПУ за рубежом.

Варлофф знал всех своих начальников и их заместителей, метивших на место начальника. Его не боялись, но уважали, ибо он знал свое место. Начальство ценит таких людей. Он знал Артузова, которого считал средним разведчиком, но хорошим контрразведчиком, ибо Артузов пришел в разведку по приказу Политбюро из ГПУ. А его сменил Слуцкий был хорошим мужиком, но всё время оглядывался на наркома и на Политбюро, то бишь на Сталина. Шпигельглаз, которого упорно двигали в руководители? – Тьфу, холодный убийца, не больше, ничтожество. Кто там еще? Да никто! Х-й в пальто, как говорит шпана московских подворотен. Опыта ни у кого в управлении. А без опыта – какой ты начальник разведки?

Вообще, в руководстве советской разведки Варлофф не видел никого, кто мог бы понять масштаб и грандиозность задач, которые открывались перед ними. А он видел.

«Значит, только я или какой-нибудь варяг, которого пришлет Политбюро.»

Он шел по улице, привычно выхватывая то или иное лицо, пока на другой стороне улицы не выхватил знакомое – и еще какое! Лицо резидента, сменившего Валовича, – Кислова-Косенко.

Тот тоже заметил Варлоффа, но ни один мускул не дрогнул, лишь повел из стороны в сторону глазами – дескать, привет, Варлофф, я тебя увидел. Я тебя не видел.

«Какой молодец, – подумал Варлофф, – хороший профессионал. А мне придется бежать из Парижа; не уезжать, а просто бежать, сегодня же вечером, не позднее. И дело не в глупом пьянице Вернике, а в той игре, которую местная контрразведка затеяла с ним, выйдя на Короткова.» Того уже отправили дожидаться шефа в Швейцарии.

## ПРЕССА

**Шайка советских шпионов во Франции**

Вчера судебный следователь вызывал содержащегося под стражей чиновника морского министерства Луи Мартына. В его присутствии снимались печати, которыми опечатаны многочисленные документы, забранные на его квартирах. Среди бумаг имеется четыре письма, написанных на иностранных языках. Морское министерство уведомило следователя, что четыре письма морского министерства имеют значение для национальной обороны.

**Чудовище озера Лох-Несс**

Экспедиция, организованная «Дэйли Мэйл» для поимки чудовища Лох-Несса, пока не дала положительных результатов. Однако, видимо, принимаются меры, чрезвычайно энергичные. В официальном сообщении экспедиции говорится, что знаменитый охотник Вессерель производит систематическое исследование берегов озера. Этот охотник пришел к выводу, что обнаруженные на берегу следы – не следы чудовища. Это, однако, не обескуражило его. Установлена особая «фотографическая западня» в том месте, где зверь чаще всего появлялся. Лишь только зверь снова появится в этом месте, автоматически будет сделан с него снимок. Одновременно измышляются всевозможные способы, чтобы изловить чудовище живьем.

**Советским летчикам**

Из страны, где нет улыбки  
И не встретишь девы статной,  
Где уже никто на скрипке  
Не играет в час закатный, <...>  
Где прекрасных побороли  
Злые самые на свете,  
Где в безмолвном ожиданьи  
Распростерлись руки нищих,  
Где надгробное рыданье  
Не смолкает на кладбищах. <...>  
Из страны, где нет поэтов  
С вольным духом в вольном теле  
Из неволи злых Советов  
Вы на волю прилетели.  
Посмотрите ж и сравните  
И рассмейтесь голосисто,  
Если только можно выйти  
Вам без Рыжего Чекиста  
На парижские бульвары,  
Полнобуйтесь в кратком бреде  
На базары, на товары,  
На Монбланы жирной снеди,  
И на женщин, взгляд их ясный  
Золотым весельем колок,  
К ним приравнивать напрасно

Ваших мрачных комсомолок,  
 На Париж на разный прочий,  
 На дворцы великих банков  
 И на то, как ест рабочий  
 Свой обед за восемь франков.  
 И когда обратно в небо  
 Вы умчитесь в путь икаров,  
 Не забудьте горы хлеба  
 наших радостных амбаров.

*Валентин Горянский*

### Перед съездом писателей

В Москве, сообщают «Известия», 6 августа закончен прием в Союз советских писателей. Была подана тысяча заявлений. Принято 500 человек в члены Союза и 200 кандидатов. Из принятых в члены Союза 250 обладают литературным стажем свыше 15 лет.

Из 500 членов Союза 219 беллетристов, 74 поэта и 60 критиков. Собрание Московской организации Союза Писателей избрало на Всесоюзный съезд 75 делегатов с решающим голосом.

*«Возрождение», 9 августа*

### PARIS. ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ

– Есть, есть у меня для вас, князь, машинистка. Отличная машинистка. Она перепечатала мою книгу стихов. Ту самую, что я вам подарил.

Олонецкий в поисках машинистки обратился к знакомому поэту Ладинскому, который служил телефонистом в редакции милюковских «Последних новостей».

– Дорого берет?

– По-божески, князь. К сожалению, не в нашей редакции обитает, а у конкурентов – в «Возрождении».

– Молодая женщина? – поинтересовался Юрий.

– Очень приятная, князь. У таких женщин нет возраста, но я думаю... – он на секунду задумался, – ей лет тридцать–тридцать пять.

Юрий хмыкнул и хамски заметил.

– Мой любимый возраст.

– Вы смотрите, Георгий Романович, она – женщина серьезная и отказала самому Семенову, как говорят, – артикулировал сплетни телефонист Ладинский.

– Как? Самому редактору?

Ладинский кивнул головой.

– Да. Она женщина гордая, и главное – незаменимая. Иначе ее Семенов просто бы уволил.

– Да не может быть! Взяли бы другую на ее место.

– Не скажите, не скажите. Она отличная машинистка, как рань-

ше говорили – *пишбарышня*, печатает с голоса, в тексте правит ошибки... Притом может печатать и по старой, и по новой орфографии.

В голосе телефониста слышалась гордость – дескать, вот каких машинисток я знаю, пусть они и работают в конкурирующей газете.

– Спасибо, Анатолий, я воспользуюсь вашей информацией, – поблагодарил Олонецкий.

Ирина Каземировна оказалась сорокалетней спокойной дамой, которая курила сигареты, вставляя их в перламутровый мундштук. Рядом с машинкой, на которой значилась фирма «Ремингтон», стояла стеклянная пепельница. Поздоровавшись с Юрием, женщина вытряхнула пепел в корзину для бумаг, стоящую рядом с ее столом. Она знала себе цену, ибо прошла перипетии Гражданской войны и беженского быта, эмигрантского существования – смерть сына от скарлатины, уход мужа к молодой сопернице, случайная и временная работа... Она ожесточилась, человеческие слабости ей были органически ненавистны. Опять же – ввиду того, *что* она испытала за время своего беженства.

Она имела какие-то навыки машинописи и начала работать у Струве – печатала ему книгу. Потом он взял ее на работу в «Возрождение». У нее сложилась клиентура из писателей, которые справедливо считали, что перепечатанная на машинке повесть или поэма имеют больше шансов попасть на глаза редактора, чем рукопись. Повышался не только уровень произведения, но и престиж самого автора.

И потому какой-нибудь поэт мог небрежно процедить за кофе в «Ле Болле»:

– Я вчера был у *своей машинистки*, и она рассказала мне пикантную историю, господа...

Юрий не соврал Ладинскому: ему действительно нравились женщины зрелые (если так можно их назвать), лет сорока–пятидесяти. Нравились они ему чисто эстетически, потому что его романы – краткосрочные или более-менее длительные – проходили с дамами гораздо моложе, чаще с ровесницами или даже младше.

Ирина Каземировна не бедствовала, хотя работать приходилось много. В своей маленькой квартире у площади Бастилии – комната и кухня да крошечная передняя – она смотрела на Олонецкого как на временное увлечение. И он понимал их связь как временную. Хотя искренне увлекся этой женщиной, в которой был непонятный шарм и безусловный сексуальный опыт, чего не хватало юному представителю княжеского семейства.

– Жора, – как-то сказала женщина, встречая его в передней, – у меня сломалась машинка, каретка прыгает...

– Что значит «прыгает»? – не понял Юрий. – Это же не балерина. Женщина кивнула.

– Верное замечание – не балерина. Но прыгает. Пропускает буквы... Не могли бы вы ее починить?

– Ха, – откликнулся Юрий, – машинку! Я похож на механика?

– Я не могу найти механика, второй день я без дела, машинка не работает, – пояснила Ирина Каземировна, глядя тем взглядом, который выдержать он не мог.

Он вздохнул.

– Хорошо, я попробую, но, честное слово, ничего не обещаю. Где агрегат?

Они поехали в редакцию. Было воскресенье, редакция не работала, но у машинистки имелся ключ.

Олонецкий с опаской рассматривал «Ремингтон». Ирина Каземировна постучала по клавишам, и он увидел, как каретка проскакивает несколько делений и дальше не идет. Он спросил, не осталось ли инструкций, – Ирина Каземировна ответила: нет. Он перевернул тяжелую машинку, чтобы разглядеть механизм снизу, потом сбоку – и что-то блеснуло, всмотрелся – скрепка! Обычная канцелярская скрепка застряла внутри. Может, в ней причина блокировки каретки? Но как ее достать? Неужели разбирать машинку?

Он повернулся к женщине, та ждала объяснений. Юрий спросил, нет ли с ней косметички, а в ней пинцета, которым женщины обычно выщипывают брови. «Есть пинцет, – призналась Ирина Каземировна, – но брови я не выщипываю.» – «Прекрасно, – обрадовался Юрий, – вот сейчас мы им...» Скрепку он вытащил после нескольких безуспешных попыток. Попросил подождать и отправился к знакомому сторожу в гараже, совсем рядом, возле станции метро, и попросил пузырек машинного масла – оставил знакомцу два франка, хотя тот отказывался – да что вы, Георгий, такая мелочь... Вернулся в редакцию и аккуратно смазал машинку, а потом тупо выстукивал по клавишам – каретка мягко и легко ходила по рельсам, и машинистка захлопала в ладоши и на радостях сказала, что Олонецкий может требовать от нее, чего хочет. Он потребовал отжаться ему сейчас же, здесь, в редакции. Женщина удивилась, заметила, что лучше этим заняться в ее квартире, но Олонецкий настаивал, и она свое обещание выполнила.

На другой день вся редакция ходила в комнату Ирины Каземировны любоваться отремонтированным «Ремингтоном».

– Машинка как новая! – объявляла она. – Жора починил ее буквально за полчаса. У меня никогда не было такой машинки! Вы послушайте, как она ходит, как тихо и легко!

Циник, поэт-телефонист нашептывал Олонецкому:

– Теперь эта женщина ваша, Георгий Романович. Какая женщина устоит перед мужчиной, который превратил ее бездействующий рабочий инструмент в действующий?

Юрий улыбался на подобные речи, но ему становилось скучно. Он не мог понять, откуда взялась эта скука.

Редакция газеты «Возрождение» производила на Олонецкого кошмарное впечатление. Шум, беготня, крики из закрытых и открытых дверей, выпученные глаза сотрудников. Вот тебе и орган монархической мысли, как хихикали в «Последних новостях». Впрочем, он считал, что просто попадал в такие часы – сдача номера в печать или рядовой редакционный скандал. В редакции «Иллюстрированная Россия», с которой он сотрудничал, всё было по-другому. Но когда бы он ни заходил в редакцию, всегда оказывался не вовремя, Ирина Каземировна всегда занята – в ее комнате кто-то диктовал, или сам редактор Семенов, или Парчевский, а как-то раз и Ходасевич свой четверговой литературный обзор, а она отвечала дробью «Ремингтона».

– Здравствуйте, Жора, – кивала ему, – извините, у меня много работы, – и тут же диктующему: «В самый обычный дом...» Дальше! – и махала Олонецкому рукой – дескать, уходите, до встречи у меня дома.

Поначалу Ирина Каземировна сидела в отдельной комнате, потом взяли вторую машинистку, поставили для нее машинку другой конструкции. Они поладили. Впрочем, когда в 1936 году газета из ежедневной превратится в еженедельную, машинистку уволят, а Ирину Каземировну оставят как старого сотрудника, которая работала еще при Струве. Но это случится даже не завтра, а послепослезавтра.

Позднее Юрий догадался, что надо приходиться к ней – а точнее, за ней – в первой половине дня, перед самым обедом. Когда все уходит в ближайшиe кафе и рестораны, в двенадцать, ибо тогда начинается обед во всех французских учреждениях и длится два часа. На всякий случай он спрашивал сидящего внизу дежурного: я вовремя? Тот понимая кивал головой – «вовремя, вовремя, князь», и по-хамски подмигивал – дескать, знаем, куда ты идешь, к бабе своей идешь. Юрию давно было наплевать и на хамские ухмылки, и на ужимки, на амишонство – жизнь под мостом научила многому. Он равнодушно проходил мимо, похлопав дежурного по плечу.

Юрию даже не приходило в голову попытаться заработать в «Возрождении» – здесь требовалось что-то строгое, консервативное, очень серьезное – то, чего избегали в «Иллюстрированной России»; там считали, что читателя надо развлекать и отвлекать от трудностей эмигрантской жизни. Он и поставлял требуемый материал редактору Миронову, который каждый раз сокрушался:

– Ну что за подпись – *Железная маска*? Если бы князь Олонецкий – читатели вли бы от восторга: титулованные особы поставляют нам самые свежие новости!

– Сплетни, – уточнял Юрий.

– Ах, Георгий Романович, какая разница? Никакой. Поверьте мне, старому и опытному газетному волку. Никакой!

Летом Ирина Каземировна сообщила: у нее отпуск и она уезжает.

– Куда? – любопытствовал Олонецкий. – В Туке?

– Может быть и туда, – неопределенно ответила женщина. По тому, что машинистка не предложила сопровождать ее, Юрий понял, что уезжает не одна.

– Прекрасное место. Вы, наверно, знаете, как это место переводится? Ле-Туке-Пари-Плаж – Париж на море. Курорт основал лет шестьдесят назад владелец «Фигаро». В прошлом месяце там отдыхал мой приятель...

– Я, может, поеду в Кольюр.

Юрий кивнул с видом знатока:

– Чудесное место на юге, там отличное вино. Ну замечательно, Ирина Каземировна, отдыхайте, черкните мне оттуда пару строчек.

И она черкнула пару строчек, из которых он догадался, что их роман заканчивается на той самой ноте, на которой и должен был закончиться: когда их ничего не связывало, кроме постели, которая тоже не общее место.

В том месяце Олонецкий заработал небольшие деньги, которые тут же ушли в оплату квартирных и прочих долгов, и один малознакомый приятель –

ох, каких только знакомцев у нас нет –

и полузнакомые,

и малознакомые,

и подозрительные знакомые,

и знакомые знакомых,

и чужие знакомые, с которыми вас познакомили, –

а этот из тех, который – всем приятель, со всеми на «ты», в кармане – всегда деньги, и непонятно откуда –

то ли в «Сюрте» подрабатывает,

то ли на рю Гренель к т-щу Довгалевскому бегают –

вдруг признался, что ездил в Гавр, где подбирал своему родственнику – русскому капитану – команду на небольшой пароход для рейсов из Гавра в итальянские порты, и не хочет ли Олонецкий заработать...

– Требуется два механика, одного нашел – ты знаешь Сырова – ну, бывшего артиллериста, который на спор бутылку водки выпивает, а второго механика – нет, просто нет как нет! Не пойдешь ли механиком? Знаю, ты в машинах разбираешься, мне ребята говорили, что в редакции «Возрождения» пишущую машинку починил, было такое?

– Да, Ирине Каземировне он машинку починил, нехитрое дело «Ундервуд» исправить, тем более – какие-то отношения еще сохранились...

– Не тушуйся, Сыров когда трезвый – умница и чудодей, он тебя подучит на механика, ему так или иначе помощник нужен, ты только ему пить не давай, пока обучение идет, и аванс я тебе выдам, ты же грамотный, гимназию закончил, университет в Париже...

...И весь рейс Сыров учил его машинной премудрости.

И следующий рейс тоже.

А третьего не получилось – запил Сыров, и капитан Никита Катин списал в Неаполе его на берег.

– Трезвым будешь, Сыров, рад видеть на борту, не забывай, что мы здесь через три недели.

– Да пошел ты, Никита, со своим тарантасом! – обиделся Сыров и отправился в портовые дебри.

Пароход действительно оказался старым, и всё в нем было не новым, и работы тоже оказалось много. И когда Юрий остался один, без опытного Сырова, даже струсил. Да и как не струсить?

Когда обогнули Италию, капитан решил сэкономить и идти в Марсель через пролив Святого Бонифация, между Корсикой и Сардинией. Спустя несколько часов после выхода из пролива начался знаменитый в северо-западной части Средиземноморья мистраль, притом сильный. Свирепый ветер поднимал неравномерную крутую волну, которая обрушивалась на палубу сотнями тонн, укладывала пароход на бок, стремительно вздымала и снова укладывала так, что даже опытным морякам трудно было стоять на ногах.

Мистраль заставил капитана лечь на другой курс, уменьшить ход, идти навстречу громадным волнам. Море, которое считается самым синим и ласковым в мире, колыбелью европейской культуры и источником вдохновения поэтов, было далеко не приветливым.

Прошло три дня, шторм не прекращался. Корабль дрожал, скрипел, но машина выдержала.

«Обошлось», – с облегчением думал Олонецкий.

Они вернулись в Гавр, где Георгия ждало письмо Зуева с заманчивым и фантастическим предложением.

### ЗУЕВ. ПАРИЖ. ВЕСНА 1934

Как-то заговорили об азартной игре. Олонецкий спросил приятеля: существует ли беспроигрышная система, можно ли постоянно, изо дня в день, выигрывать?

– Мне рассказывали, в Монте-Карло есть целая категория профессионалов, которые ежедневно что-то такое выцарапывают из кассы казино. Но мне кажется, это болтовня. Если бы можно было действительно выигрывать наверняка, игорные притоны кончали бы банкротством.

Зуев согласно кивнул.

– Над рулеткой бились многие ученые, в том числе и знаменитая Софья Ковалевская, – задача признана неразрешимой. Формула движения шарика не найдена. А почему ты спрашиваешь?

Олонецкий покраснел.

– Не подумай, что я снова решил сыграть с судьбой... Нет, Кока,

одного раза мне достаточно. Ты же помнишь, как я тогда пал, стал клошаром... И если бы не ты...

Тут уже смутился Зуев.

– Ну, будет, будет, кто старое помянет... А в Монте-Карло всегда есть люди, которые пристраиваются к игрокам. Никаких секретов рулетки они не знают, а просто пускают пыль в глаза неопытным игрокам, изображая профессионалов, живущих за счет рулетки.

Зуев вспомнил разговор, увидев знакомые двери клуба. Раньше он часто с сотней франков получал в выигрыше тысячу, потом с тысячью шел в другой клуб и выигрывал две-три тысячи...

Он решительно открыл дверь.

День выпал неудачным: Зуев проиграл во всех комбинациях, во все игры – в рулетку, в баккара, в «трант и карант». В сущности, когда так не везет, лучше бросить совсем, подумал Николай, но подошел к другому столу «трант и карант». «С моими копейками можно попробовать играть на чужое счастье – выследить какого-нибудь счастливо-го игрока и идти за ним. Это тоже своего рода система, или, вернее, – полное ее отрицание.»

И тут Зуеву не повезло: такого устойчивого счастья не было ни у кого из крупно и заметно игравших за столом. Его внимание сосредоточилось на высокой черноволосой даме, которая всё время проигрывала: куда ни поставит – бито, без перерыва.

Опытным глазом он видел: окончательно потеряла самообладание – красные пятна на щеках, шляпка сдвинулась на бок, торчит прядь сбившихся волос, нервно кусает губы, увеличивает и увеличивает ставки, мнет в руке крупные купюры – совершенно ясная и определенная жертва сегодняшнего дня: сегодня она, бедная, неизбежно проиграет решительно всё, что еще осталось в ее объемистом саке.

Он сел напротив дамы и начал делать ставки на обратные комбинации: если она ставила на черное табло, то Зуев – на красное, если она на чет, он – на нечет. Конечно, иногда проигрывал, но в общем – это было триумфальное шествие вперед. Он стал выигрывать и выигрывать, как по волшебству. Он начал ставить максимумы и очень быстро отыграл весь сегодняшний проигрыш, и уже перешел в значительный плюс.

А бедная визави всё проигрывала. К ней подошел какой-то приличного вида господин – по-видимому, муж, и они заговорили по-испански.

– Невозможно, немислимо играть, – жаловалась она, почти плача: – Я проигрываю последнее, я не знаю, что дальше делать... А есть же люди, – прибавила она вполголоса, – которые играют прямо-таки наверняка: вот, например, этот левантинец, что сидит напротив, – куда ни поставит – берет...

– Так чего же проще, – посоветовал муж, – играй за ним.

– И в самом деле, – обрадовалась она. – Буду выжидать его ставок. Может быть, тогда отыграюсь.

Вот так комбинация! Зуев понял, что игра на сегодня закончена. Уменье и счастье исчерпаны.

Он вышел из клуба и вытер пот со лба.

«Эти шальные деньги надо немедленно потратить на что-то хорошее, не на девок и не на гулянку, а на какую-нибудь... ох, у меня же сегодня день рождения! Вот почему удача шла в руки! Поеду к Олонецкому... или к Леониду в красильню, хочется с приличными людьми посидеть...»

Зуев зашел в знакомую русскую лавку и купил:

нежинские огурчики,  
ревельские кильки,  
керченскую сельдь,  
малосольную двинскую семгу,  
икру – зернистую,  
ачуевскую,  
паюсную,  
кетовую,  
балыки – белорыбицы и осетровый,  
эриванский компот,  
пирожки с капустой,  
две бутылки русской горькой  
и бутылку французского коньяка

(им в русской лавке не торговали, но желание клиента – закон, хозяин послал мальчика, и тот принес из французского винного магазина любимый Зуевым «Samus»).

Покупки аккуратно запаковали в две корзины, которые именинник погрузил в поджидающее его русское такси.

– Вы нас разбалуете, Николай Лексеич, – улыбался довольный хозяин, – в кои-то веки на три сотни закупили!

Зуев ему подмигнул – дескать, лови момент, приятель!

– И откуда у вас, любезный хозяин, такие разносолы? Я с довоенных времен в России не видал.

Хозяин с той же стандартной улыбкой ответил:

– Надо знать нужных людей, Николай Лексеич, тогда и нужный товар всегда на прилавке будет.

Зуев согласно кивнул, а сам снова задумался: что же это за нужные люди, которые икру привозят? Икра-то, чай, только на Волге обитает. Правда, у персов может быть, по ту сторону Каспия... Но не у персов же он покупает икру? А впрочем, почему и нет? И вообще, какое твое дело до коммерческих тайн русских лавочников?

Вот и такси. Ох ты, Боже мой! За рулем Михаил, старый знакомый...

## PARIS. КРАСИЛЬНЯ. ВЕСНА 1934

Мне теперь ни цензов, ни акцизов,  
ирландский виски и ямайский ром,  
вам где-то там, в притонах Сан-Франциско,  
лиловый кафр целует красный рот.

– Пам-пам-пам! – подал голос Кальчужный. – Гениально. Это лучшее, что ты написал. Правда, строчку у Вертинского своровал...

– Не своровал, а процитировал, – надулся поэт. – Это реклама – и мне, и ему. А ты чего такой...

– Какой? – не понял приятель.

– Возбужденный.

– А! – Кальчужный махнул рукой. – Чепуха. Одним словом, что-то плохо с моим отцом. Мать прислала письмо, просит приехать.

– Ничего себе чепуха! Куда ехать? В Югославию? Надолго?

– Да. В Белград. Не знаю, как долго. Может, две недели, а может, и месяц. Я мало что понял из письма.

Ехать ему явно не хотелось. Он понимал, в чем дело: отец боится потерять место кельнера в известном ресторане «Пти Пари» и, пока суть да дело, больница и операция, а следом – больничный покой и домашние лекарства, – чтобы на его место не взяли другого, почему бы сыну не поработать вместо родителя...

Конечно, он поехал, все-таки отец – один и, как бы ты с ним ни ссорился в свое время, как бы ни расходился во мнениях, как бы скептически он ни относился к твоему творчеству, – отец есть отец.

Да и по матери, честно говоря, он немного соскучился.

– А почему «целует красный рот»? – вдруг спросил он, возвращаясь к песне.

Варфоломеев вздохнул.

– Потому что губы намазаны помадой, неужели не понятно? Тебе деньги нужны?

Кальчужный поморщился.

– На дорогу есть. Там – посмотрим. В случае чего дам телеграмму, пришли на дорогу... Не нравится мне...

Варфоломеев откликнулся.

– А что может быть хорошего в болезнях?

Кальчужный согласно кивнул.

## ХОРВАТИЯ. ВЕСНА 1934

Начальник югославской разведки Милич имел своих собственных агентов, которых тщательно оберегал. Недавно двоих убили в Хорватии. Убийцы принадлежали к запрещенной хорватской организации «усташи» (повстанцы). Организация боролась за отделение

Хорватии от Югославии, против центрального правительства в Сараево. Ее лидер адвокат Анте Павелич жил в Австрии. Финансовую помощь усташам оказывал Муссолини.

Чтобы быть ближе к столь опасному человеку, Милич перебрался в Вену. Он знал, что Павелич арендовал на имя Августа Перчеца большое имение в Венгрии – Янка Пуста, находящееся близ югославской границы, и основал там школу террористов, посылая на обучение революционно настроенных молодых хорватов.

Югославская разведка, понимая опасность подобной школы, решила в нее проникнуть, чтобы получать точную и полную информацию о всей работе.

Весной в скромном венском кафе «Незабудка» на свидание с Миличем пришла высокая молодая женщина. Ее звали Мария Погорелец, она была одним из лучших агентов Милича. За руку Мария держала девушку лет двадцати, очень похожую на нее.

– Это моя сестра Ёлка, – пояснила Мария. – Она впервые в Вене, а живет в имении на венгерской границе, очень скучает, приехала отдохнуть и развлечься в Вене.

Девушка улыбнулась Миличу.

Улыбка просто замечательная!

– А это господин Бошкович, студент, мой друг, я тебе о нем рассказывала, – добавила она, обращаясь к сестре.

Объяснения ее были излишними: Милич отлично знал, что двоюродная сестра Марии, Ёлка Погорелец, живет в Янко Пусте, она любовница Перчеца, руководителя школы террористов. Он знал, что отдельные обученные группы террористов время от времени проникали в Югославию и убивали людей, приговоренных Павеличем к смерти. Среди их жертв – Тони Шлегель, редактор «Загребских новостей», хорват, ратовавший за полное и фактическое объединение сербов и хорватов в одну дружную семью. Шлегеля убила банда, ворвавшаяся в редакцию среди бела дня и бесследно исчезнувшая после совершения убийства.

Такое неожиданное знакомство внушило Миличу подозрение, он даже засомневался в искренности Марии. Но решил не упускать случая и посвятить Ёлке время, дабы полностью разгадать ее намерения.

– Раз вы не знаете города и никогда не были в Вене, я покажу вам самое интересное – все театры, развлечения и всё что захотите.

Ёлка с радостью согласилась. Несколько дней подряд они разъезжали по всем увеселительным заведениям и постепенно сблизились. Милич чувствовал, что девушку что-то гнетет и нервы у нее совершенно расстроены. В один из вечеров они перешли на «ты».

– Что тебя гнетет, что на тебя давит? Я же вижу, что с тобой что-то происходит, – вырви это из себя, скажи мне – тебе будет легче.

– Я боюсь тебе рассказать, ты будешь меня презирать.

– Что ты, что ты! Ты мне очень нравишься, я не буду тебя презирать; мне хочется, чтобы тебе, такой красивой девушке, стало спокойно.

– Девушке, ха! Ну, раз ты такой, раз уж так на меня напал, ты такой хороший, никакая я не девушка, я – любовница Перчеца, ты его не знаешь? – И слава Богу, что не знаешь, он страшный человек

– Если он страшный человек, что может быть у вас общего?

– Он даже мой родственник...

– Родственник?

– Ну да, какой-то троюродный, пятиуродный брат...

– Ну это же инцест, кровосмешение...

– Ах, никакого кровосмешения, что ты придумываешь, у вас в университете все такие умные; наверно, такие штуки придумывают...

– Придумывают, так что?

– Я жила в деревне, вдруг приезжает он, из города, – представляешь, весь из себя такой, из Сараево или из Загреба, ты не представляешь, такой красивый!

– Дальше можешь не рассказывать, ты в него влюбилась, а он тебя соблазнил и бросил. Расскажи.

– Приблизительно так и было.

– Да, судьба простой девчонки... Зачем она ему нужна...

– Нет, не так. Он уехал и прислал письмо – приезжай в Янка Пуста.

– Янка Пуста? На границе, в Венгрии?

– Да. Там целое поместье – и Павелич.

– Павелич?

– Ну да.

– Какой-то адвокат..

– Адвокат! Да ты что! Он у них главный, он против всех!

– Как против всех? И против Бога?

– И против Бога, он такой. Они поймали одного человека, стали его бить. Павелич подошел и воткнул в него нож. И стал что-то ему говорить. Тот отвечал, но стал падать. А Павелич держал его на ноже, а потом вырвал нож и еще раз ударил. В сердце. Я видела. Ты не знаешь, как это страшно.

– А Перчец твой?

– А... Перчец... Он его слушается во всем, Перчец у него, считай, на побегушках.

Она стала говорить, говорить быстро, с жаром, сама себя перебивая, как бы боясь что-нибудь важное, существенное забыть или пропустить.

Янка Пуста, по ее словам, – школа профессиональных убийц. С утра до вечера в округе слышалась стрельба из револьверов, взрывы ручных гранат и адских машин. Везде были расставлены мишени в виде бюста короля Александра или его фигуры во весь рост – по этим мишеням устали практиковались в стрельбе стоя, лежа, на ходу, в

движении – одним словом, во всех положениях, какие могут представиться.

В Янка Пуста железная дисциплина, поддерживаемая Перчецом при помощи особо доверенных людей. При малейшем подозрении в измене или в попытке к бегству подозреваемого подвергали жестоким пыткам, которые заканчивались расстрелом виновного. Среди учеников Янка Пусты оказалось несколько молодых хорватов, завлеченных туда под предлогом обучения их политграмоте. Когда они поняли, что их обманули и из них готовят профессиональных убийц, хотели покинуть лагерь. Но заплечные мастера Перчеца всех ликвидировали.

Выслушав от Ёлки ее исповедь, Милич сообщил свое настоящее имя, служебное положение и цель пребывания в Вене.

– Кстати, Ёлка, ты давно зарегистрирована у нас как соучастница Павелича. Но если ты мне поможешь, то сможешь вернуться на родину. К тому же ты получишь хорошее вознаграждение,

– Я согласна, – сказала она.

Осенью 1933 года пришло известие, что король Александр в декабре посетит Загреб. Павелич и Перчец решили, что это будет самый подходящий момент для убийства короля. Муссолини ассигновал дополнительные 500 тысяч лир на покушение.

В Янка Пуста составили две группы. Одна под командой Петра Ореба, а другая – под командой Хенричича. Знакомый хорват в Загребе предоставил свой дом под штаб-квартиру террористов.

Ёлка уведомила Милича обо всем в мельчайших подробностях с указанием дня перехода террористами границы, паролей при встречах и документов, которыми они были снабжены. Сообщение от Ёлки пришло с некоторым запозданием и поймать террористов на границе было уже невозможно. Милич немедленно вызвал шефа загребской полиции к телефону, требуя окружить ночью дома, где находилась штаб-квартира усташей, и арестовать всех прибывших.

Но Милич не знал, что шеф полиции Врагович оплачивался Муссолини и ему дополнительно была обещана огромная сумма за убийство короля.

– Что за неуместные шутки! – ответил он по телефону.

– Это не шутки, – возразил Милич. – Я требую, чтобы вы выполнили мое распоряжение.

Врагович заявил, что у него нет свободных людей.

– Есть они или нет, но дом должен быть сегодня же ночью окружен и все, кто в нем, арестованы. Выполняйте или я сейчас позвоню министру внутренних дел.

– Ладно, – согласился шеф полиции. – Всё сделаем.

Как говорит пословица: обещать не значит жениться.

Врагович, разумеется, ничего не сделал. Ночью полиция дом не

окружила, а провела операцию только утром, когда Ореб со своими людьми уже вышел к вокзалу для выполнения задачи.

Хенричич со второй группой оставался в доме. Его группа имела приказ в случае провала Ореба идти в соборную церковь и там во время торжественного богослужения застрелить короля.

– Ореб, наверно, добрался до места, – в раздумье произнес Хенричич.

Террористы встали.

– Выходим? – спросил один из них.

Один из бандитов, Христо, похлопал себя по карманам.

– Я, кажется, забыл наверху свой бумажник, – признался он.

Все рассмеялись:

– Да кто же забывает бумажник!

– Бумажник надо держать в кармане!

Христо взбежал на второй этаж, бросился к кровати. Так и есть, бумажник лежал под подушкой. Он положил его в карман брюк и пошел к лестнице. На ходу посмотрел в окно и вздрогнул – у калитки стоял полицейский и делал кому-то знаки.

Христо посмотрел в соседнее окно – по дороге от улицы к калитке осторожно крался полицейский. За ним шли еще двое. На улице показались и другие.

Христо скатился с лестницы, буквально съехал по перилам:

– Полиция!

Хенричич посмотрел в окно.

«Неужели наш план раскрыт?» – мелькнуло в голове.

– К оружию, – скомандовал он.

Все вздрогнули.

– Много?

– Человек восемь. – ответил Христо.

Хенричич усмехнулся:

– И ты испугался восьми полицейских?

– Я не испугался, – ответил Христо. – У меня две гранаты. Чего мне пугаться? Но они идут.

– Всех перестреляем!

– Это точно, – согласился Христо и вынул из карманов обоймы к «вальтеру».

Хенричич сплонул на пол и растер каблуком:

–нас шесть человек. Мы их перестреляем, как уток.

– Точно, – кивнул лохматый боевик и вынул гранату.

– Правильно, – Хенричич скомандовал: – Открывай дверь. Как только подойдут – бросай гранату, потом бросаю я в оставшихся. И все стреляют.

Первая граната ошеломила полицейских, двое закричали от попавших в них осколков, один упал на землю. Вторая граната вызва-

ла среди них панику, а стрельба из дома заставила бежать – они не ожидали не только атаки, но и простого сопротивления.

– Огонь! Огонь! – кричал Хенричич, подбадривая самого себя.

Залпом из дома уложили троих, остальные бросились бежать; вслед им полетели гранаты.

– Через черный ход уходим! – крикнул командир.

Владо Черноземский неожиданно для себя задумался над своей дальнейшей судьбой. Убить короля? Нет проблем. Он – первоклассный стрелок с обеих рук. У него два заряженных браунинга и граната. Но сможет ли он уйти после покушения? Пятьдесят на пятьдесят. Если наши закидают толпу бомбами и гранатами, создадут панику, то уйти он сможет.

В это время Ореб в спортивном костюме, с лыжами в руках, окруженный усташами, стоял на Зриньевце. Королевский поезд уже подошел, и толпы народа заняли площадь перед вокзалом. Королевский открытый автомобиль медленно двигался по направлению к Верхнему Городу.

Ореб должен был бросить перед автомобилем лыжи и, воспользовавшись неизбежным замешательством шофера, кинуть в машину ручную гранату. Но Ореб не мог протиснуться через густую толпу к мостовой, где ехал автомобиль. Физически не мог – толпа его стиснула, не пошевелилась – не то что вынуть пистолет из-за пазухи или бросить бомбу. Восторженная толпа, которая приветствовала короля, не давала даже сунуть руку в карман. Ореб решил бежать в штаб-квартиру и сообщить о неудаче. В действие вступал второй план – убийство короля в соборе.

Подбежав, запыхавшись, к дому, он увидел полицейских, всё понял и бросился к вокзалу.

Первый поезд шел в Австрию, Ореб надеялся попасть туда раньше, чем власти опомнятся. Не доезжая границы, он соскочил с поезда и хотел перейти ее пешком, но по всей линии стояли усиленные патрули сербских жандармов.

Что делать? Надо немедленно скрыться... Он зашел в цыганское село и в первом же доме попросил разрешения отдохнуть.

– Я турист, – пояснил он, – устал после длительной прогулки.

Не прошло и часу, как жандармы нашли его и арестовали.

На суде Ореб полностью во всем сознался и был приговорен к смертной казни через повешение.

Павелич, взбешенный провалом акции и под угрозой Муссолини прекратить финансирование, вызвал в Болонью Перчеца, который и приехал туда, ничего не подозревая.

Между тем Ёлка, предчувствуя недобрый конец, бежала из Янки Пусты и, снабженная Миличем крупной денежной суммой, вернулась в Югославию, поселившись в Сараеве вместе с сестрой.

Перчек же по прибытии в Болонью был посажен в усташескую тюрьму в подвале дворца Павелича. Там в присутствии начальника тайной полиции Муссолини Эрколе Конти Павелич лично провел допрос Перчеца. Тот доказывал свою невиновность и утверждал, что он и понятия не имел о возможной измене Ёлки.

Павелич приказал сломать Перчецу обе ноги и руки, затем сам вырвал у Перчеца глаз, другой, – после чего прикончил Перчеца тремя выстрелами из револьвера.

В 1941 году коммунисты застрелили Враговича. В том же году усташа поймали Ёлку и Марию. Их привезли в Загреб в тюрьму, где Павелич их допрашивал более трех часов, после чего лично пристрелил обеих. В отместку цыганам, выдавшим Ореба, Павелич в 1941 году приказал ликвидировать всех цыган в Хорватии, что и было приведено в исполнение.

#### Документы

#### *Сообщение секретаря Оргкомитета ССП СССР П.Ф. Юдина И.В. Сталину о просьбе писателя Е.И. Замятина о приеме в члены Союза советских писателей*

*14 июня 1934 г.*

Тов. Сталину.

Писатель Замятин прислал из Парижа в Ленинградский Оргкомитет заявление (телеграмму) с просьбой принять его в члены Союза советских писателей.

Заявление Замятина вызвало сильную поддержку и удовлетворенность этим поступком у беспартийных писателей Конст. Федина, Ал. Толстого, Н. Тихонова, М. Слонимского, Б. Пастернака и др.

Поскольку прием Замятина в члены Союза связан с вопросами, выходящими за пределы Союза писателей, прошу Ваших указаний.

#### Документы

5 августа 1934 г. в 8 часов утра в Красноперекоские казармы Московской пролетарской стрелковой дивизии на Сухаревской площади в Москве прибыл в пешем строю артиллерийский дивизион Московского городского лагерного сбора Осоавиахима под руководством начальника штаба этого дивизиона Нахаева Артема Сергеевича.

Дивизион, в котором насчитывалось более 200 бойцов, был беспрепятственно пропущен часовым на территорию части. Дивизион в основном состоял из гражданских лиц, призванных на сборы.

Во дворе казармы, выстроив бойцов, Нахаев обратился к ним с воззванием, в котором призвал красноармейцев выступить с оружием в руках против советской власти.

В своей речи он заявил о том, что все основные завоевания Октябрьской революции 1917 года утеряны. Фабрики и заводы не принадлежат рабочим, земля не является собственностью крестьян. Всё находится в руках государства, а кучка людей управляет этим государством. Государство

порабощает рабочих и крестьян, в стране отсутствует свобода слова. Свое выступление он закончил словами: «Долой старое руководство, да здравствует новая революция, да здравствует новое правительство». С частью бойцов Нахаев попытался захватить караульное помещение, чтобы вооружить красноармейцев боевыми винтовками, но был схвачен.

В процессе следствия выяснилось, что Нахаев критически оценивал внутреннюю политику руководства (коллективизация, низкий уровень жизни рабочих и крестьян).

В знак протеста против исключения из партии лидеров оппозиции в 1927 г. он вышел из партии. Затем после окончания Ленинградской артиллерийской школы им. Красного Октября демобилизовался из армии.

Однако попытка организовать вооруженное выступление против советской власти была связана и с его тяжелым материальным положением. После демобилизации он не смог найти работу, которая давала бы ему моральное и материальное удовлетворение. С 1931 г. Нахаев стал слушателем вечерней Военной академии, после окончания которой надеялся улучшить свое положение. Бедность и отсутствие жилья (вместе с женой Нахаев снимал угол в 4 квадратных метра у крестьянина в селе Жулебино) подтолкнули его к своеобразной форме протеста против власти.

Для расследования данного факта была создана комиссия Политбюро во главе с Л.Кагановичем и В.Куйбышевым, которой было поручено изучить все вопросы, связанные с выступлением Нахаева. Прежде всего, Сталина волновал вопрос о низком уровне караульной службы. «Надо бы выяснить, – писал он Кагановичу, – есть у нас устав караульной службы или нет, а если есть, почему не соблюдается?» Были организованы массовые проверки состояния охраны военных учреждений Московского гарнизона, в результате которых проверяющие спокойно посещали военные академии, казармы частей РККА.

По итогам проверки 22 августа 1934 года были приняты постановления Политбюро «О состоянии охраны казарм Московского гарнизона», «О работе Осоавиахима». Вместе с тем невозможно было игнорировать проблему отсутствия жилья у военнослужащих.

Этот вопрос нашел отражение в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «О квартирном вопросе начсостава 819 Московского гарнизона». Было принято решение вывести из Москвы некоторые части. В декабре 1934 г. Политбюро постановило предать А.С. Нахаева суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР, решением которой он приговорен к расстрелу.

### Документы

**Записка заместителя начальника секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР Г. Люшкова наркомун внутренних дел СССР Г.Г. Ягоде об обнаружении подпольной листовки на Всесоюзном съезде писателей**

*20 августа 1934 г.*

Генрих Григорьевич.

Прилагаю копию листовки, распространяемой среди участников съезда путем пересылки по почте. Пока обнаружено 9 экз. Написана листовка карандашом под копирку печатными буквами.

Не исключено, что это делается кем-либо из участников съезда. Проверяем почерк по анкетам делегатов. Принял все оперативные меры к выявлению авторов.

*Люшков*

### **Подпольная листовка, перехваченная сотрудниками секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР**

Мы, группа писателей, включающая в себя представителей всех существующих в России общественно-политических течений, вплоть до коммунистов, считаем долгом своей совести обратиться с этим письмом к вам, зарубежным писателям. Хотя численно наша группа и незначительна, но мы твердо уверены, что наши мысли и надежды разделяет, оставаясь наедине с самим собой, каждый честный (насколько вообще можно быть честным в наших условиях) русский гражданин. Это дает нам право и, больше того, это обязывает нас говорить не только от своего имени, но и от имени большинства писателей Советского Союза. Всё, что услышите и чему вы будете свидетелями на Всесоюзном писательском съезде, будет отражением того, что вы увидите, что вам покажут и что вам расскажут в нашей стране! Это будет отражением величайшей лжи, которую вам выдают за правду. Не исключается возможность, что многие из нас, принявших участие в составлении этого письма или полностью его одобрившие, будут на съезде или даже в частной беседе с вами говорить совершенно иначе. Для того, чтобы уяснить это, вы должны, как это [ни] трудно для вас, живущих в совершенно других условиях, понять, что страна вот уже 17 лет находится в состоянии, абсолютно исключающем какую-либо возможность свободного высказывания. Мы, русские писатели, напоминаем собой проститутку публичного дома, с той лишь разницей, что они торгуют своим телом, а мы душой; как для них нет выхода из публичного дома, кроме голодной смерти, так и для нас... Больше того, за наше поведение отвечают наши семьи и близкие нам люди. Мы даже дома часто избегаем говорить так, как думаем, ибо в СССР существует круговая система доноса. От нас отбирают обязательства доносить друг на друга, и мы доносим на своих друзей, родных, знакомых... Правда, в искренность наших доносов уже перестали верить, так же как не верят нам и тогда, когда мы выступаем публично и превозносим «блестящие достижения» власти. Но власть требует от нас этой лжи, ибо она необходима, как своеобразный «экспортный товар» для вашего потребления на Западе. Поняли ли вы, наконец, хотя бы природу, например, так называемых процессов вредителей, с полным признанием подсудимыми преступлений, ими совершенных? Ведь это тоже было «экспортное наше производство» для вашего потребления.

Вы устраиваете у себя дома различные комитеты по спасению жертв фашизма, вы собираете антивоенные конгрессы, вы устраиваете библиотеки сожженных Гитлером книг, – всё это хорошо. Но почему мы не видим вашу деятельность по спасению жертв от нашего советского фашизма, проводимого Сталиным; этих жертв, действительно безвинных, возмущающих и оскорбляющих чувства современного человечества, больше, гораздо больше, чем все жертвы всего земного шара, вместе взятые, со времени окончания мировой войны...

Почему вы не устраиваете библиотек по спасению русской литературы – поверьте, что она много ценнее всей литературы по марксизму, сожженной Гитлером. Поверьте, ни итальянскому, ни германскому фашизму никогда не

придет в голову тот наглый цинизм, который мы и вы можете прочесть в «Правде» от 28-го июля 34 г. в статье, посвященной съезду писателей: крупнейшие писатели нашей страны показали за последние годы заметные успехи в деле овладения высотами современной культуры – философией Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Понимаете ли вы всю чудовищность подобного утверждения и можете ли сделать отсюда все необходимые выводы, принимая во внимание наши российские условия.

Мы лично опасаемся, что через год-другой недоучившийся в грузинской семинарии Иосиф Джугашвили (Сталин) не удовлетворится званием мирового философа и потребует по примеру Навохудоносора, чтобы его считали по крайней мере «священным быком».

Вы созываете у себя противовоенные конгрессы и устраиваете антивоенные демонстрации. Вы восхищаетесь мирной политикой Литвинова. Неужели вы действительно потеряли нормальное чувство восприятия реальных явлений? Разве вы не видите, что весь СССР – это сплошной военный лагерь, выжидающий момент, когда вспыхнет огонь на Западе, чтобы принести на своих штыках Западной Европе реальное выражение высот современной культуры – философию Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

То, что Россия нищая и голодная, вас не спасет. Наоборот, голодный, нищий, но вооруженный человек – самое страшное...

Вы не надейтесь на свою вековую культуру, у вас дома тоже найдется достаточно поборников и ревнителей этой философии, она проста и понятна может быть многим...

Пусть потом ваши народы, как сейчас русский народ, поймут всю трагичность своего положения, – поверьте, будет поздно и, может быть, непоравимо!

Вы в страхе от германского фашизма – для нас Гитлер не страшен, он не отменил тайное голосование. Гитлер уважает плебисцит... Для Сталина – это буржуазные предрассудки. Понимаете ли вы всё, что здесь написано?

Понимаете ли вы, какую игру вы играете? Или, может быть, вы так же, как мы, протитутуете вашим чувством, совестью, долгом? Но тогда мы вам этого не простим, не простим никогда. Мы – протитутутки по страшной, жуткой необходимости, нам нет выхода из публичного дома СССР, кроме смерти. А вы – 919\* Если же нет, а мы верим, что этого действительно нет, то возьмите и нас под свою защиту у себя дома, дайте нам эту моральную поддержку, иначе ведь нет никаких сил дальше жить...

### БЕЛГРАД. АВГУСТ 1934

На одной из главных улиц Белграда проживал в роскошной квартире Ермано Бахман, представитель фабрики «Вермут» в Турине. Он разъезжал по столицам балканских государств и удачно продавал свой вермут. Его даже прозвали Вермут-Бахман.

Как-то он получил письмо от своего приятеля из Италии. Приятель сообщал, что его хороший знакомый, подданный княжества Монако, Роланд Аббиат, владелец большого отеля на южном берегу

\* Так в оригинальном архивном тексте. ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 56. Л. 160–163. Копия. Машинопись. (Ред.)

Франции, заинтересован открыть первоклассный ресторан европейского стиля в Белграде. Аббиат уверен, что в столицах балканских государств таких ресторанов почти нет, на что жалуются приезжающие иностранцы, туристы и дипломаты. Аббиат намерен открыть ресторан в Белграде, а затем в Софии. Приятель просит Бахмана подыскать подходящую квартиру для Аббиата и его невесты.

Вскоре приехал сам Аббиат. Для него была приготовлена очень уютная квартира в три комнаты со всеми удобствами. Это, собственно говоря, не отдельная квартира, а часть квартиры владельца гостиницы, которую хозяин умело выделил и отлично обставил для приезжего богатого иностранца.

Аббиат и его невеста остались довольны. Им понравился уют нового жилища, тишина и спокойствие в доме.

Аббиат – человек небольшого роста, лет 38-40, с темными волосами, среднего телосложения, не толстый и не худой. Документы у него в полном порядке, и он без труда получил разрешение на открытие ресторана.

Белградские власти обрадовались приезду Аббиата. Иностранцы дипломаты неоднократно жаловались на отсутствие в Белграде увеселительных заведений, где можно провести вечер и хорошо поужинать. Все предприниматели, пытавшиеся до сих пор открыть подобные заведения, не имели успеха и скоро прогорали. Итальянец Ди Франко даже застрелился, потеряв весь свой капитал.

Аббиат знал всё это, но трудности его не пугали. Сведения о Белграде у Аббиата – самые точные, и всем ясно, что он прекрасно осведомлен, если решил открыть свой ресторан. Его невеста происходила, по-видимому, из совершенно другого круга общества, но она дала понять, что дело Аббиата ее очень интересует и она готова в него вложить крупную сумму денег. В полиции она прописалась под именем баронессы Бригитты фон Колас, шведской подданной, 27 лет. У нее оказалось огромное количество багажа – больше шестидесяти чемоданов внесли в квартиру, но она точно знала содержимое каждого чемодана, как утверждал квартирный хозяин.

Бахман ввел Аббиата в торговые круги. Тот говорил только по-итальянски и по-французски, но с удивительной быстротой выучил сербский язык и довольно скоро стал говорить на нем сравнительно свободно, осталась только чуть заметная известная мягкость в произношении, свойственная... русским. О своем прошлом говорил Аббиат мало, но в узком кругу его новых знакомых стало известно, что он начал свою деятельность поваром в Париже в большом ресторане, потом открыл свой ресторан, дело пошло с успехом и, после ряда лет неустанной работы, он приобрел отель в Жуан ле Пин, где сейчас оставил управляющего, решив попытаться счастья в Белграде.

Спустя несколько недель после приезда Аббиат нашел подходящее помещение для своего нового предприятия. Это ресторан Дрина

на углу двух очень оживленных улиц в дипломатической части города. Несколько предыдущих арендаторов ресторана потерпели неудачу, но Аббиата это не смущало. В короткий срок неопрятное закопченное помещение превратилось под умелым руководством Аббиата и его невесты в первоклассный европейский ресторан, имеющий все преимущества ночного увеселительного заведения с площадкой для танцев и с артистической программой варьете.

Стены помещения были обложены ценным деревом, мебель обита плюшем. Двери, отделяющие эту часть ресторана, покрыты тяжелой материей, изолирующей всякий звук. Здесь Аббиат намеревался организовать игорный клуб, но только для избранных гостей.

Еще до открытия ресторана Аббиат с Бахманом посетили белградскую полицию. Аббиат обратился с просьбой помочь ему в выборе служебного персонала. Он – иностранец, никого не знает и боится, что к нему проникнет коммунистическая или советская агентура, а потому он просит разрешения сообщать полиции имена людей, коих он намерен принять, для тщательной проверки всех кандидатов. Этим заявлением он завоевал абсолютное доверие полиции.

Кельнеров Аббиат набрал из среды русских эмигрантов, ставя условием знание нескольких языков и хорошее происхождение.

Баронесса нашла, что надо изменить название, – так появилась с большим вкусом сделанная вывеска «Пети Пари».

Старания Аббиата вскоре увенчались полным успехом. «Пети Пари» стал местом встреч белградского высшего света. Офицеры Генерального штаба, военного министерства, дипломаты, представители высшего общества – все бывали у Аббиата.

К тому же «Пети Пари» находился напротив британского посольства, в нескольких шагах от итальянского, болгарского и французского, а немного дальше – здание Великой Ложи Вольных Каменщиков Югославии. Оттуда тоже приходили посетители и становились постоянными клиентами Аббиата. Все чувствовали себя у него хорошо – Аббиат умел каждому оказать внимание.

Артисты из Вены и Будапешта показывали блестящую и интересную программу; увеселительный и артистический персонал постоянно менялся, только одна певица выдающейся красоты и обладательница редкого голоса, выступающая под псевдонимом Донна Франсе, участвовала в программе от начала до конца существования «Пети Пари».

Многие богатые торговцы, банкиры, дипломаты, офицеры добились ее любви, но она никому не отдавала предпочтения, оставаясь со всеми мила и любезна. Позже удалось случайно узнать, что она морфинистка, морфий поставляет ей Аббиат, и она дарит свою любовь только по указанию Аббиата, преследующего собственные цели.

Кульминационным моментом каждого вечера было появление красавицы баронессы Бригитты. Одевалась она всегда по последней парижской моде с особенно изящной прической и редкими драгоцен-

ностями. Она всегда умела выбрать подходящий момент для наиболее эффектного появления в зале, привлекая всеобщее внимание.

Очень скоро Аббиат и Бригитта вошли в высшее белградское общество. В других больших городах Югославии, как Загреб, Сараево, Люблина, это было бы почти невозможно. Эти города, каждый в силу своей истории, были очень сдержаны к новоприбывшим иностранцам. В Белграде же уклад жизни и обычаи походили на восточнославянские, отличающиеся гостеприимством, в особенности по отношению к иностранцам.

Бригитта любила путешествовать и часто ездила в Вену и Будапешт. Аббиат же всецело посвящал себя работе в «Пети Пари», а главное, в игорном клубе.

Не прошло и года, как Аббиат и Бригитта были приняты всеми. Аббиат приглашался на свадьбы, празднования крестин и везде сорил деньгами. В городе стало известно, что он великодушен, добр и является дальновидным предпринимателем. В своем игорном клубе он охотно дает займы деньги молодым дипломатам и офицерам. Дает просто, по-отечески:

– Вы – представители молодой генерации, – говорил он, – будущее государства. Я – предприниматель и думаю далеко вперед; я хочу еще много лет работать в Белграде. Может быть, завтра или послезавтра мне понадобится ваша протекция, когда вы будете уже в чинах, тогда я буду гордиться знакомством с вами.

В сравнении с этим пара тысяч динар – просто ничто. При этом посетители не замечали, что Аббиат умело расспрашивает их о различных вещах и завлекает в огромную паутину, из которой выхода нет...

Бригитта также вращалась в высшем обществе, посещая дамские кружки, журфиксы; ей удалось проникнуть в круги, близкие ко Двору. Там она получала последние новости о жизни королевской семьи, о намерениях короля, о предстоящих его поездках, о действиях оппозиции, сепаратистов и т. д. Она знала, что король занят планом создания в Европе Священного Союза для свержения коммунизма в России, для этого он планировал объехать ряд стран Европы.

### **Донесение агента «Институтка» в Москву**

*Сообщаю следующее:*

*Официальные торжества по случаю государственного визита состоятся в Париже. Встречать в Марсель поедут Барту и генерал Жорж.*

*По декрету, подписанному 21 мая 1932 года президентом Лебреном, ответственность за поддержание порядка и безопасности возлагается на «Сюрте Насьональ», а именно на генерального контролера Систерона.*

*Александр сойдет на берег в Марселе. После выполнения первых пунктов церемониала Александр и его спутники Барту и Жорж направятся в открытом автомобиле из Старой Гавани (Вьё Пор) к префектуре.*

*При следовании по городу автомобиль проедет по главной улице*

*Марселя Ла-Канебьер и по улице Сен-Ферреоль. Перед префектурой состоится торжественная церемония, Александра будет приветствовать народ.*

*Путь следования кортежа разбит на участки, на которых для обеспечения порядка и безопасности будут использованы лишь полицейские наружной службы численностью около 1300 человек.*

*Поскольку торжественная процессия будет продвигаться медленно, охрану с участков, по которым автомобиль уже проедет, будут снимать и перебрасывать вперед для усиления охраны следующих участков.*

*Армия для охраны порядка не привлекается. По словам де Лафоркада, предусмотренный ранее эскорт мотоциклистов будет отменен. Об этом я сообщу дополнительно.*

## ПРЕССА

### Фотография чудовища Лох-Несса

Капитан Фрейзер, известный африканский охотник, с группой других лиц нанят недавно английским богачом сэром Эдуардом Маунтеном для розысков чудовища озера Несс. Он был снабжен кинематографическим аппаратом специальной конструкции. У аппарата телескопическая линза, она может производить самые подробные снимки мелких предметов на расстоянии полутора-двух километров. Фрейзер изо дня в день дежурит на шлюпке посреди озера. Вчера ему удалось увидеть Чудовище, которое появилось на поверхности озера на расстоянии нескольких сот метров от него. Фрейзеру удалось сделать снимок. Непроявленный фильм отправлен в Лондон в распоряжение Зоологического музея. Охотник говорит, что он видел спину животного с двумя горбами. Головы он не заметил. Таким образом, вновь всплыла легенда озера Несс, хотя еще недавно все газеты обошло сообщение о том, что водолазы обнаружили в этом шотландском озере корпус разбитого во время войны немецкого дирижабля.

*«Возрождение», 18 сентября 1934*

### Телохранитель Троцкого

Берлинский народный суд приговорил к трем годам принудительных работ бывшего личного телохранителя Троцкого, немецкого коммуниста по имени Вернер Юрра. Он осужден за соучастие в подготовке к государственной измене. Три других человека приговорены на более короткие сроки. Все осужденные принадлежали к коммунистической организации «Красной Помощи», которая, по утверждению прокурора, финансируется Москвой.

*«Возрождение», 19 сентября 1934*

\* \* \*

Последнее время между Москвой и Парижем установилось регулярное телефонное сообщение. Вызов из Парижа стоит дорого, но зато москвичи за 10 обесцененных советских рублей могут вызывать своих родных и знакомых, живущих в Париже. Многие этим воспользовались.

Недавно произошел такой забавный случай. Часов в 10 утра кабарежную артистку З. разбудил телефонный звонок; барышня со станции сказала:

– С вами хотят говорить из Москвы.

Артистка равнодушно взяла трубку, решив, что звонит кто-то из директоров ресторана «Москва». Наверное, предложение выступить. Но что за свинство: знают, что работать приходится целую ночь! Могли бы позвонить попозже, после полудня! Не дают спать!

– Алло! Вы слушаете? Говорит Москва! Слушаю.

– Это ты, Варя? Варя, Варя, деточка!

– Послушайте, если это по делу, так говорите. А если вы меня интригуете и собираетесь говорить глупости – я немедленно брошу трубку. Вы меня разбудили!

– Варя, да неужели ты не узнаешь моего голоса?!

Было в этом вопросе что-то трагическое, что заставило артистку насторожиться... Она прислушалась. Как будто знакомый голос... Но чей? Мало ли у нее знакомых в Париже...

– Варя, да ведь это говорит твой отец, из Москвы!

И тут Варя узнала дорогой голос, которого она не слышала уже 15 лет. Несчастный отец, вероятно, долго не мог понять, о каком ресторане «Москва» говорила ему дочь по телефону...

\* \* \*

«Железная Маска» собирает коллекцию самых замечательных объявлений, печатаемых в эмигрантской печати.

Коллекция эта недавно обогатилась таким объявлением:

«Намажьте лицо нашим кремом, и даже родные вас не узнают!»

\* \* \*

Пишущий эти строки приехал недавно на такси в Палату депутатов. Шофер дал сдачу, получил франк на чай и вдруг сказал:

– Господин депутат, нельзя ли провести какой-нибудь закон, чтобы избавить нас от иностранцев?

– А в чем дело?

– Да, знаете, совсем русские шоферы одолели! Вы посмотрите, сколько их в Париже. Мы и без того плохо работаем, а тут еще русские.

Длинная пауза. Я отвечаю:

– Вот что, старик. Во-первых, я не депутат. А во-вторых – я русский. Так вот, имейте в виду, что если русские шоферы с вами конкурируют, то русские клиенты, вроде меня, дают вам заработок. Так что жаловаться нечего.

Шофер засмеялся и покрутил головой:

– Как это меня угораздило так неудачно попасть!...

Поднял флажок и поспешно отъехал. Я думаю, этот не скоро будет требовать высылки русских.

*«Иллюстрированная Россия», 1934*

БЕЛГРАД, СЕНТЯБРЬ. 1934

В конце сентября 1934 года в Белграде идут приготовления к поездке короля во Францию.

В ресторане у Аббиата также приподнятое настроение. Сам хозяин проявляет известную нервозность, что отражается и на всех служащих. Аббиат объясняет, что он ожидает посетителя из Болгарии,

который должен привезти ему проект открытия ресторана в Софии, после чего надеется еще больше развить свое дело.

«Пети Пари» открывается обычно в семь часов вечера, но весь конец сентября два лакея обязаны дежурить в ресторане с полудня, так как можно ежедневно ожидать приезда болгарского гостя. Сам Аббиат непрерывно сидит в своем кабинете, куда приказано немедленно провести гостя в случае его приезда.

Наконец, гость приезжает и его проводят к Аббиату.

Кельнер Кальчужный уже полгода работал у Аббиата, замещая тяжело заболевшего отца, он хорошо говорил по-французски и по-немецки. Часа через два после приезда посетителя Виктор решил пройти к Аббиату, чтобы договориться о некоторых подробностях вечерней программы. Приблизившись бесшумно по мягкому ковру к кабинету Аббиата, он, к своему удивлению, услышал громкие голоса, но что его еще больше удивило, разговор шел на чистом русском языке. Он слышал голос Аббиата, говорящего по-русски без всякого акцента – в то время, как тот уверял, что по-русски ничего не понимает и всегда говорил с Виктором по-французски.

Из услышанного разговора становилось ясно, что Аббиат находится в подчиненном положении по отношению к приезжему. Приезжий говорил повышенным тоном и, очевидно, он чем-то очень недоволен. Аббиат же виноватым голосом оправдывался. Смысл разговора трудно понять, но отдельные фразы врзались в память Виктора (позднее их внесут в полицейский протокол, но, увы, поздно, короля тогда уже не будет в живых). Виктор ясно слышал, как гость из Софии, повысив голос и отчеканивая каждое слово, сказал:

– То, что вы сообщаете, товарищ Аббиат, совершенно недостаточно. Мне не нужны придворные сплетни, мне нужны точные данные о мерах охраны, которые будут приняты во время путешествия. Если вы действительно уверены, что вы их получите в ближайшие дни, пошлите срочно с Бригиттой по обычному адресу.

Виктор – очень корректный служащий, он не хотел подслушивать разговор шефа и бесшумно удалился. Но ломал себе голову, почему Аббиат скрывает знание русского языка и, по-видимому, русское происхождение. Тем не менее, войдя через полчаса в комнату шефа, Виктор ни одним словом не выдал своих мыслей. Он знал, что одна неосторожная фраза – и он может потерять службу, где так хорошо зарабатывает.

## МАРСЕЛЬ. ОСЕНЬ

24 сентября 1934 года в венгерский город Надъканижа, в дом № 23 по ул. Миклоша Хорти, в котором жили усташи, прибыл один из лидеров организации. Он привез распоряжение от Павелича, согласно которому требовалось выделить троих человек для выполнения

важной задачи. Брошенный жребий пал на Краля, Райича и Поспишила.

28 сентября они, Владо Черноземский, а также Кватерник, возглавлявший группу, собрались вместе в Цюрихе и выехали в Лозанну. На следующий вечер на пароходе пересекли Женевское озеро и высадились на французском берегу.

Чтобы не вызывать подозрений, Кватерник разделил группу надвое. Поручив Райичу и Черноземскому выйти в Эвиане, сам он с остальными сошел на берег в Топоне. На разных станциях они сели в один и тот же поезд, в восемь отправлявшийся в Париж.

По приезде в столицу Франции Кватерник собрал усташей в своем гостиничном номере. Кроме них присутствовал неизвестный им человек, как они догадывались – действительный руководитель операции. Это был Аббиат, усташам назвавшийся Петром.

Петр разложил деньги на столе. Каждому – по стопке.

– Владо – центральный, – произнес он.

Бандиты разобрали деньги и сумрачно рассматривали незнакомца. Тот не обращал внимания.

– Значит, как договорились: вы прикрываете бомбами, создаете панику. Владо – первый выстрел, прямо в короля.

Краль скривил рот.

– Почему Владо?

– Не твое дело. Так решили.

Тот повел носом.

– А ты кто такой?

– Не твое дело, – как плюнул Аббиат-Петр. – Твоя работа кинуть бомбу в толпу.

– Я думаю, надо с другой стороны площади, я ходил туда, смотрел.

– Думать ты будешь потом, – оборвал его Владо. – С той стороны заслон в переулке.

– А ты кто такой? – снова напыжился бандит.

– А это тоже не твое дело – кто я такой. Ты получил деньги?

– Получил.

– Иди и выполняй свою работу.

Краль показал ему пистолет.

– Лучшее оружие в таких делах! Крупный калибр.

Владо кивнул – дескать, согласен.

Петр продолжил.

– Владо кончает короля, вы кидаете в толпу бомбы. Владо уходит в переулок. Будет суматоха. А ты прикрываешь его отход.

Краль снова шмыгнул носом.

– Я не расслышал, как тебя зовут?

– Не твое дело, как меня зовут. Не слишком ли много ты спрашиваешь?

Владо тоже удивился.

– Эй! Ты не ракию пьешь с бабой, а дело делаешь. Ты чего хочешь? Стрелять в короля?

Тот испуганно откинулся назад на стуле.

– У меня сорвалось. Я ничего не хочу. Владо лучший стрелок из нас.

Молчащий до этого высокий с длинными усами бандит подал голос.

– А документы?

Петр кивнул.

– Обязательно уничтожьте. Вот вам новые, – он достал из бокового кармана пиджака паспортные книжки. – Вы все – чехи. Выучите, как каждого зовут.

8 октября Кватерник, Черноземский и Краль и Петр отправились в Марсель с целью досконально изучить маршрут, по которому на следующий день должен был проследовать кортеж Александра. Здесь ими было установлено точное место покушения и окончательно составлен план действий, согласно которому Владо должен непосредственно убить короля из револьвера, а Краль – бросить в толпу несколько бомб, чтобы вызвать панику и дать второму заговорщику возможность скрыться.

В тот же вечер Кватерник, давший последние указания своим подопечным, отбыл обратно в Швейцарию.

9 октября Черноземский и Краль выехали в Марсель, имея при себе по два пистолета с нужным количеством патронов и по одной бомбе.

## ПРЕССА

*9 октября.*

Ровно в 16 час. 10 минут король Александр прибыл в Марсель. Обе подводные лодки, стоявшие в порту, отдали салют. Матросы трижды прокричали «Ура!» Министр иностранных дел Барту приветствовал короля. Король и министр обменялись любезностями. Затем король несколько минут беседовал с югославским посланником и представителями югославской колонии, выехавшими на встречу. Толпа была чрезвычайно радостно настроена. Раздались звуки югославского национального гимна. Кортеж двинулся по Каннебьер. Тогда-то и произошла трагедия.

*Марсель, 9 октября.*

Гофмаршал Александр Дмитриевич, который выехал навстречу своему Государю в Марсель, был ранен одной из пуль, выпущенных в короля Александра. Гофмаршал скончался от полученного ранения.

*Базель, 9 октября.*

Королева Мария Югославская прибыла в 14 час. в Базель в сопровождении министра Двора и небольшой свиты. Королева тотчас же выехала в Париж.

*Дижон, 9 октября.*

Королева Мария Югославская, которая должна была в Дижоне встретиться с королем Александром и вместе с ним ехать в Париж, оповещенная о происшедшей трагедии, отбыла в Марсель. Специальный поезд, везший королеву, изменив маршрут, направился в Марсель.

### **Как скончался Барту**

*Марсель, 9 октября.* Раненного в руку министра иностранных дел Барту, перенесли в Отель Дье. Хирурги признали, что рана сама по себе не представляет опасности, и решили тотчас же произвести операцию по извлечению пули. К несчастью, однако, в то время, как хирурги производили операцию, под хлороформом у Барту произошло кровоизлияние. Врачи тотчас же решили произвести переливание крови. Однако после переливания крови силы министра ослабели и он скончался в 17 час. 40 мин. Морской министр Пьетри, префект Жуанно, директор «Сюрте Насиональ» Бертон, генерал Бутэ, адмиралы Бертело и де Линьи пришли поклониться праху покойного.

### **Кончина генерала Жоржа**

Вскоре после получения известия о кончине Барту было получено известие, что один из виднейших генералов французской армии, член Верховного военного совета, генерал Жорж, который был назначен состоять при особе короля, тоже скончался от полученного ранения.

### **Отъезд президента республики**

Президент республики Альбер Лебрен вчера в 21 час 50 мин специальным поездом выехал из Парижа в Марсель в сопровождении министров Эррио и Тардьё, чтобы поклониться праху короля Александра Югославского и праху министра иностранных дел Луи Барту.

### **КРАСНОФЛОТЕЦ С «МАРАТА» СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ**

Меня часто спрашивают: почему я, краснофлотец с линкора «Марат», променял жизнь советского моряка на трудную судьбу эмигранта в чужой стране. Что заставило принять такое решение?

Я родился в 1910 году в крестьянской семье, отец мой был крестьянином и хозяйничал на 30 десятинах земли в Самарской губернии. Жили мы хорошо, имели достаток. После революции нас дважды «раскулачили». Первый грабеж отцовского имущества я вспоминаю смутно – был еще ребенком,

Во время НЭПа семья оправилась от первого грабежа. Отец имел кузницу, занялся торговлей. Ходил я в сельскую школу, но грамота давалась плохо. Да и не до грамоты.

Второе «раскулачивание» нас доконало – когда начали насильно гнать крестьян в колхозы. Вторично ограбили и семью нашу зачислили в «лишенцы», лишили права где-либо работать и что-либо получать. Продуктовых карточек не выдали, пособие по безработице не дают, из собственного дома выселяют...

Начали мы голодать. В лесу собирали ягоды и грибы, тем питались. Хлеба не видели месяцами. А уже осень наступила, дожди, холода. Что же делать? Выход один – бежать из деревни в город, попасть на производство. Просто сказать – бежать. А как убежишь? И дальше как быть? Мы же всего лишены. Как лишенец, я не мог надеяться на то, что меня куда-либо примут. И как без документов жить? Но свет не без добрых людей. Слава Богу, нашлись люди, помогли: получил я от сельсовета бедняцкую справку, то есть удостоверение, что я сын бедняка, – и уехал из родных мест.

С бедняцким удостоверением добрался до Донбасса, кирпичи подносил на стройке. Потом работал на шахтах, под землей, и рубщиком, и откатчиком, и вагонетки грузил, и вагоны на поверхности нагружал. Боялся, что раскроется мой обман со справкой. Поэтому несколько раз менял место работы. Получал около трех рублей в день. Жить можно было, но впроголодь. Обед в рабочей столовой стоит около двух рублей: суп 40 копеек, мясное блюдо 1 рубль 50 копеек. Так весь заработок проедал, но сыт никогда не был. Жил в бараке, имел койку с матрацем, подушкой и одеяло из шинельного сукна. Жить можно, но холодно и грязно. Газет не читал, ими не интересовался. Все рабочие жили между собой мирно, но друг другу не доверяли – доносчиков много.

Связь с семьей потерял сразу, как уехал в Донбасс. Потом узнал, что отец скончался, а мать и брат умерли от голода два года назад. Много тогда народу помирало, особенно на Украине.

В церквах я не бывал, но знаю, что церкви там есть и народ в них бывает. У нас в губернии церкви почти все закрыты. Коммунисты собирали сходы, голосовали за закрытие церковей поднятием рук. Посмотрят, говорят: большинство. Вот церковь и закроют. Батюшка один живет в частном доме, приходят к нему, крестить детей приносят, но много детей и некрещеных.

Во флот попал по набору. Как «лишенец», я не имел права служить ни в Красной армии, ни во флоте, но числился я бедняком, и меня взяли.

Во флот я не просился. Привезли в Ленинград, оттуда в Кронштадт, заперли в казармах, никуда не выпускали, учить начали. Сначала заставили имена и звания «вождей» заучивать: Ленина, Сталина, Кагановича, Ворошилова... Это надо наизусть знать. Потом учили, как на корабле отдельные части различать и как они называются.

Только после учения меня назначили на «Марат». Я назывался – матрос 4-й башни линкора «Марат». Матросов на корабле – больше тысячи человек. О «Марате» говорили нам, что корабль старый, но большевики его переоборудовали. Раньше он имел имя «Петропавловск». Линкор большой, четыре башни с пушками, торпедные аппараты. В прошлом году во время учебных стрельб загорелся порох во второй башне, 68 матросов погибли. Боялись взрыва боекомплекта, пришлось срочно затопить пороховой погреб.

Дисциплина на корабле строгая: каждое приказание надо было немедленно исполнять, а заслушание грозила кара. Командиры требовали, чтобы им козыряли и на корабле, и на берегу, но только своим. Чужим командирам флотским и всем красноармейским не козыряли совсем. Среди командиров много нерусских. Краснофлотцы друг на друга доносят и товарищества никакого между ними нет.

Есть среди командиров во флоте старые офицеры, но они только кораблями командуют и никакой другой власти не имеют, а приставлены к ним «комполиты». Иногда на занятиях политграмотой краснофлотцы спрашивали командира, ведущего занятия, почему одних старых офицеров уничтожили, а другие в Красном флоте служат, но этот вопрос всегда оставался без ответа.

На берег в увольнительную выпускали только в Кронштадте. Развлечений никаких для моряков не устраивали. Если кто знаком с девчонкой, то «гулял» с нею. Остальные на берегу пьянствовали – и командиры, и краснофлотцы, хотя за пьянство наказывали. Передграничным походом многих с «Марата» списали, в том числе всех, кто пьянствовал на берегу. Матросы любят водку пить. А я ее не люблю. И какой с нее толк, с водки-то? Только тоски еще больше. В Ленинград краснофлотцев первого года службы не отпускали совершенно, только иногда водили в строю в клуб и сразу из клуба обратно на корабль, так что за 10 месяцев службы во флоте я ни разу один в городе не был.

Да если бы и пустили, то нечего в городе делать, так как денег у моряков нет. Жалованье получает краснофлотец в течение первого года службы по 8 рублей в месяц, в следующем году по 12 рублей, а в третьем году по 15, но за эти деньги купить что-нибудь очень трудно, так как товаров нет. Ни в Кронштадте, ни в Ленинграде папирос не получить. Курили махорку, крутили папиросы из газетной бумаги.

О том, чтобы в церковь пойти или помолиться, на корабле и заикнуться невозможно. О политике между собой матросы никогда не разговаривали... На Пасху водили краснофлотцев в кинематограф, а перед представлением раздавали антирелигиозную литературу.

Кормили на корабле неплохо. На обед давали рыбный суп и кашу, утром и вечером чай, по полтора килограмма сахара в месяц на человека, хлеб без ограничения. Не голодали матросы. После того, как питался на шахте, на судне я не голодал. Но краснофлотцев волновали письма из деревни, в которых сообщалось о голоде. Возникла ненависть к командному составу, завидовали его обеспеченности и особенно тому, что семьи командиров сыты.

Тут я случайно узнал, что родители мои умерли. От голода. Там, в нашей деревне. Умерли и никого у меня не осталось. Где-то жили дальние родственники, но я их не знал. Значит, ничего меня теперь не держало. И такая тоска накатывала, волком вой. Но я не выл.

В июле 1934 года, за два месяца до самого плаванья, началась

проверка личного состава. Ее проводили Особый отдел (ОО), полит-аппарат кораблей и политорганы флота. Сначала ОО и политорганы собирали компрометирующий материал по своим каналам, с последующим оформлением именного списка. В нем указывались лица, которых, по мнению ОО, не следовало брать в заграничное плавание.

Перед заграничным походом многих списали на берег. Отбирали надежных людей и учили их, что говорить на берегу при разговорах с поляками, – что у нас в России, дескать, всё хорошо, хлеба вдоволь, колхозы растут. Выдали новую форменную одежду. В Гдыне перед спуском на берег отобрали советские деньги и выдали по 9 польских злотых каждому отпущенному на берег матросу.

Как в Польшу пришли, то тут... Даже не знаю, с чем сравнить! В магазинах чего только нет, лавки полны жратвы и вещей, смотришь на витрины – и слюни текут от зависти. И каждый может это купить – никаких карточек, никаких спецталонов. У нас же всё начальство, все командиры по спецпайкам, по распределителям, где их семейки кормятся. А здесь всё есть... Наши ребята, матросы, как увидели, мать честная, – колбаса! Некоторые колбасы раньше не видели, в Красном флоте разве только самое важное начальство колбасу имеет.

Командиры в Гдыне покупали, главным образом, женскую обувь, и это тоже вызывало зависть матросов.

В первый день меня не выпустили, другую группу выпустили на берег, они вернулись и рассказывали, не могли скрыть своего восхищения заграничными порядками. Перед походом нам говорили, что в капиталистических странах рабочих бьют, что буржуи ездят на них верхом по фабрикам и на улицах, и многие матросы понимали буквально. Тем большим было их удивление при виде нарядной толпы, переполненных съестными припасами лавок и т. п.

Меня во второй группе выпустили на берег. Я решил – или сейчас, или никогда. Никому ничего не говорил, знаю: скажу – донесут.

Мы зашли за угол, я прыг в подворотню, а там проход, я сразу заметил, а за ним магазинчик, лавка. За прилавком тетка в платочке, касса, мужик в шляпе что-то выбирает на полке. Я к ней по-русски:

– Помогите мне, куда мне пойти, я хочу остаться, что мне делать?

А она испугалась, в сторону шатнулась, наверно, приняла меня за вора и по-польски что-то говорит, а сама дрожит, я вижу, но ничего по-польски не понимаю.

Но тут мужик, который выбирал, подошел и говорит:

– Я понимаю по-русски, господин. Вы матрос?

– Да, краснофлотец.

– С корабля, который вчера пришел?

– Да, с линкора «Марат».

– Что вы хотите? Хотите здесь остаться?

– Да! Да! – кричу. – Не хочу возвращаться. Хочу здесь жить!

Он усмехнулся.

– Здесь жить...

– Да, не хочу возвращаться! Друг, можешь помочь? Помогли!

– Помогу, – говорит, – пошли со мной.

Потом повернулся к тетке за кассой и что-то сказал.

Она сразу обмякла – поняла, что я не вор и не налетчик. И перекрестила меня.

Встреченный человек не только укрыл меня у себя до ухода «Марата», но даже отвел в полицию, оформил документ и дал работу в своем предприятии – у него механическая мастерская.

Почему я не вернулся? Что же заставило остаться за границей?

Страх перед разоблачением. В Красный флот я, как «лишенец», попал нелегально. Мне вскоре предстояло идти в отпуск, и во время отпуска все мои документы были бы подвергнуты проверке. Обман с моим «бедняцким» происхождением раскрылся бы, и за «незаконное» поступление в Красный флот мне угрожал расстрел. Я предпочел бежать с корабля, чем дожидаться верного расстрела в случае возвращения. К этому мне прибавить нечего...

Ах, да, забыл рассказать. По существующим в Польше правилам прежде, чем польские власти разрешили мне остаться в Польше, приехал представитель советского посольства из Варшавы.

Он в присутствии польских властей расспрашивал о причинах ухода с «Марата». А что я могу ему сказать? Я и рассказал то же, что сейчас рассказал вам.

Советский выслушал, пожал плечами: «Что же тут разговаривать, всё ясно» – и вышел из комнаты.

### Документы

СТАЛИН – ЖДАНОВУ, ЯГОДЕ, АКУЛОВУ О МАТРОСЕ-НЕВОЗВРАЩЕНЦЕ

[14 октября 1934 г.] (не позднее)

Тт. Жданову, Ягоде, Акулову

Недавно стало известно, что один из матросов линкора «Марат» в бытность последнего в Гдыне не вернулся в СССР и остался в Польше. Выходит, что этот матрос совершил преступление, предусмотренное последним законом об измене Родине. Необходимо узнать и сообщить мне незамедлительно: 1) Арестованы ли члены семьи этого матроса и, вообще, привлечены ли они к ответственности. 2) Если нет, то кто отвечает за проявленное бездействие власти и наказан ли этот новый преступник, нарушающий таким образом закон об измене Родине.

Привет!

*И. СТАЛИН*

ЖДАНОВ – СТАЛИНУ. ОТВЕТ НА ШИФРОВКУ О НЕВОЗВРАЩЕНЦАХ

14 октября 1934 г.

Тов. Сталину

Согласно расследованию, произведенному НКВД по получению

сообщения о дезертирстве Воронкова, у него нет членов семьи, попадающих под действие закона об измене Родине, так как у него нет ни отца, ни матери, ни жены и детей и вообще проживающих с ним или находившихся на его иждивении членов семьи.

После Вашего письма мы организовали дополнительное расследование на его родине (Башмаковский район Средневожского края), о результатах которого сообщу Вам незамедлительно.

*ЖДАНОВ*

### МИЛИЧ. ОСЕНЬ 1934

Милич вошел в комнату и, не останавливаясь, обратился к арестованному.

– Ты напрасно упираешься, – презрительно произнес он, – твой приятель нам всё рассказал. Вы приехали из Марселя.

Страх искажил лицо сидящего за столом.

– Мы никогда не были в Марселе! – крикнул он. – Это были не мы! Мы – запасная группа...

Он понял, что проговорился, но Милич нажал ему на плечо, сажая на место.

– Рассказывай. Кстати, как зовут твоего друга?

– Он не мой друг. Я его не знаю. Первый раз вижу.

Милич скривился.

– Брось врать – первый раз вижу! – передразнил он. – Посиди в камере – подумай. Если умеешь думать, – добавил он. – Уведите. Где следующий?

В соседней комнате на скамье у стены сидел мужчина с мрачным выражением лица. У дверей наблюдали за ним два жандарма.

Милич встал напротив.

– Твой приятель сознался. Он всё рассказал. Твоя кличка Дидо. Так? Молчишь. Ну, ну. Может, ты не понимаешь по-сербски?

Милич повторил свой вопрос по-болгарски, потом по-хорватски. Мужчина вздрогнул.

Ага, хорват и, конечно, усташ, понял сыщик.

– Так на каком языке будем беседовать – на болгарском или на хорватском?

Мужчина поднял голову. На сыщика смотрела сама ненависть. И тут же это лицо выплыло из памяти фотографией на газетной полосе.

– Я знаю тебя. Ты – Звонимир Поспешил. Ты застрелил Тони Шлегеля и двух полицейских в Загребе.

В тот же момент Поспешил вскочил и бросился на сыщика. Он схватил его за горло, но не учел, что Милич прекрасно владеет джиуджитсу, и был брошен на пол. Жандармы, стоящие у дверей, схватили бандита и после короткой борьбы надели наручники.

*(Окончание следует)*

**Вячеслав Попов**

## Слова себя читают сами

\* \* \*

стояло в доме пианино  
его никто не открывал

его нам дядюшка тамино  
от сердца даром отрывал

он всё рассказывал как странно  
ему жилось среди людей

он предпочел бы слишком рано  
как моцарт вольфганг амадей

а так вещами обрастаешь  
пускаешь корни в кровь и плоть

уже как облак не растаешь  
здесь распороть там прополоть

так много муторной работы  
так много мелочных забот

что наша жизнь слова и ноты  
а вот уж нет ни слов ни нот

\* \* \*

больной ребенок учится читать  
он маленький  
он слов не понимает  
но пальцам нравится глубокая печать  
и на картинке кто-то погибает

ребенок гладит впалые слова  
на умирающего смотрит человека  
в груди стрела  
поникла голова  
ребенок говорит  
и я калека

с тяжелой книгой говорить легко  
она молчит и слушает словами  
оттуда выпукло  
отсюда глубоко  
слова себя читают сами  
сами

\* \* \*

про ослика господня  
про нашу госпожу  
вам расскажу сегодня  
и в лицах покажу  
про то как вез он тело  
про то как плакал он  
как в темноте несмело  
ступал он под уклон  
про то как мать божья  
вела его сама  
до самого подножья  
смертельного холма

\* \* \*

душа была приглашена  
в один хороший дом

по акварели лапшина  
нашла его с трудом

смотрела молча из окна  
на снег и фонари

и ей казалось что она  
опять живет внутри

кто в этот дом ее позвал  
кто с нею говорил

кто проводил в прохладный зал  
и двери притворил

как одиноко как легко  
жить в вечном вещем сне

так высоко так далеко  
так непонятно мне

## ВЯЧЕСЛАВ ПОПОВ

\* \* \*

из жизни умирающих  
придуман рассказ  
квартиру убирающих  
как бы в последний раз

ужасно им не хочется  
в квартире убирать  
они от боли корчатся  
им скоро умирать

их веник тупо тычется  
по тысячам щелей  
их обступает тысяча  
бессмысленных вещей

в глазах у них двоится  
им страшно тяжело  
но по щелям таятся  
таинственное зло

им этого не вынести  
дышать всё тяжелей  
но это нужно вымести  
из тысячи щелей

посланники небесные  
гонцы во все концы  
прекрасные неместные  
на свете нежилыцы

\* \* \*

планету тарусой назвали  
а реку назвали окоя  
гостей отовсюду назвали  
и стала планета такой

и мы невысокие гости  
летевшие издалека  
стоим опираясь на трости  
о боже какая река

плывут облака золотые  
двойной шелковистой волной

старательно так завитые  
давно перед самой войной

безумно похожи пейзажи  
похоже качался причал  
и так же не верится даже  
пронзительно коршун кричал

мы два старика и старуха  
бодры и легки на подъем  
к утру говорят будет сухо  
в поленово значит пойдем

откуда мы здесь и о ком мы  
с такою любовью молчим  
мы кто как давно мы знакомы  
и замыслом связаны чьим

\* \* \*

что казалось сном оказалось лесом  
и качалось в воздухе влажным весом  
свет держало листьями чуть живыми  
и подрагивало линзами дождевыми  
ни души вокруг только шорох капель  
только запах желтый багряный карий  
только где-то дятел да нет же кашель  
человек проснулся лежал как камень  
поперек надтреснут в глазах лишайник  
человек воскрес пошел ставить чайник

## Илья Франк

\* \* \*

Приснившийся какой-то город,  
Не сотворенный человеком,  
В котором я – ни стар, ни молод –  
На равных существую с веком,

В котором нет старинных зданий,  
Нет современности постылой,  
А есть лишь череда свиданий  
С грядущей будущностью милой –

С затейливой архитектурой,  
Придуманной веселым магом,  
Согласною с моей натурой,  
Меняющейся с каждым шагом.

### ВОТ ТАК (ЭМИГРАЦИЯ)

Отчего да почему  
На глазах слезинки?  
Это просто ничего,  
По любви поминки.

*(Песня)*

Вот так. Ну ладно, русская зима.  
Я улетаю, милая тюрьма,  
Не сосчитав еще твои снежинки.  
«Сестра его дворецкого»: вперед  
Выходит Дина Дурбин и поет  
С акцентом легким: «...по любви поминки».

### ДОРОЖКА ЧЕРЕЗ ПУСТЫРЬ

Перед тем как более или менее  
лишаешься памяти, разума,  
а также отваги,  
скажем, пойти куда-нибудь одному  
или купить какой-либо билет,  
случается некое просветление,  
словно какая-то пустынная, свободная зона,  
отчасти схожая, пожалуй, с чистым листом бумаги,  
путь через которую кажется знакомым,  
как когда-то в Останкино через пустырь и снег.

## В ИТОГЕ

Можно промолчать, но если  
поговорить об итоге,  
то человек, сидящий в кресле,  
невывразимо убогий,

щурясь, видит в волшебной яви,  
сияющей за окном,  
как бы жемчуг в темной оправе  
на теле женском родном.

## ПОСЛЫШАЛОСЬ

Кто-то говорит: Илюш!.. –  
Это мама или время.  
Кто-то спрашивает: Слышишь?  
Ты к могилке-то придешь?  
Мы тебя совсем разденем  
И увидим, что ты – ложь.  
Мы тут ложками-костяшками стучим  
И таких, как ты, едим.

## ВМЕСТЕ

Два обнявшихся человека  
Улетают, словно праздничный шарик,  
В синее, детское небо,  
Где висит золотой фонарик,  
Где встречают их белые тени  
В серебристых, лучистых одеждах,  
Не будя их. Где, цвета сирени,  
Воздух всё реже...

## НА ВЫСТАВКЕ КАРТИН СУРИКОВА

Царевна Психея, расширя глаза,  
Идет меж свечей и сестер.  
Степан-душегуб, заморозив глаза,  
Глядит на каспийский простор.  
Солдатик скользит и тарашит глаза  
В провал и в бессмысленный бой.  
Что видите вы пред смертью, глаза  
Человека с больною рукой?

## ПОЧУДИЛОСЬ

Да нет же, это не листья,  
За открытым окном мотаясь,  
Шумят так пусто-глухо,  
Что страшно их понимать, –

То папа с мамой на кухне,  
О чем-то опять, препираясь,  
Говорят непонятно-быстро,  
Уложив меня спать.

\* \* \*

Вы ведь знаете картину Гирландайо:  
мальчик смотрит на старика,  
старик смотрит на мальчика, рука  
которого покоится на старике.  
Гора, цвета сгущенного неба, виднеется вдалеке,  
и дорога вьется из этого далека –  
нежного цвета – деревья, холмы и храм огибаая.

\* \* \*

Если ты уже добрался до грустного края земли,  
просто иди не спеша к церкви Покровá-на-Нерли,  
которая растет на том конце поля,  
словно белокаменные покой и воля,

но перед этим, возможно, ты увидишь белого льва  
в счастливом сне, и его улыбающаяся голова  
посмотрит на тебя так,  
как будто ей нравится такой чудак,

а затем он пойдет по полю с тобою рядом,  
помахивая цветущим хвостом,  
подбадривая тебя взглядом,  
пока ты не дойдешь до самого конца  
и, поглядев вверх,  
не увидишь львов и Давида-певца.

\* \* \*

Внутри лица еще одно лицо:  
Закрой глаза и погляди во тьму –  
Наверное, перед своим концом  
Сквозь внешнюю сухую кутерьму

Таким увидишь самого себя –  
Совсем другим, каким бы быть ты мог,  
Когда, любовь родную не губя,  
Ты шел бы мимо всех чужих дорог.

Александр Мельник

## Маяк

\* \* \*

Мне четырнадцать. Школа. Шестой урок.  
Уговоры химички идут не впрок.  
Я с Наташки пятнадцать минут подряд  
не спускаю призывно-влюблённый взгляд.

Речь идёт о валентности битый час.  
Нет, ребята, я вовсе не лоботряс,  
знаю цену и делу, и озорству –  
просто с химией встретился наяву.

Что-то с кровью случилось – бурлит, кипит.  
Представляю, какой я смешной на вид.  
От Наташки записка – хороший знак...  
А в записке одно лишь слово: «Дурак!».

*14 октября 2024*

### ПОЦЕЛУЙ НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

Наискосок от Курского вокзала  
тропинка то вела, то ускользала –  
по шпалам, через рельсы, напрямик  
до проходной студенческой общаги,  
в которой мы, вчерашние салаги,  
перерождались в мыслящий тростник.

Гранит науки, базис и надстройка,  
похмелье после дружеской попойки,  
театры на последние рубли.  
Смешно сказать – тогда, в семидесятых,  
мы все дружили, а врагов заклятых  
лишь в наши дни внезапно обрели.

«В Воронеж как-то бог послал кусочек...»  
Весна пришла без лишних проволочек,  
но нас не сырный дух сводил с ума,  
а тонкие духи и зов природы.

На штурм твердынь кидались сумасброды –  
во всей Москве царила кутерьма.

Шалея, вождедея и взрослея,  
однажды я стоял у Мавзолея  
в компании знакомых ангелков –  
сокурсниц из какого-то аула,  
приехавших на смену караула.  
Вот вам картина в несколько мазков:

сбежавшие от праздных ротозеев  
(на самом деле просто дуралеев),  
как водится, забывшие в момент  
о штрафах, о прохожих и о чести,  
мы целовались всласть на Лобном месте –  
советские студентка и студент.

*25 октября 2024*

### ПРОЗА ЖИЗНИ

Для Москвы Сибирь – чемодан без ручки.  
Тяжело нести, а оставить жалко.  
Год за годом – век, ни одной отлучки,  
оттого и – дух, оттого – закалка.

По тайге не странствуют автостопом.  
Чемодан укладывали веками –  
потаскай его по медвежьим тропам,  
по степи безбрежной с солончаками!

Хоть в мозгах с годами зияют бреши,  
помню тайминг прожитого маршрута:  
прилетел в Бурятию – умер Брежнев,  
улетел назад – воцарился Путин.

Два десятка лет – как одна неделя  
бытие, не чья-то там Одиссея.  
Этот срок теперь пополам поделим.  
Там – совок, а здесь родилась Расея.

Век за веком правду не там искали,  
бороздили шарик по всем широтам.  
Пуп Земли извечно лежит в Байкале,  
я давно нашёл его эхолотом.

Что там Шамбала! Чудо – когда с норд-вестом  
ты швартуешь судно к мысам скалистым.  
Прибайкалье стало сакральным местом  
для меня, бродяги-геодезиста!

А потом воззвание Чингисхана  
повлияло вдруг на мою натуру.  
Из страны дацанов и тарбаганов  
я ушёл на запад, к иным культурам.

Спору нет, с отступника взятки гладки,  
но обмен безлюдья на многолюдность  
навсегда оставил в сухом остатке  
тягу к воле, горечь и бесприютность...

Взад-вперёд слоняешься, будто шизик,  
посреди космического бедлама.  
Кто-то скажет – скучная проза жизни,  
а другой поправит: скорее – драма.  
*2 ноября 2024*

\* \* \*

Площадь Байкала – 31 722 км<sup>2</sup>.

Площадь Бельгии – 30 528 км<sup>2</sup>.

*Википедия*

В чужбине те же яйца, только в профиль –  
желтки, как полагается, внутри.  
Такой же лук или, возъмём, картофель  
(обычный с виду овощ, только фри).

Но ты в подсобке дедовское шило  
схватил в сердцах мозолистой рукой,  
чтоб поменять его... нет, не на мыло,  
на сущую безделицу – покой.

Байкал на карте – маленькая точка,  
предвосхищенье, будущий Big Bang.  
Из ничего в момент создались строчки,  
и ты запел о ветре перемен.

Куда кривая вывела – известно.  
Такая ж точка, мелочь, пустячок.  
Немного шумно тут, немного тесно,

течёт река, а рядом – соснячок.  
Свои провалы и свои вершины,  
картофель-фри и пиво в животах.  
Но реноме не меряют в аршинах,  
и уж оно, конечно, не в понтах.

*10 декабря 2024*

### ПОДАРОК

Зимовье к ночи снегом замело –  
в те дни морозы не давали спуску.  
Верблюжий спальник излучал тепло,  
я видел чум во сне, и в нём – тунгуску,  
потом индуску, ганку... Через миг  
шумел гарем, а пиком бенефиса  
был танец, обесмертивший Матисса,  
и танцовщиц самозабвенный крик.

Тогда мне было двадцать с небольшим –  
геодезист на северном Байкале,  
своим теодолитом одержим,  
я подражал коллегам-аксакалам,  
а между делом грезил о любви –  
поставив сеть, упрямо ждал улова.  
Смешно сказать – я по-французски слова  
не мог связать, но ждал от женщин: «Oui!»

Хоть Парки пряли позже на лугах,  
но обрывались нити-антиподы  
в мотавшихся богинями клубках.  
Пошли гурьбой и браки, и разводы...  
Когда берёт рутина за грудки,  
лишь идиот не видит перспективу.  
Я сделал в книге судеб коррективы  
и начал жить с судьбой вперегонки.

Прости, читатель, это предисловье.  
На самом деле сказка впереди.  
Я шёл в поход, и к моему становью  
прибился ангелок на полпути.  
Сама собой упала с неба нить  
и нас связала безо всяких Парок.  
«Ты женщина?» «Молчи, я – твой подарок.  
Никто не сможет нас разъединить».

Она была светящимся лучом.  
 Конечно «Ош!» читал я в тихом взоре.  
 Непросто свету ладить с рифмачом,  
 но тридцать лет – ни одного раздора.  
 Что остаётся? Память о снегах  
 и пара строчек вместо эпилога:  
 приятно жить за пазухой у Бога,  
 когда жильё – у чёрта на рогах.

*6 декабря 2024*

\* \* \*

Двуглавый орёл потерял навигатор.  
 Природная чуйка сошла до нуля.  
 Хотел на охоту слетать в Улан-Батор,  
 да так и остался торчать у Кремля.

Нет смысла глазеть на восток и на запад –  
 никто не боится сейчас булавы.  
 Однажды в студёную пору на запах  
 проснулись от голода две головы.

Запахло не то соблазнительным салом,  
 не то мамалыгой, не то бастурмой.  
 Негоже царь-птицу вчерашним вассалам  
 тревожить вкусняшками лютой зимой.

Орла приучали к великим охотам,  
 подолгу держали на скудном пайке.  
 Страна звероловов и их доброхотов  
 нуждалась в ужористом жирном куске.

И шествуя важно, в спокойствии чинном,  
 проснувшийся хищник отправился в путь –  
 за славой, за салом, за скромной дивчиной...  
 Пропал навигатор – но это не суть,

авось пронесёт, – промелькнуло, – так надо!  
 Сначала ему в самом деле везло,  
 но вдруг обожгло, как исчадием ада –  
 калёный трезубец воткнулся в крыло.

...Народ перед кассами цирка толпится.  
 Скучают базары, пустует продмаг.  
 На местной арене двуглавая птица!  
 На всех представлениях полный аншлаг.

*18 октября 2024*

## МАЯК

Весь день корпел – дошёл до точки  
и в черновик уткнулся лбом...  
Когда не пишется ни строчки –  
пора открыть фотоальбом.

Вот одноклассница со взором,  
меня сражавшим наповал;  
ещё одна – её измором  
хотел бы взять, но спасовал.

Мы все влюблялись понемногу...  
Стихи сокурснице, потом  
менялись музы – слава богу,  
хватало слёз в пережитом.

Неважно, сколько там в кубышке –  
шестнадцать, тридцать, шестьдесят...  
Маяк живёт от вспышки к вспышке,  
пока не кончится заряд.

Стоит себе на бугорочке,  
судам прокладывая путь.  
Когда не пишется ни строчки –  
про это вспомнить не забудь.

*3 сентября 2024 г.*

Дмитрий Гаранин

## Песнь старости

\* \* \*

Когда во мне устаканится пустота,  
через стеклянный чуть перелившийся край,  
и слов разбредающихся стада  
обратно через словарь в букварь  
полезут, я буду себе сосуд,  
в котором ни ряби когда-то случайных волн,  
ни замутнения бесследно прошедших смут,  
а только прозрачность, которой до верху полн.  
Я буду девственная слеза  
безвинных, ещё дословесных, дней.  
Сквозь наливающиеся пустотой глаза  
во сто диоптрий внутрь себя видней.

*Январь, 2023*

\* \* \*

Перед глазами ровный песок  
Море выдохшееся лежит  
Что-то я мыслями невысок  
Чувствами глохнувший инвалид

Пальмы истрёпанные стоят  
Ветром который улёгся спать  
Вся перспектива на грустный лад  
Наводит и тянет с утра в кровать

Прячутся игуаны в кустах  
Неинтересно смотреть на нас  
Куда-то карабкающихся в летах  
Лишь повторяясь в двухсотый раз

Всё ли успел здесь увидеть? Ну да...  
Если понятно тогда тормози  
Мы не поедem уже никуда  
В бензоколонке безумен бензин

*25 January 2023*

## ПЕСНЬ СТАРОСТИ

До чего ж нектара недостаточно  
А колючки невпроход избыточно  
Собери свой урожай початочный  
Близится твой максимум прожиточный

Рухлядь перевязана шпагатами  
В заусенцах жизнь вотще терпимая  
Буквы на заборе пропечатаны  
Анонимам строиться по имени

От щедрот по выслуге склерозно там  
Шелушиться в гамме кукурузной  
Где ещё цветут порывы поздние  
И в конце бывает каждый узнан

*Февраль 2019*

## МЕСТЬ ВРЕМЕНИ

Парковочный счётчик тикает, измеряя время.  
Режет его на оплачиваемые куски.  
Дождь ли с небес или ночи глухая темень –  
служит прибор без сомнения и тоски.

В пузе монеты – на времени богатеет,  
преобразуя минуты в полезный чеканный металл.  
Крепко прижился – природе он пальмы роднее.  
Более важным, чем клумба цветочная стал.

И ничего, что время от времени опорожняют,  
оберегая машину от заворота кишок.  
В небе летит пеликанов тяжёлая стая.  
Солнце над морем садится, и вечер пришёл.

Время, однако, всем жизням проводит границу,  
хоть механизм ты, в котором значительный прок.  
Время идёт, и всё явственней счётчик кренится,  
и на панели всё явственней ржавый потёк.

*23 January 2023*

\* \* \*

Хорошо родиться после большой войны,  
когда спят в тени истощённые силы зла,  
и прожить, не зная принуждения и вины,  
наслаждаясь тем, что победа всем принесла,

строить жизнь на просторе, что освобождён  
от препятствий, снесённых большой волной,  
Убедиться, что плод выращенный – не сон.  
Обозреть города, восставшие за тобой...

Мы затишья избранные сыны –  
в громовой сонате вторая треть.  
Хорошо родиться после большой войны  
и не спеша до следующей умереть.

*21 January 2023*

Лев Лосев\*

## Понять Гандлевского

Эпикур, Бенгам, Фрейд и многие другие были правы: цель жизни в удовольствии, и, открыв книжку стихов Гандлевского, мы этой цели достигаем.

Легче определить от противного, на что *не похожа* поэзия Гандлевского. У нее мало общего с головокружительными интеллектуальными и метафизическими далями Иосифа Бродского. Ее нарочито-небрежная интонация и расхожий словарь составляют полную противоположность экстатическому стиху Марины Цветаевой или словесной магии Осипа Мандельштама. В отличие от обманчиво простых стихов Анны Ахматовой, которые сама она уподобляла шкатулкам с двойным дном, у Гандлевского «что увидено, то и написано». Его поэзия отчасти напоминает стихи Бориса Пастернака, но Пастернака не раннего, а позднего: поэта Живаго – впрочем, и это сравнение хромает. Оба они извлекают лиризм из обыденности и повседневности, но вдохновляются – разным. У Пастернака – миссия: преобразование житейских будней в христианскую мистерию, чему он и посвящает свои борения. Гандлевский принимает прозу жизни как она есть.

Но какова она есть?

На земле немало мест, где убожество человеческого существования входит в резкий контраст с ослепительным великолепием окружающей природы – в Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной Америке. Да и недолгая прогулка по Манхэттену – от Парк-авеню до Бронкса – может превзойти драматизмом сошествие Орфея в ад. Конфликты, контрасты, противоречия пробуждают творческое воображение. Но что можно извлечь из энтропии? Основной цвет страны, на протяжении трех четвертей прошлого века называвшей себя «красной», – серый. Серыми были мешковатые платья женщин, выстаивавших в продуктовых очередях. Серыми были лица их сыновей и мужей, только что вышедших из тюрьмы или отрубивших восьмичасовую смену на химзаводе. Дешевая водка, которую они торопливо разливали под вечно хмурым северным небом среди обшарпанных бетонных зданий, тоже казалась серой в прозрачных бутылках.

Гандлевский превратил однообразие и скудость советской и постсоветской жизни в лирику высочайшей пробы, и добился этого

---

\*Лев Владимирович Лосев (1937–2009), поэт, американский профессор-славист, литературовед, эссеист.

поистине минималистскими средствами. Если в его стихах мечтают, то лишь о том, как починить старый сарай или как закурить сигарету, когда в кармане нет спичек. Его дикция почти неотличима от бормотания тех, что переговариваются в переполненных электричках, и так же, как у них, набита разговорными штампами. Его стихотворная форма строго следует правилам стихосложения, известным со времен средней школы: ямбический пятистопник или ямбический шестистопник для поэзии медитативной, анапест – для строк более исповедальных. И всё же, повторюсь, ничто так не доходит до сердца, как эти обломки избитых речений, несомые волнами правильного ямба или анапеста.

Я попытаюсь разгадать секрет неодолимого обаяния лирики Гандлевского на примере стихотворения «А. Магарику», проанализировав его в безлично-учебной манере.

В этом коротком стихотворении четыре строфы – то есть оно среднего для поэзии Гандлевского размера. В нем чередуются анапестические четырехстопники и трехстопники, и – в том же порядке – женские и мужские рифмы. В музыке ритмическим соответствием такой форме был бы вальс, которому в давние годы отдавали предпочтение, сочиняя сентиментальные песни. И в самом деле, любовь к бесхитростным сентиментальным песням, которую автор разделяет с простыми русскими людьми, думается, и есть тема этого стихотворения.

Стихотворение начинается с просьбы спеть после очередной опрокинутой рюмки и с пояснения, что песня должна быть «надрывной»:

Что-нибудь о тюрьме и разлуке,  
Со слезою и пеной у рта.  
Кострома ли, Великие Луки –  
Но в застолье в чести Воркута

Автор предлагает типичный сюжет из лагерно-тюремного репертуара:

Это песни о том, как по справке  
Сын седым воротился домой.  
Пил у Нинки и плакал у Клавки –  
Ах ты, Господи Боже ты мой!

Здесь, словно в переизбытке чувств, он перебивает себя восклицанием (и заметьте, в этом нет ни малейшего намека на иронию).

Во второй строфе первые шесть строк представляют собой зарисовку железнодорожной станции:

Наша станция как на ладони.  
Шепелявит свое водосток.  
О разлуке поют на перроне.  
Хулиганов везут на восток.

День-деньской колят по отчизне  
 Люди, хлеб, стратегический груз.  
 Что-нибудь о загубленной жизни –  
 У меня невзыскательный вкус.

Если в первой строфе поэт прямо обращается к певцам, здесь он смотрит на них со стороны. Раньше я не мог понять, почему я на этой картинке вижу дождь. Теперь понимаю: «шепелявящий водосток». В двух последних строках – «Что-нибудь о загубленной жизни – / У меня невзыскательный вкус» – Гандлевский внезапно возвращается к тому, что говорилось в прерванном восклицанием первом восьмистишии – к просьбе спеть песню «с надрывом», однако...

Третья строфа явно обращена к самому себе, причем в ней есть дивная метафора, которую не оценить ни одному трезвеннику:

Выйди осенью в чистое поле  
 Ветром родины лоб остуди.  
 Жаркой розой глоток алкоголя  
 Разворачивается в груди.

Третья строфа кончается словом «так» – «и дышится так», – которое катапультирует нас в последнее восьмистишие: прямо внутрь тюремной песни:

Будто пасмурным утром проснулся.  
 Загремели, баланду внесли, –  
 От дурацких надежд отмахнулся,  
 И в исподнем ведут, а вдали –

Анжамбеман означает еще одну смену поля зрения. Или – не означает? Разве картина, предстающая перед нами в последних четырех строках, – не та же, какую видит бедный малый из песни, когда его в исподнем ведут на расстрел? А видит он

Пруд, покрытый гусиной кожей,  
 Семафор через силу горит,  
 Сеет дождь, и небритый прохожий  
 Сам с собой на ходу говорит.

Такова лента Мёбиуса одного из лирических сюжетов Гандлевского: возле железнодорожной станции в холодный и мокрый день поэт просит спеть ему лагерную песню, становится осужденным – героем этой песни – и под конец смотрит его глазами на самого себя, сочиняющего это стихотворение в холодный мокрый день на железнодорожной станции. Средства – минималистские, а от результата – сердце кровью обливается.

*Перевод с английского Т. Я. Казавчинской*

## Сергей Гандлевский

\* \* \*

Когда ты старый и тебя Кенжеев  
сажает в Chinatown на автобус  
в Бостон или на местном русском в Бостон,  
минут через 5-7 вполнеба слева,  
как призрак в балахоне на ходулях,  
из-за реки встаёт Манхэттен.

И ты, поскольку стар, глядишь в окно  
такой весёлый и печальный –  
восторг прощальный твой Нью-Йорк прощальный.

2023

\* \* \*

Я роняю папиросы  
пьяными руками.  
Лена книжку Леви-Стросса  
держит вверх ногами.  
Вот отсюда, свет мой ясный,  
дети и берутся.  
*Дар случайный, дар напрасный,*  
пепел в чайном блюдце.

Мама, папа, брат, Наташа,  
Саша, Петр, Ирина,  
Витя, Галя, Лев, Аркаша  
Алик, Вова, Инна...  
Многие, кого любил я,  
с кем легко дружил я,  
к большинству примкнули (англ.) –  
умерли, мой ангел!

Вдох и выдох в час заката,  
пыль фотоальбома.  
Старость чуть витиевата,  
будто в чем-то виновата, –  
вычурная идиома,  
грустная цитата.

2021

\* \* \*

Что за чудак-человек по улице Барнова ночью  
еле плетется, твердя «Москву кабацкую» вслух?  
Экое кири куку! Это старый и трезвый Гандлевский  
делает вид на безлюдье, будто он молод и пьян.

2024

\* \* \*

«Гав!» – из-за шкафа скажет стишок.  
Как ты меня напугал!  
Выпить рассчитывал на посошок,  
а развезло наповал.

Радость моя – в смысле – старость моя,  
стыдная жадность моя!  
Кошки, собаки, враги и друзья,  
лоси, улитки, семья!

Боже, сто лет человеку в обед,  
к исчезновению обвык,  
в зеркале – вылитый дед-краевед,  
из СНТ «Газовик».

В детство впадаю и в рифму, и без,  
радуга между ресниц,  
будто вступаю в березовый лес  
с определителем птиц.

2020

\* \* \*

Лет сто назад, году в 73-м  
три молодых похмельных шалопаю  
на лавке Гоголевского бульвара  
прикидывали, что у них троих  
едва хватает в сумме на одну.  
Вот если та, кого они там ждали,  
добавит рубль-другой, то хватит на две.  
Но та, кого они там ждали,  
сверкнув незабываемой улыбкой,  
дала десятку –

мы переглянулись  
и дунули в Смоленский гастроном,  
поскольку время близилось к закрытию.

Я на ходу представляю who is who.  
 Кто хром, как Байрон, тот у нас Цветков.  
 Ему на долю выпала дорога,  
 а нынче он в суровом карантине  
 Бат-Ям под Болдино приспособляет.  
 Второй – Сопровский Саша, первый друг,  
 во цвете лет погибший в 90-м,  
 а третья... Третьей тоже нет в живых.  
 Останешься здесь безымянной, ладно?  
 «Что значит имя? Роза пахнет розой,  
 Хоть розой назови её, хоть нет...» –  
 Садись, «пятёрка». Я – он я и есть.

Нам крупно повезло: впритык к закрытию  
 мы славно отоварились «Фетяской» –  
 рупь 27, семь по 0,7 –

точь-в-точь

пароль или считалка.

Сегодня я, неисправимый лирик,  
 со вздохом заявляю – жизнь прошла.  
 Что я в конце концов хочу сказать?  
 Что смысла нет? Что все труды насмарку?  
 Что негодяи ходят по буфету,  
 а остальным судьба терпеть фетяско?  
 Здесь снова, кстати, ссылка на Шекспира –  
 есть у него сонет как раз об этом,  
 да и программный Лермонтов был прав,  
 назвав её пустой и глупой шуткой!  
 Всё правда, правда и ещё раз правда!

Но май! Но младость! Дружба и любовь!  
 И семь вина – по сути дела даром!

2020

\* \* \*

«Soon we'll be done trouble of the world...»

*Song by Mahalia Jackson*

Телефон надрывался, я с места срывался  
 и летел на другой край Москвы.  
 Там весёлый народ собирался –  
 все они на сегодня мертвы.

Месяц май, зелень, диск 33 оборота.  
По-английски пижонам охота  
чернокожей певице подпеть  
и одобрить классическим жестом  
«Во даёт!»

Пой, Махалия Джексон, –  
юность любит скорбеть.

И весёлая скорбь во главе восседала стола  
и немислимо низкую ноту брала,  
оглашая двory городские.  
Но не больно-то верили те молодые  
честолюбцы, красавицы, пьянь,  
что, хотя дело дрянь,  
но, как в песне поётся, и впрямь  
«Скоро кончатся беды мирские!»

2024

\* \* \*

Я с некоторых пор живу в Тбилиси,  
и мне средь улиц, лестниц, тупиков  
то Лосев примерещится, то Рыся,  
то Бенья, то Цветков.

Немудрено: чем дальше, тем упорней  
любые город, ПГТ, село  
и впрямь приобретают сходство с горней  
обителью, где грустно и светло.

А если обойтись без антимоний  
лирических и прочих бла-бла-бла,  
то ближе к смерти память оживленней,  
а явь пустынной – вот и все дела.

2024

*Обращаем внимание наших читателей:*

*В 2024 году в издательстве Babook вышло электронное Собрание сочинений Сергея Гандлевского: <https://babook.org/store/authors/166>*

# ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Алексис Левитин

## Притяжение противоположностей

*Воспоминания о В.С. Яновском и У. Х. Одене*

Они оба были писателями, интеллектуалами и, каждый по-своему, верующими христианами. Оба любили выпить, покурить, посмеяться, поспорить. Но настоящей связью между ними было притяжение противоположностей. Оден был преданным аполлонианцем, Яновский склонялся к дионисийству. Оден, защищавший себя порядком и самоконтролем, не доверял эмоциям. Яновский сделал эмоции частью своих интеллектуальных и художественных манифестов. Оден был абсолютным англичанином, Яновский до мозга костей – русским. Оден был пожизненным гомосексуалистом, Яновский – неизменным мачо или, как недобро выразился Набоков, «одним из наших русских мужиков». Именно в этой роли Яновский на пьяной вечеринке по случаю дня рождения Уистена вмазал по носу известному поэту Роберту Лоуэллу за то, что тот осмелился флиртовать с моей жизнелюбивой матерью. Как бы там ни было, имея столь различное культурное и даже генетическое происхождение, Оден и Яновский с огромным энтузиазмом сошлись в непрекращающемся интеллектуальном поединке, дружеском отчаянном состязании разума и даже душ.

С середины сороковых годов и до самой смерти в 1973 году Уистен, в ранние годы сопровождаемый любовью всей своей жизни Честером Коллманом, регулярно приезжал на метро в нашу квартиру в Квинсе, никогда не пропуская праздничных посиделок с обильной едой и напитками, особенно на День благодарения. Оден был идеальным компаньоном для Яновского. Они оба любили выпить, поговорить, посмеяться. У самого Честера было острое, дьявольское чувство юмора, и моя мать, которая то и дело выходила из кухни, оживленно отвечала ему. Яновский был рад заполучить Одена в качестве и собутельника, и интеллектуального собеседника. Он уважал Одена как великого поэта, пишущего на английском языке, хотя именно моя мать Изабелла объяснила это Яновскому, чей английский так и не стал свободным и кто сам не чувствовал себя достаточно компетентным судить об англоязычной поэзии. Но он принял суждение моей матери за факт и был польщен находиться в компании великого поэта. Он чувствовал тем большую свободу восхищаться Оденем, что они писали в разных жанрах и на разных языках. Неприятное

чувство соперничества не могло возникнуть между прозаиком и поэтом, мачо и гомосексуалистом, русским и англичанином. И потому они смогли стать большими друзьями.

Размышляя на более высоком уровне, мне ясно, что общее духовное чувство укрепило их дружбу. Оден, после юношеских лет левацких настроений и прокламаций, недавно вернулся в Церковь Англии (англиканство), традиционную веру своей семьи. Яновский же всегда считал себя своего рода русским православным еретиком, творчески свободным, экуменическим, межкультурным теологическим мыслителем. Итак, Христос и Бог Отец руководили их интеллектуальными позициями по отношению к таинственной Вселенной и нашему поиску смысла жизни. Я был всего лишь ребенком в то время, но уверен, что «Третий Час» / «The Third Hour», экуменический литературный журнал, который Яновский и Елена Извольская редактировали, начиная с поздних сороковых годов (и затем продолжали, по крайней мере периодически, в пятидесятые, шестидесятые и даже в семидесятые годы), был важным связующим звеном между двумя личностями – Оденом и Яновским. Я знаю, что Яновский брал стихи у Одена для публикации, и я знаю, что Оден посещал кружок интеллектуалов, причастных к журналу. Я также помню, что на собрании журнала «Третий Час» Оден встретил Дороти Дэй, великую католическую активистку и лидера *Catholic Worker*, независимого католического сообщества, нацеленного на христианские практики и благотворительность. Я думаю, его знакомство с Анной Фримантл, известной журналисткой, поэтом и биографом, также состоялось либо на заседании «Третьего Часа», либо в нашей квартире, – эта встреча привела к публикации их книги «The Protestant Mystics» («Протестантская мистика», 1964).

Начиная с 1948 года Оден стал проводить по полгода в Европе. После почти десяти лет на Искье он переехал в фермерский дом в деревне Кирхштеттен, недалеко от Вены, где он ежегодно проводил около шести месяцев, вплоть до кончины в 1973 году. Во время своего длительного пребывания в Европе Оден регулярно посылал все свои стихотворения моей матери – прежде, чем отправить их для публикации. Он ценил реакцию моей матери как читателя, хотя для дружеского общения, очевидно, его больше устраивал Яновский, «дикий русский». Зависимость Одена от моей матери распространялась на ряд переводов, которые он просил ее сделать для немецких литературных журналов, таких как *Merkur*, в их числе – его знаменитое «Letter to a Wound» / «Brief an eine Wunde», стихи, опубликованные в мае 1966 года. Он также попросил мою мать помочь ему в переводе четырех стихотворений забытого чешского писателя Ондры Лисогорского, писавшего на немецком языке. Эти совместные переводы были широко представлены в старейшем литературном журнале Америки *Poetry* (выпуск за август/сентябрь 1970), хотя имя моей

матери было грубо искажено до *Изобеллы Леватин* (Isobella Levatin). Нет сомнений, что тесная связь Одена с немецкой литературой, укрепившаяся во время студенческих каникул в Берлине в 1928–1929 годах, делала особенно приятным его общение с моей матерью, которая родилась и выросла в Берлине между двумя мировыми войнами. Мать радовалась, когда на некоторых днях рождения Уистена появлялась Лотте Ленья, австро-американская актриса: когда мать была еще подростком, Лотте играла Джени в «Трехгрошовой опере», постановке 1928 года Курта Вайля и Бертольда Брехта.

Моя мать, таким образом, играла существенную роль в отношениях Одена и Яновского. Она не только расставляла закуски и готовила еду, но и вносила в атмосферу этих вечеров свой острый ум, свою красоту, свою жизненную силу, широкую культуру и общее ощущение, что она всё и всех понимает. В Париже 19 века она была бы известной *salonnière*, хозяйкой салона, которая заставляет писателей и художников чувствовать себя как дома, вдохновленными и свободными.

Мне трудно писать о матери; я всегда чувствовал, что она знает всё о мире и обо мне. По сей день, а сейчас я старик восьмидесятидвух лет, я чувствую, что моей единственной глубокой близостью было то постоянное, часто молчаливое, переплетение, что связывало ее и меня. Конечно, Яновский знал об этой близости и желал, чтобы ее не было, чтобы и меня не было. Результатом его враждебности ко мне стала непреодолимая прижизненная дистанция между нами. Однако, только что закончив перечитывать его мемуары об Одене, я вынужден теперь признать, может быть вопреки себе, что когда я читаю Яновского, я преисполняюсь восхищения и, осмелюсь заметить, даже любви. Возможно, это начало очищения и возрождения.

*Перевод с английского – М. Адамович*

## Василий Яновский

### Уистен Хью Оден\*

Как заново воссоздать чье-то лицо, фигуру, голос? Как можно воскресить слова, улыбки, жесты? Как сделать отсутствующее присутствующим, видимым, осязаемым? Как вернуть лучи вчерашнего солнца, которые еще где-то освещают землю?

Однако зачем беспокоиться о таких мелочах, если ожидаешь полного воскрешения? (Еще одно противоречие).

Я познакомился с Уистеном одним осенним вечером в Нью-Йорке в конце войны. По дороге на встречу с «Третьим Часом»<sup>1</sup> мы решили поужинать во французском ресторане; его привел с собой Дени де Ружмон<sup>2</sup>.

«Третий Час» был и остается частью экуменического движения и его изданием, в котором я участвую с самого начала, помогая Елене Извольской поддерживать его на плаву. Первая статья, которую Уистен нам прочитал, была черновиком «The Ironic Negro»<sup>3</sup>. Закончил он императивом Ницше: «Одного искусства недостаточно?»

(В последовавшей дискуссии я аргументировал, что любой дурак, убивший Минотавра, – герой, но не каждый человек, собирающийся убить своего единственного сына, – Авраам).

Драгоценнейшей чертой Уистена для меня с самого начала была его специфическая, неиссякаемая, я бы сказал – русская – страсть обсуждать заданную проблему до упора (или до конца ночи).

Есть история, переданная несколькими свидетелями, о том, как Белинский, Грановский, Тургенев и др. обсуждали вечные pro и contra человека, когда один из них заметил, что уже поздно. На что Белинский взорвался: «Что?.. Мы еще не решили, существует ли Бог, а вы уже хотите спать!» (Тургенев в своих воспоминаниях передает этот эпизод немного иначе: «...а вы хотите есть!»)

В присутствии Уистена я всегда вспоминал эту историю. Он слишком сильно хотел дойти до самой сути проблемы, маскируя свое нетерпение с присущей ему англосаксонской «иронией», и при этом он никогда не уставал, пока в бутылке еще было вино. Конечно же, я

---

\* Перевод с английского. V.S. Yanovsky. «W.H. Auden». New York: *Anteaus*. 1975, 19: 107-135. Оригинальный текст мемуара содержится в Bakhtmeteff Archive, Box 19, typescript. Выражаем благодарность А. Левитину за разрешение опубликовать материалы из наследия В.С. Яновского.

говорю об Одене 1940-х – 1950-х. Но он сильно изменился в последние десять-пятнадцать лет своей жизни – ощутимо ссохся и дупустил, а скорее призвал, болезненный процесс, который высушил изнутри и превратил в камень его огромные глиноподобные формы (но несмотря на это, его способность работать за столом не изменилась до конца жизни).

«Я – рабочая машина», – говорил он, улыбаясь, словно удивляясь, но уже смирившись с этим фактом.

Это, однако, началось уже в последний период его жизни и было отражением подбирающейся к нему смерти. Раньше его желание и дар к обмену мнениями (а это значит еще и умение слушать) в присущей ему серьезной и честной манере были удивительными – несомненно, на уровне великих традиций русских интеллектуалов. И всё же он был настоящий британец, и очень этим гордился, всегда придерживаясь определенного распорядка, – всё по часам; он был хорошо организован (порой слишком хорошо, словно боясь потерять ориентир), вежлив, добр, но холоден; он занимался благотворительностью не подключаясь, отстраненно, – и этими своими качествами он совсем не походил на русского человека.

Возможно, нужно еще подчеркнуть, что вместо традиционного русского чая мы всегда пили вино. И даже в этом Уистен держался ничуть не хуже любого из моих известных мастерством распития соотечественников.

Мы часто вместе ужинали. Когда собирались у нас дома, он приезжал с Честером<sup>4</sup> на метро. Они смотрелись как вполне счастливая и гармоничная пара, по сути своей. После того, как Честер навсегда остался в Европе, Уистен стал быстро скукоживаться (не из-за перемен ли в Уистене и уехал Честер?).

Когда я впервые увидел тогда Честера Коллмана, этого молодого белесого мальчика, ангелочка и бесенка в одном лице, мне показалось, что Уистен погубит его, и никто Уистена в этом не остановит. Однако постепенно другая мысль вкралась в мое сознание – может быть, это Честер губит Уистена? Но, по всей вероятности, правда была где-то посередине... оба нуждались друг в друге, и оба были абыюзерами. Уистен предпочитал, чтобы именно о таких вещах друзья его «не распространялись» (не упоминая ни в разговорах, ни в письмах). Его желание уничтожить все письма, мне кажется, было связано именно с этим вопросом, который с годами беспокоил его всё сильнее и сильнее: те опыты молодых лет – казалось, они требовали бóльшей сдержанности.

В нашем доме Бамбук встречал его бешеным лаем. Уистен, однако, был единственным человеком, кроме меня, на которого наш пес когда-либо оскаливал зубы; при этом, для тех, кто его не знал, он выглядел страшным и опасным. Уистен его недолго любил и, вероятно, даже преувеличивал свое отвращение (или страх). В таких слу-

чаях Изабелла<sup>5</sup> напевала псалом, который она сочинила для нашей собаки и вообще для всех собак:

Творца, кто маленьких собак и даже кошек, создал,  
 Кто нас в свой дом привел, где в мире пребываем мы.  
*Гав-гав, мяу-мяу, гав-гав, мяу-мяу* мы будем воспевать весь день  
 Его – Творца собачек, Кто точно знает верный путь.  
 Аминь.\*

Грустный, впечатленный Бамбук молча слушал, чувствуя всем своим существом, что вечер пройдет, и жизнь тоже пройдет, его и наша, и ничто не сможет этого изменить (так зачем тогда лаять и драться?). Единственная реакция Уистена на это представление была: «Не такой он уж и маленький».

Позже, намного позже, в своем «Address to the Beasts»<sup>6</sup>, он напишет такие строчки:

но ты не подал даже вида,  
 что знаешь – ты уже приговорен\*\*

(Но как же он ошибался!)

Наш вечер обычно начинался с нескольких рюмок. Уистен, как правило, пил martini или «Кровавую Мэри». Водку он ценил и martini предпочитал крепкий (в соотношении три-четыре к одному). Он любил креветки и всю русскую закуску, включая копченую семгу, крабов и икру. И даже свиные ножки. И, конечно, любое мясо и дичь. Он был строго «картофелеедом», и мы бесконечно спорили, что лучше – рис или картошка, хотя Честер твердо стоял за рис. Даже после того, как сел на диету, он всегда «разрешал» себе побаловаться картофелем. Он с удовольствием ел овощи (обожал лук-порей и еще репу). Салатами он гнушался:

«Мать должна готовить!»

Я никогда не видел, чтобы он притрагивался к свежим фруктам, – однако он утверждал, что иногда с удовольствием срывает с деревьев спелые персики или сливы и тут же их съедает.

Формулировка «мать должна готовить» – которую он вывел давным-давно, исходя из каких-то событий его жизни, из реальности, – теперь она поймала его в капкан.

«Почему мать *должна* готовить?» – обычно интересовался я, но он считал, что такой вопрос не входит в правила нашей игры.

Мы пили вино и продолжали пить еще долго после ужина.

\* Перевод К. Адамович.

\*\* Цитируются слова оригинала: *...but you exhibit no sign / of knowing that you are sentenced.*

Казалось, ему безразлично, что пить. В еде, что касалось количества ее, он был умерен. Когда мы только познакомились, мы всё время пили много белого вина – он покупал немецкий рейнвейн, я – французское вино, в основном «Шабли» или «Пуий-Фюиссе». Позднее он пристрастился к итальянскому красному «Бардолино», которое он покупал в самых больших бутылках, которые только можно было найти.

В нашем общении он казался более рациональным, даже часто останавливая меня: «Василий, мне кажется, ты сошел с ума» или «Нет, нет, Василий, ты не должен так говорить».

Я так повелся на эту его рациональность, что даже советовался с ним в делах практических. Но, конечно же, в нем была какая-то внутренняя сопричастность к бытию, такая же, как у Л. Толстого, – черта, характерная для всех гениев (включая Гёте), несмотря на их фантазии. В поздние годы, когда он пил слишком много и мог появиться в тапочках и грязной рубашке, не обращая внимания на большинство принятых норм, я всё еще думал и говорил: «Но он же должен понимать, что делает!» Всё это привело к множеству ошибок, в которых я чувствую себя виновным, хотя едва ли я мог ему помочь. Другой его друг, Дэвид Протетч<sup>7</sup>, его личный доктор, говорил мне, что единственное, чего он смог добиться от Уистена, – чтобы тот съедал не более одной картофелины в день. «Он пьет как лошадь», – признавался мне Дэвид, будто делился со мной большим секретом.

Однажды он и Честер сели на специальную диету. Однако, когда я поздравил его с заметной потерей веса, он отмахнулся: «Конечно же, это заслуга желатиновой диеты!» Имея в виду, что когда ты делаешь правильные вещи, ты получаешь правильные результаты.

Часто мы оставляли его пьяным в доску, с сигаретой в руке. (Случались и пожары.) «Но должен же он знать, что делает», – пытался я убедить Изабеллу. – «Видимо, он может позволить себе так жить», – и это говорил я, кто редко выдает необдуманные кредиты\*.

Как чудесно было созерцать широту накопленных им знаний, вроде бы не имеющих отношения к литературе или стихосложению: теология, физика, биология, психиатрия, музыка... все взаимосвязанные и переплетенные им в творчестве. Единственная область, в которой он был невежественен, – и он это признавал – была живопись. Каким образом человек с такими развитыми, сверхразвитыми талантами и возможностями мог оставаться совершенно слеп и глух в такой важной области, навсегда осталось для меня загадкой.

Он вставал рано утром, пил кофе и садился за свой заваленный рабочий стол. Он писал – статьи, эссе, доклады – по восемь-десять часов в день, если его не прерывали интервьюеры, деловые встречи или лекции. На обед уходило полчаса, никакого вина или спиртного

\* Яновский использует французское выражение *à la légère*. В английский текст он иногда вставляет французские выражения и слова.

покрепче, может быть, одно пиво, а затем он возвращался к своей работе. Он никогда не отдыхал, не спал днем (хотя это только пошло бы ему на пользу), потому что «мама это не одобрила бы».

Несмотря на то, что он всегда был занят творческим поиском, он находил время помочь каждому, будь то друг или незнакомец, – любому, кто стучался к нему в дверь или звонил. Я знаю многих с психологическими (или психическими) проблемами, кто полагался на советы Одена, которые он лично считал простым «здравым смыслом», но которые на самом деле были гораздо глубже.

Он любил преподавать и был прирожденным педагогом. Меня восхищало, что он никогда не навязывал своего мнения ученикам и давал им возможность свободно развиваться, согласно их собственным возможностям. Десятки молодых людей и девушек приносили и отправляли ему свои стихи, и если что-то ему нравилось, он не оставался равнодушным, он старался помочь пробиться. И это был тот самый человек, который сказал мне однажды, что он чувствовал себя очень несчастным, когда слышал, что известный поэт только что издал новую книгу.

Оден переводил много иностранных авторов, особенно тех, кто писал за Железным занавесом, считая необходимым помочь каждому родственному голосу быть услышанным (каждая искра должна стать настоящим огнем). Ему нравилось переводить с русского на английский и принимать участие в публикации. Здесь есть над чем задуматься и чем восхититься.

От Уистена я понял, что хороший человек может быть великим, а великий – хорошим, совершая благородные и добрые дела. И всё это, несмотря на тот факт, что, будучи психологическим левшой, он имел склонности к садомазохизму, которые, как мне кажется, сильно на него давили. Безусловно, замечательное чувство юмора уравновешивало многие противоречия его натуры.

Несмотря на всю свою уникальность, он мог вести себя так, как если бы он был частью общего хора (*equipe, artel*), прокладывая свой путь из туманного прошлого в неизвестное будущее... мысль, которая теологически звучит не совсем правильно, но, тем не менее, ценна. (Он всегда критиковал манихейцев, но несколько раз признался: «Стать одним из них легко».)

Когда Изабелла однажды сказала ему, что я – эмигрантский писатель без читателей, – считаю себя «наемной рукой»\*, он воскликнул: «Точно, так оно и есть!»

В течение двадцати лет меня едва публиковали в Соединенных Штатах, да и то лишь по-русски. Некоторые переводы вышли во Фран-

---

\* Яновский использует идиоматическое английское выражение *hired hand*, означающее «наемный работник». Однако вероятно допустить здесь, что в восторг Одена привела именно игра слов: *hand* – буквально: рука, т.е. – *наемная рука писателя*.

ции и Италии. Тогда Изабелла решила перевести один из моих последних романов (в начале шестидесятых). Когда Уистен получил рукопись романа *No Man's Time*<sup>8</sup>, он позвонил мне на следующий день, поделился своими впечатлениями о романе и добавил: «Я сделаю всё возможное, чтобы эту книгу напечатали»\*. Он отправил копию С. Дэй-Льюису<sup>9</sup> и после того, как рукопись была принята, написал такое предисловие для широкой публики, что смысленный местный критик цитировал его, вообще не упоминая сам роман *No Man's Time*.

Уистен почти никогда не читал рецензии на себя самого и немедленно выбрасывал, как только я приносил ту или иную. Однажды, когда я его навещал, он получил только что вышедшую книгу о нем и попросил меня забрать ее с собой – у себя и оставить. Однако он знал, как важно писать о своих друзьях; так, он позвонил мне сказать, что рецензия на мою книгу *No Man's Time* Пенелопы Жиллиатт<sup>10</sup> только что вышла в *New Yorker* – если бы он не позвонил, я бы, конечно, ее пропустил. Из Австрии он написал мне, что моя работа в его книге *A Certain World*<sup>11</sup> была отмечена Сирилом Конноли<sup>12</sup>.

Как «человек букв»\*\* (по его собственному определению), он придерживался высокой профессиональной этики. Несколько раз я напоминал ему шутку Пушкина: «Литература умрет, а дружба останется». Адамович, великий критик и поэт парижского периода эмигрантской литературы, любил прятаться за этой фразой. Уистен в эту шутку не верил. У него никогда не было любимчиков и он никогда не хвалил произведение по какой-либо иной причине, кроме достоинств самого произведения, – и, на самом деле, когда дело касалось прозы, он никогда не брался за рецензию, если книга ему не нравилась. В этом ему помогал тот факт, что ему не надо было зарабатывать на жизнь ежедневным или еженедельным написанием рецензий (в отличие от Адамовича).

На протяжении многих лет я мечтал познакомить моих двух друзей – Уистена Одена и Георгия Адамовича, – таких разных и всё же, в определенном смысле, таких похожих. Это наконец случилось в 1971 году, когда жизнь обоих уже подходила к концу. В тот День благодарения я действительно ликовал, что у меня за столом сидели Уистен и Адамович. Оба поэта, хотя и разного масштаба, оба чрезвычайно музыкальны, оба критики и гомосексуалисты, понимающие людей в толстовском смысле этого слова (то есть, когда объяснения важных вопросов не требуется). Джон Унтерекер<sup>13</sup> и, конечно, Алексис<sup>14</sup>, тоже составили нам компанию. Подавали гуся с Pomard\*\*\* (которое особенно ценил Честер).

\* Он сдержал свое обещание. В архиве Яновского сохранилось рекомендательное письмо Одена об этой книге, написанное Алену Ансену (1922–2006), американскому поэту, драматургу, исследователю творчества Одена (в 1946–49 гг. – литературный секретарь Одена). Vakhmeteff Archive, Box 1.

\*\* Яновский употребляет старинное выражение “Man of Letters” – писатель, однако здесь звучит свойственная ему ирония: писака.

\*\*\* французское вино, производится в Бургундии.

Адамович, в силу своего преклонного возраста, к вину не при-  
тронулся. Это удивило Уистена:

«Что это была бы за жизнь?» – спросил он.

Однако Уистен чувствовал какую-то близость к этому выходцу из старого Петербурга и в тот же самый момент попросил Изабеллу перевести (он отказывался говорить по-французски) для Адамовича кое-что на русский язык.

«Пожалуйста, скажи ему: я чувствую, у нас одни и те же корни?» – сказав это, он слушал перевод с большим вниманием. Прямой комплимент, который можно было редко от него услышать, совсем не в характере Уистена.

В тот же день, или день до этого, в Париже умер старый, старомодный эмигрантский писатель; Адамович, вздохнув, сказал, что ему еще предстоит завтра написать некролог, к которому он был совершенно не готов, несмотря на то, что старик уже давно и безнадежно болел. На что Оден рассказал, что как-то летал в Лондон за несколько недель до смерти Элиота, чтобы записать для BBC аудионекролог – идея, которая тогда показалась ему максимально удобной. Адамович удивленно поднял брови на совершенно неподвижном, как у Будды, лице и сказал:

«Я бы никогда не смог говорить о еще живом человеке так, будто он уже умер».

В том пролегал разделительная межа между «общими» корнями в их западной и русской проекции на мир. Нет нужды говорить, что здесь я был – и остаюсь – на стороне рассуждений Адамовича (или его чувств).

Мы говорили о советских поэтах, некоторых из них Оден переводил или помогал здесь опубликовать. Адамович утверждал, что единственным, кто мог бы быть способен на развитие новой поэзии, был Евтушенко. Однако Уистен упрямо продвигал кого-то другого.

«Как вы можете судить? – удивлялся Адамович. – Я с детства говорю по-французски. Жил во Франции больше пятидесяти лет, и, тем не менее, я думаю, что не могу полностью проникнуться французским поэтом.»

Мы переглянулись, точно как в гоголевских «Мертвых душах» («‘Какой странный человек этот Чичиков’, – подумал про себя Тентетников. ‘Какой странный человек этот Тентетников’, – подумал про себя Чичиков»).

Был он таким же капризным и в выборе квартиры. Впервые я навел его на Cornelia Street – квартира была слишком маленькая и слишком дорогая. Потом была квартира с холодной водой на углу West 20, бывший лофт, который я терпеть не мог, и боялся, как бы его там не убили.

В те времена он праздновал дни рождения в небольшой и довольно богемной, чтоб не сказать скучной, компании. И всё же

радостно было слушать Уистена и наблюдать, как он слушает других со всей щедростью великого человека и интеллектуального короля. Он мог сиюминутно собраться, чтобы выяснить, интересно ли ему погружаться в определенную тему, задать дополнительный, углубленный и конкретизирующий вопрос – или полностью отключиться, и в этом он зачастую был неправ, как устрица, закрывающая свои створки, отказываясь от питательной, но незнакомой ей субстанции.

В итоге Уистен и Честер переехали на улицу St.Mark's Place, гордась тем, что когда-то в их квартире принимал гостей Троцкий, а позже какой-то доктор делал здесь же нелегальные аборты.

Каким же интеллектуальным пиром, каким счастьем были дни рождения Одена в пятидесятых и ранних шестидесятых годах. (Он родился 21 февраля, на стыке Водолея и Рыб.) Две большие комнаты на улице St.Mark's Place были забиты людьми – стоящими, сидящими, пьющими лучшее калифорнийское шампанское, которого хватало на всех.

Дама Эдит Ситвел<sup>15</sup>, которая осанкой и головным убором напоминала мне стареющую Зинаиду Гиппиус. Ее брат в устрашающей маске страдающего болезнью Паркинсона. Марианн Мур<sup>16</sup>, восьмидесятилетняя девственница, святящаяся и сияющая. Эдмунд Вилсон<sup>17</sup>, медлительный, скрупулезный и грузный, как мастифф; лишь его глаза казались опухшими от количества потребленного спиртного, – без каких-либо других видимых последствий. Роберт Грейвс<sup>18</sup>, молодой человек, выглядевший, возможно, даже моложе, чем в годы своей молодости; Джени Турель<sup>19</sup> (одна из тех, кто потом умрет в семидесятых); Лотте Ленья<sup>20</sup>, полупрозрачная, в детской одежде; Урсула Найбур<sup>21</sup>, с мраморной кожей, в потрясающем декольте; вечно свежая и освежающая Анна Фремантл<sup>22</sup>; Элизабет Мейер<sup>23</sup>, сама себе королева; Хана Аренд<sup>24</sup> и среднего возраста профессора в сопровождении своих ревнивых жен. Николай Набоков<sup>25</sup> с ассиметричным лицом, но по-прежнему красноречивый после инсульта. Линкольн Кюрстен<sup>26</sup>, отрешенный – с легкой, воздушной походкой – несмотря на свое мощное телосложение, моментами будящий образ торжествующей юности с картин Челищева<sup>27</sup>. И поросль новых или молодых поэтов со своими партнерами обоих полов. Уистен, переходящий из одной комнаты в другую, из угла в угол, с блаженством снимал своим фотоаппаратом со вспышкой, который только что получил на день рождения. Эд Вилсон, прикрывающий лицо от вспышки и с большим усилием потягивающий шампанское (он был человеком исключительно виски или джина). Луиза Боган<sup>28</sup>, виски с водой, неподвижно сидящая в одном месте, – в то время как ее собеседники дрейфуют и сменяются. «Где вы добыли виски?» – спросил подающий надежды молодой поэт. «Кто-то принес бутылку в подарок, но уже всё выпили», – весьма трезво объяснила она.

Я чувствовал тогда, что происходящее было значимым и весомым во времени, не сиюминутным; казалось, что так будет всегда. Но как быстро умирает вечность.

Поскольку все бытовые дела Честер взял на себя, их квартира была вполне прибранной. Однако потом там стало грустно, безнадежно, несмотря на то, что иногда приходила уборщица и наводила поверхностный порядок. Я бы сказал, что конец определенному счастью в жизни Уистена пришел тогда, когда он переехал из средиземноморский лазури Искью в его серое жилище в Австрии, которое ему так нравилось и которым он гордился. Честер вскоре перестал приезжать на зиму в Нью-Йорк, предпочитая Грецию со всеми ее удовольствиями, и постепенно всё – кроме работы – пошло для Уистена к черту, и он стал раньше времени сдавать. Его переезд в Оксфорд был только последним шагом того же пути.

Он никогда не пытался сделать Францию своим домом (или хотя бы полудомом). Он целенаправленно не любил французов, отрицая даже их великую поэзию. Уистен ценил Рембо, но всегда заявлял, что тот в действительности был английским поэтом и что для него было бы намного лучше, если бы он писал по-английски. Конечно же, он мог цитировать парадоксы Жана Кокто и афоризмы Поля Валери, даже некоторые метафоры Пруста, но всё это шло не из глубины его души. Он искренне обожал Колетт и всегда находил доброе слово для Гюго. Что касается Бодлера, то его отношение к нему становилось всё хуже и хуже. Однажды, когда я процитировал ему из «Маяков»: «Тысячекратный зов, на сменах повторенный...»\* – он просто взвыл от хохота.

Я чувствовал, что, возможно, его французские современники оскорбили его своим полным безразличием. (В предвоенном Берлине он однажды встретил Андре Жида и на всю жизнь запомнил, как старик заставил его платить за все развлечения.) Франция действительно была единственной страной, где Оден практически был – возможно, и до сих пор – не известен и не переведен, – не переведен и не понят. Его тяга к немецкому языку и немецкой поэзии, на мой взгляд, была нездоровой, чем-то вроде побега от реального испытания.

Он с уважением относился к русской литературе, восхищался Толстым, но, пожалуй, еще больше – Чеховым. «Смерть Ивана Ильича» сильно на него повлияла; он предпочитал «Анну Каренину» «Воине и миру» (большинство западных читателей не принимают *мир* как *свое*). Одно время Честер читал ему «Анну Каренину», и оба над романом плакали. (Однако из Диккенса он, конечно, мог цитировать целые куски наизусть – «Большие надежды», «Крошка Доррит», «Наш общий друг».)

Чехова он хвалил за его «западность», за джентльменство, за то, что тот был гармоничным, тихим человеком, лишенным жалости к себе, знающим цену недосказанности, – великим человеком, не просящим привилегий.

Он был очарован «Записками из подполья» Достоевского, поража-

---

\* Les Phares: «C'est un cri repete par mill sentinelles...» (пер. Вяч. Иванова)

ясь тому, как главный герой, прежде чем вытолкнуть своего неизвестного врага – весело-дерзкого шестифутового офицера – на улицу, озадачивается покупкой нового мехового воротника, чтобы даже в этой ситуации выглядеть *comme il faut*. (При этом он всегда говорил, что не стал бы ужинать ни с Достоевским, ни, тем более, с кем-то из его персонажей.)

Что касается русской поэзии, он говорил, с огромным облегчением, что не знает языка и поэтому не может рассуждать о Пушкине и Лермонтове. О французской литературе такой отговорки у него не было; его французский был более чем достаточным. Всё, что Уистен знал, он знал хорошо. Однако у него был сильный акцент, который его немного «охлаждал», – он ни в чем не любил быть «вторым классом».

Несмотря на искреннее презрение к рецензиям и книгам о себе, он был более чем толерантен к интервью, особенно с фотографиями, утверждая, что таким образом он может помочь своему издателю. И всё же он вздыхал, когда читал в журналах все эти глупые описания его хозяйства и готовки Честера.

Он был искренне несчастен, когда ему приходилось выслушивать людей, высказывающих свое мнение о его работе. («Обычно они хвалят тебя не по делу.») И он не терпел никакой критики. Что ему нравилось, так это простое: «Хорошо, очень хорошо! Здорово!» – после того, как он давал нам почитать новое стихотворение. Тогда он кивал, полностью удовлетворенный, – или нам так казалось. (В последние годы жизни критики часто были враждебны к нему, как ослы, лягающие или старающиеся лягнуть старого льва).

Он несомненно страдал от последствий своих прежних любовных походов – от всех тех гомосексуальных увлечений. Его желание, чтобы личная переписка сразу уничтожалась, мне кажется, в основном уходило корнями именно в эту часть его жизни. В нашей личной переписке его и иногда мои работы играли большую роль. И всегда в письма он вкладывал хотя бы одно свое стихотворение, часто скопированное на обратной стороне послания, написанного им от руки.

Уистен просил, чтобы «любой из моих друзей, получающий от меня письма, сжигал их, как только покончит с ними, и ни в коем случае никогда никому не показывал». У. Х. Оден был очень практичным человеком (этим он напоминал мне Толстого); он обладал «здравым смыслом». Добавив «как только покончит с ними», он тем самым решил для меня вопрос. Нужно ли уничтожать письмо, на оборотной стороне которого было стихотворение, да еще и с его личной правкой, которое могло отличаться от конечной опубликованной версии?

Получив мой роман *Of Light and Sounding Brass*<sup>29</sup>, он написал мне аналитическое письмо по поводу этого «очень интересного романа». И когда же я «покончу с этим» и буду готов уничтожить письмо?

За две недели до смерти он написал мне о проблемах с сердцем и что сказал доктор, и «слава Богу», что его разум еще в полном

порядке. Кто посмел бы уничтожить такое письмо? В том же письме (3 сент. 1973 г.) он также упомянул, вполне в своем стиле, поскольку он никогда надолго не заикливался на себе, о книге доктора, которую он считал выдающейся и рецензию на которую собирался писать для *New Yorker*. Насколько мне известно, такой рецензии не было, да и сама книга не была издана. Послужит ли это истинным намерениям Одена, если мы уничтожим все следы его отношения к этому замечательному произведению? Мой ответ на всё это: нет.

Всегда, когда Уистен упоминал о том, что все его письма должны быть уничтожены, я отвечал, что понимаю, – легкомысленные выходы и суровые суждения не должны быть обнародованы.

Но даже в этом можно было позволить себе некую свободу. Например, потрясенный, от отметил, что «какой-то идиот номинировал Мухаммеда Али<sup>30</sup> возглавить Оксфордское Поэтическое Общество». Я не думаю, что такое выражение изумления (как и недоумение по поводу новых «церковных» служб, компьютеров, политики, телерекламы и VD, а также просьбы предоставить материалы для мюзикла «Oh! Calcutta»<sup>31</sup>) и подобные его реакции – это нечто, что можно отделить от его жизни и творчества в целом.

Чтобы избежать «новой литургии» с хиппи и джазовыми гитарами, он некоторое время посещал русскую православную церковь на East Second Street, получая огромное удовольствие от службы на непонятном языке.

Во время скандала, когда его порнографическое стихотворение было украдено и напечатано в *Avant Garde*<sup>32</sup>, он пережил настоящий кризис.

«Я не хочу об этом говорить. Я не хочу об этом говорить», – он остановил меня на полуслове. Я восхищался таким защитным механизмом (на его месте я бы говорил до изнеможения).

Постепенно его внешний вид дегенерировал. Он теперь почти никогда не покупал новую одежду. Но однажды он пришел в новом зеленовато-бежевом костюме, купленном под руководством одной подруги, – факт, сделавший костюм более ценным в его глазах. Затем он стал носить симпатичный пиджак, который раньше принадлежал мужу Ханны Арендт. «На мне пиджак покойника», – говорил он, усмехаясь, довольный тем, что хорошая вещь не пропала даром.

Коричневый свитер-водолазку, который мы подарили ему на день рождения, он надел мгновенно и больше никогда – или так нам казалось – не снимал. Сказал, что был крайне им доволен. По этой причине, а также из соображений гигиены, на следующий год мы подарили ему темно-зеленый. И ни разу не видели, чтоб он его носил.

Честер обычно содержал дом в чистоте, заставляя его надевать свежие рубашки, менять его постельное белье и готовить (если о прекрасном шеф-поваре можно сказать «готовил»). В те дни Уистен всегда носил с собой тапочки, надевая их только после прибытия в место

своего назначения. У него была большая ступня Рака (не Рыбы) с бурсинами, которые всегда вызывали дискомфорт, и домашние тапочки казались решением проблемы. Однако неожиданно он начал ходить в них по улице, в дождь и в снег, на вечеринках и конференциях; в рубашке с недостающими пуговицами, с тяжело дышащей грудью-животом «Мадонны с ребенком», постоянно курящий и пьющий, стремящийся укрыться, уползти обратно в свою берлогу, в темноту кровати, а может и вовсе утром. (Он любил туннели. Всякий раз, приближаясь к туннелю Мидтауна, он говорил: «Это мама!») Он спал всё дольше и дольше, так что люди, знавшие о его прежней привычке вставать в семь, нарывались на грубость, когда звонили ему раньше девяти.

Он спал в шкафообразной комнате, которую почти целиком занимала широкая кровать, накрытая старым выцветшим пледом... В прошлом году, когда я был в Толедо и увидел простую (мощную) кровать Эль Греко, покрытую тяжелым, мохнатым одеялом, я вспомнил Уистена.

Великий поэт, ходячая энциклопедия, англиканский теолог с картезианской рациональностью и англосаксонским чувством юмора, он жил как Диоген, не осознавая этого, не выбирая и не возвращая против этого, при том, что он никогда не производил впечатления, что ему чего-то не хватает.

«Но должен же он знать, что делает, – пытался я убедить сам себя. – Он доволен таким образом жизни, и ему ничего не мешает работать.» – Казалось, что это было решением проблемы. Сейчас уже я понимаю, что он далеко не всегда отдавал себе отчет в том, что делал, был очень уязвим, и всё больше и больше нуждался в заботе.

Лет десять тому назад он однажды разоткровенничался, что его половая жизнь подходит к концу. Я удивленно воскликнул: «Но это же ненормально!» Он ответил со своей обычной дружеской, отеческой улыбкой: «Ну, когда всё остальное ненормально, с чего бы именно этому быть нормальным». Этот его ответ впервые обратил мое внимание на то, что, в целом, у него было много физиологических проблем, и уже давно, и чувствовал он себя довольно плохо.

Мне кажется, что в тот же вечер мы говорили о смерти Сократа, как после долгого проповедования и ненужной болтовни он, наконец, лег на диван, повернулся лицом к стене (от всех живых) и умер в одиночестве и тишине.

«Так уходят гордые люди и мудрые животные», – прокомментировал я.

«Не волнуйся, я знаю, как надо умирать», – заверил меня Уистен и кивнул своей большой, величественной головой.

Лекционные турне были слишком утомительны; чем больше ему платили, тем сильнее они его выматывали. И всё же он считал их необходимыми для своего бюджета, что мне было совершенно непонятно. Я знал, что его книги, статьи, либретто идущих опер приносили

ему больше 25,000 в год. Зачем ему надо было удваивать эту сумму? В денежных вопросах он всё больше впадал в панику, старался сэкономить, выкуривая трубку вместо бесконечных сигарет, по-детски преувеличивал свою потребность в Нобелевской премии – и всё это ради того, чтобы оставить Честера хорошо обеспеченным? Смешно! Когда благодаря связям с книжным клубом у него появилась возможность выгодно застраховать себя, он сделал это в пользу Честера на 75,000 долларов. И потом рассказал нам об этом в присутствии счастливого наследника.

Во время лекционных турне ему приходилось путешествовать в течение месяца, пересекая вперед-назад Соединенные Штаты, читать по пятнадцать лекций и почти каждую ночь засыпать в разных городах. Из последнего путешествия он вернулся настолько измотанным, что пообещал больше никогда не ездить. И всё же, перед смертью он задумал еще одну такую изнурительную поездку.

На случай, если он не смог бы заснуть в этих мутных гостиницах, я дал ему с собой десять таблеток Seconal – но он к ним почти не притронулся. Прикончив вечером бутылку вина (не считая двух martinis), он легко засыпал, просыпаясь в четыре часа утра; затем он опустошал чекушку водки, которая помогала ему преодолеть последнюю часть ночи.

Вскоре после этой поездки он «рухнул» на улице, или, как бы там ни было, на несколько секунд потерял сознание. Должно быть, это его напугало, так как он позвонил мне на следующий день, но так и не рассказал, что же на самом деле произошло.

«Я хочу, чтобы ты был моим врачом и лечил меня», – сказал он.

Я объяснил ему, что я не тот, кто ему нужен. Из-за моей специализации у меня нет ни кабинета, ни оборудования, ни привилегии получить койку в больнице, если это окажется необходимым... Было бы лучше найти хорошего терапевта. Он очень кротко согласился, и я не могу простить себе, что поступил так рационально, а не поехал сразу к нему, чтобы успокоить, хотя по сути это ничего бы не изменило.

Мы смогли записать его к врачу только через несколько недель; так случилось, что доктор, которого я ему нашел, в это время сам боролся с проблемами коронарных сосудов (но я этого не знал). Как обычно, осмотр ничего не показал. Немного повышенное давление, немного эмфизема и ишемия миокарда, немного того и другого – ничего особенного, ложное чувство безопасности, как будто необходимы серьезные проблемы, чтобы наши шестеренки внезапно перестали работать. После его приезда в Оксфорд он отправился на ежегодный осмотр к врачу; местный врач, как водится, связался с его врачом из Нью-Йорка, который в ответ выслал отчет о предыдущих посещениях Уистена – ко всеобщему удовлетворению.

Чтобы нормально существовать, Уистену нужно было подчиниться строгим правилам, расписанию, программе. Он внимательно

следил за своими часами и придерживался предписанного распорядка с почти ритуальным почтением; он словно чувствовал, что только такой жесткий корсет может дать его мягкому телу необходимую поддержку и заставить функционировать по максимуму. Он заставлял себя быть точным, пунктуальным, на сто процентов соблюдать график, и любое нарушение или отклонение от жесткой программы могло привести его в ярость.

То же самое с жадностью: будучи англосаксом, он считал бережливость христианской добродетелью и, конечно, преумножал ее в мелочах. И всё же, как и Толстой, он знал, что ему переплачивают за работу. «Это много-премного», – жаловался он, считая, что грех жить за счет тех, кому меньше повезло.

Когда надо было помочь людям, он без колебаний жертвовал своим временем и даже деньгами. Именно он первым прибыл в *Catholic Worker*, когда у Дороти Дэй<sup>33</sup> был сложный период, и протянул ей чек: «Вот два пятьдесят», – сказал он. Дороти, которая именно в то утро шла в суд, где ей требовалось внести сумму в двести пятьдесят долларов, поблагодарила этого помятого мужика и только намного позже поняла, что это был Оден и что он дал ей чек на всю нужную сумму целиком, а вовсе не каких-то «два пятьдесят».

(Газеты лестно отзывались об этом случае. Трудно сказать, отражала ли эта ситуация и многие другие, похожие на нее, везение или, наоборот, невезение Уистена по жизни. Позже, рассказывая мне об этом случае, он сказал: «С богословской точки зрения, всё это было совершенно неправильно».)

Друзья были для него очень важны, каждый из них был незаметным. Он не мог понять, почему люди, которых он так любил, ругались между собой, как кошки с собаками. «Как странно, – признавался он, – мне так нравятся и Н., и М., я познакомил их, а они на дух не переносят друг друга.» Мне это казалось нормальным: в психологии два значения, которые равны третьему, не всегда равны друг другу.

Со временем он всё реже заводил новых друзей, особенно с тех пор, как его друзья начали умирать.

Конечно же, я хотел познакомить его с Дороти Дэй, и они действительно встретились на конференции *The Third Hour*<sup>34</sup>. Однако только один раз мне удалось убедить его посетить со мной ее ферму, которая тогда была на *Staten Island*. Мы поехали на моей машине, захватив с собой галлон калифорнийского вина. Вот как Дороти описала наш приезд:

«Мой друг, доктор Василий Яновский, впервые познакомил меня с Оденом на заседании *The Third Hour*, экуменической группы, когда они вдвоем приехали ко мне в гости, – я тогда болела и жила на ферме Питера Маурина на *Staten Island*. Оден привез стихотворение для следующего номера *Catholic Worker*».

Однако для Одена это осталось единственной такой поездкой, и

в китайский ресторан на Second Avenue, куда Дороти иногда заглядывала поесть с нами, он тоже не приходил. «Я знаю, что она очень примечательная особа, возможно, святая, – объяснял он, – но мне нечего ей сказать» (или что-то в этом роде).

Поэт, в сущности, романтик и даже, возможно, дионисиец (несмотря на все аполлоновские черты), он регламентировал всю свою жизнь и жестко придерживался солярного (рационального) расписания. Если мы должны были пойти куда-то вместе, а я опаздывал на пять минут, он уже ждал меня в подъезде дома на St. Mark's Place, 77, качая увесистой увядающей зеленой головой\* с нескрываемым неодобрением. Такая строгая дисциплина, возможно, ему помогала, однако его расписание становилось с каждым годом всё более строгим. Под конец жизни, если мы приходили к нему днем, на так называемый «кофе», то и ждать приходилось буквально кофе, и если я вдруг просил чего-то покрепче, он очень расстраивался: «Как можете вы позволять ему пить вино в этот час», – упрекал он Изабеллу. Однако через минуту, вздыхая, он поднимался, шел на кухню за стаканом и без лишних комментариев наливал мне вина.

После ухода Честера на кухне воцарился полный беспорядок, как, кстати, и в ванной комнате.

«Ты что, мочился в унитаз?» – с почтением удивлением спросил он меня, когда услышал, как я спускал воду в туалете (дверь в котором больше не закрывалась).

«Да, а как еще?»

«Все, кого я знаю, ходят в раковину. Это же мужская привилегия», – ответил он спокойно, не пытаясь меня унижить.

У него были особые отношения с туалетной бумагой, и он говорил, что презирает тех, кто слишком много ее использует (что он всегда замечал).

В общем, несмотря на свое доброе и не воинственное отношение, он часто «ненавидел» что-то или «какой-то определенный тип людей». «Он скучный» – частое ругательство в его устах. «Как скучно, какая скука!» Слово «дерьмо» он употреблял очень редко, обычно в отношении модного критика, поэта или «мыслителя» (и то полушепотом, прикрывая рот рукой).

Когда я еще курил, то никогда не брал больше одной или двух его «Lucky Strikes», так как он ненавидел подобную «фамильярность». Однажды я принес ему целую коробку и намекнул, что это дает мне полное право в крайних случаях стрелкнуть у него сигаретку, но он заявил, что всё равно будет против этого.

---

\* В.Я. пишет буквально: «green head», «зеленая голова». Это относит читателя к кельтским мифам, к Кернунну или, из английского фольклора, к Херну из Виндзорского леса, к «зеленому человеку» – мотивам, обыгранным в англоязычной литературе – напр. нелепые, бесшабашные существа джамбли у Э. Ли (Edward Lear “The Jumblies”), создания с зелеными головами и синими руками. Дж. отправляются в безумное морское путешествие в решете – очевидны аллюзии к образу Одена, созданному В.Я.

Выпивать было положено в шесть часов; он любил мартини или мартини с водкой. Мартини должен был быть крепким, а бокал большим (совсем не бокал для мартини). Первый раз, когда я попросил его дать оливку или корку лимона, он удивился, но, поколебавшись, все-таки дал (это было время, когда еще Честер занимался покупкой продуктов). Он терпеть не мог сюрпризы, перемены, отклонения – всё то, что могло нарушить его баланс.

После коктейлей садились ужинать – последние несколько лет у него дома или у нас, так как он переживал, видя, как он или я рас-плачиваемся в ресторане «по этим непомерным ценам». Было время, когда в доме его царило веселье: играли Вагнера или Вайля на hi-fi, Уистен напевал фрагменты из оперы «Похождения повесы», шутил и смеялся; Уистен с радостью показывал новые стихи, книги, фотографии, Честер приносил с кухни свои превосходные коктейли. Воистину, наше счастливое времяпрепровождение казалось бесконечным. Сразу после того, как ушел Честер, мы зачастую оккупировали уютный, яркий, симпатичный итальянский ресторанчик на прекрасный затяж-ной ужин. Однако теперь, на квартире Уистена, эти ужины стали немного грустными – он постоянно бегал туда-сюда на кухню, как будто там было чему портиться.

После обеда мы продолжали попивать Bardolino, а Уистен невоз-мутимо поглядывал на часы и, следуя своей собственной, разорван-ной цепочке ассоциаций, он показывал то этот стих, то вон ту потря-сающую книгу, которую он только что получил, пока в какой-то момент не решал: «Теперь я должен идти спать» или «Теперь настало время мне идти в кровать».

Сначала это случалось в одиннадцать часов вечера, потом – в десять, затем в девять тридцать, и постепенно перешло в девять. Если он в этот момент был у кого-то в гостях, то мог резко вскочить и убе-жать, в своих вечных тапочках, как будто опаздывает на важное свидание.

Будучи под воздействием вина, он к концу вечера едва слышал, о чем шла речь, иногда отвечая невпопад, и часто повторялся. В одном разговоре я процитировал известное определение слова «художник», Уистен едва дождался, пока я закончу, и в ответ выдвинул свою максиму, которую уже повторял несколько раз и раньше: «В своей работе я руководствуюсь двумя соображениями: для одной работы я говорю себе ‘еще нет’, для другой – ‘уже нет’».

Он был явно очень доволен этими правилами и считал их настолько полезными, что часто повторял. Он звонил нам в поздний (для него) час, чтобы рассказать одну и ту же смешную историю по второму или третьему разу. «Она спрашивала про известную оперу под названием, похожим на *Christian Soldiers*\*! Оказалось, что она хотела узнать о *Tristan and Isolde*...»

---

\* Оратория «Onward, Christian Soldiers» («Вперед, Христово воинство») С. Артура.

Его чувство юмора было чувством «понимающего» человека, в толстовском значении этого слова; рассказывать ему что-нибудь смешное было настоящим удовольствием. Он ловил всё на лету и реагировал одобряющим смехом – если, конечно, он не хотел спать. Печальным фактом было то, что в более поздние годы он стал быстро напиваться мартини и вином; он и не хотел не напиваться, так же, как не хотел одеваться, как было принято всеми. Его единственной функцией теперь было писать, и когда трудовой день заканчивался, он стремился как можно скорее отключиться (хотя никогда не доходил до агрессии).

Он забывал высказанные им накануне суждения и никогда не поправлял себя даже в мелочах. (Это часто выглядело как предательство себя самого.)

«Это мне не нравится», – часто говорил он о рассказе или названии книги. А в следующий раз – «О, это очень хорошо?»

Конечно, люди могут менять свое мнение и поддаваться всяким влияниям, но тот факт, что он не помнил своего собственного, предыдущего отношения, был недостатком уважения или симптомом потери памяти; видимо, там образовались неясные пробелы, а он и не старался их замаскировать.

Около десяти лет назад мы пришли в его квартиру для встречи с советским литературным сановником, какой-то дамой, которая намеревалась редактировать том современных американских поэтов, переведенных на русский язык.

Уистен собрал несколько самых лучших доступных на тот момент поэтов и решил, что я, как писатель русской эмиграции, должен присоединиться к этой встрече. Мы пили вино и водку, и даже заедали копченой осетриной (или мясом акулы – Честер отказался делиться своими кулинарными секретами).

Советская дама приехала с переводчиком, худосочной русской девушкой, родившейся в Америке, которая со всей ответственностью защищала своего ожиревшего клиента.

Вечер прошел в довольно дружелюбной, порой даже одухотворенной, атмосфере, хотя Уистен позже утверждал, что я спросил комиссаршу: «За что вы убили Мандельштама?»

Под конец осталось всего два или три американца (комиссарша ушла), и по какой-то, на мой взгляд, совершенно справедливой причине я врзал одному из «лучших поэтов» по носу. Уистен ужаснулся. «Ты не должен был этого делать!» – воскликнул он с неподдельной болью в голосе. Честер же оставался пригвожденным к своему креслу, однако улыбался от восторга.

Так вышло, что спустя несколько недель после того случая у Уистена случилась какая-то размолвка с тем самым поэтом; мы обсуждали его, и я упомянул, что чувствовал себя виноватым, что так ужасно поступил. На это Уистен отреагировал очень позитивно: «Нет, нет, у тебя было полное право так поступить», – сказал он уверенно.

Подобные противоречия и мелкие предательства не имели для Уистена абсолютно никакого значения, так как для него всегда важна была только его работа – а в ней был он честным, мужественным, геройским, даже немного святым. И, конечно, он никогда не пренебрегал тем, что считал своим моральным долгом, несмотря на то, что, как многие поэты, витал в облаках и постоянно был увлечен только своим творчеством. Если надо было дать совет неврастенику, помочь коллеге-писателю или поддержать большого друга, он был «всегда рядом».

После того, как дети Элизабет Майер отправили ее в дом престарелых, Уистен регулярно ездил на метро в Бронкс, с пересадками, а потом ждал еще и автобуса, только для того, чтобы повидаться со старой, а теперь уже почти выжившей из ума дамой.

По чистой случайности, мы пару раз там с ним столкнулись. Эти визиты в душевные центры для пожилых людей были неприятным опытом, изнурительным и, пожалуй, бесполезным занятием. Уистен явно страдал и после получаса или около того сбежал, вздыхая с облегчением. Он терпеть не мог это место. Для Элизабет, сломанной и подавленной, но всё еще горделивой, то были прекрасные моменты, дающие ей уверенность в себе. Старухи и некоторые напыщенные члены персонала заходили сюда, чтобы взглянуть на знаменитого поэта, который «выглядел прям так же, как на своих фотографиях».

Когда меня впервые представили Элизабет, ей было за семьдесят; рациональная, с чувством собственного достоинства, она вела себя, как признанная знаменитость, *grande dame*, болтала не переставая, разбрасывалась именами, и, несмотря на ее определенный бесспорный шарм, я умирал от скуки. Она была типичный Овен – «лидер».

Однажды я спросил Уистена: «Чем она тебе так понравилась?»

Несколько поколебавшись, он ответил: *Des ewig Weibliche!*\*

По поводу *ewig Weibliche*... я, конечно же, спросил его задолго до этого (как я обычно спрашиваю своих друзей-гомосексуалистов), была ли у него когда-либо сексуальная связь с женщиной. Его ответ был «да».

Когда я сказал ему, что Адамович считает это своим самым кошмарным опытом, – за исключением ленинской революции и гитлеровской Второй мировой войны, – Уистен был удивлен.

«На меня это подействовало не так, – сказал он. – Это вообще никак не повлияло на меня. Я просто чувствовал, что я изменяю себе.» (Это было единственное, что я когда-либо слышал от него о его неудачной попытке «исправиться».)

Покидая Элизабет и ее маразматических приятелей, мы жадно вдыхали душный воздух Бронкса, который казался нам в тот момент восхитительным.

«Она хочет уйти», – сказал Уистен, словно это было утешением. (Возможно, он уже «слышал» строки, которые скоро напишет о своих визитах в дом престарелых).

---

\* Вечная женственность (нем.)

На похоронах Элизабет в Little Church Around the Corner<sup>35</sup> ее сын Майкл, явно находившийся под большим стрессом, отслужил литургию, а Уистен прочитал стихотворение, которое он написал на ее восьмидесятилетие, полное личных намеков, которые никто не мог понять, кроме него самого и ее (но ее уже не было в живых).

С таким же постоянством посещал Уистен Дэвида Протетча после лечения лазерной терапией от опухоли гипофиза. В итоге он посвятил ему эти строки:

Большинство пациентов считают,  
что смерть происходит только с ними,  
а не с их врачом,  
этим мудрецом в белом халате,  
которого нельзя представить  
ни голым, ни женатым...\*

Такт и сопричастность Уистена всегда подсказывали ему, что нужно сделать, и он неукоснительно следил за тем, чтобы это было сделано. (Например, навестить кого-то или написать некролог.)

Он всячески поддерживал тех, кого считал «своими», но в литературе (по крайней мере, в прозе) его нельзя было убедить оказать кому-либо «услугу». В своей сфере он вел себя так, как обычно ведут себя идеальные хирурги или юристы.

В течение нескольких лет он считал своим долгом посещать собрания The Third Hour, хотя они и не могли быть ему интересны. Во время обсуждений он даже вставлял пару слов, зная, что этого от него и ожидали и крайне за то ценили. Обычно мы уходили до того, как расходились остальные, и шли в какой-нибудь бар неподалеку (на семидесятых East), если там не было слишком интимно и темно и не слишком громко играла музыка. («Это для негров», – говорил он, – человек, в доме которого я встречал немало молодых черных поэтов).

В те годы он еще с удовольствием пропускал стаканчик виски; Изабелла пила шерри; и каждый из нас так и оставался при своем.

Он настаивал на понятии искусства как игры (в которую играют по правилам). «Автору должно быть весело писать, а читателю – весело читать. Зачем быть серьезным?» – поддразнивал он меня.

«Да потому что это весело!» – нашелся я с ответом. Эта концепция «игры» была для меня неубедительной, ведь по-гречески «игра» будет *agonos*, со всеми вытекающими из этого слова последствиями.

Те проведенные вместе часы были по-своему и хороши, и насыщены. За ужином то у него, то у нас дома мы должны были позабиться о напитках и еде; кто-то должен был бегать туда и обратно на

\* *The Art of Healing (In Memoriam David Protetch, M. D.)*. Первая строка в тексте В.Я. приводится как «Most patients assume...» – так же, как в публикации в *The New Yorker* (September 27, 1969 P. 38); сегодня часто цитируется как «Most patients believe...». Подстрочный перевод – К. Адамович.

кухню, чтобы убедиться, что там всё в порядке. В баре же мы могли расслабиться, виски помогал нам быть добрее, а счет мы делили пополам.

Он никогда не отказывался дать *The Third Hour* написанное им – всегда самое лучшее, и совершенно бесплатно. Таким образом, в пятом номере он был представлен великолепным (я бы сказал гностицистским) стихотворением «Многословие»<sup>36</sup>.

Поговори про лунный свет на лестничной спирали,  
 Про легеньких детей под сенью вековых дубов,  
 Про удивление чуда, да, но смерти здесь не место\*

Что доказывало: наши разногласия были не такими уж и большими после всего, хотя он и старался придерживаться установленных правил и норм: никогда не бунтовать, создавать прекрасное вокруг уже существующих структур (а их было предостаточно). Он отвергал Николая Федорова<sup>37</sup> с его «объединением сынов для воскрешения отцов», оригинального русского философа, о котором он знал немного от меня.

«Отцы должны уходить», – настаивал он.

Ему нравилось казаться бесстрашным викингом, принимающим смерть, кровь и сталь этого мира. (Его «Elder Edda»<sup>38</sup> была данью этой стороне его характера.) Но за несколькими каменными фасадами скрывался мягкий, благородный Уистен, христианин с некоторыми гностицистскими (или, как сказал бы англичанин, манихейскими) сомнениями.

Другие стихи, которые он подарил *The Third Hour*, – «Hunting Season» и «Moon in X».<sup>39</sup> В самом последнем, в «Garrison»<sup>40</sup>, он гордился тем, что его и Честера отправили в гарнизон, где они выполняли свой долг, тихо и честно защищая цивилизацию. В то время я написал ему, что среди русских военных гарнизонная служба была понижением в звании (особенно после караульной службы), и офицеры просто спивались; но он от этой мысли только отмахнулся. Вообще, в своих письмах он отвечал на замечания по своей работе только в тех случаях, когда они были конкретными или техническими.

Он знал себе цену и не нуждался в особой поддержке со стороны. Давая мне почитать свои стихи или эссе, он звонил рано утром на следующий день и спрашивал: «Ты прочитал?», чтобы получить одобрение, подтверждение, даже похвалу, но редко дослушивал ответ до конца. В каком-то смысле он вел себя так же, когда я давал ему почитать что-то свое. Он звонил (чем больше ему нравилось произведение, тем быстрее он звонил) и очень коротко излагал, что хотел сказать.

Он был самым быстрым читателем из тех, кого я знал, самым нетерпеливым человеком. Передав Изабелле свое последнее стихотворение и всё больше распаяясь, пока она читала его, он жаловался:

\* Пер. К. Адамович. «*One Circumlocution*»: «...speak well of moonlight on a winding stair».

«Ты слишком медленно читаешь».

Затем, наблюдая за мной: «Видишь? А он читает намного быстрее!»

Как-то, когда я сказал Уистену, думая, что ему будет приятно, что одна из моих пациенток из венерологической клиники процитировала несколько строчек из его «Sea and Mirror»\*, он меня резко оборвал:

– Она всё неправильно поняла.

Однажды, когда я читал его новое стихотворение, он вдруг спросил с полным пониманием во взгляде:

«Тебе разве не нужны очки для чтения, только для вождения? – а затем обратился к Изабелле. – Я уверен, что он испортил свое зрение точно так же, как и я. Примерно в возрасте одиннадцати или двенадцати лет.» – По его интонации было видно, что он принимает меня как существо одной с ним породы (такое отношение он иногда крайне четко озвучивал друзьям).

Подчас мне казалось, что он мог бы внести еще более значительный вклад в нашу жизнь (если такие вещи можно измерить) как ученый, натуралист, исследователь, некий Пастер или Дарвин. Он жадно собирал всевозможные новые знания и информацию. «Ты должен взглянуть на это, – говорил он, внезапно вспоминая и передавая мне книгу по стоматологии или демонологии: – Это замечательно.»

Когда я одалживал ему «важную» книгу, он не только ценил этот жест, но и делал всё возможное, чтобы никогда ее мне не вернуть. (Хотя, с другой стороны, и заваливал меня бесплатными новыми книгами, которые отовсюду получал.)

Как реконструировать, воссоздать его безбашенную голову, благородную и добрую, жестоко изолированную, независимую, самодостаточную и, в то же время, такую открытую для внешнего мира... его уверенный, повторяющийся кивок, словно говорящий близкому человеку: «Извини, дорогой, но всё в этой жизни устроено именно так – и именно так и должно быть»; его энтузиазм, его увлечение всем великим, искусным, прекрасным, оригинальным... И тиранию его идола, *здравого смысла*, действующего внезапно, как предохранительный клапан... Сочетание праведной, милой, заискивающей и понимающей улыбки с жутковато искаженными заостренными чертами лица и глиняно-бледными губами. Аскет-мученик, которому нравилось иногда развлекаться, но только после шести вечера, когда работа на виноградниках уже завершилась.

Он периодически жаловался на усталость и иногда принимал «быструю таблетку», чтобы продержаться до конца рабочего дня без перерыва.

«Почему бы тебе днем не вздремнуть», – предложил как-то я.

---

\* *The Sea and the Mirror: A Commentary on Shakespeare's The Tempest* (1942-44), публ. в 1944 году.

– Нет, нет, Василий, мама не одобрит, – отвечал он грустно с улыбкой.

Он любил показать новому посетителю картинку механической штуковины из учебника физики, машины, которая, как он утверждал (когда находился в своих более фрейдистских настроениях), повлияла на его детство. Выглядело это произведение паровой техники довольно жалко, и я не верю, что оно могло вызвать даже у ребенка хоть какой-нибудь комплекс.

Еще одним экспонатом выставки была фотография трех белокурых мальчиков, прижавшихся к матери. «Очевидно, кто из них самый любимый? – неизменно объявлял он, указывая на самого младшего, – Уистен!»

Как поэт и писатель, он всегда искал новые формы; но в жизни ему нравились стереотипные фразы, которые, как русские пословицы, решали вопрос раз и навсегда: «Мама должна готовить»; «Мать не одобрит»; «Нет, нет, это именно так»; «Он (или она) хочет уйти». И так далее, и так далее, клише, которые его успокаивали.

Его мать умерла неожиданно в возрасте 71 года; его отец – деревенский врач, умер, когда ему было за 80, уже почти совсем выжившим из ума, и это медленное угасание давило на Уистена. «Он уже давно хотел уйти», – был его комментарий.

В моем дневнике есть много воспоминаний о наших встречах, веселых застольях и разговорах.

2.21.58. Каждый раз, когда я с Уистеном, я жду от этого вечера так много, что в какой-то момент (в середине нашей встречи) я внезапно и с болью понимаю: «Вечер закончился, уже закончился, и ожидать больше нечего... Завтра – работа, труд, тяжелый труд, скучный и серый. Всё закончилось». Такое же чувство я испытывал, когда читал долгожданную статью Адамовича о себе; где-то посередине чтения чары разрушились и грустный голос шептал: «Вот и всё, ничего дальше не будет».

Я рассказал об этом Уистену; но оказалось, что он услышал только вторую часть моей исповеди.

«Ты что, действительно так рвешься читать или слушать о себе самом? – спросил он, серьезно (изучающе) посмотрев на меня характерным взглядом ученого. – Но это же так скучно, и они всегда упускают самое важное.»

В ответ я рассказал ему о разговоре с Иваном Буниным (Нобелевским лауреатом 1933 года). «Даже сейчас, – сказал Бунин, – а как много было обо мне написано! – когда я вижу свое имя в газете, что-то здесь, – указывая на сердце, – что-то здесь покалывает, как оргазм.» И этот знаменитый старик пронизательно и победоносно на меня посмотрел.

Уистен не одобрил: «Русские обращают слишком много внимания на мнение критиков, им нравится, даже когда их ругают».

3.16.58. Уистен пришел на ужин... Сравниваем русских писателей с западными; личные факторы: гражданство и мораль. Русский писатель или пророк, или святой (или должен таким притворяться). Англичане не могут по-настоящему оценить «Войну и мир». Уистен высоко ценит «Смерть Ивана Ильича». «Записки из подполья» произвели на него сильное впечатление некоторыми своими деталями, озадачившими и поразившими его, как что-то из страшного и искушающего сна. Он говорил об этом много раз.

4.14.58. Мой день рождения – с Оденем и Изабеллой. От «Шабли» ужасно болит голова. Я ругал его за его симпатии к коммунистам тридцатых годов. Он: «...и, кроме того, мы думали, что это типично русская деформация и что наш коммунизм будет другим».

6.21.62. Вечеринка по поводу дня рождения Одена. Слишком много шампанского (с тех пор, как я бросил курить, всё, что мне оставалось делать на таких сборищах, – это пить). Уистен метался между двух больших комнат, из одного угла в другой, со стаканом в руке – паузы всё длиннее и длиннее, а слов всё меньше и меньше (его морщины то сужаются, то расширяются от попыток что-то вспомнить). Он был дружелюбным, тяжелым, невнимательным и отсутствующим.

– Это самая умная женщина в Нью-Йорке, – с кислой улыбкой представляет он меня даме.

Еврейская девушка (я никогда не видел ее ни до, ни после) открыла дверь в спальню Уистена (печальная картина), и Уистен буквально взорвался. Он орал со злостью и негодованием; в этом его приступе гнева было что-то от геноцида. Честер со знанием дела его успокоил.

Где-то в 1965. Обед в ресторане с Оденем и двумя гомосексуалистами из другого города. На клочке меню Уистен написал:

#### МОЯ ЭПИТАФИЯ

*А ..... Да.*

*Поэт. Я верю.*

*Хороший. И христианин?*

– У.Х. Оден

4.17.67. Принес Уистену свою Philosophy of Science<sup>41</sup>.

3.20.67. Звонит, пересказывает те же истории (уже выпил свой martini). Цитирует свои строчки:

Господь, храни США, такие большие,  
такие обеспеченные и такие богатые.

4.11.67. Книга *No Man's Time*\* вышла в Лондоне. Вечером пьем с Уистеном шампанское. Он – очень оживлен (начеку). Говорил о своей так называемой власти над аудиторией: «Есть разные трюки, и Гитлер был не единственным, кто их знал». Как осторожен должен

\* Пер. И. Яновской книги «По ту сторону времени», предисловие Одена.

быть человек, чтобы не злоупотреблять этой властью. Как невероятно везло ему на протяжении жизни, всей его жизни. Как благодарен он тому, что его родной язык – английский. Однажды, еще подростком, он гулял с другом семьи, человеком постарше, и тот спросил его – хотел ли он когда-либо стать поэтом. И он тут же понял: Да! Безусловно! (И другой случай, когда он впервые увидела Честера, то понял: «Да, это оно, навсегда!»)

Я спросил его, что бы он почувствовал, если бы ему пришлось уехать из Англии, но не в Америку, где говорят по-английски, а, скажем, в Китай или Россию. Он не мог представить, что судьба могла бы сыграть с ним настолько злую шутку.

11.4.67. Видел Уистена во сне. Власти его выселяют (как это бывает с эмигрантами во Франции). Остался осадок.

11.19.67. Изабелла уехала на прием в честь Аниты, племянницы Уистена, на следующий день показывала ей город. Он любит свою племянницу. Сильная привязанность к семье.

День благодарения, 11.23.67. Уистен, Алексис с Клэр. После их ухода Уистен стал очень практичным: «Она, безусловно, хорошо воспитана, но вы *должны* поинтересоваться, каковы же ее намерения».

Перед уходом: «Могу ли я выбрать отрывок из твоей *Philisophy of Science* для моего ‘Common Reader?’\*»

Вербное воскресенье, 4.7.67. Пошел прощаться с Уистеном. Мы говорили о «Воскресении на третий день». Уистен на меня странно посмотрел: отвел глаза. У меня всегда такое впечатление от протестантов: они не верят в Воскресение Христа. В своих заметках о Толстом Горький пишет: «Толстой как будто боялся, что, появившись Христос в русской деревне, девки стали бы над ним смеяться». Нечто подобное я чувствую по отношению к протестантам, когда речь заходит о Воскресении.

4.21.68. Письмо от Честера\*\* (Австрия). После автомобильной аварии Уистен не может писать. Он получил мой отрывок для «Common Reader» и «поспешил сообщить мне, что это точно то, что он имел в виду».

11.3.68. У Уистена. Выглядит хорошо, потерял вес, деловит, бесчеловечен. Принес черновик *A Certain World* (частично напечатанный, частично написанный от руки – большой рукой). Изабелла взяла его домой, чтобы расшифровать и перепечатать.

11.28.68. День благодарения с Оденем. Алексис немного опоздал. «Заходи, Алексис, быстро, попробуй эти вкусняшки...» (креветки, крабы). Он умеет быть очень милым, и ему это легко дается.

12.7.68. Пошли к Одену отдать ему черновик перевода, сделанный Изабеллой, чешского поэта Лисогорского, пишущего по-немец-

\* «Common Reader» – колонка эссеистики.

\*\* В оригинале опечатка: Nhester.

ки<sup>42</sup>. «Хм. Ты же сделала работу целиком, мне тут уже ничего не осталось.» Наполовину доволен, наполовину наоборот.

Изабелла упомянула его версию Hammarsköld's *Markings*<sup>43</sup>: «Мне кажется, это идеально». А Уистен – с мягкой улыбкой: «Иногда я чувствую, что он стоит за моей спиной и шепчет мне на ухо. Но не стоит об этом говорить», – и он приложил палец к губам и хитро, как ребенок, подмигнул.

12.13.68. Уистен позвонил поздно вечером. Надо было нам сообщить! Автомобильная катастрофа в Австрии, за рулем машины Уистена погиб друг Честера. Честер в отчаянье. Уистен всем этим глубоко потрясен.

На следующий день, как и планировали, пошли к нему в гости (отметить дописанный манускрипт *A Certain World*). «Естественно, без шампанского», – сказал он еще в дверях.

12.29.68. Уистен приехал на гуся. Явился накуренный. Неприятный, пустой вечер.

5.8.69. Письмо и несколько стихотворений. «Epistle to a Godson», «Circe» и «New Year's Greeting», которое он просит «разрешения» посвятить мне. Последняя строфа – абсолютно оденовская (хотя он часто пытается замаскировать или даже вычеркнуть столь характерные для него строки):

Итак, рано или поздно наступит рассвет  
 Дня Апокалипсиса,  
 когда моя мантия вдруг станет  
 слишком холодной и вонючей для тебя,  
 но аппетитной для более лютых хищников, и я  
 лишен оправдания и нимба, –  
 Прошлое, в ожидании приговора.\*

7.24.69. Письмо, содержащее несколько историй о Поэтическом фестивале в Лондоне. Когда культурному атташе из советского посольства в Лондоне сказали, что пригласили Вознесенского, он просто ответил: «Он будет болен».

К письму была также приложена подборка коротких стихов (эпиграммы):

...я в двадцать лет пытался старшим досадить;  
 а за шестьдесят – надеюсь молодым  
 мешать я буду жить.\*\*

1.4.70. Пошли к Одену. Вышел из печати *City without Walls*. Праздновали с шерри.

\* Подстрочный перевод К. Адамович.

\*\* Подстрочный перевод Е. Дубровиной.

1.14.70. День Василия Блаженного. Уистен пришел к нам на ужин. Принес нам «Elder Edda». Говорили о «стали и крови». (Оба пьяные).

3.8.70. Экспромтом – ужин в китайском ресторане (куда мы иногда водим Дороти). Я пришел в замшевой куртке. Оден: «Я думал, что только бандиты носят кожаные куртки». Какие-то люди за соседним столиком его узнали, вышли и вскоре вернулись с его книгой в мягком переплете, попросив автограф. Он вежливо согласился.

1.23.71. Мы зашли к нему выпить и взять его на ужин. Но он как отрезал: «Без ресторанов. Слишком дорого». И сам приготовил нам ужин.

Днем ему позвонила Рут Аншен<sup>44</sup> сказать, что она хотела бы напечатать мою «Philosophy of Science» (которую она впоследствии так и не напечатала).

Я сообщил ему, что бросил свою прибыльную работу в больнице, потому что с легализацией абортос мне бы пришлось делать по 25 таких операций в день, и я не смогу. Он взглянул на меня пристально и заявил: «А я бы смог».

1.30.71. Уистен попросил Изабеллу перевести его *Oxford Sermon (Carnival)*<sup>45</sup> на немецкий... ему скоро ее читать в Мюнхене.

Позже мы говорили о загадке Гоголя (его половой жизни). Я перевел для него потрясающий отрывок Розанова на эту тему *livre ouvert*\*. «Он, бесспорно, ‘не знал женщины’, т. е. у него не было физиологического аппетита к ней. Что же было? Поразительна яркость кисти везде, где он говорит о покойниках. ‘Красавица (колдунья) в гробу’ – как сейчас видишь. ‘Мертвецы, поднимающиеся из могил’, которых видят Бурульбаш с Катериною, проезжая на лодке мимо кладбища, – поразительны. То же – *утопленница Ганна*. Везде покойник у него живет удвоенною жизнью, покойник – нигде не ‘мертв’, тогда как живые люди удивительно мертвы. Это – куклы, схемы, аллегории пороков. Напротив, покойники – и Ганна, и колдунья – прекрасны и *индивидуально интересны*... Я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в ‘прекрасном упокойном мире’, – по слову Евангелия: ‘Где будет сокровище ваше – там и душа ваша’. Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчины не умирают. Но они, конечно, умирают, а только Гоголь нисколько ими не интересовался. Он вывел целый *пансион* покойниц – и не старух (ни одной), а всё молоденьких и хорошеньких»\*\*.

Оден был явно увлечен (вообще, ему нравились противоречивые русские фигуры, такие как Розанов, Леонтьев, Чаадаев, Герцен), но после минуты размышления его здравый смысл взял свое и он заявил: «Сказано ужасно хорошо, но я не верю, что это правда».

\* с листа (фр.)

\*\* В. Розанов. «Опавшие листья. Короб второй и последний» (Курсив В. Яновского).

3.7.71. Уистен вернулся из турне. Неприветливый, в маразме. Говорил о том, что он писал прямо в ванную, пукал – представлял себе пару, общающуюся подобным образом, ковыряющуюся в носу, поедающую соплю («вкусно»). Что-то разваливается в этом огромном глиняном теле: маразм.

1.1.72. Посетили Уистена. Честер тоже здесь, вышла книга его стихов. Хотел показать нам книгу; Уистен снял с нее суперобложку.

«Зачем ты это сделал?»

«Ты прекрасно знаешь, что я всегда так делаю!» (Настоящее напряжение).

Честер: средних лет, с животиком, сгорбленный, враждебно настроен, или, по крайней мере, неразговорчив, по отношению к нам. Я принес Уистену ксерокопию своей книги *Dark Fields of Venus*\*

*Два дня спустя.* Реакция Уистена на мои *Dark Fields*:

«Очень печальная и хорошая книга. Она будет успешной, но, конечно, по неверным причинам.»

*Середина января.* Издатель, к которому меня направил Уистен, мне отказал, сопроводив какими-то глупыми замечаниями. Уистен:

«Я не могу этого понять. Этот человек мне действительно нравится. Я не могу поверить.»

2.21.72. Празднуем 65-летие Одена, организованное издательством *Random House* в ресторане, в отдельном зале. Уистен не слишком пьяный, но дохлый (изначально дохлый, а потом, чтобы это скрыть, – пьяный). Иностранное надутое тело, вросшее в диван или слоняющееся по помещению. Все мы, несмотря на шампанское, чувствуем, что присутствуем на похоронах. Шампанское, тосты и панегирики. Я даже бросил стакан об стену, искусно его разбив (с красивым звоном). И ничто не могло разрушить этот мертвый холод вокруг него. Он уезжает (и не просто в Оксфорд). И всё же, несмотря на всё это, несмотря на всех этих жен скучных академиков, которые безжалостно его осаждали, он нашел момент, чтобы представить меня Хелен Вольф и настоятельно ей рекомендовать *Dark Fields of Venus*.

4.12.72. Хелен Вольф<sup>46</sup> взяла книгу, сопровождая всеми возможными комплиментами. Я позвонил Уистену прямо из ее кабинета с хорошими новостями и пригласил его к ней в гости 13 апреля (почти что в мой день рождения). Кроме Одена были приглашены Макс Фриш<sup>47</sup> и Франсис Ланза<sup>48</sup>. Оден явился в тапочках, очень озабоченный своим предстоящим отъездом («бегая вокруг, как цыпленок, которому отрезали голову»). Он говорил о том, что бросает курить, не ради здоровья, а потому что в Оксфорде курить слишком дорого. (Я подарил ему одну из своих лучших трубок.) И очень скоро, часа через полтора, он настоял, чтобы мы отвезли его домой. Шампанское у Хелен Вольф было замечательным, но нам пришлось уйти.

\* V. Yanovsky. *The Dark Fields of Venus; from a Doctor's Logbook*. 1973.

Незадолго до того, как он уехал на лето, я ему позвонил: «Знаешь ли ты, что в 1878 году Тургенев получил *степень почетного доктора* в Оксфорде и произнес там речь? Ты можешь посоветовать одному из своих студентов копнуть поглубже, она не была нигде опубликована». Однако я поймал его в неподходящий момент.

«Меня это не интересует», – обрезал он. Создалось такое впечатление, что мысли его были далеко и до него было просто не достучаться.

9.30.72. Отвезли Уистена в аэропорт Кеннеди. Его голая квартира – сцена из пьесы Беккета. Он выбежал из квартиры, на лестнице споткнулся, был в этот момент похож на гигантского карлика, которого преследовали лохматые чудовища.

Трое из нас впереди, Орлан Фокс<sup>49</sup> – сзади (как только ему удалось втиснуть туда свои ноги?). Оден одет небрежно, нервничает, испуган и скукожен. Впечатление: похороны (и не очень-то достойные). И всё же не было рациональной причины грустить. По неосторожности я упомянул приближающееся награждение Нобелевской премией. Уистен буквально впал в ярость... размахивая своими толстыми руками (его лицо стало похоже на овальную искаженную топографическую карту)\*, он кричал: «Я не хочу об этом говорить. Я не хочу об этом говорить!» Пугающее представление.

Мы вошли в ад «Отправления»\*\*. Он шел, ссутулившись, с согнутыми коленями (гигантский карлик), почти не глядя по сторонам. Мы пропустили пару стаканчиков в баре (об этом позаботился Фокс) и дошли до кафетерия – ресторан «получше» был предположительно закрыт. Я сопроводил Уистена до буфета самообслуживания; я ожидал, что он заплатит, но он даже не предпринял попытки это сделать. Мы вернулись к столу, и Изабелла с Фоксом отправились за своей едой. Естественно, что мы с Уистеном первыми закончили свой ужасный ужин. «Ты слишком медленно ешь», – порицал он Изабеллу. В голосе его было холодное осуждение.

Его решение вернуться в свою молодость, обратно в Оксфорд (к своим корням), которое он представил строго как финансовую необходимость, было неверным, фатальным, патологическим. Это его решение было частью процесса инвертирования, который в итоге привел к его «Колыбельной», к «*Спи, мой малыш, спи, крепко спи*».

По дороге в зал ожидания первого класса он купил бутылку водки – на доллар или два дешевле – и продолжил свой путь, неся ее не завернутой, хотя в следующие 24 часа она была ему не нужна. Я вспомнил замечание, сделанное Рембо Верлену, который нес домой

\* У Одена было редкое генетическое заболевание (синдром Touraine-Solente-Golé), вызывающее, в том числе, огрубение кожи и утолщение рук и ног.

\*\* Во всех копиях отпечатанной рукописи, в том числе с окончательной правкой для журнала, стоит нетронутым *the hell of Departures* – ад «Отправления» (*ад Отбытия, ухода*); что дает основание считать это не опечаткой слова *hall* (зал), а тропом.

продукты. *Tu as l'air idiot avec ta bouteille et ton hareng...*\* – изрек Артур, и тут разыгралась бытовая сцена, мне даже захотелось об этом рассказать, но я сдержался – атмосфера и так была слишком заряжена.

Мы зашли в зал ожидания первого класса, где его, казалось, узнала официантка. Она наблюдала, как Фокс и я наполнили стаканы «Курвуазье». Уистен тоже потягивал коньяк – сухое бревно, лежащее на берегу, вибрирующее, ныряющее и всплывающее под ударами невидимого прилива.

«Лучший возраст, чтоб помереть – самый правильный возраст – это семьдесят, – объявил он в какой-то момент спокойным голосом. – Я знаю, что я проживу намного дольше, но это тот самый возраст, когда я бы хотел уйти.»

Мы попивали коньяк, стараясь поддерживать разговор. Как же он изменился за последние пять лет. Даже пьяный, он раньше был совсем другим, веселым и дружелюбным, – теперь он как робот, спекание разделяющихся клеток. Время от времени он стряхивал с себя вялость, словно вылезшая из воды лохматая овчарка, и произносил какую-нибудь разумную фразу или пожелание. «Нет, нет, Василий, – восклицал он, – ты не должен так говорить, не капризничай...», и снова впадал в ступор. Неожиданно он объявил: «Теперь вы должны уйти». И мы ушли, поцеловав его, или делая вид, что целуем, в его огромную, серую глиняную щеку. По дороге обратно все трое чувствовали, будто мы возвращаемся с похорон (и не потому, что *partir c'est mourir*\*\*).

В Оксфорде он был несчастлив, его проигнорировали, он даже подвергся насилию. Мы слышали, что он не получал заслуженного внимания. Он написал, что его никогда не грабили на улицах Нью-Йорка и, видимо, именно для этого он и приехал в Оксфорд.

Видимо, он действительно там сильно страдал. Студенты, которые должны были прийти на встречу с ним, заставляли его часами ждать или не приходили совсем. Какой-то человек ночью вломился в его коттедж, и произошел скандал. Чтобы сбежать оттуда, на весну он запланировал лекционное турне по США.

Но он продолжал быть внимательным к своим друзьям. Он писал нам: «Я думаю, вы будете рады узнать, что рецензии на *A Certain World* и в *The Observer*, и в *Sunday Telegraph*; обе особенно отметили ‘Anesthesia’». Казалось, в этот момент он радовался моему успеху больше, чем своему. На обратной стороне письма он напечатал новое стихотворение «Talking to Myself».

Время, мы оба знаем, разложит тебя, и уже сейчас  
Я боюсь нашего развода: я видел много ужасных разводов

\* Ты выглядишь по-идиотски со своей бутылкой и сельдью. (фр.)

\*\* «Уехать – это немного умереть.» Оригинальная фраза принадлежит поэту Эдмону Аракуру (1856–1941). (фр.)

Помни: Когда Господь тебе скажет – брось его! –  
Пожалуйста, пожалуйста, ради Него и меня, не обращай внимания  
На мои жалкие: «Не уходи», а сваливай побыстрее.\*

*Праздник Вознесения Господня, 1972.* Он пишет о *Of Light and Sounding Brass\*\**, «который я прочитал с увлечением, восхищением твоей технической виртуозностью, а также с некоторым замешательством». Он жалуется, что «Часть 1 – это самокопание а-ля Достоевский (всегда сбивающее с толку англичанина)...» На обратной стороне – его новое стихотворение «Lullaby».

А теперь – забвение:  
Дай животу овладеть [тобой]  
Тому самому месту под диафрагмой  
Прерогативе матерей  
Спи, Большой Младенец, спи, сколько захочешь\*\*\*

Это дало мне мой козырь против «сбитого с толку англичанина». Я ответил, что его стихотворение было таким же «самокопанием» (чрезмерными и душевными, и физическими поисками) и, что еще хуже, абсолютным, безнадежным накручиванием (*involuting* – биологический термин, который я несколько раз употреблял в наших разговорах).

7.5.72. Он заканчивает свое письмо смешной историей: «‘Кто из вас без греха, первый брось [в нее] камень!’ Едва Христос успел это произнести, мимо летит камень. Он поворачивается: ‘Мама!..’» (На обратной стороне было новое стихотворение «Unpredictable But Providential»). «Мое личное название этого стихотворения на обороте – добавляет Уистен, – *Contra Monod*<sup>50</sup>).

7.12.72. Он находит время сообщить нам, что Иосиф Бродский благополучно прибыл в Вену и что он помог ему получить грант от Американской Академии.

4.3.73. Он пишет, что Оксфорд – это ад. Перенаселен, а шум хуже, чем в Нью-Йорке.

Его последнее письмо датировано 3 сентября 1973... *Я стал чувствовать свой возраст. Хотя мой мозг, кажется еще хорошо работает, слава Богу, мое тело очень быстро устает. Здешний доктор диагностировал слабое сердце, что бы это ни значило...* Далее он упоминает новую книгу, которую он читает: «Я напишу на нее рецензию для *The New Yorker*... Это шедевр...»

На другой стороне: «Address to the Beasts»:

\* Перевод К. Адамович

\*\* Роман В. Яновского, NY: Vanguard Press, 1972.

\*\*\* Перевод К. Адамович

...теперь ясно,  
в конце концов, мы к вам присоединимся  
(как же похожи все трупы)

но ты никак не подаешь вида, что  
ты уже приговорен\*

Я начал переживать и сразу ответил, нагло цитируя в конце Доктора Джонсона<sup>51</sup>: «Большому человеку весьма трудно не быть негодяем. Пожалуйста, выздоравливай поскорее...»

9.29.73. В двенадцать часов дня едем по Long Island Expressway; я включаю радио, и первое, что мы слышим: «У. Х. Оден умер прошлой ночью во сне...»

11.2.73. *День Всех Святых*. После реквиема по Одению, организованного Анной Фримантл в Church of the Paulist Father<sup>52</sup> в пятницу вечером, я видел сон: Уистен, Изабелла, Алексис и одна из его подружек, возможно еще мой отец, – все сидим вместе вокруг нашего кофейного столика. Морда Бамбука торчит над чьими-то коленями; он слегка поворачивает свою золотистую голову, как он это обычно делал, когда собиралась компания (зная, что всё – дружба, счастье и благосостояние – временны, и ничто не может этого изменить). Изабелла, занятая на кухне, неожиданно кричит: «Они приняли твое либретто?» Уистен: «Да, им понравилось».

«Почему же ты нам не сказал», – я кричу и бегу к холодильнику за бутылкой. Мы все встаем вокруг обеденного стола, я открываю шампанское, думая: «Одной бутылки недостаточно...», но Изабелла, будто прочитав мои мысли, мягко, но уверенно забирает у меня бутылку и разливает шампанское в маленькие бокальчики.

После этого Уистен снился мне только один раз. Он сидит на стуле, держа в руке нож, точнее – небольшой кинжал, и вдруг резко и глубоко режет себя между нижней губой и подбородком. Я протягиваю руку остановить его, но он бьет лезвием по моим пальцам. Больше от удивления, чем от боли, я кричу: «Что ты делаешь?»

«Я очень расстроен», – отвечает он, выглядя подавленным.

«Мы все там будем, ты знаешь», – был мой ответ.

«Да, – сказал он, – но я здесь, а ты...»

Парализованный, я смотрю на его землисто-бледное лицо с глубокой кровоточащей раной, пока он медленно исчезает, как в фильме ужасов.

Пожалуй, это был мой последний шанс сказать ему, что при всем нашем непринужденном общении, как же много он дал мне за все эти годы, как счастлив я был быть его другом и как стремился поделиться с ним всем самым ценным, что я знал... Я часто хотел ему это сказать, но сдерживался, думая, что впереди еще много времени, – а сейчас уже слишком поздно.

\* Подстрочный пер. К. Адамович.

Что ж, нам остается лишь воссоздавать, вылепливать заново его лицо, взгляд, улыбку, голос, миллионы черт, в которых Уистен Оден отражался, – и, конечно, его творчество, – пока Великий Художник не соберет нас всех под обновленным небом и новыми звездами. Господи, я верю; помоги моему неверию.

(«Нет, нет, Василий, ты не должен так говорить.»)

*Нью-Йорк. Сентябрь, 1974*

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. В 1946 году совместно с переводчицей, известной активисткой экуменического движения Еленой Извольской и композитором, представителем русского музыкального авангарда Артуром Лурье Василий Семенович Яновский организует экуменическую группу «Третий Час», а вскоре и одноименный журнал «The Third Hour» («Третий Час»). На русском языке вышел № 1; остальные выходили по-английски, отдельные номера – по-французски.
2. Дени де Ружмон (*Denis de Rougemont*, 1906–1985), швейцарский писатель, философ и общественный деятель. В молодости сблизился с представителями религиозного экзистенциализма и христианского персонализма. В 1940-м переехал в США. В 1946 году опубликовал в Нью-Йорке «Письма об атомной бомбе», после чего вернулся в Европу. Стал одним из организаторов Конгресса за свободу культуры (1950). Моральная философия Ружмона развивает основные принципы персонализма, в политической философии – идею единой Европы. Лауреат премии Шиллера (1982).
3. Auden, W.X. *The Ironic Hero: Some Reflections on Don Quixote*. 1949. Эссе начинается словами: «Обычно герои делятся на три класса: эпический герой, трагический и комический. Дон Кихот не подходит ни к одной из этих категорий», «это портрет христианского святого», «это презентация – величайшая в литературе – Религиозного героя» («Heroes are conventionally divided into three classes, the epic hero, the tragic hero, and the comic hero. Don Quixote fits none of them,», «a portrait of the Christian saint,», «a representation, the greatest in literature, of the Religious Hero»). Опубликовано в *The Third Hour*, № 4, 1949 год. С этого номера начинается сотрудничество Одена с журналом.
4. Честер Коллман (*Chester Kallman*, 1921–1975), американский поэт, либреттист и переводчик; близкий друг Одена. Известен совместной с Оденом работой над либретто для оперы И. Стравинского «A Rake's Progress» (1951).
5. Изабелла Левитина-Яновская (урожд. Гольдбиндер, 1913–2004). По воспоминаниям сына, Алексиса Левитина, она родилась в Берлине в семье евреев из Российской империи. Однако все домашние предпочитали немецкий язык общения. Семья была зажиточной; владение иностранными языками было для них нормой. Помимо немецкого Изабелла свободно говорила по-французски и по-английски. В юности она некоторое время изучала медицину в Сорбоне, затем познакомилась с Сергеем Левитиным, юношей вполне просоциалистических взглядов, и вместе с ним переехала в Прагу, где продолжила образование в Charles University (хотя никогда не говорила по-чешски – все классы преподавали на немецком). Затем они уехали в Англию, жили в Лондоне. Но с началом войны и бомбежками Лондона уезжают в США. В 1942 году у Левитиных рождается сын Алексис. Вскоре, в 1943-м, Петр Бронштейн, друг семьи, знакомит ее с Василием Яновским. Изабелла поки-

дает мужа, Яновский переезжает к ней в ее квартиру в Квинсе. Изабелла становится переводчиком его произведений на английский, а позднее, когда Яновский в достаточной степени овладел языком, остается литературным редактором его английских текстов. И до конца жизни – его единомышленником в религиозных исканиях и издательской деятельности.

6. Auden, W.H. «Address to the Beasts». Прочитрованы строки: «...but you exhibit no sign / of knowing that you are sentenced».

7. David Protetch, M.D. (1923–1969). Ему У. Оден посвятил стихотворение «The Art of Healing (In Memoriam David Protetch, M.D.)»; опубликовано в *The New Yorker* в 1969 году.

8. Yanovsky, V.S. *No Man's Time*. Weybright & Talley, New York, 1967. Книга была переведена женой Яновского И.М. Левитиной.

9. Cecil Day-Lewis (1904–1972), англо-ирландский поэт. В 1968 году получил от королевы Елизаветы II статус Poet Laureate of the United Kingdom как писатель национального значения. Прозу писал под псевдонимом Nikolas Blake.

10. Penelope Gilliatt (1932–1993), английская писательница, сценарист, ведущий кинокритик журнала *New Yorker* в 1960-е и 1970-е годы.

11. Auden, W.H. *A Certain World: A Commonplace Book*. New York, 1970. Книга цитат, комментариев, откликов, пр., о которой Оден сам говорил: «род автобиографии» («a sort of autobiography»). Заметка касалась книги Яновского по медицине – Yanovsky, B. «Anesthesia».

12. Cyril Connolly (1903–1974), английский литературный критик, писатель, редактор известного журнала *Horizon* (1940–49).

13. John Eugene Unterecker (1923–1988), американский поэт, редактор, литературовед.

14. Сын Изабеллы Левитиной, Алексей Сергеевич Левитин (Алексис).

15. Edith Sitwell (1887–1964), английская поэтесса, критик. Сравнение с Зинаидой Гиппиус не случайно: Яновский был вхож в дом Мережковского и Гиппиус в Париже.

16. Marianne Craig Moore (1887–1972), американская поэтесса-модернист, критик, переводчик, редактор.

17. Edmund Wilson Jr. (1895–1972), американский писатель, критик, журналист.

18. Robert von Ranke Graves (1895–1985), английский поэт, исторический новеллист, критик.

19. Jennie Tourel (1900–1973), американская оперная певица, меццо-сопрано.

20. Lotte Lenya (1898–1981), американская певица австрийского происхождения, актриса.

21. Ursula Mary Niebuhr (1907–1997), англо-американский преподаватель университета, теолог.

22. Anne Fremantle (1908–2002), англо-американский журналист, переводчик, поэт, писатель.

23. Elizabeth Wolff Mayer (1884–1970), американский переводчик, редактор, близкий друг Одена, Бриттена и др. известных писателей и музыкантов.

24. Hannah Arendt (1906–1975), германо-американский историк, философ.

25. Николай Дмитриевич Набоков (1903–1978), русский эмигрант, племянник В. Набокова; известный композитор, педагог, писатель-мемуарист.

26. Lincoln Edward Kirstein (1907–1996), американский писатель, импресарио, филантроп, культурный деятель; сооснователь New York City Ballet.

27. Павел Федорович Челищев (1908–1957), русский эмигрант, художник-

сюрреалист, дизайнер. Возможно, этот образ навеян его картиной «Rose Necklace», изображающей мощный торс молодого человека с татуировкой.

28. Louise Bogan (1907–1970), американская поэтесса; лауреат четвертого поэтического конкурса Library of Congress (1945) – первая женщина, получившая этот титул.

29. Yanovsky, V.S. *Of Light and Sounding Brass*. New York: Vanguard Press, 1972.

30. Мухаммед Али (1942–2016), американский профессиональный боксер, социальный активист.

31. «Oh! Calcutta!» – авангардное, эпатажное шоу театрального критика К.Тинана (Kenneth Tynan), представляющее скетчи на темы с сексуальными аллюзиями. Дебют состоялся Off-Broadway в 1969 году, в 1970-м – на West End. В Лондоне прошло более 3900 представлений, в Нью-Йорке – 1314.

32. *Avant Garde* – журнал, выходивший в Нью-Йорке с января 1968 года по июль 1971-го (14 номеров). Известен своим логотипом и графикой, созданными иконой графического дизайна – американским график-дизайнером Herbert F. Lubalin (1918–1981), пионером в области дизайна и типографики.

33. Движение *Catholic Worker* было организовано в США Дороти Дэй (Dorothy Day) и французским теологом Питером Мориным (Peter Maurin) в 1933 году как союз независимых католических общин. Целью движения были социальные практики, основанные на христианской морали и благотворительности. Дороти Дэй (1897–1980), американский журналист; в молодости была привержена анархизму, затем обратилась к католицизму в его радикальных, активных формах.

34. «Третий Час»/ *The Third Hour* – экуменический и теософский журнал, издававшийся в Нью-Йорке Е.А. Извольской, А.С. Лурье и В.С. Яновским. Первый номер вышел в июне 1946 года. На обложке был изображен голубь – рисунок Елизаветы Лурье. Первоначально издание задумывалось на трех языках – русском, английском и французском. Всего было издано десять номеров. № 8, 1961, – на печатной машинке; последний, в 1976 году, посвящен скончавшейся Е.А.Извольской. Елена Александровна Извольская (1896–1975), видный деятель русского экуменического движения, писатель, переводчик, журналист; профессор Фордемского университета, основатель экуменического центра при Русском центре им. Владимира Соловьева при университете, аналитическом центре по проблемам русистики и советологии. Закончила жизнь в бенедиктинском монастыре в Regina Lourdes (США). Дружила с Дороти Дэй, присоединилась к ее движению.

35. The Church of the Transfiguration часто называли the Little Church Around the Corner, епископальный храм на 1 East 29 Street в Манхэттене.

36. «One Circumlocution», опубликовано в ж. *The Third Hour*, № 5, 1951, и повторно в № 10, 1976, посвященном памяти Е. Извольской.

37. Николай Федорович Федоров (1829–1903), религиозный мыслитель, основатель русского космизма, философ-самоучка; по профессии – библиотекарь, школьный учитель. Вдохновил К. Циолковского на работы в области космических исследований и строительства летающих аппаратов. Статья В. Яновского «Время Николая Федорова» была опубликована в ж. «Третий Час», №1, 1946.

38. *The Elder Edda. A Selection translated from Icelandic. Transl. by Paul B. Taylor and W.H. Auden*. New York: Random House. 1969.

39. Стихи были опубликованы в *The Third Hour*: «Moon in X.», № 6, 1954; «Hunting Season», № 7, 1956.

40. «Garrison» – стихотворение опубликовано в ж. *The Third Hour*, № 9, 1970.

41. В. Я. увлекала идея соединения науки и метафизики жизни. Рукопись не была опубликована, но спустя несколько лет он издал книгу *Medicine, Science, and Life* (1978).
42. Ondra Lysohorsky (Ervin Goj. 1905–1989), чешский поэт из Силезии. Писал на диалекте чешского и польского (Lach language), систематизировал его и практически создал литературный язык. Также писал по-немецки.
43. Dag Hammarskjöld, шведский дипломат, Генеральный секретарь ООН (1953–1961). Его труд *Vägmärken (Markings)* был переведен Оденем.
44. Ruth Nanda Anshen (1900–2003), американский философ, редактор, писатель.
45. «Words and the Word» (Проповедь). Оден выступил с этим текстом на вечерней службе в Christ Church, Оксфорд, 24 октября 1965 года по приглашению College Chaplain John Gilling. Проповедь была опубликована под тем же названием в *The Complete Works of W. H. Auden* (ed. Edward Mendelson, vol. 5, Prose: 1963–1968. Princeton: Princeton University Press, 2015, 404-407).
46. Helen Wolff (1906–1994), американский издатель, редактор.
47. Max Rudolf Frisch (1911–1991), шведский драматург и новеллист; фокусировался на проблемах свободы индивидуальности, ответственности и морали.
48. Frances Lanza (1908–1996), известный американский переводчик французской и итальянской литератур.
49. Orlan Fox – старинный друг Одена по Колумбийскому университету. Они дружили с 1959 года.
50. Жак Люсьен Моно (Jacques Lucien Monod; 1910–1976), французский биохимик и микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1965) «за открытия, касающиеся генетического контроля синтеза ферментов и вирусов». В поэме Одена читаем: *Genetics / may explain shape, size and posture, but not why one physique / should be gifted to cogitate about cogitation, / divorcing Form from Matter, and fated to co-habit / on uneasy terms with its Image, dreading a double death, / a wisher, a maker of asymmetrical objects, / a linguist who is never at home in Nature's grammar. // Science, like Art, is fun, a playing with truths, and no game / should ever pretend to slay the heavy-lidded riddle...* («Генетика может объяснить форму, размер и осанку, но не то, почему физическое / должно быть одарено способностью размышлять о сознании, / разводящем Форму и Материю, [почему] обречено на сосуществование / в непростых отношениях со своим Образом, боясь двойной смерти, – / проситель, создатель асимметричных объектов, / лингвист, который никогда не чувствует себя дома в грамматике Природы. // Наука, подобно Искусству, – наслаждение, играющее с правдой, и нет такой игры, / которая когда-либо претендовала бы разгадать эту сложно-запутанную головоломку»).
51. Сэмюэль Джонсон (1709–1784), английский священнослужитель, поэт, литературный критик, лингвист, энциклопедист, автор философской повести «Кандид». Современники называли его «Доктор Джонсон».
52. Церковь St. Paul the Apostle на 59 Street в Нью-Йорке, при которой существует миссия Paulist Fathers (Missionary Society of Saint Paul the Apostle). Сообщество последователей Св. ап. Павла утверждает центральную миссию евангелизации и служение идее христианского единства, примирения всех межрелигиозных разногласий.

*Перевод с английского – Е. Дубровина,  
Литературная обработка текста – К. Адамович,  
Комментарий – М. Адамович*

**Уистен Хью Оден**  
*1907–1973*

*(Перевод Владимира Гандельсмана)*

ОСЕНЬ РИМА

Дождит. Волна о пристань бьёт.  
На пустыре, отстав  
от пассажиров, спит состав.  
В пещерах – всякий сброд.

Вечерних одеяний сонм.  
По сточным трубам вниз  
бежит фискал, пугая крыс,  
за злостным должником.

Магический обряд – и храм  
продажных жриц уснул,  
а в храме муз поэт к стихам  
возвышенным прильнул.

Катон моралью послужить  
готовится стране.  
Но мускулистой матросне  
охота жрать и пить.

Покуда цезарь пьян в любви,  
на блёклом бланке клерк  
выводит: «Службу не-на-ви...»  
Жуть. Ум его померк.

У краснолапых птичек, в их  
заботах о птенцах, –  
ни страсти, ни гроша, – в зрчках  
знобь улиц городских.

А где-то там – оленей дых.  
Огромных полчищ бег  
по золотому мху вдоль рек  
стремителен и тих.

## ЩИТ АХИЛЛЕСА

Взглянула: ветвь оливы  
и мрамор городов?  
морей упрямых гривы  
и караван судов?  
Нет: губельно и пусто  
под небом из свинца, –  
хоть и была искусна  
работа кузнеца.

Равнина выжженная, голая, все соки  
из почвы выжаты, – ни острия осоки,  
ни признаков жилья, ни крошки пищи,  
как серые, без содержания, строки,  
толпятся тыщи,  
нет, миллионы портупей, сапог и глаз, –  
и ждут в недвижности, когда пробьёт их час.

Безликий голос в воздухе висит  
и гарантирует без выраженья  
успех похода; лица, что гранит:  
ни радости, ни возраженья;  
колонна за колонной, пыль движенья,  
под верой изнурясь, туда, где вскоре  
лик смысла исказит гримаса горя.

Взглянула: ритуальный  
плач? белые цветы  
на агнце для закланья?  
священные труды?  
Нет: там, где свет алтарный  
сиять бы мог, мерцал  
палящий день кустарный,  
закованный в металл.

Колючей проволокой обнесён пустырь,  
сквозь дрёму гоготнут над анекдотом  
старшины, караульный-нетопырь  
исходит потом  
и несколько зеваяк глазеют – кто там  
ведёт троих? куда? не к тем ли трём столбам?  
привязывает, вишь, и тычет по зубам...

Величие и низость, эта вся  
жизнь, всящая столько, сколько весит, –

в чужих руках. Надеяться нельзя  
на помощь. Да никто ведь и не грезит.  
Враг будет издеваться сколько влезет.  
Приняв всё худшее: бесчестье и позор, –  
они до смерти превратятся в сор.

Взглянула: мощь атлетов,  
изящество ли жён,  
когда пыльцой букетов  
их танец опушён?  
Играй, танцуй на воле!..  
Нет: ни души кругом,  
ни звуков флейты. Поле  
убито сорняком.

Оборванный какой-то бродит отрок  
с рогаткой, экзекутор местных птах.  
На каждую юницу – хищный окрик  
и страшная работа впопыхах.  
Сей отрок и не слышал о мирах,  
где не насилуют или где плачут над  
отчаявшимся, потому что – брат.

Умелец тонкогубый,  
уковывлял Гефест,  
и, чуя, что безлюбый,  
крушивший всё окрест,  
Ахилл жестоковыйный  
пойдёт опять крушить,  
рыдает мать о сыне,  
которому не жить.

#### ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

В каком-нибудь шалмане  
вечернею порой  
на Пятьдесят Второй...  
Исчезли миражи.  
Что, умник, перед нами?  
Десятилетье лжи.  
И виснет над землёю –  
дневной, ночной ли час –  
смерад смерти. Как на плахе,  
сентябрьской ночи страхи  
изничтожают нас.

Учёный, глядя в линзу,  
исследуй-ка людей  
от Лютеровых дней  
до наших – вьёвшись в лица,  
их исказило зло.  
Всмотрись – увидишь: в Линце  
оно собой вскормило  
бредового кумира.  
Куда нас занесло?  
Вспоённый злобой мира  
сам порождает зло.

Что ж, Фукидид-изгнанник  
всё рассказал давно  
о равноправье, о  
гнилых речах тирана  
на форуме могил  
(молчанье – их удел),  
о варварских стараньях  
гнать просвещение прочь.  
Европа, это ночь.  
В котомках наших скарб  
всё тот же: боль и скорбь.

В нейтралитет небесный  
взлетевший небоскрёб  
слепою мощью славит  
всечеловечий лоб.  
Вой языков – в напрасной  
попытке оправдать  
себя. Но лишь стихает  
их вавилон, – в стекле  
зеркальном видят массы  
имперские гримасы  
в междоусобном зле.

У повседневной стойки,  
где сгрудился народ,  
звучи, мотивчик бойкий,  
пусть высшие чины,  
взопрев, обставят крепость  
для прений как шалман,  
чтоб мы не знали, где мы,  
безрадостные дети,  
бредущие сквозь ночь.

В непроходимых дебрях  
и страшно, и невмочь.

Запальчивый и глупый  
визг Мировых Начальств  
не так уж груб. Мы в наших  
желаньях не нежней.  
Что написал Нижинский  
о Дягилеве? Был  
безумец прав: любое  
земное существо  
влекомо не любовью  
ко всем, но всех – к себе.  
Вот твари естество.

Из мглы ненарушимой  
на благонравный свет  
выходит обыватель –  
вновь верности обет  
дать жёнушке, вновь в поте  
лица хлеб добывать.  
Беспомощный правитель  
встаёт, чтобы начать  
свою игру по новой.  
Как больше не играть?  
Кто скажет за негого?

Мне голос дан, чтоб сирых,  
вот этих, – уличить  
во лжи, и тех, кто в силе,  
чи небоскрёбы ввысь,  
как вызов небу, взмыли!  
Что Государство? Гиль.  
Но человек, кто б ни был,  
он сам себя согреть  
не может, нас родили  
любить друг друга или  
бесславно умереть.

Не знающий, где правда,  
в оцепененье мир...  
Смеясь над нами, что ли,  
сверкают огоньки,  
перекликаясь и  
резвясь себе на воле.

Да будет мне дано,  
мне, порождёнью праха,  
спастись, восстав из страха  
отчаянья, и в нём  
путь высветить огнём.

## ПЕСНЯ

Так велико это утро, так пролито на  
зелень округи, так плавно легла  
ранняя на холмы тишина,  
что не смущает её и строптивость крыла,  
в озере подгоняющая двойника, –  
и, зародившись у самой воды,  
ветер возносит под облака  
стаю непререкаемой красоты.

Песней, вернув белизне  
первоначальность, бессмертие обрести...  
Если бы! Свет над долиной горит  
неодолимо, и слово на ветер летит,  
и обрывается вовсе, и не  
хочет, едва вознесённое, расцвести.

# КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

Лариса Вульфина

## Художник Федор Рожанковский\*

Из жизни до эмиграции  
(Эстония. Россия. Украина. 1891–1919)

Талант – это любовь!

Не помню, чье это утверждение,  
но оно мне по вкусу, я его понимаю.

С Любви у меня всё и началось,  
да так и продолжается.

На нее, как на хорошую приманку,  
легче всего отзываются друзья и дети.

(Из дневника Ф.С. Рожанковского. 1960-е).

*Эта книга рождалась долго. Собрать воедино разбросанные в разных архивах, папках, ящиках, письмах отдельные эпизоды жизни, сложить из сотен мозаичных фрагментов повествование яркой судьбы даровитого художника, заполнить пустые страницы биографии так, чтобы каждый нужный кусочек мозаики встал на свое место, оказалось непростой задачей. Насколько она выполнена – судить читателю.*

*Главным источником уникальных материалов послужил семейный архив дочери Ф.С. Рожанковского (Т.Ф. Рожанковской-Коли, США)<sup>1</sup>. Это рисунки и картины, редкие книги с ценными автографами и интересными экслибрисами, памятные вещи, рукописи, фотографии, письма, открытки, альбомы с набросками и путевыми заметками, автобиографическими записями и жизненными впечатлениями, которые художник начал восстанавливать по памяти лишь в семидесятилетнем возрасте. Многие записи были сделаны хаотично, обрывочно, неразборчивым почерком<sup>2</sup>, с многочисленными неточностями и требовали долгой и тщательной «расшифровки». Часть документов добыта путем поиска в архивах и библиотеках США, Франции, Польши, Эстонии, Украины, России. Бесценными стали встречи и общение с современниками Рожанковского и с теми, кто прямо или косвенно имел отношение к его биографии – в первую оче-*

\* Мы начинаем публикацию глав из новой книги Л. Вульффиной, американского исследователя истории культуры эмиграции, о Ф.С. Рожанковском (1891–1970), известном франко-американском художнике, русском эмигранте.

редь – с дочерью художника Татьяной Федоровной, Сергеем Голлербахом, Ильзой и Аленой Бобрицкими (женой и дочерью художника Юрия Бобрицкого, близких друзей семьи Рожанковских) в Нью-Йорке; в Париже – с Эриком Булатовым, Мишелем Карским, Степаном Татищевым, Рене Герра; в Киеве – с журналисткой, сотрудницей «Голоса Америки», русской эмигранткой Татьяной Ретивовой. Формат «Нового Журнала» позволяет представить значительную часть этих материалов, в т.ч. и эпистолярного массива – одной из самых объемных и содержательных составляющих архива художника. Множество этих писем, наполненных подлинными историями, известными и малоизвестными пока именами, каждое из которых достойно отдельного исследования, оценками самых разных событий (как объективными, так и сверхэмоциональными) – без сомнения, являются сегодня абсолютно живым историческим диалогом, непосредственным и детальным.

Все опубликованные в «Новом Журнале» главы в дальнейшем войдут в отдельное издание, которое будет сопровождаться богатым иллюстративным материалом. Непрерывная пятилетняя работа позволила наполнить ткань будущей книги новыми находками и открытиями. И сейчас, наконец, пришло время для настоящего знакомства с Рожанковским.

Имя Федора Рожанковского (24 декабря 1891, Митава, Российская империя – 12 октября 1970, Бронксвилл, штат Нью-Йорк, США), покоровшего в первой половине прошлого века детские и взрослые сердца в Европе и Америке, в течение долгих лет после смерти художника ни разу не звучало в полный голос и лишь в последнее десятилетие стало объектом возрастающего внимания исследователей эмигрантской культуры.<sup>3</sup>

В США первая и пока единственная книга о Рожанковском появилась в 2014 году\*. Американские исследователи Ирвинг и Полли Аллен проделали большую работу, составив библиографию оформленных художником изданий. Но не был пока изучен крупный эпистолярный архив художника, накопленный за многие годы эмиграции. Остается непрокомментированным корпус писем, большинство которых по содержанию и оформлению можно смело отнести к художественно-литературным историческим документам. Чтобы представить круг корреспондентов Рожанковского достаточно назвать лишь некоторые имена из орбиты художника: писатель Вадим Андреев (1902–1976, сын Леонида Андреева); его дочь, переводчица и писательница Ольга Андреева-Карлайл (Olga Andreyev Carlisle, 1930 г. р.);

\* Allen I., Allen P., Rojankovsky Koly T. *Feodor Rojankovsky: The Children's Books and Other Illustration Art*. Englewood, FL: Wood Stork Press, 2014. Далее: *Rojankovsky: The Children's Books*.

педагог и общественная деятельница Русского Зарубежья Софья Зернова (1899–1972); писатель Алексей Ремизов (1877–1957) и его «литературная внучка» Наталья Кодрянская (Natalie Codray, 1901–1983); литератор Владимир Сосинский (1900–1987), религиозный философ, поэт Николай Дм. Татищев (1896–1985) и его сыновья – Борис (1936 г.р) и Степан (1935–1985) Татищевы, русский философ Г.П. Федотов (1886–1951), американский дипломат, переводчик, коллекционер Томас Уитни (Thomas P. Whitney, 1917–2007); художники: Константин Аладжалов (1900–1987), Юрий Бобрицкий (1917–1998), Мстислав Добужинский (1875–1957), Владимир Иванов (1885–1964), Андрей Худяков (1894–1985), Валентин Ле Кампион (наст. Битт Валентин Николаевич; 1903–1952), Антонио Фраскони (Antonio Frasconi, 1919–2013), Фриц Эйхенберг (Fritz Eichenberg, 1901–1990), Рокуэлл Кент (Rockwell Kent, 1882–1971).

Корни художника уходят в Галицию, родовым гнездом его семьи было село Рожанки Львовской области. Дед Федора Рожанковского, Теодор (Федор) Рожанковский (1804–1853/63?), сын Игнатия и Марии из шляхетского рода Кшивецких), был униатским священником в Буковине. В 1835 году он венчался с Анной Полевой (1816/18? – 1899). С 1836-го по 1853-й в семье Теодора и Анны родились восемь детей. Отец Федора Рожанковского, Стефан (Степан) Теодорович (Федорович), родился в Заставне (город в Черновицкой области, Украина) в 1848 году и был шестым ребенком в семье Рожанковских.<sup>4</sup>

В начале 1870-х Стефан Рожанковский, окончив курс в Варшавском университете на историко-филологическом факультете, женился на дочери униатского священника Лидии Киприяновне Кордасевич из города Млава Плоцкой губернии. Преподаватель в 1-й Варшавской гимназии вскоре переехал жить и работать в Российскую империю. Служил он в Министерстве народного просвещения инспектором учебных заведений. Ему довелось преподавать в Московском и Одесском учебных округах, в 1-й Кишиневской гимназии, в Тверской гимназии, а в 1889 году он был назначен директором Митавской гимназии.

В этом браке у них родилось пятеро детей: Александра (1875–1942), Сергей (1877–1941), Павел (1879–1921), Федор (1891–1970) и Татьяна (1893–1984). В год рождения Федора (1891) в семье Рожанковских уже было трое взрослых детей. Жили они в Митаве (ныне – Елгава, Латвия).

Из воспоминаний художника<sup>5</sup>: «Я родился в здании Митавской мужской гимназии, занимавшей дворец Бирона (временщика), подаренный ему царицей Анной Иоанновной. От этого первого отрезка моей жизни у меня не сохранилось ничего <...>. Мое первое знакомство с миром произошло тремя годами позже, в Ревеле (Таллинн –

*Л.В.*), куда переведен был мой отец (на должность директора Александровской гимназии – *Л.В.*). С замиранием сердца наблюдал я из окна казенной директорской квартиры каждый день одну картину – когда после звонка во внутренний школьный двор во время перемены высыпались, как горох, сначала младшие классы, потом выходили старшие и, наконец, зрители, едва справлявшиеся с тремястами сорванцов. Каждый день ровно в 12, стоило только прозвенеть звонку, как я, подобно павловской собаке, тянулся к окну, чтобы наблюдать. На полчаса двор, обсаженный чахлыми молодыми деревьями, звенел ульем. Снова раздавался звонок, и гимназисты, одетые в одинаковую форму – черные куртки с серебряными пуговицами, неслись ко входу, превращаясь в сплошную черную массу, понемногу таявшую и, наконец, исчезающую в здании школы. Полчаса этого удивительного зрелища пролетали быстро, и я понемногу приходил в себя. Среди массы одинаково одетых я узнавал самых быстрых, самых веселых, самых голосистых, самых храбрых, самых плаксивых, самых смешных, самых серьезных. Этот мальчишеский калейдоскоп привлекал меня криком, гамом, беготней и движением. У меня звенело в ушах, но отойти от окон было трудно. После уроков в здании школы становилось тихо, сторожа убирали классы, топили печи березовыми пахучими дровами; один из них, рыжеусый сторож Герасим Ураев, садился на широкий подоконник в глубокой нише и заправлял керосиновые лампы, снимал нагар с фитилей, чистил их до блеска. Запах керосина не покидал его никогда, и он казался мне полубогом. Как-то он на блюдечке принес в дар отцу выращенную им на деревце в комнате фигу. Она тоже пахла керосином.

Из кабинета отца открывалась дверь, и сначала на руках у няньки, а позже и сам я мог выйти в длинный коридор. По одной стороне коридора были классы, дальше в конце – актовъ зал, развешенные в них картинки наглядного обучения привлекали мое внимание. В коридоре стояли шкафы, наверху которых возвышались скульптурные бюсты представителей рас, населяющих землю. Больше всего поражал краснокожий, расписанный в боевую окраску и украшенный перьями<sup>6</sup>. Стекланные шкафы были закрыты, а сквозь них были видны блестящие медные трубы и инструменты военного оркестра. Иногда их отпирали, и из класса на первом этаже была слышна музыка, звенели тарелки, бил турецкий барабан. Я издали видел учеников, которыми дирижировал военный капельмейстер. Два моих брата играли в оркестре, и я мог подуть в их трубы, но звука у них не получалось».

Два старших брата в то время оканчивали гимназию, и оба были в своих кругах известны как очень одаренные молодые художники. Сестра Александра, братья Сергей и Павел были значительно старше Федора и его младшей сестры Татьяны, появившейся на свет в Ревеле

через два года после его рождения в том же здании гимназии, в одной из комнат, где жила семья директора.

Отец Федора Рожанковского был учителем древнегреческого и латинского языков. Блестящее знание древних языков и полученное старинное классическое образование позволяло ему вести разговор со своими коллегами на любые темы. «Я помню тетрадь, которую он выносил к вечернему чаю и читал отрывки своих поэтических переводов. Помню, как старшие братья смеялись над попытками отца иллюстрировать переводы, над его наивными детскими рисунками. Мне было три с половиной года, когда перед гимназией построили трибуны, и в коридорах мои братья писали масляными красками геральдические панно, на огромных щитах выводили инициалы 'Н', вокруг которых помню складки красной драпировки, листья лавровых венков, горностаевые черные хвостики, золотые витые шнуры с кистями вокруг инициалов царя Николая II, к празднованию коронации которого готовился город. Золото, яркие краски тканей, зелень лавровых веток, запах масляных красок – всё это поражало мое воображение»<sup>7</sup>.

Влияние братьев в развитии дарований младшего Рожанковского было безусловным. Оба они были прекрасными рисовальщиками, хотя в дальнейшем так и не получили академического художественного образования. Старший брат Сергей был первым на счету у учителя рисования А.Б. Виллевальде<sup>8</sup>. Еще большую известность он получил после того, как нарисовал афишу для цирка братьев Дуровых. (В книге американской исследовательницы П. Аллен говорится о том, что афишу нарисовал младший брат Павел и она хранится в Доме-музее А.Л. Дурова в Воронеже. На самом деле, создателем афиши был старший брат Сергей. В фондах воронежского музея афиша не значится). По воспоминаниям сестры Татьяны, «Серж, кроме гимназии, уроков по живописи и рисованию никогда не брал. Всегда говорил, что пять лет ходил в университет, где он окончил юридический факультет, и ходил мимо Академии Художеств, куда так и не отважился держать экзамен <...> Я помню, что у мамы хранились образцы – рисунки братьев, копии мастерски законченные, почти не отличающиеся от оригинала. Программа по рисованию в Гимназии, где учился Серж, и в Реальном, которое окончил Поль, была одна, и преподаватель Виллевальде был один и тот же»<sup>9</sup>.

Стремление подражать в рисовании братьям, желание фиксировать все увиденные образы возникло у Феди еще в пятилетнем возрасте. Впервые это случилось после похода в цирк-шапито, который разбили однажды зимой на рыночной площади Ревеля. Посещение зверинца потрясло его, в памяти долго стояли образы сидящих за решетками клеток тигров, леопардов и особенно слона, приплясывающего под музыку шарманки. Навсегда запомнилась обезьяна – листовая огромную книгу, она рассматривала картинки и слонявила

пальцы, чтобы перевернуть страницу, но как потом оказалось, в книге не было картинок, между листами лежали изюминки, которые мартышка отправляла в рот и снова переворачивала страницу, чтобы получить следующую порцию лакомства. Но больше всего тогда его поразил павиан, «его злющие, близко посаженные к красному носу глаза, ярко синие плиссированные щеки были как будто только что раскрашены хозяином зверинца – это самая фантастическая из всех масок Океании <...> Это было началом того родничка, который питает заложенную в каждом художнике творческую энергию, то, что заставляет его откликаться на всё увиденное и переживаемое. Правда, мои попытки повторить увиденное в зверинце представление меня не удовлетворили, тогда как рисунки братьев я разглядывал как недостижимое», – вспоминал спустя много десятилетий художник. С тех пор звери стали излюбленной темой его рисунков.

И еще одно значимое событие произошло в жизни мальчика в те же дни – в подарок на Рождество он получил набор цветных карандашей «Carnatz»<sup>10</sup> и навсегда запомнил тот чудесный запах кедрового дерева при их очинке.

Из того далекого времени детская память сохранила и день, когда Ревель посетил Луи Люмьер. Отец пригласил изобретателя в гимназию, чтобы показать ученикам удивительное чудо-кинематограф. Настоящим потрясением для маленького Феди было увидеть внутри светящегося четырехугольника целую серию оживших сцен из фильмов, которые привез Люмьер в Ревель – «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», «Выход рабочих с фабрики», первой в мире короткометражной постановочной комедии «Политый поливальщик».

Остальные миры – о географии земли, животных и птицах, космических явлениях – открывали книги. Из автобиографических записок Рожанковского:

«Мою первую книгу с картинками я увидел, когда еще не говорил. Ее привезли с Всемирной Парижской выставки. Это была книжка большого формата, один лист был посвящен обстановке столовой комнаты с серебряными предметами французского сервиза для соли, перца, уксуса и масла. И графин, наполненный искрящейся красно-оранжевой жидкостью. Это было вино, как мне объяснили. У нас его не пили, но много лет позже, попав в Париж, я убедился, что художник был прав и изображал он не красное вино, а то, которое во Франции называется *rosé*, и тон его был точен. Меня поражала точность изображения самых простых предметов. Критиковать и предъявлять свои требования в иллюстрации я стал значительно позже».

Вместе с младшей сестрой они изобрели увлекательную игру: дома хранилось много фотографий учеников разных лицеев, где проходила служба отца; выбрав из множества медальонов-портретов фотографию школьника, производившего особенно сильное на них

впечатление, они по очереди старались рассказать – каков он по характеру, какого цвета его волосы, что он любит, кто его родители. В будущем эта игра послужила художнику, когда он искал типаж в иллюстрациях, подходивший к его герою.

Из раннего ревельского детства запомнились ему воскресные прогулки с отцом по дороге в Петровский парк и вечера, когда отец доставал из своего шкафа красную книгу с золотым тисненым переплетом «Вселенная» немецкого путешественника Фридриха Герштекера. Отец Федора часто читал ее младшим детям. С этого издания с множеством красочных литографий и черно-белых гравюр и начались его первые знакомства с географией и природой пяти обитаемых континентов.<sup>11</sup> Позже Рожанковский вспоминал, как накануне Второй мировой войны в Париже он нашел это издание на раскладке книг одного русского библиофила: «Взяв ее в руки и перелистывая, я переживал удивительные минуты – какой старый родной друг! Я был ей рад так, как можно обрадоваться, вероятно, увидев вдруг живым своего родственника, которого ты считал умершим».

На полках родительской библиотеки стояли еще три книги, которые Федор был готов рассматривать бесконечно: Библия, «Потерянный рай» Джона Мильтона и сказки Шарля Перро с гравюрами Гюстава Доре. Насмотревшись на грандиозные картины Всемирного потопа и побывав вместе с Мальчиком-с-пальчик в дремучем лесу, нужно было собрать весь оставшийся запас храбрости, чтобы пробежать потом через темную залу к двери светящегося отцовского кабинета.

Обожали дети рассматривать и блестящие карикатуры французского художника Каран д'Аша<sup>12</sup>. Замысловатые истории, умело рассказанные линейным рисунком мастера, они «считывали» глазами, без текста. На всю жизнь Рожанковский остался верен симпатиям и к героям Вильгельма Буша, двум непослушным сорванцам Макс и Моррицу, и к Неряхе Петеру из сборника детских страшилок франкфуртского психиатра Генриха Гофмана. Такими были безмятежные годы раннего детства.

1897 год в мемуарных записях Рожанковского назван «годом семейного горя». Летом на загородной даче от сердечного приступа скончался отец. «Жестокость этого факта была мне мало понятна, – напишет потом художник. – Горе моей матери, необычно серьезные лица братьев и сестры пугали меня. Для меня же главным событием этого печального дня был гимназический оркестр впереди катафалка, исполнявший похоронный марш. Я шел за гробом и наслаждался музыкой. Гимназия провожала отца».

Стефан Рожанковский был похоронен на Александро-Невском кладбище. Федор помнил, как мать, приходя с детьми на могилу отца, всегда навещала дом кладбищенского священника Гиляровского и

могилу трех утонувших его сыновей. Об этой страшной трагедии на озере Юлемисте знали все ревельцы. Молодые люди, два юных кадета и гардемарин, катались на озере со знакомыми гимназистками, когда налетел шквальный ветер и перевернул парусную лодку. Юношам удалось спасти девушек, но все трое они утонули. По воспоминаниям Ф. Рожанковского у основания их серого гранитного памятника лежал сломанный якорь.<sup>13</sup>

Осенью того же года семья переехала в Санкт-Петербург. Там получали университетское образование братья Серж и Поль (так на французский манер называли в семье Сергея и Павла), училась в консерватории старшая сестра Александра. Небольшая, но уютная квартира во дворе доходного дома на Галерной, в которой проживали младшие дети с матерью, выходила на Сенатскую площадь. По вечерам в ней часто собиралась вся семья, приходили друзья сестры, пели и играли на рояле. У Александры был редкий контральто. За оглушительный голос Поль и Серж называли сестру Иерихонской трубой.

Петербург подарил Федору много открытий. Здесь он впервые услышал оперу. Братья брали его с Таней в Эрмитаж и зоопарк, нянька – на набережную Невы. Мальчику доводилось часто видеть, как по Английской набережной проносились придворные экипажи, и околоточный, вытягиваясь в струнку, отдавал им честь. На козлах рядом с кучером важно сидел лакей, скрестив на груди руки, в красной ливрее, обшитой золотым галуном с черными двуглавыми орлами и велюровом цилиндре. Бесконечно долго готов был смотреть Федя на стоявшую на рейде императорскую яхту «Полярная звезда», окаймленную по борту массивным золотым кантом, замороженно наблюдая за всем, что происходило на палубе, – как матросы гвардейского экипажа усердно драили медь и полировали красное дерево, как они мгновенно строились, когда свистал в дудку боцман, как «били склянки»<sup>14</sup>.

Здесь он наблюдал и одно из крупнейших по своей величине наводнений в истории города. 16 ноября (по старому стилю) 1897 года на Васильевском острове вода поднялась почти до двух с половиной метров. Штормовой ветер сопровождался снежным бураном. По распоряжению градоначальника Н.В. Кренгельса для пострадавших жителей города готовили горячую пищу, в казармах им предоставляли ночлег. «Северные осенние ветры гоняли воду с Ладоги в реку, которая выходила из берегов. Когда вода спала и по Галерной можно было дойти до арки – площадь была еще озером, и Петр скакал к Неве по воде (простирая вправо свою ручницу, указуя на крепость). Курьез какой! Так все эти люди, ведя Россию влево, машут руками вправо!» – так делился воспоминаниями об этом событии Ф. Рожанковский.

Любимым праздником детства, конечно же, было Рождество – когда зажигали елку и Федя получал множество подарков (ведь праздник совпадал и с его собственным днем рождения) – игрушеч-

ные сабли и военную форму. Тогда же были подарены и первые книжки. Его личная библиотека началась с «Записок школьника» Эдмондо де Амичиса<sup>15</sup>, позже появились книги по естественной истории, и с тех пор библиотека продолжала расти.

Незабываемыми были посещения с братьями ботанического сада. Как в храм дети входили в самую высокую оранжерею, за окнами которой были видны голые стволы деревьев и глубокий снег, а внутри стояла парная тропическая жара, там росла высоченная пальма, упиравшаяся вверх в стеклянный купол потолка. В искусственном озере плавали гигантские листья Виктории Регии (самой большой кувшинки в мире). Смотритель по просьбе братьев поднимал пятилетнюю Таню и ставил ее на один из таких «листочков». Запомнился и рассказ сторожа, как однажды на его дежурстве лопнул бутон огромного цветка и раздался выстрел, подобный револьверному. Всё это надолго оседало в памяти семилетнего Федора.

Когда ему исполнилось девять лет, старшие дети остались продолжать обучение в Петербурге, а он с младшей сестрой Татьяной и матерью вернулся в Ревель. Пришло время поступать в Александровскую гимназию, которую еще недавно возглавлял его отец. Жили они в небольшой съемной квартире в центре Старого города на одной из самых просторных в Ревеле улиц. В переводе с эстонского (Laitänav) улица так и называлась – Широкая. В двустах метрах от их дома с черепичной крышей возвышалась колокольня церкви Святого Олафа, доминировавшая над всем городом<sup>16</sup>. Рядом находились старые укрепления оборонительной стены с цепью башен, построенных датчанами в средние века.

Для подготовки к поступлению в гимназию Федора определили в немецкую начальную школу, которой руководили две старые девы. В темных классах этого мрачного заведения ученики подолгу выписывали на уроках немецкого длинные буквы готического алфавита. Несмотря на то, что школа находилась ровно напротив их дома, Федор всё равно ухитрялся опаздывать к началу занятий. В памяти навсегда остался страх от уничтожающего взгляда сестер-немок: опоздав, он должен был стукнуть в бронзовый молоток на дубовой двери, звук которого превращался в темном большом холле в громкий гул, и тогда одна из них лично отворяла дверь каждому опоздавшему, безжалостно снимая баллы за поведение. Скучную обязанность посещать начальную школу скрашивало новое увлечение Федора – первая самостоятельная работа в книжной графике. В последнее Рождество в Петербурге один из братьев подарил ему книгу о Робинзоне Крузо и этот подарок предопределил его судьбу и будущую профессию. «Это было событием, касавшимся моего будущего – меня мотало по свету на манер героя этой чудесной истории, однако с той разницей, что не глядя на войны и связанные с ними неудобства в передвижении, я нигде не был принужден сидеть, как он,

против воли – в Африку попал, но не в плен. В Альпы ушел от неприятеля. Потом Америка...». Когда семья вернулась в Ревель, Федор привез с собой эту драгоценную книгу. Желание улучшить рисунки Жана Гранвиля<sup>17</sup> подтолкнуло его вместе с сестрой заняться собственным оформлением «Робинзона». Новое «издание», сшитое нитками и раскрашенное цветными карандашами оказалось его первым приключением в мире иллюстрации. «Нам было мало рисунков знаменитого Гранвиля, текст Дефо, казалось, заслуживал большей поэзии, и мы по своему старались ее найти. Я много дал бы, чтобы посмотреть на эти неизданные иллюстрации. Эта работа занимала нас долго» – вспоминал Рожанковский. Именно с тех пор он начал смотреть на книгу как будущий график, понимая и чувствуя, что требует страница.<sup>18</sup>

В августе 1899 года Рожанковский был зачислен учеником в Александровскую гимназию. С гордостью щеголял он в форменной кепке с белым кантом и надписью РАГ (Ревельская Александровская Гимназия. – *Л.В.*). Любимым предметом оказалось не рисование, а природоведение. Совместные походы с учителем в лес, на Балтийское взморье, в парк Екатерины (по-эстонски Кадриорг. – *Л.В.*), подробно записывались в специальную тетрадь и собственноручно им иллюстрировались. Дневник наблюдений гимназиста с рисунками деревьев, жуков-плавунцов, лягушек, птиц и зверюшек пестрел отличными оценками и похвальными замечаниями<sup>19</sup>. Эти задания развили в нем цепкую наблюдательность и умение в нужный момент доставать «схваченное» из памяти.

Его лучшими друзьями в гимназические годы были сын моряка Женька Гепферт (вместе они не раз выходили под парусом в море) и сын лесника (в девять лет тот уже был настоящим охотником)<sup>20</sup>. В четвертом классе появился в их классе новый ученик – Николай Пернаткин. Смешная фамилия, так непохожая на большинство эстонских и немецких фамилий одноклассников, подходила ему удивительным образом. Пернаткин любил природу, знал лесной и птичий мир, понимал язык пернатых. Коля жил в городе с отцом, железнодорожным чиновником, а на выходные уезжал в деревню к сестрам и матери. Мир пернатых с детства притягивал и Федора, его старший брат тоже ловил и приручал птиц. Ребята мгновенно подружились и через неделю знали всё друг о друге. Вскоре все выходные он проводили в загородном доме Пернаткиных. В полях они гонялись с самодельными сачками за стрекозами и стремительными махаонами, вместе бродили по лесам. Самые неприметные цветы – полевая гвоздика, гелиотроп, ландыш, душистый горошек – поражали Федора своей особой красотой. Тогда же он понял: у каждого запаха есть свой цвет и у каждого цвета есть свой запах.

«Корону тебя, Коля, открывшего мне столько Америк в жизни природы эстонской деревни – с ее речками, сосновыми лесами и торфяными боло-

тами. Сколько редких птичьих яиц в моей коллекции были получены от тебя. Много раз в жизни вспоминал я тебя. Хвала тебе – охотнику, рыболову и следопыту. Я не боялся идти за тобой ночью по топким и качавшимся под ногами берегам болотистой реки, куда мы ходили ловить раков. Я не стал охотником, но я как губка напитался всем, что ты знал и открывал для меня. Дождь нас загонял под ветви густых елей и мы наблюдали лесную жизнь, дождь ее не останавливал»,

– такая «ода другу» сохранилась в одном из рабочих альбомов Рожанковского. Наблюдения и впечатления совместных походов с Пернаткиным помогли в будущем сформироваться Рожанковскому и как художнику-анималисту. Они сохранились и удерживались в его памяти и во взрослом возрасте. Чтобы воспроизвести какие-то детали на бумаге, ему не требовалась фотография, всё увиденное он «носил в глазах».

Учился Рожанковский прилежно, преуспевал и в спорте, и в танцах, мог легко исполнить пируэт в воздухе, отбить чечетку, играл на духовых и струнных инструментах сразу в трех школьных оркестрах. В симфоническом – вторую скрипку, в военном – на валторне, в ансамбле балалайки – на балалайке-прима. Хромала лишь математика, приходилось брать репетитора. Уроки рисования в гимназии ему были скучны, он не любил гипсовых слепков с классических образцов, которые ставил им Виллевалде. Главными учителями оставались братья, летние каникулы они проводили в Ревеле. Кроме основ наук Сергей и Павел по-прежнему не оставляли живопись (так, например, две картины Павла в 1907 году были приобретены Академией художеств для провинциальных музеев, несмотря на отсутствие у него профессиональной школы); оба много писали с натуры и делились с младшим братом техническими секретами.

Из воспоминаний Рожанковского:

«В нашей семье много внимания обращалось *interior decoration*. Несмотря на скромность средств матери, жившей на небольшую пенсию, в доме были приняты эстетические требования и стиль, которые мы впитывали. Прелесть простого полевого букета мы не променяли бы на самый пышный и яркий букет бумажных цветов. Были старые олеографии, которые хранили как воспоминания былого, купленные когда-то отцом, но они вызывали нашу критику и осуждение».

Федор во всем старался подражать братьям и с восхищением смотрел на их акварели, свои же работы с врожденной ему самоиронией он называл «морально неполноценными». В гимназии же его способности ценили высоко. Класс, в котором он учился, выпускал литературно-художественный журнал, выходивший ежемесячно в нескольких рукописных экземплярах. Гимназисту Рожанковскому, единогласно избранному главным иллюстратором, приходилось

оформлять все номера журнала, повторяя одни и те же рисунки пять-шесть раз подряд (по сути весь «тираж» журнала).

Любимыми писателями тех лет были В. Скотт, М. Твен, Г. Сенкевич, Ф. Купер. В те годы вспыхнула вторая трансваальская война, и Федя, играя со сверстниками, жарко дрался, примеряя на себя роль буров и англичан. После таких сражений он часто возвращался домой с синяками и шишками.

«Братья были высокого роста – в отца. Мама была маленькой, и я боялся, что не дотяну до среднего и носил эдакие замшевые подкладки в ботинках (их носили дамы, не осмеливаясь вместо этого увеличить просто сам каблук). В то время Леля Малейн – моя любовь, была выше меня, что мне казалось позорным. Но тут приехал дядя Антоша, мировой судья, и успокаивал меня на этот счет и в пример приводил знаменитого Наполеона»<sup>21</sup>.

Из ревельского детства навсегда остался в памяти неповторимый вкус ревельских марципанов и пряников (два на копейку), местного хлеба «сепик» (традиционный эстонский хлеб из цельнозерновой муки, который раньше считался праздничным – *Л.В.*), – мелочная лавочка на Широкой улице, которую они с Таней называли «Керосиновонючка», где даже плюшки и переводные картинки пахли керосином.

В 1904 вдова Рожанковского соглашается на уговоры старших детей снова переехать в Петербург. В столице младшую сестру Татьяну удалось определить на казенный счет в Екатерининский институт благородных девиц. Старшая сестра Александра была уже замужем (за адвокатом Павлом Папчинским<sup>22</sup>) и преподавала вокал в Петербургской консерватории. Новость о переезде Федор воспринял с радостью, он любил город Петра. Вот только квартира на этот раз снималась уже не в центре. Посмертное пенсионное жалование отца позволяло жить достойно, но без излишеств.

Братья заканчивали обучение. Павел готовился стать инженером-электротехником, Сергей – юристом. В качестве дополнительного заработка они рисовали на продажу открытки. Оба были первоклассными рисовальщиками и после смерти отца производство открыток стало вроде семейного промысла.

Тринадцатилетний Федор во всем следовал их примеру и однажды написал десять акварельных зимних пейзажей размером с почтовую открытку. По совету братьев он отнес их в художественный магазин Дациаро<sup>23</sup>. К его удивлению и большой радости владелец галереи похвалил юного художника и со словами: «недурно, приносите еще, буду брать», – заплатил пять рублей за все десять (50 копеек за каждую). «Сердце мое бьется, синий билет протянут, я беру его, зажимаю в кулаке, сую в карман и, поблагодарив, ретируюсь. Мне хочется засмеяться и бежать, но с трудом я степенно выхожу. Чего

только я не смогу купить теперь – это масса денег!» – ликовал начинающий художник. Федор шел по Невскому, заглядывая в витрины, блиставшие светом и товаром, и размышлял – на что можно потратить свой первый заработок. Наконец, он увидел чудесные часы, на циферблате которых цифры были вписаны в двенадцать кружков в зеленой эмали. Цена их была ровно пять рублей! Пересчитав мелочь, он понял, что ему хватит, чтобы возвратиться домой на конке. Часовщик, расхваливая часы и перечислив их превосходные качества, заверил: «Будете меня благодарить за них всю жизнь». Через неделю часы остановились и часовщики, к которым обращался Федор, отказались их чинить. И всё же они остались дороги ему переживаниями тех дней. В тот же год приезжал в гости дядя Антон и подарил племяннику серебряные часы с откидной крышкой, заводившиеся ключом. Ходили они исправно и вскоре поехали вместе с Федором в Ревель. В столице становилось беспокойно. Убийство Плеве<sup>24</sup>, Кровавое воскресенье, поражение в войне с Японией усиливали революционные настроения; Федор и близкие не раз становились свидетелем страшных уличных сцен, и мать приняла решение вернуться.

Летом 1909 года, окончив седьмой класс ревельской гимназии, Федор отправился к брату Павлу. Дипломированный инженер получил тогда назначение на должность директора технического училища в Ялте. Вместе они ходили на пленэры, рисовали пейзажи окрестностей Ялты<sup>25</sup>. Чтобы заработать на карманные расходы, семнадцатилетний Федор трудился над настенными росписями ялтинского скетинг-ринга<sup>26</sup>, а также оформлял фойе в городском театре, открытие которого состоялось в сентябре 1908 года<sup>27</sup>. Других свидетельств того времени почти не сохранилось. Лишь в переписке Ф. Рожанковского с М. Осоргиным упоминается эпизод, случившийся в Ялте в те годы: «судя по обыску, бывшему у меня в Ялте в 1908–1909 году – особенно понравился приставу подстрочный перевод речей Цицерона ввиду частого повторения слова ‘республика’. В конце вернули». После событий 1905 года Рожанковский, как большая часть интеллигенции и студенчества, принимал сторону оппозиционного режиму кругов общества.

В тот год на обратном пути домой он побывал проездом в Москве, остановившись в семье старого друга отца (тоже педагога-латиниста). Город, новые знакомства, музеи и выставки ошеломили его и помогли определиться с выбором дальнейшего пути. Ко времени окончания Александровской гимназии в 1911 году Федор решил твердо: получать художественное образование он будет только в Москве. Поверив в серьезность его желаний, брат Павел вызвался помочь финансово (в свое время из-за предубеждений родителей, считавших, что художник – это не профессия, он не получил их согласия на академическое художественное образование и не хотел такой же участи младшему брату). Попытка поступления в МУЖВЗ

оказалась неудачной, и первый год Федор занимался в частной школе Ф.И. Рерберга. На следующий год он снова пришел поступать в училище и успешно выдержал экзамен; его имя оказалось в списке двадцати пяти отобранных кандидатов из трехсот молодых художников, съехавшихся из всех уголков России. Радость его была велика. Поселился он в одном из переулков возле Сретенского бульвара. Художник вспоминал московские годы: «Старинные улочки Арбата с одно- и двухэтажными особняками, утопавшими в садах, казалось, были населены героями романов Толстого и Тургенева, но к городу, так не похожему на Петербург, нужно было привыкать. Здесь всё было другим – люди, их манера жить, их говор, отсутствие вежливости, с холодком строгости и шика в одежде».

В Училище же ему нравилось всё – горячая молодая атмосфера, студенческие сходки, передовые педагоги, московская школа казалась ему менее академичной и реакционной в сравнении с Петербургом. Преподавателями в группе, где учился Рожанковский, были К.А. Коровин и А.М. Васнецов. В те же годы в МУЖВЗ учились Давид Бурлюк, Аркадий Пластов, Николай Терпсихоров, Василий Чекрыгин, Федор Черноусов, Василий Масютин. Однокурсником Рожанковского был и Борис Иогансон (в будущем директор Третьяковской галереи (1951–1954))<sup>28</sup>. Там же он познакомился и с Владимиром Маяковским. «Тогда он еще не печатался, его выступления с группой футуристов только намечались. За мои тематические работы, которые мы писали и выставляли каждый месяц, он называл меня *французом*, так как я находился тогда под влиянием Гогена, Матисса и Марке», – вспоминал Рожанковский. Маяковский навсегда остался для него одним из самых любимых поэтов. Своего кумира он называл «Буй тур свет Владимиром», объясняя свое к нему отношение коротко и емко: «Люблю я его – орет во весь голос»<sup>29</sup>. Вот так запомнилось студенту МУЖВЗ выступление «ниспровергателя классических ценностей» на одной из ученических сходок:

«Все тут, но доминирующая фигура здесь – это Маяковский. Он выше всех, он громче и крупнее, и активнее всех, он то встает, то сядет, проглотив плюшку и глотнув чаю. Он за уничтожение старого и он продолжает громить за новое искусство. Он неумолим, он рвет и мечет. Сейчас он рвет монографию Рубенса. Порванные розовые тела бросает на пол. Их подбирает Терпсихоров. Мне жаль книги, но в чем-то необходимом я согласен с Маяковским. Чекрыгин дружит с Маяковским и хочет показать, что к этим крайностям он привык и, улыбаясь, весьма умеренно их одобряет. Самохвалов возмущается. Нападение и защита, спор то разгорается, то затихает».

Вместе с Маяковским в студенческие годы он работал оформителем в МХТ. В 1912–1914 годах Рожанковский был помощником художественного декоратора в театре и участвовал в оформлении постановки ибсеновского «Пер Гюнта»<sup>30</sup>.

По воскресеньям с однокурсниками он мчался на Знаменку в особняк С. Щукина, обладателя крупнейшего собрания современной западноевропейской живописи. В выходной день хозяин уникальной коллекции проводил экскурсии лично, знакомил посетителей с галереей и новыми приобретениями Писсаро, Гогена, Матисса, Пикассо, Сезанна. «Западную живопись я видел в Музее у жившего недалеко Щукина, – рассказывал много позже Рожанковский другу, – он сам нас водил по воскресеньям и был хорошим гидом»<sup>31</sup>. На сохранившейся фотографии тех лет мы видим студента МУЖВЗ в английском дафлкотте<sup>32</sup>, брюках с модными подворотами, на нем фетровая шляпа-хомбург с шарфом и трубка во рту. В этом облике одновременно просматривается внешнее сходство и с любимым поэтом-трибуном, и с испанским французом Пикассо.

В 1914 году недавно начавшееся обучение было прервано войной. В отличие от художников, в чьих творческих биографиях военные годы оставались белыми пятнами, Рожанковский оказался по-настоящему вовлеченным во фронттовую жизнь. Как офицер запаса, он был призван на учебные занятия и уже в августе начал служить в действующей армии. Из дневника художника: «Четыре первых месяца до ранения я держал карандаш в руках лишь для того, чтобы писать донесения своему батальонному командиру. Командование ротой не оставляло времени зарисовать что-то по памяти, а было так много забываемого и поразительного за эти четыре года...» Зимой 1914-го Рожанковский был ранен в левую руку и эвакуирован в Санкт-Петербург. В период восстановления в госпитале здоровой рукой он создал множество военных этюдов и после выздоровления снова вернулся в строй. С 1914-го по 1918 годы Рожанковский участвовал в сражениях в Польше, Пруссии, Австрии, Румынии. В последний год войны он командовал автомобильно-мотоциклетным отрядом 21-й пехотной дивизии Дагестанского полка. В его обязанности входило проверять личную корреспонденцию вверенной ему команды, чтобы в строках не мелькало крамолы, угрожавшей режиму. В 1915 году он снова получил ранение и был тогда на волосок от гибели, если бы не денщик Иван Дубин: после мощного фугасного снаряда солдат откопал его из-под земли и вытащил из окопа. Всю оставшуюся жизнь в годовщину своего второго рождения (5 ноября) Рожанковский поднимал тост за своего спасителя и даже посвящал ему балладу, по стилю напоминающую «Василия Теркина»:

О войне в двадцатом веке –  
В том, в пятнадцатом году,  
О Иване человеке  
Говорю, и про беду...

Смерть вокруг, безумья роды,  
Бьют винтовки, пулемет:

Командир пехотной роты  
Атакующих ведет.

Нестерпимой болью бьется  
Сердце в ститснutoй груди;  
Пролетит иль разорвется  
Все пространство впереди.

Над штыками наклонились  
И бегут, бегут, кричат;  
Кажется – они молились,  
Кажется – кричали «Брат».

Как и древле – бой. Судьбина  
Хлещет кровью по глазам;  
Бьется здесь Иван Дубина,  
А за что – не знает сам.

Вдруг он видит:командира  
Будто сломано плечо, –  
Как крыло, как счастье мира, –  
Трепетно и горячо.

Прочь уводит. Так бы няня  
Детский норov увела  
От смертельного гулянья,  
Нежным именем звала.

От вина и крови пьяный  
Враг не хочет уступить  
Тот окоп, где смертью пьяный,  
Командир в крови лежит.

Артиллерией фугасной –  
Будто мести взгляд слепой, –  
Враг гремит в борьбе напрасной, –  
Не согласен он с судьбой.

Нарастает гул порыва  
И снаряд летит в окоп;  
Командир не слышит взрыва, –  
Проще так, не нужен гроб.

Но Иван Дубина – рядом,  
Из солдатской он семьи:

Похороненных снарядом  
Вырывает из земли.

Припадая к командиру,  
Говорит Иван-солдат:  
«Послужи живому миру,  
Послужи живому «брат».

Воспроизведенные по памяти еще во время первого лечения в госпитале военные впечатления нашли отражение в целой серии рисунков, репродуцированных вскоре в литературно-художественном и сатирическом еженедельнике «Лукоморье», известном своим высоким градусом патриотизма. Первые три рисунка появились на страницах этого издания в мае 1915 года<sup>33</sup>. И вскоре после этого Рожанковский становится одним из ключевых иллюстраторов военного периода. Работы молодого художника, который служил и, одновременно, фактически был военным корреспондентом, часто выносились на обложки и публиковались почти в каждом номере «Лукоморья». Одни фронтовые зарисовки делались им наспех, эскизно, в перерыве между боями, из других позже складывался цикл законченных акварелей. В течение всей жизни журнала, издававшегося в Петрограде в 1914–1917 гг., «участник военных походов Рожанковский» (так подписывались его рисунки в журнале) был постоянным хроникером событий и настроений в тылу и на фронте. Подход в освещении полка на позициях, во время боевых действий (и не только командного состава, но и рядовых телефонистов, дежурных по кухне, сестер милосердия и др.) носил не эпохальный, скорее – репортажный характер. Художник заглядывает в окопы, в которых еще только что была жизнь, оборонялись солдаты и вот уже их заполняют застывшие мертвые позы до конца исполнивших свой долг солдат; слышно как стонут раненые, кричат санитары, шумит лес... Карандашные и акварельные этюды-наброски Рожанковского передавали не столько ужасы войны, сколько ее присутствие. Внимание художника в них было сосредоточено на буднях войны, фиксировалась (*не* протоколировалась) суть происходящего, схватывалось состояние момента – страха, тишины, отдыха.<sup>34</sup>

События Первой мировой войны, которым в «Лукоморье» уделялось главное внимание, иллюстрировали в журнале выдающиеся художники: И. Билибин, А. Васнецов, К. Вещилов, К. Горбатов, Б. Григорьев, М. Добужинский, В. Замирайло, С. Колесников, Н. Кравченко, Б. Кустодиев, Е. Лансере, Г. Лукомской, Д. Митрохин, Н. Рерих, К. Юон. Среди этих крупных имен Ф. Рожанковский был, пожалуй, самым молодым фронтовым бытописателем. Собственное видение происходящего на фронте он однажды выразил так: «Своеобразный пассив русского патриотизма чувствовали даже в армии – наступая, она не

очень ликовала, отступая – не очень печалилась. К захвату чужих стран солдаты относились без особого интереса...» Большинство его рисунков всё же оптимистичны по настроению, особенно акварели – в них много жизни, они залиты солнечным цветом (именно этот желто-соломенный цвет станет в дальнейшем одним из базовых в работах художника). Темное небо, нависшее над понуро шагающими армейцами, рассекает звонкая радуга<sup>35</sup>, пленный немец пускается в пляс под звуки бубна в руках русского солдата<sup>36</sup>, в некоторых рисунках прорывается почерк будущего иллюстратора сказок<sup>37</sup>.

По «художественным» адресам можно проследить и маршрут армии Юго-Западного фронта, воевавшей в Галиции, в составе которой служил Рожанковский («Львов», «Развалины Хенцинского замка», «Кельцы», «Село Замирье под Несвижем», «На Двине», «В Галиции», «Варшава»). Всего в «Лукоморье» было репродуцировано около восьмидесяти его рисунков, десять из них были помещены на обложки. Интересный факт встречается в одном из писем сестры Татьяны к Федору. Оказывается, оригиналы «Лукоморья» у начинающего иллюстратора Рожанковского скупал крупнейший библиофил того времени А. Бурцев<sup>38</sup>. В 1916 году в «Лукоморье» была опубликована и работа его брата Павла<sup>39</sup>. Рисунки Федора и Павла Рожанковских публиковались также и в журнале «Солнце России».

Сведения о судьбе Павла Рожанковского скудны и противоречивы, в его биографии есть много неточностей и пробелов. Некоторые факты удалось собрать в переписке с музеями, найти в письмах Федора Рожанковского. Важным документальным источником являются письма сестры Татьяны, с которой Федор Рожанковский был особенно близок и не терял связь до конца своих дней. «Поль, как ты знаешь, выставлял свои акварели в Поощрении Художеств<sup>40</sup>. В Финляндии были репродукции его пейзажей. Бенуа<sup>41</sup> не советовал ему учиться, говорил, что “Природа ему все дала”»<sup>42</sup>.

Известно, что в петербургские годы жизни Павел был вольнослушателем в Императорской Академии Художеств. Вероятно, там он познакомился и с художником Григором Ауэром<sup>43</sup>. Рожанковский не раз бывал в доме Ауэра на Ладожском озере в Питкяранте (Карелия). В гостевой книге Ауэра, которая находится сейчас в Центральном архиве изобразительных искусств Финляндии, сохранилось множество акварельных работ П. Рожанковского<sup>44</sup>. Достоверно известно, что до поездки в Ялту Павел Рожанковский жил в Финляндии. На финских аукционах живописи и сегодня «всплывают» пейзажи художника, большинство из них датированы 1907 годом. Тогда же издавались и открытки с репродукциями его акварелей. Несколько пейзажей П. Рожанковского хранятся в музее Хельсинки, в Государственном Музее изобразительных искусств Республики Татарстана, в музеях Рыбинска и Сыктывкара.

О дальнейшей судьбе Павла после 1910 года известно лишь, что накануне революции он уехал жить на Украину, в 1918–1920 гг. был избран председателем Полтавского профсоюза художников, работал в Харьковском книжном издательстве, дружил с писателем В.Г. Короленко и художником И. Мясоедовым, а в 1921 году, как гласит семейное предание, застрелился из-за несчастной любви<sup>45</sup>.

В начале Гражданской войны в Полтаве оказался и Федор. Там в родовом имении мужа жила сестра Александра Папчинская. В их доме поселилась тогда и Татьяна<sup>46</sup>.

Павел помог брату устроиться в издательство и в течение 1918–1919 годов Федор иллюстрировал для полтавского земства издававшиеся впервые на украинском языке хрестоматии и переводную литературу<sup>47</sup>. В Полтаве он находился до июля 1919 года, когда город был занят Добровольческой армией.

(продолжение в следующем номере)

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Автор выражает большую признательность Татьяне Федоровне Рожанковской-Коли за помощь в процессе работы над книгой и предоставление материалов из семейного архива.
2. В этот период (1960-е) у художника начались серьезные проблемы со зрением, были сделаны две операции.
3. Сеславинский, М. *Рандеву: Русские художники во французском книгоиздании первой половины XX в.: Альбом-каталог*. М.: Рос. газета, 2009; Сеславинский, М. «Художник книги Федор Рожанковский». *Библиофилы России: Альманах*. М., 2010. Т. VII. С. 267-284; Сеславинский, М. «Детский взрослый художник Федор Рожанковский». *Наше наследие*. М.; «Американский дедушка: Интервью с А.А. Папчинским». *Про книги: Журнал библиофила*. 2013. № 1 (25). С. 16-22; «Вспоминая отца: интервью с Т.Ф. Рожанковской-Коли». *Журнал библиофила*. 2013. № 1 (25). С. 6-15; Адамович, М. «Портрет семьи на фоне эпохи: Интервью внучки Г.П. Федотова Татьяны Коли». *Новый Журнал*. 2011. № 264; Бычков, С. «Федор Рожанковский снова в России: Интервью с Т. Рожанковской-Коли». *Собрание: Иллюстрированный журнал по искусству*. 2013. № 1; Мязотс, О. «Федор Рожанковский – художник, который любил детей и зверей». *Детский зал иностранки*. URL: <https://dети-inostranki>; «Советские детские книги в Европе и в США в 1920–1930-е». *Детские чтения*. 2017. Т. 12. № 2; он же: «Первопроходец Рожанковский». *Connaisseur: Ист.-культ. альманах. Книги. Архивы. Графика. Театр*. 2019. № 2. Детская мысль. Прага, С. 126-141; Макаров, М. «Три цвета времени. Иллюстрированные письма Рожанковского». *Золотая палитра*. 2019, № 2 (19); Вульфина, Л. «С. Рожанковский и В.Б. Соинский. Переписка 1957–1967 гг.». *Новый Журнал*. 2019, № 294; Вульфина, Л. «Глобусные человечки. Переписка А.Ремизова и Н.Кодрянской с Ф. Рожанковским». *Новый Журнал*. 2021, № 302; Вульфина, Л. «Федор Рожанковский. Начало пути». *Experiment Journal*. 2021. V.27 (II). P. 260-287; Вульфина, Л. «Мы все идем одним путем – к вечности». *Новый Журнал*. 2024, №316; Béatrice

Michielsen. «L'art Mural de Fiodor Rojankovsky». *Mémoire d'Images*. 2021. №49; Catherine Formet-Jourde. *Rojan: L'art d'imager la poésie du réel*. Éditeur(s): Les Amis Du Pere Castor. Collection(s): Association Des Amis Du Pere Castor. Paris. 2021; Макаров, М. «Федор Рожанковский». В: *Русский холм. La Favière (1920–1960)*. 2-е изд-е, Т. 2. Париж. 2024. С 462-591.

4. После смерти Теодора Рожанковского его жена Анна Полевая ездила с украинским народным театром в качестве смотрительницы гардероба, а две ее дочери (Теофилия (1840/42 – 1924) и Мария (1852/53 – 1930) были артистками этого театра, обе взяли себе сценический псевдоним Романович. Теофила с 1874 года успешно руководила труппой театра «Русская беседа» во Львове (Франко И. *Русский театр в Галиции*. Собрание сочинений в 50 томах. Т. 26. Киев, 1980. С. 371-372).

5. Семейный архив Рожанковского (далее – САР), собрание Т. Рожанковской-Коли (США). Все цитируемые документы (письма, дневники, воспоминания) находятся в этом архиве, поэтому их местонахождение далее не оговаривается.

6. Позже, когда мальчик стал учеником этой школы и познакомился с романами Майн Рида и Фенимора Купера, этот индеец стал для него романтизированным идеалом отваги и смелости – именно таким он представлял себе друга следопыта Бампо.

7. В воспоминаниях художника допущена небольшая неточность: во время коронации Николая II и Александры Федоровны (в мае 1896) ему было не три, а четыре с половиной года. Подготовка к коронационным празднованиям описывается и в книге, изданной к двадцатипятилетию Ревельской гимназии: «По случаю священного коронования Их Императорских Величеств Государя Императора Николая II и Государыни Императрицы Александры Федоровны в Александровской гимназии преподаватель А.А. Ляхницкий прочел перед учащимися “О Св. Короновании”». Затем учащие и учащиеся участвовали во всех церковных торжествах. Ученики, под руководством учителя рисования А.Б. Виллевальде украсили здание гимназии. Некоторым ученикам старших классов даны были даровые билеты в театр на парадное представление» (Хойнацкий О. *Двадцатипятилетие Ревельской Александровской гимназии. 1872–1897*. Ревель, 1897. С. 71).

8. Александр Богданович (Готфридович) Виллевальде (1857–1903), сын известного художника-баталиста Б.П. Виллевальде.

9. Из письма Татьяны к брату Федору. 15 ноября 1968 года.

10. V.F. Carnatz (В.Ф. Карнац), первая российская фабрика карандашей, основана в 1875 году.

11. Эта книга, купленная тогда в Париже, до сих пор хранится в домашней библиотеке семьи Рожанковских.

12. Sagan d'Ache (настоящее имя – Эммануил Яковлевич Пуаре, 1858–1909), французский карикатурист.

13. Посетив Александро-Невское кладбище в Таллине, нам не удалось разыскать могилу отца Ф. Рожанковского. В списках кладбищенского реестра его имени тоже не оказалось. Как нам объяснили, заброшенную долгое время могилу могли передать для нового захоронения. Не сохранилась и могила братьев Гиляровских. Нет и церкви, разрушенной при обстреле во время Второй мировой войны.

14. Бить склянки – морская традиция, когда каждые полчаса сопровождаются сигналом корабельного колокола.

15. Edmondo De Amicis (1846–1908), итальянский писатель, поэт и журналист.

16. Церковь Св. Олафа (Олевисте) и сегодня остается вторым по высоте сооружением Таллинна после Таллиннской телебашни.
17. Жан Гранвиль (1803–1847), французский иллюстратор.
18. «Роман» Рожанковского с «Робинзоном» растянется на всю жизнь. В 1938 году он планировал иллюстрировать эту книгу для польского издателя Рудольфа Вегнера и уже подготовил обложку, но началась Вторая мировая война, и издание не состоялось. Книга Д. Дефо «Робинзон Крузо» с его иллюстрациями вышла в США в издательстве Golden Press в 1960.
19. Из автобиографических записок известно, что любимого учителя природоведения звали Евгений Иванович Бутте, он был военным врачом одного из пехотных полков, стоявших в Ревеле.
20. Евгений Гепферт, одноклассник Федора Рожанковского по Александровской гимназии. Убит матросами в марте 1917-го в Гельсингфорсе.
21. Антон Кордасевич был братом матери Федора Рожанковского. Сведений о нем очень мало. Судя по воспоминаниям художника, дядя часто их навещал и заботился о своей сестре и ее младших детях. В 1865-м учился в Холмской греко-католической гимназии, в начале 1870-х поступил в Варшавский университет. Скончался в 1909 году.
22. Папчинский Павел Самсонович (1858–1928), мировой судья, в 1906 году был избран депутатом I Государственной Думы от Эстонии.
23. Джузеппе Дациаро (1806–1865), основатель торгово-издательского дома в России.
24. В.К. фон Плеве (1846–1904), министр внутренних дел, сенатор. Убит бомбой, брошенной в его карету эсером-террористом.
25. Один из таких редких рисунков Павла Рожанковского хранится в фондах РОСИЗО в Москве. Рисунок с видом деревни Ай-Василь (сегодня это часть Ялты, район Васильевка) будет впервые воспроизведен в будущей книге. Теперь уже можно с уверенностью сказать – выполнен он именно в этот период (1908–1910).
26. Площадка для катания на роликовых коньках существовала в Ялте на набережной при гостинице «Джалита» (напротив отеля «Ореанда») и была разрушена во время Второй мировой войны.
27. Ныне – Ялтинский театр им. А.П. Чехова.
28. Из письма Ф. Рожанковского к В. Сосинскому. Сентябрь, 1963 года: «... я с Иогансоном в 1912 году выдержал конкурсный экзамен в школу Ж.В. и З. Но я его там не помню. Мы глядели на Бурлюков, они были весьма крепкими реалистами. Меня из учеников еще интересовал Чекрыгин (друживший с Маяковским), талантливый художник (умерший рано). Я же поклонялся Гогену, Ван Гогу и продолжаю любить и всех других, которые благодаря им шли дальше и открывали новые дороги в искусстве».
29. Из письма Ф. Рожанковского к художнику В. Иванову. Январь, 1949 года.
30. Премьера поэтической поэмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» состоялась в МХТ в 1912 году, декорации и костюмы создавал Н. Рерих. Из автобиографических записей Рожанковского: «В театре мне удалось повидать Гордона Крэга (мужа Айседоры Дункан), он приезжал из Лондона ставить “Гамлета”. Видел постановки Гамсуна и Метерлинка *Синяя птица*. Надо было видеть, как артистка изображала Молоко в момент, когда оно скисает!». Премьера спектакля М. Метерлинка «Синяя птица» состоялась осенью 1908 года. Образ Молока исполняла актриса Л. Косминская.

31. Из письма Ф. Рожанковского к В. Сосинскому. Сентябрь, 1963 года.
32. duffle coat, шерстяное полупальто с капюшоном, застежками на петли из шнура и широкими карманами.
33. «Местечко Хенцины Келецкой губернии», «Парад в Кельцах. Награждение Георгиевскими крестами», «В Польше» (*Лукоморье*. 1915, № 22. С. 10, 11, 13).
34. В 1915 г. опубликованы «Допрос пленного» (№ 30. С. 7), «Отдых» (№ 30. С. 9), «В полевом лазарете» (№ 30. С. 3), «У пулемета» (№ 33. Обложка), «У перевязочного пункта» (№ 34. С. 5), «Штаб. Наблюдение боя» (№ 36. Обложка), «Оставленный окоп» (№ 42. С. 3), «Пленные немцы» (№ 43. С. 5), «Ранняя зима в окопах» (№ 46. С. 8), «Постройка саперами моста» (№ 49. С. 11), «Разведка в деревне» (№ 51. Обложка); В 1916: «У позиций» (№ 6. С. 11).
35. «В поход под дождем». *Лукоморье*. 1915. № 41. Обложка.
36. «Веселый пленный». *Там же*. 1916. № 24. С. 11.
37. «Сигнал». *Там же*. 1915. № 39. Обложка.
38. Бурцев Александр Евгеньевич (1863–1938), меценат художника Бориса Григорьева, библиофил, издатель, этнограф, коллекционер.
39. Берег Брунус. Парки в Гельсингфорсе. *Лукоморье*. 1916. № 28. Фронтиспис; на обложке этого же номера рисунок Федора «Перед полетом». Эта работа была репродуцирована ранее в журнале *Нива* (1908. № 12. С. 226).
40. Императорское Общество Поощрения Художеств, существовало в Петербурге до 1929 года.
41. Бенау Александр Николаевич (1870–1960), художник Серебряного века, один из основателей объединения «Мир искусства», писатель, художественный критик.
42. Из письма Т. Романовской к брату Федору. 15 ноября 1968 года.
43. Григор Ауэр (при рождении Прокофьев (Прокопиев) Григорий Дмитриевич, 1882–1967), финский художник-пейзажист карельского происхождения, ученик И. Репина и С. Жуковского.
44. В книге Антти Куусимяки, правнука Ауэра (*Grigor Auer/ред.: Piispa Arseni, Kuusimäki Antti. Mäkelä Asko*. – Хельсинки: *Maahenki*, 2010) воспроизведена работа Павла, выполненная в гостевой книжке Ауэра с подписью «Многоуважаемой Надежде Николаевне от Павла Рожанковского». Автограф сделан Н. Н. Чистяковой (1882–1943), супруге Г. Ауэра.
45. О трагической смерти брата Павла упоминается в письме Т. Романовской к брату Федору от 15 ноября 1968 года.
46. Из письма Т. Романовской к Ф. Рожанковскому от 24 февраля 1966 г.: «Я помню как ты, подражая оркестру, изображал оркестр. Это было в Полтаве, в доме француженки Евгении Павловны, где вы жили с Полем, а я приходила к вам».
47. Так, например, им был проиллюстрирован роман Г. Флобера «Саламбо».

## Норман Перейра

# Либеральное наследие Михаила Карповича

### Ода внука\*

Михаил Михайлович Карпович присоединился к преподавательскому составу Гарвардского университета в январе 1927-го и оставался в штате до выхода на пенсию в 1957 году. В 1942 году он начал сотрудничать с ведущим изданием русской эмиграции «Новым Журналом» и стал его главным редактором в 1946 году. Также, с самого начала, с 1941 года, и до кончины в 1959-м он был тесно связан с другим журналом – *Russian Review*.<sup>1</sup>

Михаил Карпович занимался изучением интеллектуальной истории в смежной области философии и политики, в которой идеи влияют на политику в самом широком смысле. Он утверждал, что исторические объяснения должны основываться на непосредственных фактах, а не на абстрактной теории или моделях, и что нет необходимости искать более глубокие объяснения или предпосылки, которые потенциально вводят в заблуждения.<sup>2</sup>

Карпович верил: ничто в истории не является неизбежным и «не существует такой вещи, как окончательная победа или окончательное поражение... У тенденций, которые в настоящий момент могут быть подавлены, есть шанс возродиться в неизвестном будущем»<sup>3</sup>. Для него гегелевская «логика истории» и/или марксистская «классовая борьба» были менее значимы в определении исхода событий, чем властная политика, возможности и случай. Единственной постоянной составляющей истории для него было желание индивидуальной свободы, а уровень ее достижения есть лучшее положительное измерение цивилизации.

Русское интеллектуальное развитие первой четверти девятнадцатого века, согласно Карповичу (позднее это положение было развито проф. Мартином Малиа<sup>4</sup>), напоминало больше Германию, нежели Францию; оно было более идеалистическим и менее рациональным, что помогает объяснить эмпатию к немецкому идеалистическому романтизму в России после 1825 года. Отличия от остальной Европы к

---

\* Выступление на международной конференции славистов ASEES, секция *Academic Contributions of Russian Emigre-Scholars to American Universities. 1920–1970* (Бостон, ноябрь 2024. Организатор – «Новый Журнал»); доклад профессора Norman Pereira (Dalhousie University, Canada) *Michael Karpovich's Liberal Legacy: A "Grandson's" Encomium*. Часть выступления основывается на тексте N. Pereira «The Thought and Teaching of Michael Karpovich». *Russian History*, 36, 2 (2009), 254-277.

этому моменту были вопросом степени – более, чем характера, и они уменьшались.<sup>5</sup>

Карпович отмечал, что даже при самом суровом из российских самодержцев, Николае I (1825–1855), существовало некоторое пространство для инакомыслия, а наказание оппозиционеров было гораздо менее суровым, чем впоследствии при Советах, – как по степени репрессий, так и по их характеру. Более того, Карпович утверждал, что на рубеже XX века в Российской империи существовал своеобразный аналог западного гражданского общества. Особенно его восхищала современная политическая культура компромисса и прагматизма в его приемном американском доме.<sup>6</sup>

Михаил Карпович верил, что нет причины, почему бы «политическая жизнь русских людей не могла бы выстраиваться на тех же основах конституционализма (и толерантности), как у их соседей в странах Западной Европы...»<sup>7</sup> Он высоко ценил неприятие Владимиром Соловьевым великорусского шовинизма<sup>8</sup> и выражал симпатию к российским евреям в их тяжелом положении.<sup>9</sup>

Согласно Карповичу, революции 1917 года не были результатом исторической необходимости – скорее, комбинацией ряда составляющих: плохого правительства, оппортунизма оппозиции, политической ошибки, военного поражения – и случая. Также, для Михаила Карповича различие между авторитарным и тоталитарным режимами имело решающее значение.<sup>10</sup> Авторитарный режим не пытается узурпировать внутреннюю жизнь граждан (см. знаменитое замечание Герцена о внутренней свободе при Николае I) и в целом удовлетворяется внешней податливостью.

В период с 1940-х до 1958 года под руководством Михаила Михайловича Карповича в Гарварде защитилось тридцать кандидатов наук, большинство – по русской интеллектуальной истории; для сравнения, три больших университета – Беркли, Колумбийский и Йель – за тот же период времени все вместе выпустили сорок кандидатов наук, – и они не были столь блистательны, как гарвардская группа.<sup>11</sup> Безусловно, что студенты проф. Карповича – и их студенты, в свою очередь, и студенты их студентов, – и до сих пор доминируют в области изучения России в Северной Америке.

Среди известных, успешных «сыновей» Михаила Михайловича Карповича – профессора Hugh McLean, Robert V. Daniels, Marc Raeff, Firuz Kazemzadeh, Donald Treadgold, Sidney Monas, George Fischer, Arthur P. Mendel, Hans Rogger, Leopold Haimson, Richard Pipes, Nicholas V. Riasanovsky, Martin Malia. В свою очередь, среди учеников Р. Пайпса – Peter Kenez, Richard Stites, Abbott Gleason, Daniel Orlovsky, Alan Sinel, Edward Keenan. Среди студентов проф. Хеймсона – Richard Wortman, Andre Liebich, Hannah Arendt, Alexander Martin, Sheila Fitzpatrick. Среди студентов проф. Малии – Terence Emmons, Stephen Kotkin и другие. В 1964–70 гг. я и сам учился у проф. Н. Рязановского и проф. М. Малии.

Расскажу подробнее о проф. Мартине Малии (Martin Malia), под руководством которого я писал свою кандидатскую диссертацию. Профессор Малиа был либералом рузвельтовского типа, практикующим католиком, который в бурные 1960-е годы стал более консервативным. По контрасту с ним проф. Рязановский оставался аполитичным, посвятив себя энциклопедическим исследованиям и русскому православию.<sup>12</sup> Их младший коллега и любимец студентов, очаровательный «левый» и харизматичный Реджинальд Зельник занимал противоположные Малии позиции по большинству проблем – как и по национальным вопросам. Но несмотря на эти различия, все трое остались в теплых отношениях.

Еще одним примером открытой толерантной среды Беркли стали протесты против войны во Вьетнаме осенью-зимой 1964-65 годов. При поддержке Реджи и некоторых других «левых» преподавателей анархо-марксисты и другие захватили Спруул-Холл, главное университетское административное здание. Малиа был там в качестве наблюдателя. Увидев меня в толпе протестующих, он крикнул: «Норман, если тебя арестуют, я вытащу тебя, но если ваша акция будет удачной, возможно, тебе придется вытаскивать меня!»<sup>13</sup>

Малиа любил исторические аналогии, проводя мрачные (и, оглядываясь назад, не совсем безумные) сравнения с Французской и Русской революциями.

Существует общее мнение, что среди студентов старших курсов проф. Карповича Малиа был его по-настоящему родственной душой и любимцем.<sup>14</sup> Хью МакЛин, который был близок к обоим, говорил, что Карпович «почувствовал в Мартине человека, более других похожего на него; более мягкого, культурного, сведущего в литературе, искусстве и музыке, – как и в истории; прекрасно говорящего по-французски, а также с очень хорошим русским языком»<sup>15</sup>. Наибольшее влияние на Малию оказали ключевые идеи Карповича, особенно в отношении места России в Европе и морального превосходства царизма над советской властью. Это очевидно и в идее Малии о культурной градации России, которая становится заметна со времен, «когда Петр Великий определил основное движение [государства] в направлении сближения, хотя и с перерывами, с Западом... [в то время как] марксизм-ленинизм, Советская Россия... представляет максимальное отклонение от европейских норм, как и огромную деформацию собственного развития России»<sup>16</sup>. Другой пример воззрений Малии на советскую историю: «Ключ к пониманию советского феномена – это идеология... [особенно] прерогатива идеологии и политики над социальными и экономическими силами»<sup>17</sup>. Малиа хотел «реабилитировать историю ‘сверху’ за счет истории ‘снизу’<sup>18</sup> и переосмыслить тоталитарную точку зрения...»<sup>19</sup> Опять же, вслед за Михаилом Карповичем, он отрицал взгляды, утверждающие неизбежность Октября и необходимость модернизации России. Определение нераз-

ривной преемственности Ленина-Сталина – вопреки главным аргументам Л. Троцкого, Р. Медведева, С. Коэна, М. Левина, Л. Хеймсона и других – было у Малии повторением позиции Карповича.<sup>20</sup>

Правильно будет сказать, что основная роль проф. Михаила Карповича в изучении России в Гарвардском университете была исторической в обоих значениях этого слова. Хотя собственный список его публикаций оставался скромным, влияние Карповича на его выдающихся аспирантов было великим и выходило за рамки простого обучения. Его публицистика послужила образцом для важных журналистских публикаций Мартина Малии.

В качестве редактора «Нового Журнала» с 1946-го по 1959 годы Михаил Карпович был непреклонен в том, что журнал не станет узким партийно-политическим органом. Он настаивал на том, чтобы это издание было открыто для самых разных мнений – при условии, что они «защищают свободу, гражданские права и культуру от всех и всяческих форм тоталитаризма».<sup>21</sup> Это заявление стоит помнить и ценить, особенно во времена политической поляризации, цензуры и академического нездоровья.

*Перевод – М. Адамович*

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Russian Review* – известное независимое академическое интеллектуальное издание, выпускается Университетом Канзаса с 1941 года.
2. Bakhmeteff Archive (BAR), Ms Coll Karpovich, Box 35, Series 2. Лекция 1 (цитаты из всех лекций взяты из этого источника, но начиная с лекции № 13 – из Box 36); см. также: М. Карпович. *Imperial Russia, 1801–1917* (New York: Henry Holt, 1960), *A Lecture on Russian History* (The Hague: Mouton, 1961).
3. BAR, Ms Coll Karpovich, Box 33, series 2, folder: Printed Materials (лекция Карповича “The Heritage from Tsarist Russia,” прочитана в National War College, 26 October 1953).
4. Мартин Малиа (Martin Edward Malia, 1924–2004), американский историк, специалист по России и СССР. В 1954–1958 гг. – профессор в Гарвардском университете; в 1958–1991 гг. преподавал в Университете Беркли.
5. Лекция 9. Такова, конечно, была позиция западников, которые считали, что только в силу специфических исторических обстоятельств Россия временно отстала от остальной Европы, и вскоре ее догонит. См.: Martin Malia. “Michael Karpovich,” *The Russian Review* 19, 1 (1960): 68–69.
6. Михаил Карпович. «Комментарий», НЖ, № 31 (1952): 264–280; М. Вишняк. «М.М. Карпович – политик», НЖ, № 58 (1959): 16; David Engerman, “The Ironies of the Iron Curtain,” *Cahiers du Monde Russe* 45.3/4 (2004): 489.
7. Лекция 18.
8. М.Карпович. “Vladimir Solov’ev on Nationalism,” *Review of Politics* 8 (1946): 186.
9. Лекция 20. Карпович был убежден, что огромная заслуга Соловьева – более, чем кого-либо, в том, что он способствовал возрождению религиозно-философского интереса в России в поздние годы 19-го – нач. 20-го веков.
10. Михаил Карпович. «Две книги о России», «Новый Журнал», № 7 (1944): 377–382.
11. Terence Emmons. «Russia Then and Now in the Pages of the American

Historical Review and Elsewhere: A Few Centennial Notes». *American Historical Review* 100.4 (1995): 1144; Jonathan Daly. «The Pleiade: Five Scholars Who Founded Russian Historical Studies in the United States». *Kritika* (Bloomington, Ind.) 18, no. 4 (2017): 785-826.

12. Новость о неожиданной смерти Михаила Гуревича (Mikhail I. Gurevich, 1897–1967), моего деда по материнской линии, вынудила меня пропустить еженедельный семинар проф. Рязановского. Мой «дедушка Миша», подобно Михаилу Михайловичу Карповичу, эмигрировал после Октябрьской революции; он также был членом партии кадетов. Когда я зашел в офис Рязановского извиниться за свое отсутствие, обыкновенно строгий и сдержанный Николай Валентинович тепло обнял меня и предложил вместе помолиться.

13. Малиа никогда не позволял влиять на наши отношения политическим различиям наших взглядов. В этом он тоже совпадал с проф. Карповичем. Неоменьшевик Леопольд Хеймсон, студент Михаила Михайловича, называл это «исключительной толерантностью», которую Карпович «выражал для различных взглядов, в том числе и тех, с которыми он вовсе не обязательно был согласен». (Michael David-Fox, Peter Holquist, and Alexander Martin, “An Interview with Leopold Haimson,” *Kritika* 8, no. 1 (2007): 1-12).

14. Николай В. Рязановский. Интервью. Bancroft Library, University of California, Berkeley (1998): 217-218. «Ближе всего из студентов к Михаилу Карповичу был Мартин Малиа. Его (Карповича) явно задело, что его преемником в должности в Гарварде стал Пайпс, а не Малиа. Мартин действительно любил *Karpy*.» См. также в: Norman Pereira. “In Memoriam: Nicholas V. Riasanovsky”. *Russian History* 38 (2011): 529-34.

15. См.: Pleiade, p. 11.

16. Martin Malia. *Russia Under Western Eyes*. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1999: 12-13. Он же: *Comprendre la revolution russe*. Paris: Seuil, 1980: 48: «Развитие России до 1917 года проходило внутри рамок франко-немецкой и европейской истории. Но с большевистской революцией эта модель была сломана, и Россия пошла собственным путем. Это породило идеократическое, бюрократическое, тоталитарное государство – не подходящее ни на одно другое прежде.» (Там же: “What Is the Intelligentsia?” в *The Russian Intelligentsia* (New York: Columbia University Press, 1961): 1-18.

17. Признавая значимость понятия «социальной нестабильности» у Хеймсона и интерпретации авторитаризма у Пайпса, он остался верен недетерминистской точке зрения Карповича.

18. Leopold Haimson. “The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905–1917” (Parts One and Two) *Slavic Review* 23, no. 4 (December 1964): 619-42; 24, no. 1 (March 1965): 1-22.

19. Martin Malia. *The Soviet Tragedy* (New York: The Free Press, 1994): 16. Также: Martin Malia, «The Hunt for the True October». *Commentary* 92, 4 (October, 1991): 21-28. «Ревизионистские» взгляды ленинизма по контрасту со сталинизмом – не тоталитарны; таким образом, отличны от тезисов в духе С. Коэна и М. Левина. Малиа утверждал, что Октябрь был политическим *coup d'etat*, оппортунистически выстроенным Лениным в сердцеvine социальной революции.

20. M. Karpovich. “Stalin”. *The New York Times*, April 28, 1946, Book Review Section: “Stalin’s dictatorship will remain the logical sequel... of Lenin’s Bolshevism.”

21. Бонгард-Левин, Г. М. «М.М. Карпович и Владимир Набоков». В: *Русское открытие Америки*. Moscow, ROSSPEN (2002): 305-308.

# КНИГА И СУДЬБА

Людмила Оболенская-Флам

## Вики – русская княгиня во Французском Сопротивлении\*

### ГЛАВА VIII

Если подняться из метро на станции Place St. Germain-des-Près, пройти три квартала по rue de Rennes, то вы дойдете до rue Cassette, которая отходит слева. Посмотрите на угловой дом, № 1. В этом доме на четвертом этаже Вики жила во время войны и там занималась подпольной работой. На первом этаже дома находилась типография апелляционного суда, где постоянно сновал народ, благодаря чему Викины посетители могли проходить незамеченными. Впрочем, доступ к ней, из конспиративных соображений, имели немногие. А рядом жил руководитель гражданской ветви ОСМ (Organisation Civile et Militaire) Максим Блок-Маскар. Дворы их домов соприкасались; он мог незаметно передавать Вики на обработку материалы, предназначенные для подпольных *Тетрадей*. Это прекратилось после того, как квартиру его обнаружил гестапо и Блок-Маскару пришлось вести кочевой образ жизни.

Неподалеку от Вики находилось бывшее французское Министерство обороны. Его массивное здание теперь пустовало, но там обитал один из членов ОСМ. Возможно, он числился сторожем или имел какую-то иную должность, позволявшую ему там жить. Раз в неделю этот человек встречался с посланцем из Нормандии, который доставлял в Париж стратегически важную информацию о расположении германских наземных и водных объектов и о деталях сооружения оборонительного Атлантического вала. Получив донесения, он прятал их среди коробок со старыми министерскими бумагами; это был тайник, откуда их извлекала Вики. У здания было два входа – с улицы St. Germain и с улицы Dominique, что помогало ускользать от слежки.

Особую опасность для подполья представляли собой неожиданные облавы на железнодорожных станциях и в метро. Однажды в такую облаву попала и Вики, когда она несла чемодан, наполненный фальшивыми удостоверениями личности. «Что у вас в чемодане?», –

---

\* Продолжение. Начало см.: № 316, 317, 2024.

обратился к ней полицейский. – «Маленькая бомба, месьё», – ответила она, не смутившись, и озарила его прелестной улыбкой. Этот эпизод стал впоследствии легендарным, его любят упоминать пишущие о Вики. В действительности все, знавшие Вики, неоднократно отмечали ее находчивость, умение выходить из опасных ситуаций – до тех пор, покуда никакая находчивость ни ей, ни другим, уже помочь не могла.

Среди немногих, имевших доступ к Вики на rue Cassette, был близкий друг Оболенских, князь Кирилл Макинский. У него на работе произошел странный случай. Напомним, что Кирилл, бывший преподаватель английского языка, с благословения главы организации полковника Туни нанялся заведующим ночного ресторана «Монте-Кристо», где он и услышал от пьяного немца о готовящемся в глубокой тайне вторжении Гитлера в Советский Союз – за неделю до того как оно началось. Теперь случилось нечто загадочное: в один из вечеров в «Монте-Кристо» явилось несколько немецких генералов в полном обмундировании. Они потребовали от Макинского отдельный кабинет и заказали шампанское. Когда Макинский явился с бутылкой шампанского, ему было сказано, чтобы он остался и затворил за собой дверь. У Макинского возникло нехорошее подозрение – неужели, пойман? Стараясь не выдать страха, он разлил шампанское. Генералы встали, подняли бокалы и на безупречном английском произнесли тост: «Да здравствует Король (Long live the King!)» Осушив бокалы и щелкнув, по-немецки, каблуками, генералы раскланялись и удалились, оставив Макинского в недоумении; был ли то знак, что англичане знали о его подпольной деятельности и выражением поддержки Спротивлению? Что за этим действительно крылось, Макинский так никогда и не узнал.

Если Макинский в мирное время работал преподавателем английского, то другое лицо, получившее доступ на rue Cassette, был профессором французской литературы. Звали его Даниель Галлуа; он сделался правой рукой главы ОСМ, полковника Туни. Галлуа приходил к Туни под видом репетитора его сына – лицеиста Бертранда. «Мне здорово повезло, – написал мне Бернард. – Когда Галлуа кончал свои дела с отцом, он натаскивал меня по латыни, и я выдержал экзамен с отличием». Берtrand хорошо помнил, как Вики приходила к ним с корзиной, из которой торчала зелень моркови, а под ней – донесения для Туни. Позже мать Бертранда рассказывала сыну, что Вики была очень храбрая; не всякий мог решиться делать то, что делала она – устанавливать и поддерживать связь с военной разведкой.

Если ранее Туни получал добытые сведения прямо из рук Вики, то теперь он поручил Галлуа связаться с Вики, чтобы она передавала донесения ему. Кто такая «Вики», Галуа понятия не имел; быть может, это чья-то кличка, возможно даже мужчины... И конечно, он не подозревал, что эта «Вики» принадлежала к крошечной группе

основателей организации, которая стала одной из крупнейших в Сопротивлении, где уже насчитывались тысячи членов.

Настал день, когда должно было состояться их знакомство. Организовать встречу было поручено Роланду Фаржону, отвечавшему за формирование подпольной армии ОСМ. В назначенный час Фаржон и Галлуа встретились у входа станции метро Place St. Germain-des-Près. Сделав вид, что встреча случайная и, нарочито громко обрадовавшись, Фаржон повел друга к угловому зданию на rue Cassette. Войдя, сели в лифт, доехали до четвертого этажа, нажали на кнопку звонка. Дверь открыла Вики. Вот запись Даниеля Галлуа:

«Вижу ее темные волосы, бледную кожу, выдающиеся скулы, удлинённый рот... Глаза прищуриваются от приветливой улыбки, и я замечаю в них удивительный живой огонек. Позже я обнаружил, что этот огонек присутствовал у нее всегда, что бы она ни испытывала – ненависть, жалость, тревогу или насмешку... он был отражением ее душевного склада. Мы входим в прихожую. Я слышу за дверью чьей-то голос, вероятно, из гостиной. Спрашиваю: кто там? – «Не беспокойтесь, это Софка.» Ну и прекрасно; знаю, что Софка работает с Вики, и мне тоже предстоит с ней познакомиться. Теперь передо мной молодая дама в шляпе, точно в гости пришла; глаза подведенные, вроде как у Павловой. Фаржон меня представляет, называя по кличке – Пьер Ламбер; объясняет, по какому делу пришли. Затем он говорит, чтобы мы внимательно изучили друг друга»<sup>1</sup>.

Далее идет описание того, как они старались запомнить не только внешность друг друга, но даже манеры, вплоть до походки. Затем Софка и Фаржон, распрощавшись, уходят. Покуда Вики их провожала, Галлуа осмотрелся. Мебель в гостиной ничего особенного из себя не представляла, зато многочисленные фотографии на столе и у камина изображали элегантных дам и мужчин в одеждах, какие носили до Первой мировой войны. По этим снимкам можно было определить принадлежность Вики к русской аристократии; что объясняло и некую особенность ее речи, которую подметил Галлуа: не столько иностранный акцент, сколь особую интонацию, некоторое понижение голоса к концу фразы.

Когда Вики вернулась в гостиную, они договорились о времени и местах их будущих встреч, а также условились, как дать знать друг другу в случае, если встреча состояться не может. Телефона у Вики не было. Она объяснила, где следует оставить записку, если он дома ее не застанет: вот тут спрятан ключ от квартиры – в углублении на лестничной площадке, а записку положить вот в эту пудреницу, за дверью аптечки в ванной комнате. При людях Галлуа будет называть ее Катрин, она его – Пьер.

Галлуа уже собрался уходить, но заметил пепельницу – «Вы курите?». Вики призналась, что курит, когда есть что. Папиросы во время оккупации продавались мужчинам по талонам в строго ограни-

ченном количестве, а женщинам они вообще не полагались. Галлуа предложил ей закурить из своей пачки; Вики вынула папиросу, он поднес зажигалку, она поблагодарила, и они разошлись.

В дальнейшем у Вики и Галлуа было по две встречи в неделю, в экстренных случаях – чаще. Они назначали друг другу свидания в парках, городских скверах, иногда в кафе. Галлуа впоследствии вспоминал: «Обсуждая текущие дела, мы подолгу рассматривали витрины или листали для виду книги у лотков букинистов на набережной Сены; мы бродили по затемненным улицам, а с наступлением осенних дождей и холодов укрытием стали служить вокзалы, универмаги, станции метро. Говорили мы только о делах; всё постороннее могло помешать конспирации – постоянное присутствие опасности ни на минуту не позволяло расслабиться»<sup>2</sup>.

\* \* \*

Полковник Туни, Роланд Фаржон, Даниель Галлуа – все они были людьми, с которыми судьба свела Вики в совместной подпольной работе. Теперь к ним добавилось еще одно лицо – Жаклин Рамей (псевдоним – Элизабет Брюне). Полковник Туни прикомандировал ее к Вики, когда решил реорганизовать свой секретариат. Знакомство их состоялось на квартире, принадлежавшей одному из руководителей ОСМ, адвокату Жаку-Анри Симону. Впоследствии Жаклин Рамей так описала их первую встречу:

«Я только что вернулась из неоккупированной (южной) зоны. Мне было поручено перенять у Вики обработку донесений военной разведки, чтобы освободить ее для другой работы. Стоял чудесный день. Окна квартиры Симона выходили на Булонский лес; комната была залита солнечным светом. В лежавшем на столе пакете гражданских дел того дня был «послужной список» некоего Жана-Эрльда Паки: два обвинения в жульничестве и злоупотреблении доверием, третье, вызвавшее наши улыбки, – за содержание любовницы на супружеской квартире. Я вижу до сих пор, как Симон листает наш Кодекс в поисках подходящего параграфа для этого нарушения правил конспирации. Среди донесений был также отчет о путанице, происшедшей с поддельными хлебными карточками, которые предназначались для партизан, но, совершив кружной путь, вернулись в изначальный пункт. Мы направили карточки по верному пути»<sup>3</sup>.

Жаклин Рамей помнит, что настроение их в тот день казалось приподнятым: – «Мы были еще на свободе и полны энтузиазма; участие в борьбе помогало преодолевать горечь оккупации. Вики смеялась с той искрой в глазах, которая придавала ей особое обаяние. Я присмотрелась к ней: высокая брюнетка, с хорошей фигурой, приятным лицом, волевым подбородком... Я сразу прониклась к ней симпатией и доверием, с таким человеком можно было чувствовать себя уверенно. И еще – у нее не было и налета дамской манерности, которая способна

так раздражать. При том, оставаясь женственной, она была деловита и мысли свои излагала спокойно и точно»<sup>4</sup>.

Следующая их встреча состоялась у Вики на rue Cassette. Там Жаклин застала Вики за пишущей машинкой среди вороха бумаг. «Она показала мне, как классифицировать донесения военной разведки, поступающие из разных концов Франции, – по департаментам, по датам и другим дополнительным определениям. А если мне еще нужна будет ее помощь, то могу застать ее у Симона, где она бывает каждое утро.»<sup>5</sup> Но когда Жаклин попыталась это сделать, ее предупредили туда не ходить: на квартиру Симона был произведен налет гестапо; Вики и Симон чудом избежали ареста. С тех пор они предпочитали встречаться на улице, заранее уславливаясь о следующей встрече. Прилагая Викины донесения к своим, Жаклин относила их для передачи в Лондон к человеку, связанному с Реми, посланцем де Голля.

Ужесточение режима испытывали на себе не только участники Сопrotивления; всё откровеннее раскрывалась его нацистская суть, особенно в северной оккупированной части Франции. Так, согласно принятому Гитлером плану «окончательного решения еврейского вопроса», систематически усиливались преследования евреев. Для их спасения в подполье изготавливали фальшивые документы, свидетельствовавшие об арийском происхождении тех или иных лиц. Многим помогали перебраться в так называемую «свободную» зону Франции, хотя и там они не были застрахованы от депортации.

В спасении евреев деятельное участие принимали и русские, в первую очередь мать Мария (Скобцова)<sup>6</sup>, ее сын Юрий, о. Дмитрий Клепинин и Игорь Кривошеин. Он единственный из этой группы выжил и позже написал свои воспоминания. В середине июля 1942 года в Париже была проведена массовая облава на лиц еврейского происхождения. По заранее подготовленным списками приходили по домам и забирали сразу целыми семьями, хватали людей и на улице при проверке документов. Были схвачены 3,031 мужчина, 5,802 женщины и 4,051 ребенок; 6,900 человек были доставлены на Велодром – зимний стадион велосипедных гонок<sup>7</sup>. Там их держали несколько дней в ужасающих условиях, фактически без еды и питья. Известно, что туда удалось проникнуть в ее монашеском одеянии Матери Марии, оказать помощь детям и даже вынести оттуда двоих малышей. Остальным был уготован лагерь смерти Дахау.

## ГЛАВА IX

Не так много известно о конкретных акциях подпольной деятельности Вики. Но вот неожиданно я получаю книгу, о существовании которой даже не подозревала, – «Записки бойца армии теней» А.М. Агафонова<sup>8</sup>, которая проливает дополнительный свет на то как действовала ОСМ и Вики, в частности.

Александр Агафонов, чья настоящая фамилия Глянцев, мальчиком прибыл из Советского Союза в Белград, где воссоединился со своими родителями-эмигрантами. Там он окончил Русскую гимназию. Когда Гитлер напал на Югославию, Агафонов примкнул к югославским партизанам. Вскоре он попадает в немецкий плен, но ему удается бежать с двумя другими пленными, Николаем Бабушкиным и Михаилом Йовановичем<sup>9</sup>.

Втроем они пробираются на запад и после множества жизненно-опасных ситуаций, доходят до города Ля-Рошель в оккупированной немцами Франции. Голодные, уставшие и обтрепанные, они слышат на улице русскую речь – разговаривают две пожилые женщины. Друзья решаются к ним подойти и, признавшись, что они беглые пленные, просят о помощи. Женщины, чьи фамилии Агафонов так и не узнал, с риском для жизни приютили всех троих в своем доме, наполненном русскими книгами. Когда беглецы отдохнули и оправались, их благодетельницы вручили им деньги на проезд поездом в Париж. При этом они велели им явиться в воскресенье в собор на рю Дарю и спросить там либо «мать Марию», либо «отца Вениамина»<sup>10</sup>. К величайшему изумлению беглецов, оказалось, что у этих пожилых дам была связь с антифашистским подпольем!

Следуя их наставлениям, друзья попадают в семью полковника Приходькина, чья дочь берется обучать их французскому. В этой семье их обули и одели. Агафонов пишет: «Вид у нас стал вполне *парижский*. Одеть таким образом троих оборванцев, как мы, стоило огромных средств. Сейчас мы неплохо вписываемся в окружающую среду. Стали посещать знакомых этой семьи. Через врача Зернова мы познакомились с Верой Аполлоновной Оболенской, умной и очаровательной, жизнерадостной женщиной. По мужу Вера Аполлоновна была княгиней. Его самого мы никогда не видели. По вопросам, которые мне задавала Вера Аполлоновна, я определил, что встреча и знакомство с ней – не случайны»<sup>11</sup>. И далее:

«*Викки* (sic) – так называли ее все и так представилась она нам – интеллигентно рассуждала каждой мелочью нашей прежней жизни. Вопросы свои задавала подчас шутливо и не навязчиво, с удивительной душевностью откликаясь на всё нами пережитое. Отличное качество – уметь слушать собеседника. И она владела им прелестно. Но о цели столь обстоятельного разговора в первый день встречи не было ни слова»<sup>12</sup>.

Агафонов заметил, что у Зерновых и их знакомых Вики пользовалась особым авторитетом; там часто слышалось, «что об этом скажет Вики?». На одну из встреч с ней пришли двое незнакомцев. Один из них плохо запомнился Агафонову, он всё больше молчал. Зато второй, Кристиан Зервос, грек по национальности, запомнился хорошо, и в дальнейшем им часто приходилось встречаться. Агафонов признается:

«В моей голове всё перевернулось вверх тормашками! Оказалось, что люди, связанные между собой общей идеей борьбы с фашизмом, окружали нас всюду. И мы, словно по цепочке, попадали туда, куда надо, всегда были под опекой, нам в нужный момент протягивали руку помощи. И многие из них даже не догадывались, что работают в одной и той же, хорошо законспирированной организации, являясь ее звеньями. И была эта организация – ОСМ (Organisation Civile et Militaire) – Гражданская и Военная Организация, а Зервос был связующим звеном с другой подпольной организацией, *Main d'oeuvre immigrée* – Рабочих-иммигрантов»<sup>13</sup>.

Далее события развивались следующим образом: Вики, «с милой улыбкой» объяснила Агафонову, что, учитывая его квалификацию, если он на то согласен, его примут в ОСМ для выполнения особо ответственных поручений.

Наступило время расстаться с Михаилом и Николаем, получившим иные задания. Согласно полученным от Вики распоряжениям, Агафонов сфотографировался в автомате *фотомафон* и ему было сделано подложное удостоверение личности. При следующей встрече Зервос, в присутствии Вики, задал ему неожиданный вопрос: «Как у тебя с украинским?» Ему велели примкнуть к организации украинских сепаратистов и с направлением от нее поступить на завод, готовивший кадры металлостроителей. Оккупанты явно нуждались в специалистах по металлообработке; «немецкие тылы оголялись по мере хваленых побед в России, и нацисты заманивали иностранных рабочих повышенной зарплатой на пустующие заводы», – вспоминал Агафонов<sup>14</sup>.

На заводе его взял под свое покровительство молодой рабочий из Туниса по имени Мишель, который помог ему усвоить французские названия инструментов и разбираться в инструкциях. Мишель, в свою очередь, связал его со своим другом Морисом; и тот, и другой оказались активными членами Сопротивления. Днем Агафонов одолевал премудрость металлообработки; ночью, по заданию сверху, распространял в Париже антифашистские листовки. Тем временем германские войска всё глубже внедрялись в Россию, и настроение у ребят было мрачное. Вики и Кристиан всячески старались их подбодрить.

По окончании курса и сдачи экзамена, бежавший из немецкого плена Агафонов получает назначение – и куда? – в Берлин! Неделей позже за ним следует и Мишель. Агафонов попадает, по своим фальшивым документам, в лагерь для иностранных рабочих, состоящий из дощатых бараков с двухэтажными нарами. Рабочий день на заводе «Аксания-Верк» – 12 часов, в две смены; за минутное опоздание – штраф, за большее – суд.

Агафонов работал фрезеровщиком на станке повышенной точности. Согласно полученному заданию, он должен был саботировать части, которые попадали в его руки. Но как это сделать, чтобы никто не заметил? В Париже его предупредили, что с ним выйдет на связь человек, который состоит в немецкой антигитлеровской организации *Rote*

Kapelle (Красный оркестр). И действительно, по прошествии некоторого времени к Агафонову подходит, замеченный им ранее хромой немецкий рабочий. Он-то и есть тот «контакт» от немецкого подполья. По его наущению Агафонову удалось изготовить 150 штук бракованных трубок из титана, предназначенных примерно для ста немецких подлодок. На долю его напарника Мишеля, работавшего на заводе при аэродроме Темпельгоф, выпало подпиливать тросы управления в кабине пилота, что гарантировало гибель нескольких самолетов («по невыясненным причинам»). Теперь они свои миссии выполнили. Ясно, что диверсия будет вскоре обнаружена; необходимо что-то спешно предпринять. Это понимает и хромой рабочий. И вот Агафонов получает телеграмму из Парижа: «Мать упала, проломила голову. Состояние критическое. Немедленно выезжай». Телеграмма сделала свое дело: Агафонов получил от завода разрешение на отлучку после следующей ночной смены. Похожую телеграмму получил и Мишель.

На прощание хромой рабочий сует Агафонову пакет, похоже, с колбасой – на дорогу. Колбаса оказалась взрывчаткой, которую Агафонов, по указанию, засунул в одну из трубок и отвез на тележке в склад готовой продукции, предварительно согнув головку детонатора. В тот же вечер оба друга выехали поездом в Париж. Проезжая пограничный город Ахен, Агафонов посмотрел на часы: именно сейчас в Берлине должен сработать детонатор!

За этот акт «самодеятельности» Агафонову в Париже был устроен выговор: не его это дело, а дело немецкого подполья; теперь придется опять фабриковать для Агафопова новые документы. Но, в целом, Вики и Зервос остались их работой довольны.

Эта страница послужного списка Агафопова интересна тем, что она указывает на малоизвестный факт: на связь ОСМ, а тем самым и Вики, с немецким антигитлеровским подпольем. А следующее его задание освещает другой малоизвестный факт – сотрудничество, пусть эпизодическое, с французским коммунистическим подпольем. Происходило это, несмотря на глубокие принципиальные расхождения между консервативно-настроенными членами ОСМ и радикально-левыми коммунистами. Расхождения были и в применяемой тактике: действия коммунистического подполья были нацелены на саботажи и террористические акты, вплоть до убийства высокопоставленных немецких чинов и их французских коллаборационистов. Это вызывало жесточайшие ответные репрессии – массовые расстрелы заложников и мирного населения. Руководств ОСМ, напротив, считало, что силы следует беречь, чтобы готовить их к предстоящему общему восстанию, которое должно произойти по сигналу от де Голля после высадки союзных войск во Франции.

Тут уместно привести слова, услышанные Агафоновым от Вики, что гонения оккупантов на евреев и коммунистов значительно упрочили позиции Гитлера в реакционной среде, а в широких слоях –

чем ожесточеннее становились репрессии, тем сильнее сплачивался народ, «исполненный гневом к варварам»<sup>15</sup>. Иными словами, в обществе не было единого мнения в отношении Резистанса: одни винили Соппротивление за ужесточение репрессий, другие считали это неизбежной ценой за борьбу с захватчиком – тем более таким, чья идеология включала репрессии в отношении целых национальностей и групп населения. В русской эмигрантской среде раздвоенность ощущалась еще более сильно: одни надеялись, что война Гитлера против СССР может привести к уничтожению власти большевиков и считали тех, кто пошел в Резистанс, чуть ли не коммунистами (среди них были и такие), а Вики и ее русские коллеги считали нацизм не меньшим злом, чем коммунизм.

Новое задание, полученное Агафоновым и Мишелем как раз иллюстрирует сотрудничество ОСМ – если не прямо с коммунистами, то с партизанами-*маки*, среди которых было немало коммунистов. В основном, их кадры пополнялись за счет молодых французов, скрывавшихся в лесах от принудительной вербовки на работу в Германии.

Вечером 30 апреля 1942 года Мишель и Агафонов, с его свежеспеченным удостоверением личности, появляются на Лионском вокзале ровно за минуту до отхода их поезда, идущего на юг. У них был чемодан со сменой белья и большой сверток. В свертке – два разобранных автомата, предназначенные для партизан. На остановке близ города Дижон, их конечной станции, вошли немецкие фельджандармы. Проверка документов. Сойдут ли новоиспеченные фальшивки? – Сошли. – «А что у вас в чемодане?» – спрашивает жандарм... успешно прошла и проверка чемодана. Сверток остается лежать на полке. Нужно выходить, а забрать его с собой не предоставляется возможным. Путники с сожалением покидают поезд. Но тут в открытое окно вагона – оклик пожилой пассажирки, ехавшей с ними в купе: «Молодые люди, а ваш пакет!» – и она, на глазах у жандарма, который продолжал осмотр купе, протягивает на перрон этим *рассеянными ребятам* их драгоценный сверток<sup>16</sup>.

С этим пакетом они добрались по назначению к одному из лесных отрядов партизан. Там оба друга помогали приводить в порядок оружие всевозможного вида и обучали молодежь, под руководством опытного начальника, обращению с оружием, тактике нападения, обороны и ретировки, а также, как писал Агафонов, методам диверсии на железнодорожном полотне. Одновременно им самим предстояло выполнить полученное в Париже задание – обучиться азбуке Морзе. Не совсем понимая, для чего это нужно, друзья приступили к обучению без особого энтузиазма. Зато во время слета объединенной группы партизан на опушке леса – неожиданная встреча: друзья по побегу Михайло Иванович и Николай Калабушкин! Теперь они оказались товарищами по оружию.

Осилив азбуку Морзе, Агафонов и Мишель вернулись в Париж.

В назначенное время состоялась их встреча с Вики, близ моста Александра III. Вот как ее описывает Агафонов:

«Не собираетесь ли снова навестить *Великую Германию*?» – спрашивает их Вики. – Уверена, что оккупанты вас ищут здесь, а не у себя...» И Вики протягивает им новые документы с направлением в бюро набора, где вербуют людей на работу в Германии. Им предстоит наняться для прохождения в Берлине шоферских курсов, но работать они будут во Франции. Вики дает им строгий наказ – ни в коем случае не встречаться в Берлине со старыми знакомыми, не возобновлять прежних связей – это более чем опасно! Теперь Вики передает их новому непосредственному руководителю: «Прощайте, да хранит вас Бог!»<sup>17</sup>

Когда Вики отошла, к ним приблизился человек, представившийся как Анри Минье. По его указанию Агафонов и Мишель прошли процедуру приема на шоферские курсы и были отправлены в автошколу в предместье Берлина. Вербовка в Париже немцам большого улова не принесла, записалось всего семь человек, но в Германии к ним присоединился контингент юношей из Вильно и Кракова. В их группе стало 150 человек; так Германия пополняла недостающую ей из-за войны рабочую силу – в добровольном и принудительном порядке.

Пройдя в Германии шоферские курсы, Агафонов и Мишель вернулись в Париж и нанялись по заданию ОСМ водителями грузовых машин для германской строительной организации ТОДТ, ответственной за сооружение оборонительного Атлантического вала. Работая там, они должны были заняться насущно важной разведкой. Агафонову поручили наблюдение за немецкими подводными лодками у берегов Нормандии. Информация об их местонахождении должна была быть срочной и предельно точной для наводки на них союзной бомбардировки с воздуха. Вот для чего им нужна была азбука Морзе – для быстрой связи по радио с воздушными силами западных союзников. «Краткие сообщения радиста на личной волне, – читаем у Агафопова, – выглядели примерно так: позывные; после получения отзвона – сообщения по схеме: водоизмещение, количество СМ (подлодок), номер пирса, длительность возможной стоянки, номер радиста или его кличка. И всё! За бомбардировщиками оставалось, в случае подходящих метеоусловий, не опоздать и прицельно попасть.»<sup>18</sup>

После ряда успешно выполненных заданий и смены нескольких удостоверений личности, немцам всё же удается Агафопова выследить и арестовать. Его пытают. Выдержав пытки, Агафонов попадает в концентрационный лагерь Бухенвальд, откуда после прихода американской армии вышел едва живым. Был он на воле недолго. Согласно договоренности, достигнутой между Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным, эта часть Германии была передана под советскую зону оккупации. Агафонов оказывается вновь арестованным по подозрению

в шпионаже в пользу западных союзников. Он опять попадает в Бухенвальд – теперь это штрафной советский лагерь. Оттуда его доставляют в Москву. Одинокое заключение и допросы на Лубянке и в Лефортово; приговор выносится по статье 7-35. Осужден он на пять лет ГУЛАГа. Из лагеря Агафонов выходит по амнистии вскоре после смерти Сталина. Ему удастся стать на ноги и создать семью и в 1990 году Агафонов-Глянцев возвращается во Францию, где вновь встречается женщину, в которую был влюблен в Париже почти полвека назад. Там он пишет свои воспоминания. Они вышли в свет незадолго до кончины А.М. Глянцева в Монмеранси в русском Доме для престарелых.

## ГЛАВА X

Сегодня трудно представить себе условия, в которых велась конспиративная работа во время Второй мировой войны. Чтобы проявить сделанные тайком снимки военных объектов требовалось время; телефонные разговоры, естественно, прослушивались. К тому же телефоны были отнюдь не у всех. Письменные донесения приходилось передавать из рук в руки. Надежнейшим способом общения были личные встречи, но и те представляли собой немалый риск. Связь участников Сопrotивления с находившимся в Лондоне генералом де Голлем и западным союзным командованием осуществлялась преимущественно путем двусторонней радиосвязи. Громоздкая радиоаппаратура для этого поступала из Англии; ее сбрасывали на парашюте или доставляли на одномоторных самолетах типа *Lysander*, получивших ласковое прозвище *Лиззи*. Они же доставляли для Сопrotивления оружие, деньги, а также и засылаемых во Францию агентов.

Ассы Королевских военно-воздушных сил смотрели на эти примитивные летательные аппараты свысока; в мирное время они использовались на службе береговой охраны. Теперь ими управляли самоотверженные пилоты добровольческого 161-го Эскадрона Королевской Авиации. Не обладая навигационным устройством, летчики вынуждены были полагаться на собственное зрение и лунный свет; рейс в оба конца, преимущественно над вражеской территорией, мог длиться восемь часов; а места приземления обозначались едва заметными ручными фонариками<sup>19</sup>. Зато эти *Лиззи* не требовали большого разгона и хорошо утрамбованной площадки, они могли совершить посадку и в поле, и на лесной опушке. На посадку и взлет отводилось всего несколько минут. За это время надо было самолет разгрузить, принять донесения и взять на борт того, кто направлялся в Англию. Это могли быть выполнившие свое задание западные агенты или кто-то из участников Сопrotивления, кому угрожал арест или кто должен был лично отчитаться в Лондоне о подпольной работе.

Как узнавали в подполье о запланированном приземлении

*Лиззи?* Обычно по двусторонней радиосвязи, а еще – по зашифрованным передачам по Би-Би-Си, предназначенным для участников французского Сопротивления. Звучали они для непосвященных абсурдно: «Бабушка читает воскресную газету», или «Мэри не выносит устриц»... Засылаемых агентов обычно сопровождал и радист, их называли *пианистами*; чаще всего это были женщины, прошедшие в Англии специальные курсы для агентов. От них требовалось безупречное знание французского. Попав во Францию, они хорошо вписывались в местную среду. Тем не менее, в силу разных обстоятельств почти все они рано или поздно оказались пойманными; в живых к концу войны осталось всего несколько человек. На радистов германская контрразведка учредила во Франции специальную охоту. Поймав «пианиста», можно было путем шантажа, угроз или попыток заставить использовать свой пароль для отправки сообщений под немецкую диктовку. Известен случай, когда Вики удалось предотвратить подобную провокацию, нацеленную на высшее руководство Гражданской и Военной Организации. Вот как это описывает французским историк Сопротивления Жиль Перро<sup>20</sup>:

«Немецкому радиолокатору, ради камуфляжа установленному в машине скорой помощи, удалось зафиксировать сигналы, исходившие из дома в центре Парижа. Передачу вел оператор по кличке *Тильден*, работавший для Реми, посланца де Голя. Он был пойман за пультом прямо во время трансляции. Произошло это по собственной вине Тильдена: не желая расставаться со своей подружкой, он установил аппаратуру в ее квартире, нарушив тем самым запрет Реми вести передачи из Парижа, где сигнал легко было засечь. Во время допроса Тильдену пригрозили ‘баней’. Испугавшись пытки, он выдал местонахождение центра созданной Реми разведывательной сети «Нотр-Дам». Сам Реми в это время находился в Лондоне, но трое курьеров, как раз собиравшихся отбыть морским путем в Англию, были схвачены. Теперь Тильден получил задание от германской военной контрразведки проникнуть в центр Гражданской и Военной Организации, то-есть ОСМ. Тильден обратился к своей знакомой по теннисному клубу, Люсьен Диксон, которую привлек к участию в Резистансе. Тильден преподнес ей версию, будто ему не только удалось избежать ареста, когда схватили ‘Нотр-Дам’, но даже спасти свою аппаратуру. Теперь ему, дескать, из Лондона велено вступить контакт с руководителями ОСМ, чтобы начать работать для них.

Поверив Тильдену и пообещав содействовать, Диксон связалась с Вики. Вики почувала недоброе и наотрез отказалась встретиться с ним. Тогда Диксон обратилась к Галлуа. Тот доложил своему начальнику, полковнику Туни. Предложение Тильдена показалось Туни заманчивым; после разгрома ‘Нотр-Дам’ необходимо было заново наладить связь с Лондоном. Он поручил Галлуа воспользоваться Тильденом. Но Галлуа решил обсудить это дело с Вики, которой удалось убедить начальство в том, что история Тильдена ей кажется весьма подозрительной, - таким образом, она сумела сорвать провокацию. Правда Вики подтвердилось через две недели, когда по Би-Би-Си было передано, что Тильден действительно арестован; его рассказы об избежании ареста выявлены как чистая фикция».

Если в данном случае ОСМ удалось избежать серьезного провала, то 1943 год принес существенные потери. Так, в июне немецкой полиции и ее тайным агентам удалось перехватить британского парашютиста, а он навел их на одну из подпольных групп, работавших с ОСМ. Месяц спустя около Па-де-Кале перехватывается целая команда парашютистов, что, в свою очередь, привело к новой волне арестов на периферии. Центра ОСМ в Париже это пока не коснулось.

\* \* \*

В октябре Николай Оболенский вернулся с острова Джерси. 21 октября он обедал в ресторанчике неподалеку от rue Cassette с Роландом Фаржоном, которому отчитался в положении на Джерси. Там он оставил после себя русских пленных, работавших на сооружении оборонительного Атлантического вала, которые готовы были продолжать поставлять информацию, ранее шедшую через него. Оболенский связал их с местной ячейкой ОСМ. Несмотря на волну арестов, прошедших в северной части Франции, где Фаржон отвечал за боеготовность частей ОСМ, настроение у него было приподнятое, он считал победу над Германией обеспеченной. А через день, 23 октября, Фаржон был арестован.

Попался Фаржон случайно. Он пришел по делу к генералу Верно, даже не состоявшем в ОСМ. Покуда он там находился, пришли арестовать генерала, а заодно схватили и Фаржона. Так в руках гестапо оказался один из руководящих членов той самой Военной и Гражданской Организации, к которой гестапо уже давно подбиралось. И странное дело - казалось бы, всем, кто связан с Фаржоном, следовало укрыться, но вера в его непоколебимость была столь крепка, что они оставались на своих местах. Даже глава организации, полковник Туни, продолжал жить у себя в доме и, как обычно, выгуливал по утрам свою таксу, прямо на виду у высокопоставленных гестаповских чинов, которые обосновались в этом эксклюзивном районе Парижа.

В течение последующих недель гестапо не трогало ОСМ, готовясь как можно шире раскинуть свои сети. Роланд Фаржон был brave офицером, но конспиратор из него не вышел. Еще ранее Николай Оболенский подсмеивался над придуманной Фаржоном «теории мостов»: встречи должны происходить на мосту, а если явка двух человек почему-либо не состоится, ее следует перенести на тот же день недели и тот же час, только на следующий по счету мост через Сену. «Как может человек, поджидающий кого-то на мосту, особенно в дождь и непогоду, оставаться незамеченным?» – горячился Оболенский.

Покуда все оставались на местах и продолжали работу, им было невдомек, что Фаржон совершил непростительную оплошность: когда его арестовали, при нем была бумага, свидетельствующая о назначении его начальником всех вооруженных сил ОСМ севера

Франции! Кроме того, у него обнаружили при досмотре квитанцию об оплате телефонного счета с адресом конспиративной квартиры в Латинском квартале Парижа. При обыске квартиры агенты гестапо нашли оружие, амуницию, адреса тайных почтовых ящиков в Париже, Лилле и других городах, планы организационных схем военных и разведывательных единиц с именами участников, имена курьеров Сопротивления среди служащих Министерства почты-телеграфа-телефона. Мало того – в этой квартире Роланд Фаржон держал списки кличек членов организации. Так, в частности, генеральный секретарь ОСМ лейтенант военных сил Сопротивления Вера Оболенская фигурировала под прозрачной кличкой «Вики», а ее помощница Софья Носович как «Софка»!

Всё это всплыло наружу гораздо позже; пока же остававшееся на свободе руководство ОСМ не имело ни малейшего представления о катастрофических последствиях ареста их энергичного коллеги. Тут есть момент печальной иронии, о котором свидетельствует историк Жиль Перро: во время своего ареста Роланд Фаржон вообще не должен был находиться в Париже. Его собирались перебросить в Лондон, где ему предстояло отчитаться о положении дел в ОСМ. Кто-то в Лондоне перепутал инициалы Роланда с инициалами его отца. Пожилой сенатор имел лишь отдаленное отношение к подполью, тем не менее ему предстояло улететь на *Лиззи*. Узнав об этом, Вики возмутилась: «Как можно подвергать людей опасности, чтобы доставить в Лондон этот старый сухарь!» И не так-то просто оказалось посадить старика в двухместный самолет приземлившийся всего на пару минут. Тем не менее, позабыв на земле свой зонтик, сенатор Фаржон улетел; он пробыл в Англии до окончания войны, покуда сына его перебрасывали из одной тюрьмы в другую.

\* \* \*

Приблизить сокрушительный удар по ОСМ помог еще один расколотившийся «второстепенный» член организации, арестованный по делу об убийстве французского полицейского-коллаборациониста. Арестованного подвергли побоям, а в соседней комнате пытали его подружку - причем, на глазах у ее маленькой дочки. Не выдержав, арестованный согласился пойти на свидание с человеком по кличке Дюваль. Явившись 16 декабря в условленное место, Дюваль, ничего не подозревая, подошел к сидевшему на скамейке знакомому и был тут же схвачен.

Вечером Даниель Галлуа встретился с Вики за Дворцом Инвалидов, чтобы обсудить необходимые меры, которые надо было срочно предпринять дабы ограничить последствия этого ареста. Обсуждая план действий, они долго ходили по темным безлюдным улицам. В этот критический момент Вики не изменили ни ясность мысли, ни ее самообладание, вспоминал позже Галлуа. Потом они

стояли на площадке станции метро, собираясь вместе проехать до пересадки.

«Поезд уже подходил, – вспоминает Галлуа, – и тут я увидел то, чего не мог заметить на темной улице: побледневшее лицо Вики, ее дрожащие губы.

– Не делайте такой грустной мины! На вас обратят внимание... Подбодритесь, подумайте о чем-нибудь другом.

Мы втиснулись в переполненный вагон.

– Да... – сказал я, как бы продолжая прерванный разговор, – я был на генеральной репетиции в Консерватории. Какая прекрасная программа! И Мюнч был в великолепной форме.

– А мы, – сказала Вики, – представьте себе, пошли в цирк. Было забавно...»<sup>21</sup>

В тот день Кирилл Макинский ужинал у Оболенских: «Встав из-за стола, я пошел помогать Вики вытирать посуду. Передавая мне полотенце, Вики тихонько шепнула: ‘Знаешь, дело дрянь, идут аресты.’ Я спросил – что ты собираешься делать? Она посмотрела мне в глаза взглядом, который я никогда не забуду, и пожалала плечами. Услышав шаги шедшего в кухню мужа, приложила палец к губам. Наш разговор перешел на другую тему»<sup>22</sup>.

На следующий день у Вики была запланирована встреча с Жаклин Рамей, чтобы передать ей свои донесения для отправки их в Лондон. Жаклин потом вспоминала: «Мое расположение к Вики должно было расти. Умная, пунктуальная, Вики никогда ничего не записывала; всё держала в уме. Мой телефонный номер, как и много другое, был просто занесен в ее память. Наша прошлая встреча состоялась в чайной напротив магазина Бон-Марше. К нам тогда присоединились Франсис Мишель и его жена. Он принес донесения о положении в Нормандии; Вики – о севере Франции. Говорили мы о том, как всё будет после войны, смотря на будущее с уверенностью в победе, но без особых иллюзий.»

Встреча, назначенная на 17 декабря, должна была состояться в 16:00 у станции метро Sèvres-Babylone. Вики там не оказалось. Жаклин Рамей хорошо запомнила этот день: «Сперва я удивилась, потом стала беспокоиться, хотя и старалась убедить себя, что она, возможно, поехала на место нашей прошлой встречи. Отправилась туда, заказала для отвода глаз чашку чая, но проглотил ее, не чувствуя вкуса. Вернувшись к метро, убедилась, что Вики там нет. У меня упало сердце; несостоявшиеся встречи редко были вызваны недоразумением или чей-то забывчивостью; мы уже понимали тогда, что это может означать»<sup>23</sup>.

*(Продолжение следует)*

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Daniel Gallois, *Vicky. Souvenirs et Témoignages* (Воспоминания и свидетельства; частная публикация) Paris. 1950. С. 24-25. Далее – *Vicky*.
2. Там же С. 27.
3. Elisabeth Brunet (Jacqueline Rameil). *Vicky*. С. 50.
4. Там же. С. 50-51.
5. Там же.
6. Монахиня Мария (известна как мать Мария, в миру Елизавета Юрьевна Скобцова, в девичестве Пиленко, по первому мужу Кузьмина-Караваева. 1891–1945, концлагерь Равенсбрюк), монахиня Западноевропейского экзархата русской традиции Константинопольского патриархата. Поэтесса, мемуаристка, публицистка, общественный деятель, участница французского Сопротивления. Канонизирована Константинопольским патриархатом как преподобномученица в январе 2004 года.
7. Calmette, Arthur. *L'OCM'. Organisation Civile et Militaire. Presse Universitaire de France*. Paris, 1961. С. 135.
8. Агафонов-Глянцев, А.М. *Записки бойца армии теней*. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1998. С. 163.
9. О том, что Иванович, который фигурирует в книге как Михайло, тоже русский эмигрант из Югославии, автор не упоминает. Об этом узнаем из книги воспоминаний его дочери, Марии Иванович, в 2000-е годы бывшей послом США в ряде независимых государств – бывших республик СССР.
10. Подпольная кличка отца Дмитрия Клепинина. Дмитрий Андреевич Клепинин (1904–1944, концлагерь Бухенвальд), священник Западноевропейского экзархата Русских приходов Константинопольского Патриархата, общественный деятель, участник французского Сопротивления, причислен к лику святых.
11. Агафонов. С. 123.
12. Там же.
13. Там же. С. 125.
14. Там же. С. 128.
15. Там же. С. 163.
16. Там же. С. 167-169.
17. Там же. С. 179-180.
18. Там же. С. 206
19. Olson, Lynne. *Madame Foucarde's Secret War*. NY: Random House, 2019. С. 136-137.
20. Perrault, Gilles. *La longue traque. Editions Jean-Claude Lattes*. Paris, 1975. С. 154-174.
21. Gallois. *Vicky*. С. 27-28.
22. Makinsky. *Vicky*. С. 12.
- 23 Там же.

# ЭССЕ. ОЧЕРКИ. ИНТЕРВЬЮ

Татьяна Вольтская, Слава Сергеев

## Мы все пишем коллективную «Гернику»

*Мы продолжаем серию интервью с известными писателями, уехавшими из Российской Федерации после 2022 года – начала войны против независимой Украины (см. интервью с Людмилой Улицкой, НЖ, № 309, 2022). Они называют себя «экспатами», «релокантами», а не иммигрантами, – кто больше, кто меньше, но надеясь на возвращение на родину. Отличаются ли они от предыдущих волн русской эмиграции лишь «Э оборотной»? Со стороны, из диаспоры, кажется, что различия лежат глубже... Но кто знает... возможно, этот новый «философский корабль» (корабль воздушный) просто еще не различим в туманной дистанции?.. Как бы то ни было, «пятая волна» уже три года на наших, «других берегах». Понять ее – и понять, что происходит с русской культурой, литературой сегодня, возможно лишь выслушав и приняв «пятую» такой, какова она есть.*

**Слава Сергеев:** *Ваша первая изданная вне России книга «Дезертиры империи» пропитана болью<sup>1</sup>. Каждое стихотворение – про войну. Как вы это выносите, вообще?*

**Татьяна Вольтская:** Слушайте, человек же сволочь, он всё выносит. Он и концлагерь выносит... (Усмехается). А вы спрашиваете, как я это выношу. Понимаете, когда мне еще не было пяти лет, у меня умерли отец и дед в одну неделю. Мы переехали с Петроградской в новый район, не любимый и не ставший родным никогда. Мы с мамой приходили под окна старой квартиры и плакали по выходным... Как я это выдержала? Как Адам и Ева выдержали изгнание из рая? Я – человек, приученный к тому, что жизнь состоит из потерь. То есть изгнание из страны для меня было вторым, первым было «изгнание» с Петроградки. Причем, как только я туда вернулась – купила квартиру неподалеку от места, где мы жили, – началась эта война, и я должна была снова уехать. Плюс – и это, конечно, главное, – разлука с сыном, который остался там. Это на личном уровне. А на надличном, хотя это тоже на личном, потому что разделить сейчас их

---

**Татьяна Вольтская** – петербургский поэт и журналист. Автор семнадцати книг стихов. Лауреат премии журналов «Звезда» (2003) и «Интерпоэзия» (2016, США), дипломант премии «Московский счет» (2022). Работала на радиостанции «Свобода». В 2021 году объявлена в России «иноагентом», с 2022 года живет в Тбилиси.

**Слава Сергеев** – писатель и журналист, автор пяти книг прозы и книги эссенстики о классических и современных поэтах, писателях и философах «Не всё поправимо. Эссе, статьи, пародии, интервью» (СПб, 2025). С 2022 года путешествует.

вообще невозможно, – когда по вине твоей страны гибнут люди, когда города раскатываются в пыль и прах, и как тебе с этим существовать и в зеркало смотреть – вообще непонятно. Поэтому такие стихи.

**С.С.** – *И прямо каждый день, каждый день эта боль? Или это для вас... «топливо», для вашего поэтического дара?*

**Т.В.** – На человеческом уровне – это, конечно, просто ежедневные боль, ужас, стыд. А на писательском, поэтическом – да, топливо... Любая трагедия, любое сильное переживание, любая сильная эмоция – это всегда топливо для поэтического дара, скажу я цинично. Давайте вспомним Цветаеву, которая, сознательно или бессознательно, организовывала себе романы. Любовь, страсть, разрыв, трагедия и – стихи. Она выработала такой образ лирической героини, что – вот, тебе досталась королева, а ты пренебрег. Тебе богатство привалило, а ты погнался за прахом земным... На житейском уровне я ее не очень понимаю, но понимаю как поэт; без этого она, видимо, не могла. Я не могу сказать, что я себе что-то организовывала сама – за меня организовала жизнь. Вот получилась одна книжка, вот уже вторая, и вышел прозаический «Грузинский блокнот»... Да, можно так цинично говорить – про топливо, но если бы не завоевали Трою, не украли Елену, то о чем бы писал Гомер? (*Смеется*). Любовь, преступления, измены, убийства – о чем была бы литература, если бы этого не было? Если мир прошел через грехопадение и началась человеческая история – то ее законы таковы и больше не каковы.

**С.С.** – *Простите за странный вопрос: а вам не хочется написать стихотворение о каком-то тбилиском пейзаже, о любви, что-то философское?*

**Т.В.** – Я пишу иногда о любви, во второй книге, изданной после отъезда, – «Ты доживешь»<sup>2</sup> – об этом есть... Любые стихи о Тбилиси – пока, по крайней мере, – у меня получаются через тоску по собственному дому... Знаете, я здесь слышала, что петербуржцы вообще очень тяжело переживают разлуку с домом, тяжелее других, и я с этим согласна. Потому что Петербург – такое специальное место, которое не отпускает.

**С.С.** – *Вам ведь приходится каждый день читать новости – как журналисту, вы от этого даже отвлекаться не можете?*

**Т.В.** – А я не хочу отвлекаться, понимаете ли... Я и в отпуске их читаю. Это ведь как... Ну предположим, ваш родственник, близкий, мама-папа, сошли с ума, убежали из дома, голыми бегают и нападают где-то на людей с дубиной. Ведь немного странно за этим не следить, пока их не поймали, правда? Можно, но неестественно... Поэтому следишь. С ужасом раскрываешь сайты, каналы и смотришь, скольких они еще убили – в Днепре, Харькове, еще где-то...

**С.С.** – *А вы воспринимаете это как свое? Эти действия, вы имеете к ним отношение?*

**Т.В.** – Да, я имею к этому отношение.

**С.С.** – *Какое, объясните?*

**Т.В.** – Ну какое... Я часть этой страны, я выросла вместе с этими людьми, я ходила с ними по улице в одну школу, возможно, в одни магазины... Это люди, лица которых я понимаю, поглядев на них... Я приезжаю в Германию, смотрю на людей и мне непонятно, что за ними стоит. А за этими лицами – понятно. Мы говорим на одном языке, мы одно стихотворение учили в 1-м классе наизусть... Это чего-то стоит... Эти убийцы, они всё равно в какой-то степени остаются людьми моей общности, моего народа, и чем больше ты осознаешь эту близость, тем ужаснее.

**С.С.** – *Я не очень понимаю, какую близость вы испытываете, в чем и к кому?*

**Т.В.** – Как какую... Это мои со-племенники, мои со-граждане.

**С.С.** – *Но наших сограждан много, около 100 миллионов, вы же не можете быть близкой каждому?*

**Т.В.** – Ну и что... Ну и что... Меня в Facebook часто спрашивают: а почему вы пишете «мы», какое отношение к вам имеет, например, какой-нибудь руководящий генерал? Как какое! Он на моем языке говорит, топчет ту же землю... Для меня это очень много.

**С.С.** – *Земля – это вещь немного условная, границы, я имею в виду. Когда-то великий Стамбул, который я люблю, был не менее великим Константинополем.*

**Т.В.** – А для меня всё это не условно. Я сделана из этой глины, этой же воды, что и они. Из невской водички, я имею в виду. Они ее тоже пили, у нас в этом смысле один телесный состав. *(Смеется)*. Мы дышали одним воздухом. Когда-то моя журналистика началась с неоправданного письма Бродскому, я ему написала: мы перед вами виноваты, что не удержали у себя в стране своего поэта. Очень важно для людей дышать одним воздухом с вами, писала я... Для меня это важно.

**С.С.** – *Но если бы Бродский не уехал, он бы не стал Бродским? Если бы он не уехал, может быть, это был бы Кушнер...*

**Т.В.** – Нет, никогда! Это был бы другой Бродский. Кушнером он бы не был никогда. Это другой размах, темперамент, другое дыхание, и, главное, другой, с первых стихов, трагический взгляд на жизнь.

**С.С.** – *Я прикинусь непонимающим и спрошу, а что такое «трагический взгляд на жизнь» для поэта?*

**Т.В.** – Ну-у... Такой поэт, как Бродский, – это, конечно, рыцарь Печального образа. Посмотрите, даже его первые стихи, еще довольно размытые... Он ощущает трагичность мира. Он ощущает трагичность жизни самой по себе, как таковой. Это вам не «Евангелие от куста жасминового», как у Кушнера<sup>3</sup>.

**С.С.** – *Но жизнь одновременно и прекрасна, разве нет? Вот это дерево в свете фонаря, стена с лепниной, южный вечер, – всё это присутствует, и прекрасно, несмотря на то, что где-то идет война...*

**Т.В.** – Безусловно. Более того, я считаю, что любой – не только поэт, но любой творческий человек, если он не делает «Черный квадрат», если он творит, он уже выражает любовь к миру. Если я вас сейчас

нарисую – мне это интересно. Значит, мне нравится ваша голова, причёска, очки... Дерево, его листья, изгиб. Это в меньшей степени касается абстрактного искусства – там более сложный разговор. Но искусство более традиционное, фигуративное, соблюдающее форму – вот это важно... весь вещный мир дан нам в какой-то форме. – Что мир, который мы видим, что мир, который под микроскопом, что мир, который за пределами нашего зрения, – он всё равно в какой-то форме. Я представляю, как Господь, когда сотворял этот мир, сидел и рисовал: это липа, такая форма листочка, а это дуб – уже другая. А это Вася, а это – Петя, у него такой нос, а у этого уши смешно торчат. То есть мир бесконечно разнообразен, и драгоценна каждая деталь. И когда художник это видит и любит – а если он изображает, он уже любит, я так думаю, – то он говорит «да» этому миру. Поэтому, даже если ты весь в слезах пишешь, как ты несчастен и какой ужас происходит вокруг, – ты всё равно творишь произведение искусства, и ты превращаешь это несчастье в явление духовной жизни со знаком плюс.

**С.С.** – *То есть вы считаете, что какое-то ваше стихотворение о войне из книги «Дезертиры империи» – это явление духовной жизни со знаком плюс? Или я напишу что-то по рассказам украинских беженцев – это тоже плюс?*

**Т.В.** – Да, я думаю.

**С.С.** – *А в чем этот плюс? Это же изображение чего-то страшного?*

**Т.В.** – Так можно сказать, что вот Веласкес изображал карликов – это со знаком плюс? А это очень красиво, правда? И когда вы напишете об украинских беженцах – вы не дадите их забыть, вы зафиксируете эти события, это работа памяти. И то, что делаю я, – это то же самое, только на уровне искусства. Я фиксирую свой ужас, свой крик... Вот «Герника» – это же и страшно, и прекрасно... Я думаю, что все поэты, пишущие сейчас о войне, мы все сейчас пишем такую общую, коллективную «Гернику».

**С.С.** – *«Герника» страшна, да, но в ней есть некая гармония.*

**Т.В.** – А разве в моих стихах нет гармонии?

**С.С.** – *Есть, но это, скорее, гармония языка, русского языка, его мелодики, которой вы очень хорошо владеете. Содержание их часто – страшно.*

**Т.В.** – Так мое средство – это язык. Его ритмика, мелодика, звук... А когда художник рисует Страшный Суд, и у него грешники вверх пятками падают в ад, он же ужас рисует, правда? Но одновременно это великое произведение искусства. Это претворение кошмара и хаоса жизни в космос искусства... Так что – всё нормально. *(Смеется).*

**С.С.** – *Вы видите в последней фразе свою задачу, я правильно понимаю?*

**Т.В.** – Конечно. Художник – всегда создатель мира, из хаоса жизни и хаоса смерти. Смерть разрушает, а мы ее хватаем за хвост или за руки, за ее косу. Этими стихами, этими фильмами, которые сейчас делаются, этими картинками, которые пишутся...

**С.С.** – *Если схватить за косу – можно обрезать.*

**Т.В.** – А мы и режемся. А мы все больные, которые сюда приехали помимо своей воли, кто не хотел уезжать, старые, молодые – мы все не вылезаем из поликлиник, у нас здесь всё болит, всё сыпется... Спросите у кого угодно – все в депрессиях, гастритах и так далее. Но мы продолжаем делать то, что делаем.

\* \* \*

**С.С.** – *Кому сейчас могут помочь стихи?*

**Т.В.** – Я думаю, что очень многим, судя по их популярности. Стихи первыми отзываются на события, особенно такого катастрофического характера, как сейчас. Пока напишется проза... Пока созреет что-то большое, толстое и умное... А стихи – это эмоция. Вообще, любое искусство – это эмоция. Хотя некоторые кураторы и теоретики современного искусства любят провозглашать, что эмоция – это прошлое, это примитивно и нам не нужно. Я с этим не согласна. Я думаю, что эмоция – одна из основных составляющих искусства, эмоция и красота, гармония, и когда жизнь приходит в состояние хаоса, человек очень нуждается в гармонии и космосе. – Это то, о чем мы только что говорили: превращение ужаса жизни в гармонию и космос, и стихи это делают быстрее всего. Очень часто мне и другим поэтам пишут: мы вас читаем, и это нам помогает жить. Это не фигура речи, это буквально. И я этому, наверное, верю. Потому что мы не врем в своих эмоциях. Вы идете по прекрасному городу или смотрите на закат, или, может быть, на извержение вулкана – когда вы смотрите один, это одно – ну, вы видели это, ну, это прекрасно; но если вы смотрите с любимым человеком, другом или просто с кем-нибудь, впечатление как бы удваивается, оно разделено, его становится больше, оно становится более настоящим. И вот, я думаю, что когда человек читает эти мгновенные впечатления, зафиксированные в стихах, он тоже как бы удваивает свою жизнь в это мгновение, удваивает свое впечатление, свою эмоцию. Она кажется ему более значимой. И когда человек видит, что искусство реагирует так же, как он, как его душа, – он не одинок. Он как бы вписывается в эту историю и становится частью чего-то большого, родственного ему. Это его убеждает, быть может, в его правоте, и в том, что он не один. А раз он не один – значит, это нормально – испытывать такие чувства. Не я один такой сумасшедший, которому больно, дико, страшно происходящее, – и это помогает. А при помощи соцсетей помогает быстро.

**С.С.** – *Вы ведь активно пользуетесь соцсетями? Получается как бы почти моментальный отклик...*

**Т.В.** – Да, причем по просьбе российских читателей я завела Telegram, потому что Facebook плохо работает в России. И потом, особенно старшая публика не вся справляется с VPN и всеми техническими новшествами. Многие оказались просто отрезанными от информации, от

общения. А Telegram, слава Богу, пока работает. Потом, я стала сейчас публиковать не только стихи. У меня такой блог, в котором я откликаюсь на какие-то события, размышляю вместе с другими – например, как нам не ссориться – уехавшим и оставшимся, жалеть ли жён мобилизованных... Я считаю, что нужно жалеть, что не нужно ссориться, нужно вежливо друг с другом разговаривать – это тоже как-то помогает, это многих волнует. Рассказываю о политзаключенных, чтобы люди понимали, что не всем нравится война и пропаганда, что есть и мученики, и святые нашего времени... Мне кажется, что сейчас очень важно общение, важно не оставаться одному и говорить друг с другом.

**С.С.** – *Расскажите про свое начало, про Кривулина<sup>4</sup> и то, как вы попали в его кружок или круг, точнее. Вы пишете, что он оказал на вас большое влияние.*

**Т.В.** – Это не кружок и не круг, это подполье, петербургский андеграунд. Кстати, мы никогда не говорили «Ленинград», «ленинградский», это было для нас оскорбительно. К Вите Кривулину мы приходили на Большой проспект Петроградской стороны, дом 7, до сих пор помню номер. Он там жил с какой-то по счету женой, у него недавно родился сын Платон, которого купали где-то в недрах коммуналки, а потом мы читали стихи... Я помню эту атмосферу, длинный коридор, а в коридоре висел телефон, большой, почти как уличный, и я помню разговоры – где-то был обыск, была гебуха, – и это было как бы клево: вот мы такие молодые, а ГБ охотится за нами...

**С.С.** – *А что искали-то? Это же всего лишь стихи и обычный треп?!.. (Пауза). Простите, не удержался.*

**Т.В.** – Ну что вы... Независимый кружок литераторов, это нельзя! Потом, я помню имя Гройс. А это философия. Не марксистско-ленинская! Ужас! Нельзя! Какие-то перепечатанные листочки Бердяева, мы их друг другу передавали... То есть была запрещенка. Потом были какие-то вести с Запада, приехала тетенька, про этого Гройса рассказывала... А он живет за границей, печатается за границей – очень опасный!.. Кроме того, издавались подпольные журналы. Витя Кривулин издавал журналы «37» и «Северная почта», и в одном из них у меня были публикации, одна или две, ерундовых ранних первых стихов, но все-таки... И тогда же я познакомилась с Сережей Стратановским, в какой то котельной...<sup>5</sup>

**С.С.** – *Вы были в котельной? Настоящей?.. (Смеется).*

**Т.В.** – И не в одной! Например, Валя Бобрецов<sup>6</sup>, очень хороший поэт, его никто сейчас не знает, потому что он нигде не печатается и на поверхности не появляется. Он еще и художник, рисует под псевдонимом Настя Козлова, и у него есть серия чудесных крохотных книжек-раскладушек, они у меня остались в Питере, он дарил их мне на день рождения. Была серия «Сапоги» с такими примерно стишками: «Были у внука хорошие валенки, а пришли чекисты и отняли у маленького» (это я импровизирую, но смысл такой). Валя работал в

котельной, и мы туда приходили довольно часто... или... А, может, Валя сторожил бассейн на Конюшенной, могу уже перепутать.

**С.С.** – *Это какие годы?*

**Т.В.** – Самое начало восьмидесятых. Или даже рубеж 1970-х и 1980-х. Я застала это уже почти на излете. В котельной на Обводном канале сидел поэт Олег Охапкин<sup>7</sup>, и меня с ним познакомили. Это был религиозный поэт, совершенно сумасшедший. Привел меня туда Сережа Стратановский, с которым мы чуть раньше познакомились, подружались и дружим до сих пор. Понимаете, для нас не существовали Вознесенский или Кушнер, мы зачеркнули для себя возможность советской карьеры... я выучилась этому у старшего поколения, а они так жили всю жизнь... Я ухватила от них уже вершки, но это очень серьезно, когда ты получаешь такую прививку в 18-19 лет. Советской поэзии не существует, они – где-то там... Они продали душу, если они печатаются, а мы – свободны. И мы действительно были свободны. Это не значит, что наши стихи были очень хорошие, а их – плохие, так не бывает, – всегда есть «питательный бульон» и пара «звезд». Стратановский – прекрасный поэт, Лена Шварц была большой поэт. Был такой замечательный человек Наль Подольский, писатель... Но в основном это всё были, скорее, интересные фигуры, чем большие литературные таланты. У Подольского была квартира на Офицерской улице и выход на крышу. И мы туда с радостью выходили... К нему приезжала Ольга Седакова, приходила Лена Шварц, читали стихи... И я помню, как мы оттуда рано утром шли домой. Белые ночи, а ты идешь, тебе девятнадцать... ночь напролет звучали стихи, что-то выпивали, – это было хорошо.

**С.С.** – *А что он был за человек, Кривулин, расскажите. На фотографиях – эффектный...*

**Т.В.** – Да, он был очень харизматичный. Это был культуртрегер, очень мощный, вокруг которого пульсировали всякие литературные круги. При этом Витя был инвалид, ходил с палочкой и очень серьезно хромал. Но когда он рассказывал, что он от обыска КГБ убежал по крышам, – никто не смеялся. Он очень убедительно это рассказывал, и эта его шевелюра, как у философа Владимира Соловьева, горящие глаза, когда он говорил... Потом возник Клуб-81, но в него я не пошла, по семейным обстоятельствам... Я вышла замуж не очень удачно, мягко говоря, и лет с 22 исчезла отовсюду. Правда, в Клуб-81 я не очень стремилась, потому что он совершенно точно курировался КГБ, этого даже никто особенно не скрывал. Надо сказать, что советскую поэзию игнорировало не только подполье. Примерно так же к ней относились в поэтическом кружке, в ЛИТО, в которое я ходила и которое оказало на меня большое влияние. Руководил им Вячеслав Абрамович Лейкин<sup>8</sup>. Не знаете? Я не удивлена, между Москвой и Питером стоит большая китайская стена.

**С.С.** – *Перестаньте, Татьяна. «Ее никто не видел, но она есть»... и т.д. Ерунда это всё.*

**Т.В.** – Да, она есть... *(Улыбается)*. А Лейкин воспитал Дмитрия Коломенского, замечательного поэта, который сейчас живет в Израиле. Да и сам он интересный поэт, а педагог и человек – выдающийся. И у него был кружок для маленьких и для больших при «Ленинских Искрах», была такая газета в здании Лениздата на Фонтанке. И я туда ездила с 14 лет. И когда ты поднимаешься наверх, в 448 комнату... как сейчас помню этот запах типографской краски, и стихи, и Гумилев в 1980-м, например, году, и Пастернак, и всё, чего не было на полках. У меня мама – врач, и совершенно советская семья, никакого даже духа диссидентского у нас не было, и на Блоке для меня всё заканчивалось. А тут мне как дали *это* в 15 лет...

**С.С.** – *А как вы туда попали?*

**Т.В.** – Вы знаете, как всегда – по знакомству. У мамы была знакомая, с каким-то прекрасным сыном-подростком, они в конце 1970-х уезжали, это же было время отъездов, и она сказала: вот Таня, вот стихи, а у нас есть такой замечательный Лейкин, пусть она туда ходит. И я пошла. Как всегда – знакомые знакомых. Кстати, у нас не было никаких разборов, как это обычно бывало в других местах, мы просто читали стихи по кругу, у кого что было. И Лейкин читал нам – Багрицкого, например. Не просто Багрицкого, а его поэму «Февраль»<sup>9</sup>, это было серьезно... Он просто воспитывал в нас хороший литературный вкус, как я теперь понимаю. Кроме того, он брал советские книжки – и читал нам. Поэт Боков, например, такой известный советский поэт,<sup>10</sup> – «У Мавзолея ели молодые...» – и все хохотали, просто лежали, это был чистый кайф. И фамилии Вознесенский, Евтушенко произносились у нас через губу, никаких стадионных восторгов не было.

**С.С.** – *Но и у них есть интересные стихи, и были же действительно неплохие поэты в это время. Тот же Кушнер – это же был очень хороший поэт.*

**Т.В.** – Тогда Кушнер был хорошим поэтом, тогда. Но и тогда было от него ощущение не совсем полной свободы. Раз человек издается в издательстве «Советский писатель» – то, наверное, он идет на какие-то компромиссы внутри себя.

**С.С.** – *Ну а как же...*

**Т.В.** – Да, и поэтому это считалось не комильфо – в подпольных кругах.

**С.С.** – *Был, например, такой очень интересный поэт Владимир Соколов, московский, помните такого? Совершенно не ангажированный. Я не так давно в Израиле, в русском книжном магазине в маленьком городке под Хайфой, в букинистическом отделе, купил книжку его стихов. Кто-то привез из России, а потом то ли сдал за ненужностью, то ли умер, а дети отнесли в букинист.*

**Т.В.** – Был да, но это московский, опять же мимо...

**С.С.** – *Таня, ну перестаньте, а? Я как-то даже расстраиваюсь. Я жил в Питере, иногда подолгу, ну нет никакой принципиальной разни-*

*цы. Да, исторический центр города уцелел... Но всё равно, это всё – СССР, всё – Россия. Люди-то везде одни и те же.*

**Т.В.** – Нет, есть. Вся эта московская система рифм неряшливая... А Питер – это точные рифмы. Это колонны, это улицы, это античный строй вокруг, пусть фальшивый, неважно. И люди другие. *(Смеется).*

**С.С.** – *Ну хорошо. Как вы скажете, я ведь только слушаю сегодня.*

\* \* \*

**С.С.** – *Каким вы видите свое и общее будущее, если это всё будет продолжаться? Что вы собираетесь делать дальше?*

**Т.В.** – Есть много вариантов. Один из них – умереть под забором. Что вы так смотрите? Вполне реальный вариант. Я не так ослепительно молода, чтобы у меня была гигантская перспектива лет... Сейчас работаю, но я не уверена, что я смогу работать десятилетия напролет. Я смотрю на всех нас, на своих знакомых и коллег, кто живет здесь или в Берлине, или еще где-то, спрашиваю у них, как дела – повторяю, болеют все. Может быть, люди, которые хотели уехать, которые не переживают ни за что, – им хорошо. Я совершенно не хотела уезжать, я хотела и хочу жить только в России, только дома, и этот отъезд – вынужденный и насильственный, и я его рассматриваю только как изгнание. Естественно, я не собираюсь сейчас возвращаться, потому что я не хочу сесть в тюрьму. Поэтому я думаю, что могут быть самые разные варианты, вплоть до «умереть под забором», потому что моих сил может не хватить полноценно работать и зарабатывать до того момента, когда сменится режим... Как он сменится – не знаю.

С одной стороны, я – как многие – конечно, жду этого, а с другой стороны – вспоминаю эмиграцию первой волны. Что они говорили? – Большевики не выдержат больше года, потому что это невозможно, все неучи – их власть рухнет. Что говорили люди, оставляющие в Петербурге свои квартиры, всходившие на эти философские пароходы, да и паровозы? Очень многие говорили: через год вернемся... У моих друзей (я уезжала в апреле 2022 года), было ощущение, что к августу – ну, хорошо, – осенью мы точно вернемся. У меня такого ощущения не было, я робко думала про два года – если повезет... Но теперь, конечно, и этого ощущения нет, пошел уже третий год... Понимаете, – перед войной все умники оказались неправы. Именно умники. Все умные и высоколбые говорили: этого не будет, он просто пугает, это блеф. Он же не сумасшедший, мыла не ест... А получилось, что мыла не ест, а война началась и идет. Мы все часто принимаем желаемое за действительное и недооцениваем ум и силу этих людей. Они умные, они сильные, они умеют ждать. У них не получился блицкриг – помните, как все радовались, ха-ха-ха? А они перестроились, внешне даже мускул не дрогнул. Они хотят «поймать всё стадо»... Как в анекдоте.

**С.С.** – *Таня, давайте про нас. Что они хотят, особенно сейчас, мы*

*можем только предполагать. Итак, вариант первый ясен – «забор». Второй.*

**Т.В.** – У меня ощущение, что это может быть игра вдолгую, вот и всё. А мы же не знаем, как долго мы проживем, правда? У меня надежда, что мои сыновья, если я не смогу работать, подхватят и помогут мне. Хотя бы один из них. Дай Бог – если им удастся найти хорошую работу, если мы сможем общаться, если страна не закроется совсем, если железный занавес не опустится и так далее. Очень много «если», понимаете? Так что все мои надежды... они есть, но они, возможно, совершенно бесплодные. Я могу говорить об этих надеждах в форме «мне хотелось бы», вот и всё. А получится ли, случится ли – я не знаю, и никто не знает.

**С.С.** – *Понятно... Тогда у меня следующий вопрос: на что вы внутри себя опираетесь?*

**Т.В.** – Я не знаю, на что я опираюсь. На отчаяние собственное, на то, что я пишу стихи, – это большая опора, потому что именно отчаяние часто переплавляется в искусство. По отзывам в соцсетях я вижу, что мое искусство кому-то нужно, что оно кому-то помогает, по крайней мере, в том небольшом кругу, который меня читает. Хотя с печалью вижу, что мои стихи об отечестве, о моей тоске по утраченному дому вызывают всё меньше отклика... Надеюсь на то, что стихи пишутся не на пять минут, не на сегодня, но это печально, потому что это говорит об ожесточении людей. Меня тут приглашали на канал «Ищем выход» и задали вопрос: – Овсянникова (помните, которая встала на Первом канале за спиной диктора с плакатом против войны), вот она, вроде бы, сказала, что она расслабилась, что Россия – гори огнем, в Европе хорошо, и устрицы по 5 евро, и еще что-то дешевое...

**С.С.** – *Где она такое нашла? Неправда... Может быть, штука?*

**Т.В.** – Нет, килограмм. *(Улыбается)*. Неважно, я тоже удивилась... Главное, ее посыл – лови момент, тут всё хорошо... А какая-то оппозиционерка ей говорит, что так нельзя... Позиция Овсянниковой у меня вызывает печаль, потому что хотелось бы проявления какой-то солидарности. Потому что когда столько наших коллег сидит по тюрьмам, подвергается опасности, особенно внутри страны, то говорить, что мне тут хорошо, а остальное гори огнем, – как-то странно. Это я говорю не в осуждение, а потому, что мне это ощущение и поведение не близко. Потому что я чувствую, что я живу на самом деле *не здесь*... Я живу в России и погружена в ее повестку.

**С.С.** – *Если я вас правильно понял, эта жизнь-не-здесь, погружение в повестку и связанные с ними ощущения являются эмоциональными двигателями вашей поэзии?*

**Т.В.** – Да. И то, что я нахожусь в Тбилиси... Я думаю, что если уж находиться вне дома, то здесь мне нравится больше всего. За эти два с лишним года я была в Париже, была в Израиле, была в Германии, была в Армении, и я нигде не хочу жить, кроме Тбилиси.

**С.С.** – *За что же вы Париж так не жалуете?*

**Т.В.** – Париж я обожаю. Из всех европейских городов, пожалуй, больше всего... Я бы не отказалась пожить там полгода, если бы такая возможность была. Но, понимаете, настоящее измеряется чем? Тебя окружающее колышет настолько, что выбивает из тебя стишок. Там из меня практически ничто стишок не выбивает. А здесь я прохожу мимо этого, часто довольно грязного, дворика, с этими лестницами, с этим бельем, с этим горшком с агавой, стоящим у ворот, и у меня лицо само расплывается в улыбку... Я чувствую здесь что-то необъяснимое, у меня появляется другое, второе зрение – которое необходимо для искусства. Понимаете?

**С.С.** – *Думаю, что да. Это взгляд как бы «сквозь».*

**Т.В.** – Да, ты идешь и вдруг понимаешь, что видишь окружающее немного иначе, чем до того... Появляется что-то необъяснимое, чему нет названия, из чего возникает искусство. И это возникает здесь чаще, чем где-либо, – может быть, потому что жизнь здесь, как и жизнь в России (я очень надеюсь, что грузины не обидятся), находится на менее цивилизованной стадии, чем в Европе. Потому что в Европе цивилизация – это максимальная атомизация человека... Твой быт очень закрыт; пройдите по немецким городкам, вы нигде не увидите этого висящего белья... Белье? Ну как это?! Упаси Господь... Там нет каких то домашних вещей, которые здесь еще вылезают наружу. У них потрясающая кооперация, горизонтальные связи, но это не то. А здесь – большие семьи, сильные родственные связи... вы обратили внимание, каким был чемпионат футбола, как они смотрели его все вместе во дворах – это невероятно здорово. В большинстве дворов есть кран, к которому то одна соседка в халате выходит посуду помыть, то другая...

**С.С.** – *То есть иллюзия коммунального быта – она вас здесь привлекает?*

**Т.В.** – Это не иллюзия, в большой степени он здесь еще присутствует. То есть человек здесь ближе к человеку. Знаете, сейчас есть такая опция, что ты приезжаешь как турист и живешь у кого-то дома, неделю или две?

**С.С.** – *Конечно, многие молодые люди так ездят. Каучсерфинг.*

**Т.В.** – Вот, один раз человек здесь пожил – и всё, он подсел на это, он приезжает год за годом. Сюда, и в Россию тоже.

**С.С.** – *Но зачем?*

**Т.В.** – А потому что это наркотик. Близость человека к человеку – это наркотик. На Западе этого нет.

**С.С.** – *Но это же иллюзия!*

**Т.В.** – А это неважно. Друг Бродского и его голландский переводчик Кейс Верхейл как-то пытался мне рассказать, почему он так любит Россию: «Таня, русское застолье – это же как голландский день рождения!» – говорил он.

**С.С.** – *Когда он это сказал?*

**Т.В.** – Лет пятнадцать назад, в Петербурге.

**С.С.** – *А меня почти тошнит от этой близости. И я ей не верю, она часто пьяная...*

**Т.В.** – Я вам говорю, как это действует *на них*, и я это видела много раз. Мы внутри варимся, и нам не хватает одиночества, отдельности... И здесь, в Грузии, тоже устанавливаются близкие отношения – например, как у меня с моими хозяевами, и это не исключение, многие о таком рассказывают. Люди здесь ближе друг к другу, теплее. Вы посмотрите, как они обнимаются здесь.

**С.С.** – *Это же грузины... Они и в Москве так обнимаются.*

**Т.В.** – Да, но мы так не обнимаемся. *(Пауза).*

**С.С.** – *Я вас понимаю... Да, особенно после Пярну и Риги, где мы прожили прошлую зиму, – здесь тепло, во всех смыслах.*

**Т.В.** – Да. Поэтому я и говорю – это действительно наркотик, это греет, и здесь не так одиноко. Это, пожалуй, самое главное. И это осколок империи, еще дымящийся, а мы все в ней выросли.

**С.С.** – *То есть вам понятен этот язык, «язык» здешней жизни?*

**Т.В.** – Мне понятна эта ментальность. Хотя, конечно, грузины – отдельный народ, и никогда они в свое нутро чужака не пустят, но всё равно у них есть возможность коммуницировать с тобой достаточно близко. Особенно у старшего поколения, начиная лет с сорока или с тридцати пяти. И даже молодых людей, не знающих русского языка, их советские дедушки и бабушки воспитывали, всё равно, когда глядишь на их лица – они не являются для тебя полностью закрытыми, как на Западе. Это огромный кусок общей культуры, и мне в состоянии изгнания эта общность помогает.

**С.С.** – *Я хотел бы еще раз уточнить: вы воспринимаете нынешнюю жизнь именно как **изгнание**? Не как добровольный отъезд?*

**Т.В.** – Конечно, как изгнание. Я думаю, что это была некая спецоперация, когда ходили слухи, что вот-вот, завтра будут обыски у всех «иноагентов»... И – ничего не было... Так не бывает, чтобы вдруг появилось столько слухов, их распускали специально, чтобы выдавить людей.

**С.С.** – *Некоторым звонили. Что, мол, лучше уезжайте.*

**Т.В.** – Ну вот видите.

\* \* \*

**С.С.** – *Давайте еще поговорим о поэтических влияниях на вас.*

**Т.В.** – На меня оказал влияние Александр Сергеевич Пушкин и, в большей степени, Михаил Юрьевич Лермонтов, над которым было пролито примерно три ведра слез. *(Смеется).* Это детские дела, но тем не менее.

**С.С.** – *«Быть может, за хребтом Кавказа»?..*

**Т.В.** – Вызывал больше «Демон», конечно... Вот вы меня спрашиваете про стихи, что для меня главное в них. Так вот, наверное, главное – это красота. Такой категорией сейчас просто не оперируют. Она как бы

ушла из искусства. А я ужасный ретроград в этом смысле. Махровый. Вот вы говорите: музыка стиха, и мне очень приятно, что вы ее слышите, это очень хорошо. И Вячеслав Абрамович Лейкин, он тоже ее когда-то услышал. «Какая версика!» – сказал он. Т.е. какая версификация. Потому что писала я тогда чистую ерунду. Я уже рассказывала, что когда я пришла в «Лениздат», в газету «Ленинские искры», мне было 14 лет, и поэт Михаил Яснов, друг Лейкина, там часто бывал.

**С.С.** – *Он переводчик?*

**Т.В.** – Да, он переводчик, но, в основном, он у нас известен как детский поэт. «Ну-ка мясо в мясорубку – шагом марш! Стой! Кто идет? Фарш».

**С.С.** – *Ужас. Какое современное стихотворение.*

**Т.В.** – Там все были молодые, и я такая прихожу, «я такая», как сейчас говорят, – в 14 лет не читавшая *ни-ко-го*. Ну, Тютчева и чуть-чуть Блока... И начинаю им выдавать стихи в стиле XIX века. Яснов с Лейкиным вокруг меня ходят и дивятся: что это такое? Потом одна девочка говорит: мне кажется, это Гумилев... Это о влияниях. А я это имя слышала в первый раз. Потом я всё прочла, конечно. Я помню, как знакомые родителей моей школьной подруги, узнав, что я пишу стихи, и что, вроде бы, мы приличные люди, однажды позвали меня, с моей Аней, и она мне на пороге квартиры дала сверток в целлофане – это был переснятый сборник Гумилева. Помните, как это бывало – на фотобумаге? И вот я прочла Гумилева – «Китайский павильон», «Факел», всё. Очень люблю его...

**С.С.** – *Вас не раздражает гумилевский романтизм?*

**Т.В.** – Нет, не раздражает. Я его принимаю. Его романтизм был оплачен жизнью! Вот изломанный дурацкий романтизм Бальмонта, который я терпеть не могу, – «будем, как солнце!», тьфу! – это другое. Человек, который в простоте не сказал ни одного слова, как о нем написала, по-моему, Тэффи...

**С.С.** – *Я помню, что студентом, году в 1985-м, купил с рук в Риге за 25 советских рублей большой том Бальмонта, недавно вышедший тогда, открыл и через 10 минут растерялся... Говорят, это Андропов разрешил некоторых из них напечатать по чуть-чуть, он любил стихи.*

**Т.В.** – Да? Мы купили одно и то же. Это была моя первая книга, купленная на деньги, сэкономленные на студенческих обедах, я ее открыла и закрыла, и никогда полностью не прочла. А вторая книжка, купленная тем же путем, – это было Евангелие. И вот с ним я уже не расставалась.

**С.С.** – *Такое, в мягкой клеенчатой обложке со страницами из папиросной бумаги?*

**Т.В.** – Да-да. Это протестанты нас всех снабжали.

**С.С.** – *Да, было такое... Хорошо. Бальмонт – «плохой». А кто «хороший»?*

**Т.В.** – Очень люблю Кузмина. Он на меня повлиял. И, безусловно, ранний Заболоцкий. Он был очень важен, если говорить о влияниях.

Это была школа взглядывания в природу, взгляд под таким странным углом. Книга «Столбцы» была очень важна. Еще я переболела Блоком. Всё великолепно, начиная со второго тома синего собрания<sup>11</sup>. Блоком я болела сильно, у меня даже был написан большой кусок поэмы, лет в 20, она так и называлась «Александр Блок». Потом, конечно, меня абсолютно переехал Бродский. И Мандельштам... И Анненский, конечно... Его «Старые эстонки», его ювелирная чувственность – это великая школа акмеизма<sup>12</sup>. Я думаю, что, вообще, акмеизм – это вершина; во всяком случае, в моей системе координат это остается самым важным, живым, не погибшим течением. В отличие от символизма. Современная поэзия впитала их принципы. И Мандельштам, и Ахматова – акмеисты. Их любовь к деталям, к конкретности, чего совершенно нет у упомянутых нами и не к ночи будь помянутыми Брюсова, Бальмонта, Вячеслава Иванова – а мне это очень дорого. Деталь у Ахматовой, у Мандельштама, «золотистого меда струя из бутылки темла» – ты видишь, как она течет, и «твердые ласточки круглых бровей» – как это нарисовано, это всё акмеизм. У Сафо: «Богу равным кажется мне по счастью / Человек, который так близко-близко / Пред тобой сидит, твой звучащий нежно / Слушает голос // И прелестный смех», – это очень точная мизансцена. «Зеленей становлюсь травы, и вот-вот как будто с жизнью прошусь я» – это уже почти цветаевские вещи, эти психологические этюды, обмирание перед любимым человеком. Деталь – это ведь можно по-разному понимать; иногда это стакан, стоящий на столе, а иногда это точно описанное состояние человека.

**С.С.** – *А вашу лирику можно назвать гражданской?*

**Т.В.** – Не всю. Я думаю, что она делится на любовную и гражданскую. Сейчас – да, я пишу много так называемой гражданской лирики. Последнее время нас ведь волнует всё, что происходит, правда ведь? Но, честно говоря, я никогда не думала, что смогу писать гражданскую лирику, – мне это было глубоко чуждо, как человеку брежневских времен, максимально оторванному от всего политического и считавшему, что абсолютно не комильфо – *на это* смотреть. Советские радио, телевизор – разве там что-то происходит? Ничего там не происходит. У нас были свои эмпиреи – Кузмин, Бердяев, добытый из-под полы, а политика – это было неинтересно. У меня гражданская лирика началась после Крыма, тогда у меня выбило какую-то пробку. Я написала цикл из 5 стихотворений, посвященных Украине, с этого все и началось.

**С.С.** – *Я хочу спросить про ваши отношения с творчеством Ахматовой. По-моему, она вам близка. Вообще, знает, что интересно и забавно? Мне кажется, вы ведете жизнь Цветаевой – вы в изгнании, вся на нервах и в сильных чувствах. А стихи похожи на ахматовские.*

**Т.В.** – Да черт его знает... *(Улыбается)*. У меня сложное отношение к ним обоим, но мне Ахматова, при всей любви к ее ранним стихам, «Четкам», совсем не близка – по-человечески.

**С.С.** – *Хладная? Так это же хорошо, она потому и выжила...*

**Т.В.** – Это может быть, но для меня настолько чудовищно оставить сына на попечении бабушки и уехать в Петербург... То есть она для меня великий поэт, а отношение к ней, как человеку, – совсем другое. Вообще, это важный и принципиальный вопрос, который я для себя еще в юности решила: ты сначала накорми тех, кто от тебя зависит, сделай для них всё, а потом – ночь, это – твое время, пиши. Нельзя творить за счет кого-то. Зоя Борисовна Томашевская, дочь известного теоретика литературы, рассказывала, как Ахматова звала ее, чтобы она ей поставила чайник в коммунальной квартире, и Зоя Борисовна бросала дочку-инвалида и ехала через весь город ставить Ахматовой чайник... – я этого понять не могу...

**С.С.** – *Но художник занимается тем, что формулирует некие смыслы – и это очень важная общественная задача, вы согласны?*

**Т.В.** – Это вы можете сказать, а сам человек, сам формулировщик, он должен тихо и скромно формулировать, и никак не считать, что он выше других и ему больше позволено. Кстати, у Цветаевой это было, она была романтик, конечно. Но мы сейчас не об этом говорим. Мне очень важно обозначить, что я не приемлю романтический взгляд на природу творчества, который возвышает себя над остальными людьми. «Бродят бешеные волки по дорогам скрипачей»<sup>13</sup>... Вот это – самые бешеные волки, которым лучше не попадаться. (*Смеется*). И я почему-то всегда этого инстинктивно боялась. У меня дома всегда должен был быть суп для детей, котлеты, дети должны быть одеты, отправлены в школу, встречены, отведены в кружки, а потом ты делай, что хочешь... Так я понимаю жизнь. Из общих христианских соображений и общечеловеческих, этических. Есть у тебя дар или нет, это будет понятно когда-нибудь, но ты сам, мне кажется, не должен думать, что у тебя есть дар, который тебе позволяет что-то, чего не могут остальные.

**С.С.** – *Вернемся к влияниям, Бродский. Вы несколько раз говорили, что он для вас был важен.*

**Т.В.** – Бродский – это чистое счастье, счастье необыкновенно сильных, мощных, красивых стихов. Знаете, когда приходили эти странички – «Эрика» берет четыре копии – «Письма Римскому другу», допустим, ты их читаешь – и у тебя слезы на глазах выступают.

**С.С.** – *Да, у меня тоже до сих пор.*

**Т.В.** – Потому что это красота. Настоящую, острую красоту трудно пережить.

**С.С.** – *Это просто «про меня». Настоящее искусство – это всегда «про меня». В этом – цель искусства?*

**Т.В.** – Да, оно должно быть «про меня», но не только. Стихи Бродского невероятно красивы. Особенно в советское время. У нас в доме, на кухне было всегда включено радио, и оттуда несло «Нас утро встречает прохладой». И, по сравнению с этим, Бродский был настолько прекрасен, само его существование было чудом и счастьем. Я никогда не думала про себя, что могу связать две строчки в

прозу и, знаете, вся моя проза и вся моя журналистика вышли из неотправленного письма Бродскому. Я о нем уже говорила – «простите нас, что мы не удержали своего поэта».

**С.С.** – Да, говорили... «Мы» – это кто?

**Т.В.** – Мы – люди. Я часть народа, я всегда себя так ощущала и сейчас ощущаю, поэтому говорю, что *мы* разбомбили больницу «Охматдит» в Киеве. Понимаете? Я пишу так. Я считаю, что это сделали *мы*.

**С.С.** – Вы – тут, в Тбилиси, вроде бы? Причем довольно давно.

**Т.В.** – Мы – страна.

**С.С.** – Нет стран... Это мне когда-то Александр Пятигорский сказал, философ. Есть – люди. Вы, я, ваши друзья в Питере, мои в Москве, Риге или в Грузии...

**Т.В.** – А для меня есть. Есть общность людей. И я где-то недавно прочла, что избегать этого «мы» – значит, избегать ответственности за то, что делает страна.

**С.С.** – Вы же уехали и так проявили свое отношение к происходящему? Мы уже про это говорили.

**Т.В.** – Нет. Я вам еще раз говорю, что я уехала – не желая уехать. Это отношение моей страны ко мне выражено в том, что я здесь, – но не мое отношение к стране. Большая разница. (*Смеется*).

**С.С.** – Боюсь, что вы берете на себя то, что называется «чужая вина на плечах». Помните, Макаревич пел?

**Т.В.** – Да, помню, потому что мы росли на нем.

**С.С.** – Зачем вам это?

**Т.В.** – Что зачем? Не зачем, а почему. Потому что я так чувствую. Потому что эти люди, которые всё это устроили – мы с ними из одной воды, глины, земли. Мы дышали одним воздухом, мы изучали одну школьную программу, нас учили одни и те же учителя, мы ходили по одним улицам в один магазин.

**С.С.** – В магазин, думаю, они очень давно не ходят... Ну хорошо, это долгий разговор. Таня, большое спасибо за интервью, а вы можете прочесть в завершение какое-то свое стихотворение, как говорится, к случаю?

**Т.В.** – Да, конечно Вот этот стишок, из цикла «Колесо обозрения»:

Колесо обозренья на тёмной горе  
наливается светом к вечерней поре,  
и становится зябко в холодной норе,  
зелень, пурпур, мельканье, сиянье.  
А к утру вырывается ветер из рук,  
и веревка с шеренгой невысохших брюк  
убегает в остывшее небо на юг,  
закрывается клуб Bassiani.  
И сверхновая осень взрывается вдруг  
от случайного вроде касанья.

И в пустые витые ракушки дворов  
залетают сухие ошметки миров  
сквозь цветастые шмотки – а их будь здоров –  
оседают по длинным балконам,  
и Ламара выходит, как маршал Мюрат,  
запахнувшись в бордовый махровый халат,  
будто здесь у подъезда и примет парад,  
вот сейчас она крикнет – по коням!  
Ну а листья летят, и домой через сад  
пробираясь в параболах жёлтых глассад,  
повторяешь – спокойно, спокойно,  
ты уже завоёван, и поздно махать,  
чем там машут обычно – нырни-ка в кровать  
с головой – как в амурские волны.

*Июль, декабрь 2024, Тбилиси*

1. Татьяна Вольтская. *Дезертиры империи*. Тель Авив, 2022.
2. Татьяна Вольтская. *Ты доживешь*. Тбилиси, 2023.
3. Стихотворение 1975 года.
4. Виктор Кривулин (1944–2001), поэт, прозаик, теоретик искусства. Один из главных представителей ленинградского андеграунда.
5. Сергей Стратановский (1944), поэт ленинградского андеграунда.
6. Валентин Бобрецов (1952), петербургский поэт, историк литературы, художник.
7. Олег Охапкин (1944–2008), поэт ленинградского андеграунда. Получил религиозное воспитание, был литературным секретарем одной из «звезд» официальной советской литературы Веры Пановой. Первая книга стихов вышла в Париже в 1989 году.
8. Вячеслав Лейкин (1937), поэт, сценарист, педагог. В 1960-1970-х годах был знаком со многими ленинградскими поэтами-нонконформистами, включая Иосифа Бродского.
9. Поэма Эдуарда Багрицкого «Февраль», посвященная теме революционно-го мщения, в советские годы была запрещена к публикации.
10. Виктор Боков (1914 – 2008), советский поэт.
11. Самым полным до недавнего времени было собрание сочинений Блока в 8 томах (Москва-Ленинград, 1963), обложка – синего цвета.
12. «Старые эстонки» – стихотворение 1906 года, посвященное подавлению царским правительством волнений в Эстляндии.
13. Из стихотворения Николая Гумилева «Волшебная скрипка» (1907).

# БИБЛИОГРАФИЯ

## *Книжная полка Юлии Баландиной*

*Михаил Эпштейн. Память тела: Рассказы о любви. – СПб: Издательство Ивана Лимбаха, 2024. – 408 с.*

Первым из всех богов она сотворила Эрота.  
*Гесиод, «Теогония»*

Тайна любовного притяжения – осмысляемая в философии и романтизируемая в искусстве на протяжении всей истории развития человечества – в современном мире деромантизируется в силу целого ряда объективных причин. Женская эмансипация в корне изменила характер романтических отношений, биологи разложили любовь на молекулы и передаваемые импульсы, а всё возрастающие возможности интернета перевели интимные связи в бесконтактный режим. Ориентация на персональный успех и финансовую независимость привела к тому, что всё больше людей в мире делают выбор в пользу жизни соло, предпочитая комфорт и личную свободу поиску компромиссов и неизбежным самоограничениям. Рассказы, представленные в недавно вышедшей книге Михаила Эпштейна, напоминают нам о великом творческом потенциале любовного влечения, его преобразующей силе, содержащемся в нем ресурсе познания, самопознания и развития.

В пространстве русской культуры Михаила Эпштейна относят к числу философов ренессансного масштаба. Эссеист, автор десятков книг и сотен статей, переведенных на многие языки, профессор русской литературы и теории культуры Университета Эмори (США), редактор ряда журналов – его называют вулканом концепций, генератором идей, изобретателем новых дисциплин, богом деталей и мастером поэтической мысли. В качестве автора художественной прозы Михаил Эпштейн известен не столь широко: в 1992 году был опубликован его роман-эссе «Отцовство» (Тенафли: «Эрмитаж»), выдержавший несколько изданий; к этому же жанру можно отнести автобиографическую «Энциклопедию юности», написанную совместно с другом детства Сергеем Юрьененом (М.: Эксмо, 2017) и диалоговые «Детские вопросы» (М.: Эксмо, 2020). Любовной тематике была посвящена вышедшая в издательстве Franc-Tireur «Просто проза» (2016); книга содержала несколько рассказов и эротическую утопию Степана Калачева «Корпус X». Концепция рамочного повествования – подача авторских текстов под видом найденных рукописей – получила развитие и в представляемом сборнике. В «Памяти тела» Михаил Эпштейн «дополняет» и «систематизирует» архив Степана Калачева коллекцией рассказов его сына Евгения, представ-

ля, таким образом, разнообразную палитру любовно-эротических коллизий, объединенных общим замыслом: сохранение памяти о чувственном желании, «оживляющем» тело во всё более виртуализирующуюся эпоху.

Здесь имеет смысл сделать небольшое отступление и обратиться к некоторым философским исследованиям автора в области гуманитарных наук. Проблема исчезновения *телесного* и связанного с этим *тактильного* из человеческого бытия была обозначена Эпштейном в «Философии тела» (СПб.: «Алетейя», 2006), где автор настаивал на необходимости – на фоне растущих перспектив объединения организма и компьютера – поддержания и развития тактильного и чувственного опыта, в том числе эротического, как базовых и жизненно важных функций человека. В других работах, посвященных изучению любви, эроса и сексуальности (серия книг, опубликованных в 2011–2021 годах: «Sola Amore: Любовь в пяти измерениях», «Эрос: между любовью и сексуальностью», «Любовь», «Прав ли Фрейд? Языки любви»), Эпштейн выстраивает типологию всех возможных аспектов любовного чувства, их взаимодействий и отражений в человеческом знании, акцентируя свою мысль на *человекообразующем* свойстве любви. *Человек* это звучит любовно, говорит он, перефразируя известное выражение. Объединяя в своих работах чувственное, телесное и интеллектуальное, выделяя искусство желания – эротологию – как основу творческого порыва, создавая язык, непростоительно мало развитый для описания столь содержательной области человеческих отношений, Михаил Эпштейн выводит дискурс на современный уровень, актуализирует его в контексте вызовов сегодняшнего дня, предлагает лексический и семантический инструментарий для дальнейшего развития тематики в рамках гуманитарных наук.

«Память тела», по сути, представляет собой художественное воплощение обозначенных идей в формате малой прозы. Сборник разбит на восемь тематических блоков и, наподобие энциклопедии, содержит потенциальную возможность расширения: разделы его могут пополняться как внутри себя, так и дробиться на отдельные самостоятельные единицы. Слово, Возраст, Семья, Искусство, Наука, Волшебство, Вызов и Взрыв, Время, Память, Желание – деление на темы условно, оно определяется пространством, в рамках которого возбуждается и развивается интерес *человеков* друг к другу.

Герои Эпштейна ценят в межличностных отношениях ясность, динамику и возможность обогащения не только телесного, но и культурного знания. Они редко наделены именами, за исключением тех случаев, когда имя несет смыслообразующую нагрузку, как, например, в рассказе про художника Вагина, прославившегося рождением нового концептуального направления в изобразительном искусстве. Маркеры времени и география часто намеренно опущены. Персонажи характеризуются через профессиональную принадлеж-

ность, ценностные ориентиры, индивидуальные качества – всё то, что в наши дни выступает на передний план в оценке личности. Интрига часто закручивается на рабочем месте – в институте или библиотеке, свидания назначаются в музее, первичный интерес возникает на фоне интеллектуального притяжения, вызывающего сначала эмоциональный, а затем и телесный отклик. Из особенностей сюжетного построения – лидирующая роль женщины в инициации любовной связи, превращении ее из объекта в субъект романтических отношений. Героиня Эпштейна, как правило, остроумна, изобретательна, самостоятельна; она знает, чего хочет, и умеет выстраивать здоровый баланс между деловым и чувственным.

Хронологическая пестрота сборника дает представление о динамике романтических взаимодействий между мужчиной и женщиной, отражая культурологические тенденции различных временных эпох. Так, в рассказе «Всё выше и выше» героиня, переживая травму расставания с любимым человеком, с головой уходит в профессиональную деятельность. Со временем она становится уникальным специалистом и выступает с лекциями по истории воздухоплавания на широкую аудиторию, на одной из которых с ней знакомится герой рассказа. События происходят в тридцатых годах прошлого столетия, а смысловой акцент повествования выстроен вокруг преобразующей силы мужского внимания, а затем и влечения, открывающего сексуальный потенциал женщины: «...когда мы начали встречаться, обнаружились ее неуверенность в себе... То ее удручало, что у нее слишком маленькая грудь, то чересчур полные икры, то что у нее слишком размашистая походка... За несколько месяцев она превратилась в другую женщину – дерзкую, бесшабашную... Казалось интересы ее переместились из авиации в ‘науку страсти нежной’. Когда она сидела на мне, а я ее подбрасывал ‘до небес’, она наконец становилась собой, ‘женщиной воздуха’; ...она стала еще стройнее, а грудь выше, <...> когда она вошла в аудиторию, зал наполнялся аурой желаний». В финале рассказа героиня отправляется на задание государственной важности, герой пытается ее искать, но безуспешно. «Она так и исчезла в неизвестном направлении, но шестым чувством эхолокации я улавливал траекторию ее полета», – завершает рассказ Михаил Эпштейн, подчеркивая светлое начало, взаимодополнение и взаимное уважение, присущее партнерам в любовной связи. Для сравнения обратимся к рассказу «Ангел движения», описывающему яркую, мимолетную вспышку страсти. Она – адвокат по бракоразводным процессам, увлекающийся верховой ездой, он – ее клиент. Предполагаемое время действия: на рубеже веков. Она проактивна и уверена в себе, в любви готова давать и отдаваться, щедра на ласки и благодарна. Он романтичен и еще немножко – собственник. Околотрапезная беседа об особенностях верховой езды плавно перетекает в разговор о любви кентавров и кентаврид, об их фантастической нежности и привязанности друг к

другу. Огонь желания вспыхивает на фоне контекстуальных аллюзий, он обоюден, влечение позиционируется как продолжение познавательного процесса, взаимного обмена опытом, хотя в ощущениях героя считывается некоторая архаичная радость обладания: «Я восхищаюсь всадницей, которая гордо меня объезжала, но еще больше я люблю понурую лошадку, которая *отдала мне* всю свою резвость, скаковой размах...» Но в этом «отдала мне» уже слышится не торжество завоевателя, а блаженство пребывания в статусе *избранной* женщиной. Мужчина уже не *вдохновляет*, но *позволяет* раскрыться женскому потенциалу. И всё же в эпилоге автор приводит повествование к общему знаменателю: встретившись годы спустя, случайные любовники согреваются теплыми воспоминаниями о неистовом порыве страсти, внезапно охватившем их, наполнившем их энергией, восторгом и упоением. Совершенно иная картина представлена в рассказе «Хочешь жить». В нем героиня – руководитель проекта – на одном из выездных совещаний группы намечает себе «жертву» – объект кратковременного сексуального приключения. Безошибочно определив в герое не вполне успешного в профессии человека, она соблазняет его карьерными и иными перспективами. После вялых попыток к сопротивлению герой принимает навязываемые отношения и даже пытается оправдать их получаемым удовольствием. Вот только финальный аккорд напоминает о цене, которую пришлось заплатить за возвращение в профессию и место в проекте: «Возвращаясь в свой номер, он вспомнил ее вопрос первого дня: ‘Жить хочешь?’ Жить не хотелось». Абыюзивные отношения героини объясняются в рассказе обратной стороной эмансипации, приводящей к искажению традиционных гендерных характеристик. Михаил Эпштейн не случайно отсылает нас к ее, эмансипации, истокам, представляя героиню в виде «комиссарши в пыльном шлеме»: грубоватое лицо, сухие обветренные губы, хриплый прокуренный голос, сильные смуглые руки, «вся, словно высечена в граните». Образ дополняет откровение босса о богатом сексуальном опыте: «У меня были ой какие мужики, супермены, но меня хватало и на то, чтобы иногда на минуточку пожалеть и заваливших». Использование уничижительного эпитета мгновенно превращает «благотворительную» любовь в снисходительную, а героиню – в похваляющуюся «душевной щедростью» самку. Оставлю за скобками мотивы, по которым автор решил проиллюстрировать принуждение к сексу на примере эмансипированной, откровенно несимпатичной ему женщины, отмечу лишь, что это единственный эпизод, описывающий отношения подобного рода.

Вошедшие в сборник рассказы имеют различный творческий генезис в том смысле, что их появление, очевидно, инспирировалось разного рода событиями, явлениями, интенциями: в одних слышатся отзвуки романтических переживаний юности, в других оживают зна-

комые литературные образы, в третьих – усматривается переключка с идеями, излагаемыми автором в научных и публицистических статьях. Среди последних – озабоченность активным проникновением технологий в романтическую сферу человеческого бытия, также нашедшая отражение в тематике рассказов. Так, в «Голосах из будущего» Эпштейн описывает этику бесконтактных «экологических» отношений, где желание физической близости – уже не сексуальной даже, а просто человеческой, – рассматривается как витомания, болезненная страсть к живому. Сексуальное влечение расценивается как деструктивное, патологическое, требующее немедленной коррекции, а для решения проблемы телесного голода предлагаются гиперчувствительные приборы с множественными настройками погружающего визуального и сенсорного опыта – эротроны. Атавистические индивидуумы, желающие теплого живого отклика на волнение души, автоматически элиминируются – погружением в холод. В рассказе «Пробуждение» Михаил Эпштейн рисует иные перспективы техноэротического будущего, экстраполируя принятую сегодня практику получения предварительного согласия на секс на объекты, используемые в сексуальных фантазиях. «Допустим, некая Н., верная супруга и добродетельная мать. Редкие случайные встречи в гостях, никакого флирта, но в ее присутствии он чувствует прилив жизненной энергии и заимствует ее образ для игры со своим желанием...» – описывает автор не такую уж гипотетическую ситуацию и дополняет картину ироничными импровизациями на тему полиамории. Во избежание нелегальной эксплуатации образа там, в будущем, действует сексуальная полиция, которая, благодаря «прозрачности» мозга, следит за своевременным получением разрешения и оплатой по прейскуранту. Эх, живи герой рассказа «Честная измена» в такие времена, не пришлось бы ему упрекать супругу в буржуазных пережитках и разглагольствовать об отмене частной собственности на семейные отношения в светлом коммунистическом будущем!

В ряду смыслообразующих сюжетов сборника выделяется мотив со-творчества, вдохновленного со-единением интеллектуального и со-итием телесного, схождением воедино обеих ипостасей бытия. Герои Эпштейна играют в литературные игры, переключаются цитатами, переводят поэтические стили на язык телесной любви. Автор развивает идею первичности вербального оформления желания, отводя ему функцию любовной прелюдии, подобной той, что имела переписка между возлюбленными в эпоху романтизма. Интрига часто развивается через вовлечение потенциальных партнеров в редактуру текста, который служит проводником, посредником в передаче сигналов. Текст у Эпштейна – это и оголенные нервы, и кровеносная система, и соединительная ткань партнеров-соавторов. Более того, текст становится цельным только под влиянием, проникновением в его ткань иной личности, только тогда он обретает силу и мощь, способ-

ную преобразовать словотворческий потенциал в эротический полет; впрочем, порой *текстуальные* отношения разгораются так ярко, что физические блекнут на их фоне («Чья победа? Роман Палимпсест»).

В книге есть рассказ, выбивающийся из общей стилистики говорения о любви и страсти высоко – «Фольклорная экспедиция», собственно, он и открывает сборник, как бы указывая на истоки, из которых впоследствии расцвело «высокое» искусство соблазнения, состоящее из витиеватых метафор, сложных аллегорий и изысканных аллюзий. Язык его не менее метафоричен, хотя по определению груб и содержит обсценную лексику. Сюжет вторичен, в центре внимания – «низовая» поэтика скабрёзных частушек и напевов, её функционал в формировании импульса желания и снятия напряженности, связанной со стрессом приближения к себе Другого, своего обнажения перед ним. С этой задачей фольклорный язык, пожалуй, справляется эффективнее книжного, сметая социальные и культурные преграды, взывая к инстинктам познания партнера напрямую, усиливая последующее наслаждение преодолением запретного.

Язык же самого автора, казалось, никогда и не знал никаких преград – легкость и элегантность, с которой он создает новые слова и понятия, неустанно раздвигая лингвистические горизонты, не перестает удивлять. Его энциклопедия любовных коллизий есть еще и иллюстрированная энциклопедия неологизмов, иллюстрированная в том смысле, что для каждого придуманного слова Эпштейн конструирует поясняющий художественный образ или эпизод: за-автор – это больше чем корректор, но меньше чем со-автор; аэротика – это эротика по переписке; словоитие – соитие через слово; внутренняя женщина – характеристика женского лона; близочка, захлебушка, одиночка – та, которая близка по духу, о близости с которой вожделеешь. «Эпштейн любит слова почти чувственной любовью, – пишет о нем Александр Генис, – он сочиняет так, что фонетика у него работает на семантику, он слушает всё, что пишет, выискивает тайные, сокрытые привычкой смыслы, и сопрягает их в философемы, напоминающие ученое рассуждение и шаманское заклинание одновременно». Вплетая в текст философские пассажи, лексические экзерсисы и психологические наблюдения, Михаил Эпштейн сплавляет жанры, создавая новое направление в литературе – интеллектуально-эротическое, задача которого состоит не в возбуждении сексуального желания читателя, а в исследовании анатомии и психологии желания как такового. Эпштейн верит в созидательную магию слова, в то, что стоит обозначить понятие, дать ему словесную характеристику, описать, и оно выйдет за пределы текстового носителя, материализуется, обретет телесные формы: «Некоторые ученые дураки считают, что литература – это просто особый порядок слов... Нет, литература – это от корня 'лить'. Литься, изливать, сливаться – кровь, слезы, семя. И когда эта сила перейдет через слова в мир – взойдет еще одно семя

жизни, завертится еще одно веретено...» Так, словами соединяя Эрос и Логос, как Инь и Янь, Михаил Эпштейн произносит свой манифест любви, ее животворящей и возрождающей силе.

На этом можно было бы закончить обзор вышедшей книги – ни в коем случае не претендуя на его полноту, – однако хотелось бы поделиться некоторыми размышлениями *послечения*, приходящими вслед за первым восторженным восприятием текстов. Прежде всего следует отметить, что уверенность, настойчивость и даже одержимость автора в продвижении своих идей, органичные в философских трудах и эссеистике, порой кажутся чрезмерными в рамках художественной прозы. Авторский голос преобладает в повествовании, затмевая героев и не предоставляя читателю возможности для личных ассоциаций, интерпретаций, рефлексий. Также следует признать, что несмотря на наличие актуальных декораций, в рассказах чувствуется архивный характер «Калачевской» коллекции. Они – рассказы – представляют собой, скорее, памятник уходящей эпохе, нежели ответ на вызовы современности, где отношение к персональным границам существенно изменилось, а романтические устремления вытесняются потребительскими. За небольшим исключением, автор акцентирует внимание на позитивных аспектах любовно-эротических приключений: потенциале познания и наслаждения, «дотраивания себя» через познание другого человека, расширении своего «я» через совместные переживания. Он обходит стороной или касается лишь вскользь возможных негативных сценариев: несоответствия ожиданий, несовпадения интересов, отсутствия взаимного влечения. Но как быть с памятью тела, хранящей боль и насилие? Ведь у современного человека, воспитанного в культуре заботы об эмоциональном здоровье, именно страх испытать негативные эмоции блокирует желание приближения к себе другого. Кроме того, любовные отношения в рассказах, как правило, кратковременные, представляют собой коллизии разнообразия, по определению не нуждающиеся в дополнительной инициальной стимуляции на этапе возникновения желания, они вспыхивают спонтанно, подогреваемые инстинктами, риском неизвестного и все тем же нарушением запретного. Масштабированные до уровня энциклопедии, такие истории формируют образ героя-эгоцентрика, следующего удовлетворению инстинктов (пусть даже познавательных) и не желающего обременять себя ответственностью построения устойчивых эмоциональных связей, в то время как именно такие связи дают ощущение безопасности и защищенности, столь необходимые нам сегодня. И, наконец, главное для меня, риторическое: возможно, в наши дни человечество действительно нуждается в прививке эротической вакциной, но не теряет ли *описанное* таинство свою магическую силу? Подобно ученому или медику, представляющему движения чувств в виде формул и графиков, лингвист или философ выражает их словами, препарирует, раскладывает на

составляющие, объясняет причины возникновения и взаимосвязи, как бы намечая путь, которым *следует* идти влюбленным, тем самым... похищая радость индивидуального открытия, *самостоятельного* постижения наиволшебнейшей тайны человеческого бытия. Впрочем, одно не подлежит сомнению: только любви под силу собрать рассыпающийся на осколки мир. Должна ли эта любовь быть звучной – озвученной, или тихой – интимной, каждому решать самостоятельно.

\* \* \*

Гржонко В.Я. Дом. Роман. Нью-Йорк: «Новый Журнал», 2023-2024.

Легенда гласит, что импульсом к написанию романа «Сто лет одиночества» послужила фраза, сложившаяся в голове Габриэля Гарсиа Маркеса за рулем автомобиля. Обстоятельства возникновения этого непреодолимого, неоткладываемого созидательного порыва мне представляются неслучайными. Дистанция обостряет чувство дома, а дорога – в значении движения из одной точки в другую – располагает к осмыслению своего жизненного пути, своего места в мире, своего предназначения.

Дистанция – временная и географическая – присутствует и в новом романе Владимира Гржонко «Дом», опубликованного отдельными главами в «Новом Журнале» (№ 313, 2023; №№ 314, 316, 317, 2024). Повествование в нем ведется от лица рассказчика, после долгих лет эмиграции навестившего город своего детства и дом, в котором он родился и вырос. Перипетии главных героев задают рамочный уровень нарратива, а восстановить историю Дома помогает старожил дядя Гоша, чей голос формирует притчевый характер изложения. Дополнительный смысловой контекст создают библейские мотивы, вплетенные в исторические хроники двадцатого века. Приподнимая частные истории жителей Дома до уровня архетипических сюжетов, они выводят текст на более высокую ступень обобщения. Заключительная глава переносит читателя на американскую землю. Яркие зарисовки из жизни доходного дома, ставшего в первые годы эмиграции пристанищем рассказчика, отражают его впечатления от столкновения с новой культурой. Здесь же автор предлагает – по меньшей мере, на философском уровне – изящный выход из цивилизационного кризиса, выбраться из которого человечество пытается (или не пытается?) на протяжении тысячелетий.

С точки зрения жанровой характеристики, «Дом», как и многие другие произведения автора, совмещает в себе широкий спектр направлений – от автофикшена, наложенного на историю страны, до мистического реализма с элементами политической сатиры. Очевидно, что идея романа вызревала долго, но, вероятно, обрела свои конкретные формы почти стихийно, будто автор, подобно Маркесу, почувствовал непреодолимое желание написать его именно

сейчас. Для романа-воспоминания структура его неравномерна, некоторые главы посвящены отдельным периодам времени, другие – явлениям, третьи – личностям, но актуальный пульс планеты чувствуется всегда.

Образ Дома в романе – собирательный, физические очертания его легко экстраполируются от размеров конкретного здания до масштабов страны, а люди, в нем проживающие, – от семьи и соседей по подъезду до общности, именуемой советским народом. И всё же: автор выделяет ряд особенностей, делающих *его* Дом незаурядным. Во-первых, Дом парадоксальным образом совмещает в себе черты противоположные, напоминая, с одной стороны, хмурые и неприветливые питерские дворы-колодцы, а с другой – уютные пространства внутренних двориков на южных окраинах бывшей империи. Так, неугомное эхо, блуждающее меж каменных стен, соседствует в описании с овощными грядками и бурно размножающимися кроликами, а сумрак полутемных комнат – с мраморной фигуркой козлоногого пана в центре фонтана. Во-вторых, Дом существует как бы в изоляции: его окна-глаза, равно как и входы, заложены кирпичом, и только тайный лаз через подвал оставляет возможность для необходимых коммуникаций с внешним миром. «К счастью, времена были такими, что дом со слепыми окнами никого не интересовал», – лаконично и выразительно обрисовывает ситуацию автор. Уже в этих вводных декорациях видна множественность текстуральных коннотаций. За неугомным эхом проступает картина одиночества и неприкаянности человека в городе, долгое блуждание отголосков в замкнутом пространстве – плач по покинувшему страну, символ ее опустошенности. Одновременно с этим козлоногий пан весело подмигивает дворнику, выделяющему кроличьи шкурки, – не унывай, не пропадем! А дворник и не унывает, хватка у него крепкая, деревенская – кроликам верхки, себе корешки, ближе к земле – к хлебу ближе. В-третьих, за жизнью обитателей дома, очевидно, присматривает Некто, наделенный высшей властью, иначе как можно объяснить сохранность Дома в мире, в котором за десятилетия успело разрушиться всё: от кирпичных стен до нравственных ориентиров. Наконец, главную особенность Дома составляют его обитатели – те, что остались в живых после кровавой революции, и те, кого прибило к Дому штормовыми волнами политических катастроф последующих лет. У каждого из них свой рецепт примирения с дикостью и безумием внешнего мира, но до поры до времени они выживают сообща, объединенные общим неприятием действительности.

Пестрая палитра персонажей, за многими из которых угадываются истории реальных людей, наложена на максимально обобщенный, синтезированный и символизированный событийно бэкграунд. Так, в начале романа спустившийся с неба – в фигуральном, но символическом значении – человек нарушает обособленный и разме-

ренный уклад жизни коммуны. Двумя выстрелами он лишает жизни старшего по Дому Льва Моисеевича Абрамсона и дворового ягненка, любимца детворы. Обе ипостаси Христа – Лев и Агнец – с ошеломляющей легкостью и безнаказанностью принесены в жертву. Вводной сценой автор задает настроение дальнейшего повествования: всё, что будет происходить вслед за этим, – историческая ошибка. Цитаты из Библии в исполнении человека с маузером усиливают абсурдность декораций и создают дополнительные ассоциации с фигурой наркома Луначарского, умело вплетавшего библейские тексты в большевистскую идеологию.

Портретную галерею продолжает Арон Плох, на примере которого автор обрисовывает моральный конфликт, настаивающий или долженствующий настичь представителей внутренней эмиграции. Оказывается, спрятаться от чудовищной реальности внешнего мира невозможно даже за барьером двойной изоляции. Она настаивает несчастного Арона в виде ночных кошмаров, в которых он собственными руками убивает сына: вечный, неискоренимый страх Богом избранного и Богом же изгнанного народа, вечно бегущего от погромов в попытке спасти род и семья свое. Не в состоянии объяснить неуязвимость жителей Дома там, где черные «воронки» еженощно увозят в страшные подвалы очередную жертву, Арон Плох задается экзистенциальными вопросами: существует ли Дом и все его жители, если он сокрыт от других? В коей мере его, Арона Плоха, существование реально, если оно не отражается на жизни других людей? Считается ли спасением сохранение физической оболочки – тела, пусть даже при возможности мыслить, но невозможности делиться мыслями? И это забвение, невидимость для внешнего мира, не подобны ли смерти духовной, – не страшной ли, в особенности для человека думающего? И вот герой находит выход в самодонсах – чудовищной перверсии доказательства своего бытия: я есть, я сделал то-то и то-то! Эпизод за эпизодом, Владимир Гржонко последовательно выстраивает одну из смысловых линий романа: заколдованный круг человеческого существования в парадигме обязательного жертвоприношения. Он доводит идею до абсолюта: требует от своего героя подтверждения собственной экзистенции через обречение себя на наказание, в потенциале – до смертельного. Доказательство жизни через смерть, но не через деяния. Внутренняя эмиграция оказывается ловушкой, спасением ложным, приводящим к саморазрушению, но соблазн подобного разрушающего безумия оказывается сильнее примирения с действительностью, и в него вовлекаются новые действующие лица.

По мере того, как большинство жильцов «заколдованного» дома приспособляются и принимают действительность, «неопределенный», «невидимый» для государства статус начинает их тяготить. Вывести жильцов из забвения берется Карен Рафаилович – мелкий

проходимец, наделенный ораторским талантом и выраженными амбициями. Пообещав организацию социальной поддержки, он поначалу собирает паспорта для легализации статуса проживающих в Доме, затем, для установления контроля и порядка, составляет полные списки жильцов, а потом и вовсе под предлогом чрезвычайной ситуации – смерти великого вождя – узурпирует власть. Вслед за узурпацией власти следует сбор денег на ее содержание и оформление пенитенциарной системы. Подобострастие, с которым жильцы Дома признают нового лидера, их покорность и отсутствие сопротивления при ущемлении прав без труда проецируются как на современные реалии, так и на исторические примеры из прошлого. Владимир Гржонко архетипирует ситуацию, возводит ее в ранг повторяющегося исторического рисунка: добровольное заклание на алтарь свободы в обмен на защиту и покровительство. Одновременно с этим он обращает внимание на специфичность временного промежутка описываемых событий: «привыкшим ко всяческому произволу людям казалось тогда совершенно естественным почувствовать на себе тяжелую, но надежную руку беззакония, принявшего личину закона». Но неужели эта привычка к беззаконию неискоренима в описываемом историческом пространстве и его жители обречены на существование в атмосфере вечного насилия, облаченного в одежды благих намерений?

Единственным персонажем, способным к сопротивлению диктатуре Карена Рафаиловича, оказывается женщина – смещенный им управдом Матрена Сысоевна. Идейная большевичка в прошлом, разочаровавшаяся, впрочем, в вожде мирового пролетариата на довольно ранних стадиях построения нового общества, она представляет собой собирательный образ. Пораженная вычитанным в журнале «Работница» – и в этом весь Гржонко! – фокусом о превращении двусторонней полоски бумаги в петлю Мёбиуса, Матрена Сысоевна пробует перенести свойства этого математического объекта в философскую плоскость. «Почему-то пришло ей в голову, – повествует рассказчик, – что вот так и Добро со Злом, вроде как по разные стороны, но бывает, что хитро свернутые, как эта бумажка, становятся они одним целым. И сколько ни веди, перехода не заметишь.» Будучи женщиной в некоторой степени кондовой, как характеризует ее автор, Матрена Сысоевна решительно отвергает тезис об условности границ Добра и Зла (читай: постмодернистский тезис о «не-все-так-однозначности») и со словами «Врешь, две у тебя стороны. Две!» восстанавливает прежний порядок вещей привычным для нее способом. «Два громких сухих хлопка, прозвучавших поздней ночью, слышали почти все жильцы. А про то, куда делся Карен Рафаилович, говорили разное», – заканчивает свою историю рассказчик. И в этих не выстрелах – хлопках, и в радикальном решении проблемы, и в надежде на женщину слышны отзвуки дня сегодняшнего.

Вообще говоря, следует отметить, что при всей своей разнопла-

новости женские образы выписаны автором с трогательным участием и деликатностью. Будь то деятельная Матрена Сысоевна или забитая, готовая всё терпеть Дуня; Великая Блудница, предлагавшая напиться из родника всякому жаждущему, или Лилька-Оторва, навсегда изгнавшая ее из Дома; Маша-из-подвала, преобразившаяся под влиянием большой любви, или преданная сошедшему с ума мужу Хая-Лия – в каждом женском персонаже автор выделяет опорные стороны, благодаря которым Дом наполняется жизнью, – это они, женщины, помогают ему выстоять и сохраниться. И даже там, где Владимир Гржонко говорит о недостатках своих героинь, он отчасти оправдывает их, понимая, насколько тяжелое время – и бремя – выпало на их долю.

Отдельного упоминания заслуживает отставной полковник КГБ Иероним Петрович Бох, в судьбе которого воплощаются судьбы сотен тысяч жертв режима, пожирающего в первую очередь своих наиболее преданных бойцов. Гротескная подача образа – представления героя о своей миссии складывались из опыта работы на скотобойне, революционных гимнов и своеобразно истолкованных библейских постулатов – вместе с апелляцией к Босху подчеркивает не только абсурдность, но и порочность идеи, за которую воевал герой. Он не замечает того, что идея построения *всего* из *ничего* оборачивается последовательным уничтожением всего живого: мысли, альтернативного мнения, творческого продукта и, даже когда вместо награды за преданную службу, государство требует казнить сына, Иероним Бох не сомневается в правильности выбранного пути.

Идее поиска своего предназначения и жизненного пути посвящена третья глава, расположенная в композиционном центре романа. Сюжет ее прост: в девушку Машу влюбляются двое – начальник паспортного стола Савелий Венедиктович и научный сотрудник Соломон Иванович. Интрига завязывается тогда, когда Соломон Иванович вдруг, на основании портретного сходства, предполагает, что может быть потомком римского императора Марка Аврелия, а набожная прислуга Дуня, на свой манер понявшая поползшие по двору слухи, и вовсе начинает принимать его за члена царской семьи. За внешним фасадом истории любви, за историей соперничества двух мужчин, прорисовывается сореволюционное ценностное. Савелий Венедиктович символизирует блага материальные – прописку, жилплощадь, возможность достать коробку «Ассорти» и полусладкое шампанское. Плебей по сути, измеряющий свою значимость занимаемой должностью да некогда увиденным на трибуне мавзолея Сталиным, движимый, скорее, меркантильными соображениями, нежели велением сердца, он копится злобой и завистью, источает угрозы и отказывается мириться с намечающимся поражением. Соломон Иванович, романтик и мечтатель, поверив в свое благородное происхождение, словно обретает недостающий ему прежде стержень, смысл существования, становится смелым и решительным.

Увлеченный неожиданным «открытием» и вспыхнувшим чувством, Соломон Иванович играючи перебрасывает мостик от деда-извозчика к римским патрициям-иудеям, среди которых, согласно семейной легенде, могли проживать его предки и – кто знает? – ступить нога Сына Божьего. Владимир Гржонко не случайно сводит вместе образы римского императора и Иисуса Христа. Стоицизм, сторонником которого был Марк Аврелий, и заповеди молодой нарождающейся религии имели немало точек соприкосновения, но и расхождения между ними носили принципиальный характер: стремление христиан к мученичеству категорически не вписывалось в философию последовательного и неустанного совершенствования духа, тела и разума. Разводит Аврелия и Христа и отношение к двум важнейшим добродетелям: к милосердию и справедливости. Но, в отличие от героев известной программы, Владимиру Гржонко не приходится решать эту дилемму: для его героев любовь – бесценный дар, и заповедь, и добродетель – находят выход из любой ситуации, она обладает высшей силой, равной только божественной. Она и есть Бог.

Прежде чем перейти к другим сюжетам, хотелось бы остановиться на некоторых конструктивных и стилистических особенностях текста. Прежде всего, это построение повествования с опорой на отдельные эпизоды-воспоминания, создающее эффект неполной, местами утраченной мозаики; эта осколочность, впрочем, не мешает составлению объемной картины в целом. Автор активно вводит в повествование собирательные образы, не останавливается на одной версии толкования событий, размывает границы действительности, вводит мистические элементы. Всё вместе придает тексту эклектичный, былинно-сюрреалистический характер, а с другой стороны, – именно из-за множества обобщений делает персонажи и явления типичными, узнаваемыми, легко ассоциируемыми с их прототипами. Еще одной характерной чертой можно назвать акцентуацию на исторических параллелях: события, описываемые в романе, настолько идентичны современной повестке, что вопрос о принципиальной, заложенной в основание – дома? государства? человечества? – ошибке актуализируется с новой силой. Попытка спрятаться от действительности, аллегоричное присутствие неразорвавшейся бомбы во дворе Дома, обострившаяся на этом фоне жажда жизни (она же: инстинкты), зарождение диктатуры – последние десятилетия российской жизни как будто в ускоренном темпе воспроизводят судьбы предыдущих поколений, и вопрос о «четырёх миллионах доносов» уже не звучит риторически. В то же время природная ироничность автора задает оптимальную, если угодно терапевтическую, тональность повествования, предлагая читателю задуматься о причинах повторяемости исторических сюжетов, не впадая в самоуничижение. Повторяющиеся мотивы «дублируются» и в библейской линии нарратива: это и ягненок, «возвращающийся» во двор спустя десятилетия,

чтобы вновь быть принесенным в жертву, и сюжет о жертвоприношении сына, и вопрос выбора между идеей и родством. Наконец, необходимо упомянуть аллюзивность и многослойность повествования, оставляющую широкий простор для интерпретации прочитанного. Маячки и загадки, расставляемые автором в самых неожиданных местах, делают читателя полноправным соавтором текста. Это могут быть легко считываемые коды вроде книги, обернутой в газету от двадцать девятого июня тысяча девятьсот тридцать седьмого года, или недостижимой во сне виноградной грозди, но могут быть и более сложные в своей многозначности символы и подтексты. Каждый фрагмент содержит бесконечный потенциал «ветвления». Так, в эпизоде, посвященном Матрене Сысоевне, один читатель заинтересуется этимологией ее отчества, другой в петле Мёбиуса увидит отсылку к временной петле из более ранних произведений автора, а третий переберет в уме биографии российских революционеров, послуживших материалом для создания образа.

Вернемся, однако, к роману. По мере приближения к дню сегодняшнему, при сохранении общей фантазмагорической направленности всего произведения, повествование утрачивает свою былинность. Описания событий приобретают скорее анекдотический оттенок, да и сам Дом ожидают серьезные трансформации – его перестраивают в торговый центр «Рай». Речь идет о лихих девяностых, а на авансцену выходят авантюристы новой волны, воюющие за блага материальные. Не подлежащий трансформации статус Дома охраняет чекистка Зоя Марецкая – воплощение Маты Хари и старухи Шапокляк в одном лице, оказавшаяся как будто не у дел в эпоху перестройки. «Мене, мене, текел, упарсин», – выносит Зоя Марецкая приговор «новым хозяевам» и отменяет открытие торгового центра, напоминая о лежащей в основании дома нераззорвавшейся бомбе времен Второй мировой войны. «Взвешен, измерен и признан недостойным», – повторяет автор слова, посланные ангелом царю Вальтасару накануне падения Вавилона. Вот только кто или что недостойно – продолжает размышлять читатель: человеческий материал? идея? замысел Божий?

Удивительным образом ностальгическая интонация, едва обозначившись в начале романа, получает развитие лишь в заключительной пятой главе, где речь идет об опыте первых лет иммиграции. В ней рассказчик еще раз набрасывает пространственно-временную петлю, представляя новых героев двойниками старых знакомых. Вот суперинтендант дядя Сэм – американский аналог дяди Гоши – жалуется на прохудившиеся трубы и предупреждает о странностях некоторых жильцов, а вот Михаил Максимилианович Перельман, подобно Арону Плоху, прячется в сумасшествие для решения философских вопросов. В невписывающемся в азиатский фенотип своей семьи русоволосом Ахматджоне читатель распознает перевертыша – скуластого узкоглазого Боха. Даже эхо по-прежнему с нами: оно хохочет,

испуганно кудахчет, рассыпается мелким бисером, замирает от удивления, булькает – словом, сопровождает события наподобие музыкальных фрагментов в кинофильмах, подсказывая читателю верную эмоциональную реакцию. И, прежде чем двинуться к финалу, стоит отдельно поблагодарить автора за поразительную психологическую точность в рассказе об «уже немолодой, но всё еще полной сил» миссис Мортенсон, о ее предзакатной любви, уверовав в которую – наподобие того, как Соломон Иванович уверовал в свое благородное происхождение, – она смогла обрести женское счастье.

Роман завершается тремя предрождественскими историями – волшебными и прекрасными, каковыми им и следует быть. Три истории преодоления барьеров, они противопоставляются существованию в замкнутом, рецидивирующем пространстве Дома: взаимная, почти водевильная любовь Ахматджона и миссис Мортенсон преодолевает возрастной барьер; мистер Робинсон – во имя торжества жизни – проводит летний Парад Русалок холодным декабрьским днем; а бывший следователь уголовного розыска Перельман переворачивает смыслы ветхозаветных историй.

Закольцовывая сюжет на религиозном мотиве, Владимир Гржонко дает последнюю подачу читателю: братоубийственная война, в парадигме которой человечество живет со времён Ветхого завета, – ошибка толкования! Каин не убивал своего брата, вина его лишь в том, что, будучи старшим, не уследил, не уберег от ненужной жестокости. Вместо простого выполнения обряда – ведь Господь и так всемогущ и не нуждается ни в чем, кроме почитания, – Авель режет лучших, «первородных от стада своего» ягнят, всё больше и больше пьянея от вида жертвенной крови. Не «где брат твой?», а «с кем брат твой?» (предполагаемый ответ: с Дьяволом) – «восстанавливает» исконный смысл Владимир Гржонко. И это Адам, отец, а значит Воспитатель, берет на себя ответственность освободить мир от оказавшегося во власти темных сил младшего сына. Ибо видел он угрозу в нем. Ибо не мог Господь требовать крови. «Авеля нужно было остановить, во что бы то ни стало, это была вынужденная мера», – устами Михаила Максимилиановича объясняет Гржонко свою позицию, и читатель понимает, к какой вынужденной мере апеллирует автор. Ах, если бы можно было так просто, сославшись на ошибки перевода и измененные смыслы, остановить взаимоотношения войны! Да и как быть с общим тезисом о мудрости и справедливости Господа – ведь это от него исходил запрет на познание мира, это он требовал почитания? Быть может, Бог не справедлив, а властолюбен? Требуя слепого подчинения в обмен на покровительство, не подобен ли он современному диктатору? И если Адам вправе распоряжаться жизнью своего сына – как Господь вправе распоряжаться плодами своих творений, – что помешает иным, наделенным силой, присвоить это право?

Если бы у цивилизационных проблем существовал единственный правильный ответ, то миллионы поколений до нас уже нашли бы его. К сожалению, его нет. И каждому поколению, каждому человеку суждено искать свой.

В современной литературе у Владимира Гржонко – свой яркий, выразительный голос. Оригинальность жанра, в котором он работает, эффектная драматургия, позволяющая легко адаптировать текст к театральной постановке или минисериалу, острая тематика, живой диалог с читателем – всё вместе делает его прозу актуальной и современной.

\* \* \*

*Александр Стесин. Рассеяние: Роман. М.: НЛО, 2024. – 272 с.*

...глаза в себя опустим, в наши гены

*Е. Евтушенко*

Забвение: имен, преступлений, жертв. Уничтожение: памяти, достоинства, родных. Отречение: от идентичности, родины, близких. Многие десятилетия мы жили в парадигме умолчания, запрета на расспросы о прадедах. Обрезанные края фотокарточек, прерванная связь поколений, негласное табу на изучение генеалогии – большевики хорошо постарались, создавая новую породу людей со стертой родовой памятью. Без корней, без внутренней питающей силы, без прежнего опыта близких по крови. Многие ли из нас знают и помнят своих родных дальше третьего колена?

В своем новом романе «Рассеяние» Александр Стесин возвращается к истокам – истории своего рода. Исследуя архивные материалы и доступные базы данных, восстанавливая давно утраченные родственные связи, он соединяет нити, ведущие из глубины веков к дням сегодняшним, от марокканских сефардов, литовских евреев, украинских раввинов – к их потомкам, в числе которых и он, врач и писатель Александр Стесин.

Повествование начинается четко артикулированным заявлением: в нашей семье все Исааковичи – и мама, и папа, и бабушка, и только дедушка – Исаак Львович. События происходят в инфекционном отделении районной больницы, автору заявления – семь лет. Из больницы изоляции его освобождает тот самый дедушка, всемогущий Исаак Львович Витис, главный инженер Ковровского экскаваторного завода, примчавшийся за дорогим Аленькой на «двадцать четвертой» «Волге» с водителем. Но «Волга» с водителем – это из последних лет жизни Исаака Львовича, а начиналась она в Бричеве, в одной из первых еврейских земледельческих колоний Бессарабии. Оттуда же родом и бабушка Неся Исааковна. Это мамина линия наследования.

Внимательно и бережно распутывает писатель нити семейного родства. Сидикманы, Кримнусы, Штейнгольды, Шмуклеры, Колкеры –

поиск затруднен разночтениями фамилий, и Александр Стесин берет уроки румынского, вступает в закрытые генеалогические сообщества, изучает документы нью-йоркского Центра еврейского наследия. Он вспоминает бабушкины «странности», которые оказываются частью народных обычаев, ее скороговорки-заклинания, подслушанные у бессарабской цыганки, ее «уроки» введения в национальную литературу и бабушкин голос оживает ритмом поэмы Эминеску: «A fost odată ca-n povestii, / A fost ca niciodată, / Din rude mari împărătești, / O prea frumoasă fată...»

И вот, первый тиуль шорашим – в Казахстан, где погибла от голода прапрабабушка Марьям, не спасли ее ни молитвы, ни свечи в шаббат – это уже мамин комментарий. Но прабабушка Соня осталась жива, и бабушка Неся – тогда еще молодая девушка – тоже. От иных не осталось никого – сгинули семьями.

Что чувствует человек, обнаруживающий в архивах записи о своих предках – далеких и близких, тех, кого знал в детстве и тех, о ком сохранились лишь обрывочные воспоминания? «В списках евреев-землевладельцев от 1895 года читаем, что Яков Витис из Бричевы занимался виноделием, – пишет автор. – ‘Да-да, – вспоминает мама, – что-то такое было... Папа рассказывал, что у прадеда был виноградник. Но я не знала, что его звали Яковом’.» Для Александра Стесина исследование родословной – это еще и способ налаживания диалога с матерью. «А нечего рассказывать» – вот формула, которой она отгородилась, защитилась от прошлого, как до нее это сделали ее родители. Что ж, у каждого поколения свои механизмы защиты, свои способы прорабатывания травмы. Марина Исааковна вычеркнула из памяти боль об утраченном. Александр Стесин ее проговаривает.

Он возвращается в Бричеву, на родину деда, и ведет свой рассказ, словно комментируя немую хронику потрескавшейся фото пленки. Три поколения еврейских колонистов построили три хедера, девять синагог, две библиотеки, коммерческий банк. Сын Якова, Лео, владел мельницей – это прадед. На трех небольших улицах нашлось место любительскому театру и типографии, концертному залу, городской бане, акционерному обществу, обществу взаимопомощи, лавкам и мастерским. Детей там учили грамоте и молитвам, желающих направляли на следующую ступень хедера. Обучение шло на иврите и идише, но светская молодежь учила румынский – он открывал дорогу в университеты. Потом пришел двадцатый век и разрушил все, оставив лишь имена и прочерки между датами рождения и смерти. В этих прочерках погибших в Шоа – несостоявшиеся жизни, не пришедшие в этот мир артисты и художники, писатели и ученые, врачи, учителя; отцы, матери, дети. Стертая навеки генетическая информация. От полутора тысяч человек осталось горстка людей – пальцев двух рук хватит, чтобы пересчитать.

Исааку Витису «повезло» – спасаясь от фашистского режима

Антонеску, он записался добровольцем в Красную Армию и почти сразу оказался в лагере для перемещенных лиц, а затем и в трудовой колонии Ивдельлага. Бежав от одной диктатуры, угодил в другую. Они называли себя трудармейцами, не заключенными, – придумывали идентичность, обманывали себя, чтобы было за что держаться, на что опереться. Падавших обливали ледяной водой, если поднимались – оставляли в живых.

Безглагольные предложения подчеркивают ужас происходившего, именные словосочетания сжимаются, сводятся к блоковскому надлому в перечислении одних существительных: «Утренний гимн из репродуктора, заводской гудок, дневная норма <...> сторожевая вышка, барак, хлеборезка, раздаточное окно. Ихтиоловая мазь, банный день, вошебойные процедуры. Дистрофия, цинга, пеллагра, тиф, ишиас, туберкулез, дизентерия, гепатит, энцефалит, обморожение, пятнистая лихорадка, гангрена, братская могила, тайга». Двенадцати из пятисот удалось выжить. Двенадцати.

Кажется, о том времени нет ничего страшнее «Колымских рассказов» Шаламова. Но не страшнее ли молчание выжившего? Насколько чудовищной должна быть реальность, оставившая после себя лишь три слова: «а нечего вспоминать»? И в чем черпал силы дедушка Исаак Витис, дважды отрекшийся от языка – родного идиша и выученного румынского – и построившего свою на жизнь на языке исправительно-трудовой колонии? И если смог – с чужим языком в чужой культуре – сохранить себя, значит идентичность не в языке, – по меньшей мере, не в нем в первую очередь? Значит язык – лишь инструмент, но не выражение личностной сущности?

Языковая принадлежность – одна из сквозных тем в творчестве автора, отпечаток психологической травмы эмиграции, пришедшейся у него на крайне уязвимый подростковый период. «Просто русский – это мой ворованный воздух детства, вывезенный из страны в обход таможи», – пишет он, определяя именно русским языком одну из своих заданных идентичностей; «...меня всю жизнь так тянуло обратно в Москву. Там была твердая почва – друзья детства, единственная доступная мне точка отсчета», – признается автор в начале романа. Москва – это «родимое пятно» Александра Стесина, неотменяемая часть его «я», заданная местом рождения. Там осталась первая влюбленность с записками-самолетиками, там Цой, запеченная в углях картошка, по осени – подберезовики корзинами, там долгая болезнь мамы и его первая произнесенная молитва – восемнадцать ритуальных минут неподвижного сидения, чтобы мама поправилась. Оказывается, и на карте бывают родимые пятна.

Вообще, если бы существовала классификация неблагоприятных для эмиграции возрастов, подростковый период имел бы там статус максимально нежелательного. Время и ресурсы, отведенные для

самопознания, становления личности, обособления от родителей и построения социальных связей со сверстниками должны быть брошены на освоение чужеродной среды, языка, системы ценностей. В отличие от взрослого, принимающего решение об эмиграции сознательно, ребенок лишь пассивно соглашается с выбором старших, при этом в полной мере разделяя с ними все трудности адаптации. Стресс взросления, наложенный на стресс эмиграции, стали двойным испытанием и для Александра Стесина. И несмотря на то, что застревание между культурами со временем трансформировалось у писателя в чувство свободы – языковой, ментальной, профессиональной и географической, вопрос самоидентификации всегда оставался для него ключевым и с новой силой обострился с началом войны – теперь уже и не одной.

Война... Еще недавно казалось, что этноцид и маниакальное безумие диктатора никогда не смогут вернуться на арену цивилизованного мира. Еще недавно казалось, что трагедии двадцатого века привели к переосмыслению, безусловному примату ценности человеческой жизни. Налет цивилизованности оказался слишком тонким и легко подвергаемым эрозии. Мир вновь раскололся на своих и чужих, и поиск родных для Александра Стесина – это инструмент солидаризации с тем, что по-настоящему важно. «Та война, что началась в феврале 2022-го, выбила почву из-под ног, вывела на первый план тему рассеяния, заставив всех разбросанных по свету в полной мере почувствовать свою непришвартованность, бездомность. А та, что началась в октябре 2023-го, наоборот, заставила меня нащупать почву: ощутить, как нельзя отчётливей, что я – еврей» – пишет Александр Стесин.

Путешествие в прошлое приводит автора в Магриб, в эпоху Идрисидов – золотой век для марокканских евреев. Первое упоминание фамилии Беташ (Витис) относится к восьмому веку и принадлежит раби Шемайя из Мекнеса. В двенадцатом веке сменившая Идрисидов династия Альморавидов уже далеко не столь благосклонна к еврейской диаспоре. Начинаются погромы. Часть бежавших из Северной Африки предполагаемых предков оседает на территории современной Сирии, следы другой ведут в Европу. Распутывая родственные нити, автор оказывается сначала в Валенсии, в небольшом квартале Кабельон-де-ла-Плана – по сути гетто, выделенном для отдельного проживания евреев и христиан, затем в Валахии, бывшей тогда частью Османской империи и, наконец, в Бессарабии, в местечке Фалешта. Сквозь исторические хроники проступает многократно повторяющийся рисунок летописи еврейского народа: история гонений и исходов, геноцид, борьба за жизнь и за сохранение национальной идентичности. Как однажды с горькой иронией заметил Михаил Туровский: история повторяется, с евреями она повторяется чаще.

Одиночество, усугубленное разорванными в разное время родственными связями – еще один спутник эмигрантского детства писателя и еще одна линия развития романа. «Я привык думать, что кроме

мамы и папы у меня нет старших родственников», – пишет Александр Стесин в самом начале романа. «Я рос, окруженный их любовью и их одиночеством», – добавляет он, рассказывая про бабушку с дедушкой, рано и трагически ушедших из жизни. Наследуемое одиночество – это ведь тоже производная вечных гонений. Насильственное обращение в другую веру, гетто – испанские, португальские, польские, немецкие, шанхайские; ограничения в правах, запреты, наветы, унижения и всё равно – изгнание. Чтобы быть повторенным на новом месте: черта оседлости, шестиконечные звезды на дверях, погромы, подвалы, вагоны, газовые камеры. Инакость, непохожесть, неписываемость, нестраиваемость – чужие на любой земле. «Родители шарахались от самой идеи возможного родства», – отмечает автор, упоминая случившиеся в первые годы эмиграции звонки от неведомых американских Stessin, обнаруживших схожую фамилию в телефонном справочнике. «Что их так пугало? Ведь вся наша семья – обрубленные связи, разорванные нити.» Порой подсознательный страх восстановления – связей ли? истории? истины? – приобретал у родителей метафизические формы. А иначе как объяснить мамино падение на ступеньках Шанхайского музея еврейских беженцев, неудачное настолько, что посещение музея пришлось отменить?

Для Александра Стесина исследование истории рода вроде попытки собрать – если не за одним столом, то на страницах одной книги, – родных, – тех, кто не мог или не хотел знать друг о друге. Но от блужданий по архивам они не обрастают плотью, а тиюль шорашим лишь наполняет смыслом маршруты странствий. Пересечение времен происходит там, где удастся найти потомков. От одного из них автора отделяет всего два часа езды на машине, он внук Ицхака Бетеша из Аллепо, родившегося примерно в то же время, что его тезка Исаак Витис. Другой – дядя Витя Тумаркин – помогает реконструировать отцовские ветви родословного дерева.

Семья отца была родом из Херсонской области, одной из старейших земледельческих колоний Бобровый Кут, жизнь в которой немногим отличалась от жизни в Бричеве: те же хедер при синагоге, клуб, винодельня, идиш и украинский вместо румынского. Согласно сохранившимся документам, поселенцы вполне себе ладили с проживавшими по соседству немцами и даже организовали единый колхоз «Ройтер Октябрь». В тысяча девятьсот сорок первом всех евреев расстреляли. «‘Окончательное решение’ пришлось организовывать прямо на месте, – восстанавливает хронику событий Александр Стесин. – Их собрали во дворе маслозавода и погнали в Евгеньевскую степь, к двадцатиметровому заброшенному колодцу, выбранному в качестве места захоронения. Начальник дал отмашку, и начался отстрел. Трупы сбрасывали в колодец; некоторых бросали туда живыми». Как коротка человеческая память. Как пугающе быстро главный гуманистический вывод двадцатого века был не просто

забыт, а вывернут наизнанку, вновь развернув обвинительные копыя в сторону жертв вековых преследований. Сколь «невинно» на фоне сегодняшних извращённых демагогических сентенций и откровенной лжи выглядит эвфемизм «окончательное решение»: почти столетие назад политики прикрывали свою ненависть удобоваримыми фразами; сегодня призывы к уничтожению наций, народов и государств звучат ошеломляюще откровенно и находятся немало людей, считающих эти призывы допустимыми.

Стесины, принадлежавшие к еврейскому духовенству, покинули Бобровый Кут – место недолгого пристанища вечных скитальцев – много раньше разразившейся трагедии. «В начале 1930-х хасиды с юга России и Украины, гонимые и преследуемые повсюду, стекались в Москву, чтобы там затеряться. На первых порах ютились в подвале Хоральной синагоги. Искали работу в артелях, где требовались надомники. Снимали вскладчину подмосковные дачи; там, как правило, организовывались подпольные хедеры и иешивы», – дает автор историческую справку. Ретроспективно это кажется бегством навстречу гибели.

Династия, насчитывающая семь поколений раввинов, прервалась. После прадеда Мендла Урьевича все мужчины в семье становились математиками или физиками, в их числе и дедушка Исаак Мендлевич, профессор МИИТа. Полвека спустя он всё еще жив в воспоминаниях своих студентов, среди которых и друг писателя, кинокритик Борис Локшин, и сторож Востряковского кладбища, помогавший отыскать могилы предков, – и кто знает, сколько еще замечательных людей протянут Александру Стесину нити памяти из прошлого, прочитав эту книгу. Собираение в пучок рассеянного света – это ведь не только об утеранных родных, это и про тех, кому они светили, будучи живыми.

В книге находит продолжение история о дяде автора, художнике Виталии Стесине, ключевом персонаже московского андеграунда, о котором Александр Стесин уже писал в «Птицах жизни». Развязывая узелки памяти, он вспоминает и тетю Елену Борисовну Тумаркину, известную переводчицу с венгерского, и бабушку Софью Марковну Стесину, бывшую личным секретарем Николая Островского и работавшую в редакции «Молодая гвардия», и прабабушку Цию Бакшт, бывшую замужем за Львом Клячко, приятелем Маршака и создателем детского издательства «Радуга».

Удивительно еще вот что: пути Стесиных и Витисов могли перебраться на поколение раньше! Будучи молодым человеком, дедушка Исаак Стесин собирался отправиться в Эрец-Исраэль, а многие пути для тогдашних советских евреев лежали через румынскую Бричеву. Тогда Исаак Стесин вынужден был изменить план, бежать, затеряться в большом городе, потому что репатриация на самом деле оказалась спецоперацией ОГПУ по отправке «неблагонадежных» в колымские

лагеря... Сколь мал и хрупок мир единомыслящих и какова роль звезд, сложившихся так, что через много лет его сын встретил в аудитории одного из московских вузов дочь бричевского Исаака, и эта встреча дала рождение новой жизни? «Берегите Аленьку», – последние слова дедушки Витиса. Это ради него, еще не рожденного, но уже задуманного Вселенной, он выжил в Ильдельлаге. И это ради него, еще не рожденного, но уже задуманного Вселенной, прадедушка Мендл задействовал все свои связи и предупредил сына о готовящейся облаве.

«Рассеяние» – пожалуй, самый зрелый роман Александра Стесина. Его секрет не только в умелом переключении регистров повествования – с приключенческого на исповедальный, с хроникального на исследовательский – но и в трогательной искренности автора, его открытости, абсолютном доверии к читателю. Это роман-молитва, роман-признание. Признание в любви к родителям, в существующих страхах, в невозможности избавиться от чувства вины. Это свидетельство постоянной, непрекращающейся работы над собой, доказательство того, что династия кознов не прервалась, что столетие спустя нить наследования подхвачена руками врача-онколога, освещающего последние минуты уходящих в Мир Грядущий.

*Передайте об этом детям вашим; а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети – следующему роду. Мы живы пока нас помнят.*

Юлия Баландина

\* \* \*

*Нина Хрущева. Никита Хрущев. Вождь вне системы. М.: «Дилетант», 2024.*

Нина Хрущева написала книгу, которая должна была появиться именно сейчас. Хотя работа над рукописью началась больше трех лет назад, и почти случайно. Автор получила заказ от престижного издательства, специализирующегося на биографиях советских государственных деятелей, и даже поначалу сомневалась, стоит ли браться за эту работу.

На самом деле, конечно, не написать эту книгу она не могла. И не только потому, что является прямой наследницей главного героя (праправнучкой, хотя по документам внучкой: Никита Сергеевич и Нина Петровна удочерили ее маму, Юлию, после гибели старшего сына Хрущева Леонида на фронте и ареста его жены). Кстати, Нина опубликовала книгу о Леониде, вышедшую на английском в 2014 году (*The Lost Khrushchev. A Journey into the Gulag in Russian Mind*) и на русском «Пропавший сын Хрущева, или когда ГУЛАГ в головах» в 2019 году, – книгу смешанного жанра: это и, по сути, почти детективная история поисков могилы погибшего летчика, и семейная сага, и одновременно – точный и беспощадный анализ создания мифоло-

гии, основанной на тоталитарных матрицах, и воспроизводства ее уже совсем иной, постсоветской реальности. Не случайно книга имеет подзаголовок «ГУЛАГ в головах». Еще одна «предыстория» масштабного труда о Никите Хрущеве, о российской истории и русской литературной и философской мысли последнего столетия, эмигрантской в том числе.

В книге *Imagining Nabokov: Russia between Art and Politics* (2008; также вышла на русском «В гостях у Набокова») Нина Хрущева не только и не столько анализирует творчество Владимира Набокова, сколько поднимает «проклятые вопросы» отечественной истории. Двуглавый орел, направляющий свой взор в противоположные стороны, на Восток и на Запад, птица-тройка, которая мчится вдаль, – и оказывается, движется по кругу, маятник истории, который, кажется, обречен двигаться от одной крайности к другой, от полюса к полюсу, никогда не задерживаясь надолго в благополучной нейтральной точке, – эти образы будут многократно повторяться в последующих книгах автора, прежде всего в вышедшей в США книге-эссе *In Putin's Footsteps: Searching for the Soul of Empire Across Russian Eleven Time Zones* (2019, совместно с Jeffrey Taylory) и, конечно, в публицистических статьях и многочисленных выступлениях политолога и культуролога, профессора университета New School Нины Хрущевой в американских и российских СМИ. Ее неповторимый голос, ее парадоксальный, часто повергающий в ступор собеседников анализ представлен и в последней книге.

Есть в новой книге и нестандартный образ – Колобок, сказочный персонаж, который выкатывается из избы, следуя собственной непредсказуемой логике. Итак, в книге отчетливо прослеживаются три основные составляющие – три нарратива. Первый – биографический. Масштабный исторический материал, партийные документы и свидетельства очевидцев, аналитические выкладки исследователей российских и зарубежных, – всё это подкрепляет рассказ о жизни и деятельности вполне обычного молодого человека, окунувшегося, как многие в те годы, в революционное движение; жизнь юноши, которому суждено было стать одним из вершителей судеб не только страны, но и мира. Нельзя не отметить строгой приверженности автора к точности деталей, документальной выверенности исторического нарратива, а также количества ссылок на материалы. Автор следует американской академической традиции, стараясь предоставить читателю как можно больше источников, при этом оставаясь максимально «невидимым» и беспристрастным. Научный аппарат, бесспорно, порадует «понимающего» читателя.

Вторая составляющая, которая определенно отличает книгу Хрущевой от всех биографических изданий, – это «текст курсивом»: здесь звучит множество голосов родных и близких главного героя, фрагменты неопубликованных мемуаров и воспоминания самого авто-

ра, которая девочкой запомнила отдельные фразы и настроения деда, его похороны и атмосферу вокруг этого события, воспоминания матери, заметки писателей и художников, приехавших к «пенсионеру союзного значения» на дачу... Хор несхожих голосов, который создает масштабную картину эпохи. Это не просто воспоминания, это плотная проза, причем проза женская, в том смысле, как ее определяла Светлана Алексиевич (ее влияние на стиль Хрущевой несомненно): женщины иначе, чем мужчины, воспринимают судьбоносные и рутинные события, они запоминают иные детали, цепляются за мимолетные перемены настроения, нюансы, иначе видят цвета, обоняют запахи... Внимание к деталям – к оброненным фразам, будь то замечание домработницы о похоронах или реплика случайного прохожего-колхозника, комментариев выращивающего помидоры отставного Первого секретаря о введении войск Варшавского договора в Прагу или вопрос Высоцкого (нельзя ли вам, Никита Сергеевич, снова?..) – всё это создает многомерную и очень живую картину отдельного существования самого героя и его окружения, и общего существования страны. Причем автор не стремится возвести героя на пьедестал, она подчас – это ощущается – готова его почти возненавидеть и ужасается вместе с читателем многими делами, в которых он участвовал...

И, наконец, третий пласт – это непосредственно голос Хрущевой-аналитика, нашей современницы, которая пытается понять, что же происходит со всеми нами сегодня и сейчас. В чем логика развития общества, у которого за спиной – революции, террор, война, «оттепель» и десталинизация, Карибский кризис, полет Гагарина, брежневский застой, Афганистан, перестройка и 2000-е, всё более и более тревожные...

«Сталин понятен – сильная рука. Брежнев тоже понятен – развитой социализм, стабильность и хорошо на плакате выглядит. Даже заруганный Горбачев понятен: его перестройка – это недостроенная интеллигенцией оттепель. А сегодняшнему человеку особенно хочется определенности. В открытом и разобленном мире после Холодной войны, когда белое вдруг стало не всегда белым, а черное, может быть, и серым, человеческие понятия стремятся к упрощению, – отсюда бесконечные мемы и эмодзи. Упрощается и Хрущев. И всё же, противоречивый и забытый, он одновременно – автор незабываемой эпохи и политических последствий. Сколько же было Хрущевых и почему они сменяли друг друга: от восторженного сталинца к отрицателю сталинизма, от пламенного борца за рабочее дело к стремительно бронзовевшему партийному бонзе 1960-х – а потом к автору беспрецедентных тогда для СССР мемуаров? Как он смог возглавить супердержаву и потом был свержен бывшими сторонниками, превратившись в изгоя и персонажа анекдотов?»

Какова роль личности в истории – и в истории огромной страны? Главный вопрос, который автор пытается разрешить: как получилось,

что один из активнейших участников сталинских проектов, у которого, по его собственному определению, как и у всех приближенных тирана, «руки по локоть в крови», стал не просто реформатором системы, но ее принципиальным деконструктором, вынесшим из Мавзолея и из публичного пространства «вождя народов» вместе с практикой массовых репрессий. Как – наряду с прорывом в космос – стране удалось начать движение от тоталитарного прошлого к демократизации во всех сферах жизни? Как, несмотря на сопротивление системы, снесшей ее деконструктора с вершины власти, «оттепель» продолжилась в перестройку и почему не смогла довершить начатое?

«Говорят, судьба человека – это его нрав. Хрущева создали его инициатива, работоспособность и доходчивость, а погубили торопливая скоропалительность, эмоциональность и даже зазнайство. Моя мама Юлия, внучка, воспитанная как дочка, и дочь Нины и Никиты, Рада, вспоминали, что после 1961 ‘с отцом уже было невероятно трудно. Его почти невозможно было переубедить, потому что власть и лесть – это страшные вещи, безнаказанные и беспощадные’. Когда в 1954 году его поздравляли с шестидесятилетием, он на речи похлопал быстро и сказал: ‘Спасибо, ну и хватит. Пошли работать’. А в 1961 году уже получал удовольствие от почти культ-личностного фильма ‘Наш Никита Сергеевич’.

Признаюсь, мне иногда самой трудно понять, как один и тот же человек мог кричать на поэтов и художников и, одновременно, дать толчок духовному обновлению системы. Его правильные, демократические инстинкты страдали от таких же естественных для него регрессивных импульсов. Андрей Вознесенский, которого Хрущев однажды жгуче разнес за недостаточный патриотизм, тогда заметил с искренним сожалением: ‘Хрущев был нашей надеждой. Я потом долго не мог уразуметь, как в одном человеке сочетались мощный размах преобразований и тормоза старого мышления.’».

Это очень нелегкое чтение, дело не только в объеме материала. Первые главы биографии героя проливают свет на логику его некоторых уже поздних решений, в том числе – неприязнь к религии, спекулянтам, интерес к техническому прогрессу и безоглядная вера в него... Главы, посвященные времени «большого террора», повергают даже подготовленного читателя в шок, прежде всего из-за конкретных событий и поступков и поведения конкретных людей в конкретных обстоятельствах. Вызывающие традиционно острую реакцию главы, связанные с работой на Украине, с Крымом, Венгерскими событиями 1956-го, расстрелом в Новочеркасске, – они также открывают много ярких и не известных широкому читателю подробностей. Главы о поездке в США и, вообще, о международной повестке, переходе от воинственной изоляции к открытости и разрядке читаются почти как авантюрный роман. Глава о взаимоотношениях вождя с интеллигенцией – одна из центральных, автору особенно важно зафиксировать лица и положения всех участников событий. Интеллигенция,

создавшая культуру «оттепели», бесспорно, является важнейшим участником всего повествования. «Порой мне так за него стыдно, что хочется кричать, – остановись, послушай, дай сказать, – но разделить их невозможно. Поэтому в истории он фигура траги-комическая, весь в этом тире: есть тезис, есть антитезис, но дефицит синтеза. Эрнст Неизвестный, скульптор, которого Хрущев громил на выставке в Манеже в 1962 году и который потом стал автором его черно-белого памятника на Новодевичьем кладбище, однажды назвал его «Контрапунктом». В истории Хрущева, пожалуй, лучше, чем во многих других, видна история и характер России».

Многоликий Хрущев, один из сонма «тонкошеих вождей», преданный сатрап, мечтатель и новатор, самодур и фантазер, ускользящий, как сказочный Колобок, от множества опасностей и искушений, но не выдержавший искушения длительной властью, так или иначе остается в сознании думающих людей и потомков прежде всего деконструктором тоталитарного колосса. Возращенный системой, он восстает не только против предшественника-тирана, но против самой системы, которая проходит катком по советскому пространству, круша и ломая страну и ее людей. Он выкатился из системы, как тот самый сказочный персонаж. И продолжает будоражить современников. Не случайно каждая новая дата, связанная с его именем, вызывает бурные споры и новые витки мифологических конструкций, в которых Хрущеву достается роль виновника во всех бедах России. Автор, кстати, подробно рассказывает о том, как антихрущевская мифология, возникшая в период XX съезда партии, возрождалась в перестройку и расцветает сегодня, подпитывая ползущую нео-ресталинизацию.

Тень этой мифологии накрыла и саму книгу, точнее, ее путь к читателю. В недрах издательства, заказавшего масштабный труд, начались дискуссии, об обложке (автор предложила уникальный портрет работы Нади Леже, никогда не публиковавшийся, – он был отвергнут), документах, сопровождающих текст, и т. д. Издание всё откладывалось. В этой ситуации «Дилетант» предложил автору выпустить книгу в первоначальном оформлении. Первый же тираж немедленно исчез из Интернет-магазина и с прилавков; в магазине «Москва», продававшем книгу, неожиданно отменили первую презентацию издания – поступили угрозы «от народа». Презентацию всё же провела партия «Яблоко», прошла очень живая дискуссия. Потом последовала презентация в Санкт-Петербурге. «Дилетант» выпустил второй, потом и третий тираж. Тем временем и первое издательство завершило работу над книгой, которая оказалась, несмотря на высокую цену, тоже востребована и стремительно раскупалась. Однако легкой судьбы ей и автору не было уготовлено. Екатеринбургский «Ельцин-центр», пригласивший Нину Хрущеву на встречу с читателями, куда потянулись люди и из других сибирских и уральских городов, неожиданно отменил выступление после жалоб «озабоченных

активистов». «Активисты» тем временем обратились в силовые структуры с требованием привлечь к ответу «клеветницу» и поддерживающий ее рассадник «вражеских идей» и инспирировали настоящую травлю автора в СМИ и социальных сетях – вполне в духе тех самых кампаний против «врагов народа», о которых рассказывала книга. За это время, кстати, издание стало уже почти раритетом. Что подтверждает еще раз: разговор о советском прошлом, о последствиях террора и о «ГУЛАГе в головах», о жизни советских людей и деятельности советских вождей, об «оттепели», схлопнутой советской системой, и не успевшей решить все свои задачи демократизации в краткий период горбачевской перестройки, о роли интеллигенции и непредсказуемости хода российской истории – такой разговор очень важен и нужен сегодня читателю. А значит, есть надежда.

«Когда я думаю о Никите Сергеевиче, я думаю о трагедии талантливого, одаренного русского человека, о трагедии реформатора, давшего своему народу и своей стране самое главное – глоток свободы; человека, который обречен был умирать под улюлюканье бывших холоуев, улюлюканье прессы и неблагодарной интеллигенции. И телефоны отключали... Чего там только не было! И эстафета в этом плане до сих пор работает. Но еще в большей степени, я думаю, – это трагедия страны, это трагедия нашей истории: уничтожать, и унижать, и растаптывать своих реформаторов...»

И тем не менее. Хрущев был. «Оттепель» не вычеркнуть из истории. Она ждет своего продолжения, как и горбачевская перестройка. «После каждого Сталина неизменно появится свой Хрущев», – так Нина Хрущева завершила одно из своих московских выступлений. Ее книга как раз об этом.

*Надежда Ажгихина*

*Александр Мельник. Время летучих мышей. Книга стихотворений. Львез: Maison de la Poesie d'Atay, 2024. – 81 с.*

Александр Мельник давно живет в Бельгии, он президент ассоциации «Эмигрантская лира», которая регулярно проводит поэтический фестиваль и издает литературный журнал с таким же названием. Пятая его книга, о которой пойдет ниже речь, включает стихи, написанные с 2018-го по 2024 год. Даты здесь важны, они детерминируют пространство и контекст издания.

Книга хорошо темперирована – в тексты словно врывается потусторонний тревожный ветерок, окрашивающий жизнь в трагические краски; поэт с горькой иронией наблюдает безумие летящего в пропасть мира, войну, болезни, собственное старение, неустойчивость человеческих связей... Мир во время и накануне больших мировых

трагедий преобразуется под его пером, говоря старинным языком, но писать по-старому и о старом уже не получается.

Давно уж за полсотни, но в мозгу  
я тот же мальчик, злящийся на згу  
за то, что никогда ее не видел.  
«Там, за бугром, одна лишь зга вокруг!»  
Есть многое на свете, милый друг,  
что и не снилось девочке из МИДа.

Эта «зга» порождает ассоциации с Пастернаком (а отсылки к Пастернаку возникают в книге неоднократно): «Как прячется в тумане местность, / Когда в ней не видать ни зги» («Быть знаменитым некрасиво...»), с Федором Сологубом: «В поле не видно ни зги. // Кто-то зовет: 'Помоги!'») и – что наиболее важно – с «Крысоловом» Марины Цветаевой: «Тьма – ни зги! ни зги! ни зги!» Опосредованно три текста этих поэтов имеют отношение к стихам Мельника, включенным в книгу: она как раз про такие же смутные и мутные времена. Мельник мастерски играет с литературными аллюзиями; книга насыщена скрытыми цитатами, и читателю остается только дергать за ниточки и сматывать клубочки, распуская эту ткань, или, напротив, связывать и сшивать отдельные лоскуты книги в единое полотно.

У слова «зга», если заглянуть в словарь Даля, есть несколько значений: «тьма, потемки, темнота, *сокращ.* стега, стезя»... «Зги нет, Божьей зги не видать», «кроха, капля, искра, малость чего»... «Для того слепой плачет, что ни зги не видит». Мельник использует практически все эти значения: и непосредственно – в процитированном стихотворении, и вообще в книге – опосредованно. Интересно, что автор выдирает слово из привычного словосочетания «ни зги», тем самым заостряя и обнажая смыслы, привлекая внимание к необычному его применению. «Зга» как часть чего-то мелкого и маленького гипертрофируется в нечто огромное, занимающее всё пространство вокруг; ничтожное становится гигантским. Понятие «тропинка» – не основное в значении слова «зга» – развивается в стихах Мельника: «Тропа петляла в сумерках, пока / не привела внезапно к океану»; «А когда мы гуляли по Богом забытой тропе, / удаляясь порой от зимовья на несколько верст, / свет входил до подкорок, и было неважно, / что первопроходцы не мы, а какой-то бродячий прохвост»; «Тропа уходит вдаль по грани / прильнувших к лесу облаков. / Как много линнет всякой дряни / к подошвам старых башмаков!» Здесь везде мы наблюдаем оппозицию тропы (как пути к прекрасному, настоящему, вечному) и бытовой «дряни» и «ерунды»: «От быта к бытию прокладывал дорожки». В общем, вся эта книга – про дорожки *от быта к бытию*, о попытках залатать при помощи поэзии прорехи в прохудившейся ткани жизни.

Летучие мыши – хорошо работающий образ: мыши плохо видят – *ни зги*, впадают днем в оцепенение, становясь беспомощной неподвижной массой, видящей мир в перевернутом ракурсе. Тут можно говорить о множестве оцепеневших людей на бывшей родине автора, занявших позицию безвольных слепцов, не осознающих происходящее. Кроме того, летучая мышь – еще и вестник из потустороннего мира, воплощение зла, упырь. В народных представлениях залетевший в дом нетопырь – к беде; летучая мышь выступает также предвестником смерти. Существует поверье, что душа человека принимает форму летучей мыши во время сна и потому человека нельзя резко будить – чтобы душа успела вернуться в тело. У индейских племен Бразилии есть легенда, что проглотившая Солнце летучая мышь предвещает конец света. Кроме того, летучая мышь – трикстер, проводник между мирами, она поднимается в небо, но появляется из Преисподней. В «Одиссее» Гомера души умерших уподобляются летучим мышам и наделяются их крыльями, в античной мифологии летучие мыши принадлежат Персефоне. У Овидия в «Метаморфозах» говорится о превращенных в летучих мышей минаадах, которых настигло безумие, повлекшее за собой убийство сына одной из них. В цикле стихотворений, давшем название сборнику – «Время летучих мышей», звучат интонации бодлеровского «Плаванья» (в переводе Цветаевой):

Что нас толкает в путь? Тех – ненависть к отчизне,  
 Тех – скука очага, еще иных – в тени  
 Цирцеинных ресниц оставивших полжизни –  
 Надежда отстоять оставшиеся дни.

Это можно было бы поставить эпиграфом ко всей книге Мельника. В первом стихотворении цикла говорится о сходстве судьбы поэта с птичьей долей, со всеми коннотациями образа птицы – крылатой, летящей, беспечной, свободной, не знающей преград («да здравствует пьянящий воздух без границ»; «парить над суетой на пару со свободой»); врываются и страшные современные реалии, о которых задумывается человек: «прицельно с высоты пикировать на рыб – / в гармонии с собой, природой и погодой, / не замечая слов ‘война’ и ‘недосып’». Угроза сгущается, и крылатые существа трансформируются из птиц в летучих мышей:

Не сразу разберешь – то сумрак или тучи  
 висят, а среди них мелькают взад-вперед  
 ночные существа – колонии летучих  
 мышей сменили птиц. Пришел и их черед.

Летучая мышь становится символом современной злой реальности, символом правительства страны, развязавшей несправедную

войну, – к этому ведет прямая отсылка (для автора обычно не характерны такие публицистические вкрапления):

Всем смутным временам присуща эта участь –  
чем беспросветней мрак, тем чаще буквой зет  
летают упыри, тем выше их живучесть.  
Но даже в темный век врывается рассвет.

Здесь, конечно, вспоминается выражение «самая темная ночь – перед рассветом».

Главный культурный антагонист мыши – кот, и коты в книге присутствуют. В стихотворении «Коты проходят косяками сквозь толщу воздуха к окну» мы видим обэриутские интонации абсурда и некую надежду на помощь извне, на котов, которые отчасти – и пришельцы из другого измерения.

Окруженный котами, рифмами и мечтами,  
озираешься в поисках выхода, но тупик  
наплывает, становится мраком в оконной раме,  
сквозь который доносится тонкий мунковский крик.

Через стёкла сочится едкая безысходность,  
попадает в лёгкие и раздражает глаза.  
Не бесплодность сиюминутного, а бесплотность  
вечного парализует и гонит под образа:

«Вседержитель, уйми огонь и медные трубы,  
удали из квартиры потусторонний мрак!» –  
и любимая женщина снова целует в губы,  
и беснуются рифмы на фоне кошачьих драк.

В этом стихотворении зашифрованы все ключи и мотивы книги. Коты – как спасители от мышей, их антагонисты; стихи – как средство выжить. Надвигающийся кошмар жизни, безысходность, которая «попадает в легкие и раздражает глаза» (признак ковида), надвигающаяся война (здесь: «медные трубы»), но на их фоне – любовь и творчество как главные маяки спасения в ситуации, когда рушится мир. Любовью пронизана вся книга, именно любовь позволяет выжить.

Стихи, составившие эту книгу, писались в преддверии катастрофы и в предчувствии их. В преддверии инсульта, наступившего поэта. Не случайно автор всё время пишет о головокружениях: «Земная осень чуть наклонена / Волчком из детства крутится стена / вокруг меня, хмельного забияки» (здесь интересна игра с фонетическим рядом: «земная ось» преобразуется в «земную осень» – автор пишет о старении, и потому осень возникает естественно, на своем месте). Это и смертельное кружение: «и я, как штопор, ввинчиваюсь в пробку, / Чтоб

смерти дать напиться допьяна. / Земля еще кружится по орбите, / вокруг шумит вселенский кавардак». Наиболее четко и прямо о болезни автор говорит в «Черном ангеле»: «Два подбитых крыла за плечами – / с браконьерской ухмылкой инсульт / о добыче судачит с врачами». Но болезнь побеждена – это победа поэта и его духа –

Потому что – пиит-сочинитель –  
попадавший не раз в переплет,  
убежден, что мой ангел-хранитель  
скажет сросшимся крыльям: «На взлет!»

Ковид (чума) и война – два из четырех всадников Апокалипсиса, и книга – о попытках противостоять им посредством любви (а как еще можно противостоять? Только любовью).

Вдали от суетного галдежа,  
произведя в закат разведку боем,  
я, как вчерашний юноша, дышал  
разлившейся над островом любовью.

Любовью пронизаны стихи из раздела про путешествия. Автор летает по миру, отмечает даты и места написания стихов (часто – в аэропортах), словно старается зацепиться, зафиксировать моменты большого и разнообразного мира, где интересно и радостно жить. После цикла стихов о дальних путешествиях возникает цикл о России – бывшей родине поэта, здесь тональность меняется – появляется сарказм.

Об иронии, сарказме – об этих тропах в поэзии Мельника следует сказать отдельно. Поэт отстраняется, смеется над собственным творчеством, над попытками увязать творческий процесс с мировой гармонией. Но именно ироничное обыгрывание серьезных вещей, легкое и язвительное отношение к «высокому искусству слова» и поднимают стихи до уровня, когда начинаешь дышать подлинным поэтическим воздухом. Автор великолепно играет с текстами в стилистике Саши Черного и современного постмодернизма. Так, «вечность» идет в паре с «графоманствую», на «звезды» можно смотреть только «обалдело».

Прогоня пятерней хмель с лица украдкой,  
я на пару со своей черновой тетрадкой  
графоманствую о том, что такое вечность  
и зачем придумал Бог эту быстротечность,  
составляю список тем, что еще осталось  
воплотить в стихи – закат, мрак и обветшалость.

Графоман, как правило, убийственно серьезен. Поэт склонен к самоиронии, к легкому отношению к себе – но не к поэзии. Автор, сдирая со слов налипшую на них от частого употребления шелуху, острым наждаком сарказма очищает первичные смыслы слов. За ехидными и самоироничными формулировками читателю виден уже не лирический герой, а живой человек, напуганный неостановимым утеканием жизни и пытающийся заглянуть за край и понять, что будет потом. Он испытывает трепет перед реальными вечностью и звездами и сомневается, останутся ли в вечности его стихи. Безусловно, останутся – именно за это звенящее сочетание несочетаемого, горький и острый взгляд, за любовь, переплетенную с сарказмом, за жадное желание жизни и гармонии.

*Ася Аксенова*

**The New Review / Novyi Zhurnal** is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

*Patrons:* Russian Nobility Association in America;

*Benefactors:* Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin; Eli & Ludmila Flam Living Trust;

*Sponsors:* Mr. Vitaliy Pavlyuk; Mr. Alexandr Neratoff; The Tcherepnine Foundation Inc.; American-Russian Aid Association "Otrada";

*Fellows:* Mr. G.Mesniaeff; Mr. A.Nemirovsky; Mr. V.Torchilin;

*Friends:* Mr.&Mrs. G. Cheron; Ms. R. Nuzhdenko.

The complete list of Fellows&Friends see at: <http://newreviewinc.com/fundraising-2022>

It requires the support of loyal friends for year 2025:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity». Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible.

Checks must be made payable to

**THE NEW REVIEW**  
**1216 Broadway, 2nd floor**  
**New York, NY 10001**

Additional information: [https://newreviewinc.com/podpiska\\_subscription](https://newreviewinc.com/podpiska_subscription)

### НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

**Москва, Россия: Андрей Красильников** – 111024 Москва, а/я 61

**Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах** – тел.: 7-921-940-0421

**Израиль: Марина Кособок-Полонски:** [Polonskybooks@gmail.com](mailto:Polonskybooks@gmail.com)

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» в 2024 году можно купить:

*Polonsky Books:* Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;  
+972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (страница: Подписка)

Вы можете оформить подписку на журнал, в том числе электронную.

Подробности на сайте: [www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com) (Подписка)

Вся информация об авторах НЖ на сайте The New Review Inc.

<https://newreviewinc.com>

e-mail: [newreview@msn.com](mailto:newreview@msn.com) [newreviewinc@gmail.com](mailto:newreviewinc@gmail.com)

---

# Новый Журнал THE NEW REVIEW

## УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ - 2025

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):

для университетов и организаций  
в США – \$ 160.00, за границу – \$ 220.00  
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка

(4 книги, включая пересылку):  
в США – \$ 85.00, за границу – \$ 130.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00

дополнительно за пересылку:  
в США – \$ 7.00, за границу – \$ 37.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год

(E-access и 4 журнала)

в США – \$ 320.00

за границу – \$ 360.00

(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте

[www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com) (Подписка)

**ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:**

The New Review

1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478

[www.newreviewinc.com](http://www.newreviewinc.com)

[newreview@msn.com](mailto:newreview@msn.com)

---